

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

№ 351 /3 3·2013

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири
Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»
Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры и архивов Иркутской области
и Администрации города Иркутска
Основан в 1930 году
Выходит 6 раз в год

Содержание

Проза

- Александр Донских. Мы на лодочке катались, золотистой, золотой... *Повесть* 3
Людмила Листова. Дыханье голубя: Ода радости и печали. *Повесть* 62
Александр Щербаков. Поют полозья по Руси... *Рассказы* 85
Анатолий Жилкин. Август в Сибири. *Рассказы* 113
Юрий Баранов. Чаша неба. *Рассказы* 135

Поэзия

- Анатолий Смирнов. Край добровольного изгнания... 54
Геннадий Аксаментов. Три посвящения 83
Владимир Гусенков. Срослась и вновь слегла Держава 107
Андрей Мирошников. Осенних веток письмамена... 127
Сергей Погодаев. Я доверяю своему чутью... 148

Солнце Русской поэзии

- Андрей Мирошников. «Во мне бузит великоросс...» 151
«...И рядом Пушкин сел с державою в руке». Юрий Кузнецов. Владимир Соколов.
Роман Солнцев. Владимир Шемшученко. Игорь Тюленев. Николай Рачков. Андрей Ребров.
Владимир Молчанов. Надежда Мирошниченко. Валерий Михайлов. Владимир Скиф. 153

Жизнь литературы и жизнь в литературе

- Владимир Скиф. Байкальское Переделкино. *Главы из книги* 158

Памяти поэта

- Вадим Ярцев. Зачем-то мы жили на этой земле... 172

Острый взгляд

- Тамара Бусаргина. Кое-что о Зилове, и не только... 183
Руслана Ляшева. Ответ подскажет история 189

Мастерская художественного очерка «Судьбы российские»

Анатолий Байборodin. Сокровище: О купечестве нынешнем и былом,
о капитале добром и злом 191

Писательский дневник

Владимир Попов. Свет Розова. Фрагменты из книги 200

Из эпистолярного наследия

Письмо и ответ. Переписка 217

Театральная история Сибири

Виталий Сидорченко. Время Осипа Волина 219

Литературная хроника

Римма Михеева. «Сиянию России» в Иркутске — 20 лет 228

К 20-летию Дней русской духовности и культуры «Сияние России»

журнал «Сибирь» представляет гостей праздника: Эдуард Анашкин, Владислав Артёмов,
Анатолий Заболоцкий, Владимир Крупин, Станислав Куняев, Николай Лугинов,

Александр Проханов, Андрей Ребров 233

Любовь Сухаревская. Многоголосая «Молчановка» 236

Душа-Сибирь 239

Светлана Зубакова. «Первоцвету» — 15 лет! 242

Александр Донских. Оберечь первоцветы 244

Я пришёл в этот мир... 245

Екатерина Фалалеева. Время подняться на «антресоли» 247

Александр Донских. Встреча с «Сибирскими огнями» 248

Валентина Семёнова. О режиссёрских замыслах и умыслах 249

Валентина Ефимовская. Движение вечное... 252

Главный редактор **АЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ**

Заведующий отделом поэзии **ВЛАДИМИР СКИФ**

Заведующий отделом прозы **АЛЬБЕРТ ГУРУЛЁВ**

Заведующий отделом критики и публицистики **АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

А.Г. Байборodin, Ю.И. Баранов, В.В. Барышников, В.К. Забелло, В.П. Комлев, И.И. Козлов,
Р.Г. Михеева, Н.А. Озерникова, В.Г. Распутин, Т.Н. Суровцева, В.Н. Хайрюзов, М.И. Яковенко

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки С. Бурчевская. Комп. верстка А. Гордиевских. Корректор Л. Заступова

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.**

Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600.

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Тел.: 20-37-86. E-mail: laptev99@mail.ru, info@irdl.ru.

(Рукописи по e-mail не принимаются, за исключением особо оговоренных случаев). Подписано в печать 31.10.2013.

Формат 70х108/16. Усл.-печ. л. 22. Тираж 2000.

Отпечатано в типографии «Форвард». 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109



АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ



Мы на лодочке катались, золотистой, золотой...

ПОВЕСТЬ

1

Афанасий, опершись на локоть, лежал в тени своего заглушенного трактора и напряжённо смотрел в текучую знойную даль. Сердце парня — не здесь. Где-то далеко-далеко большие дороги и города, там другая и непременно необыкновенная жизнь. А вокруг — непаханое поле, оно буйным июльским дикотравьем и непролазными кустарниками бурилось за ухоженными огородами Переяславки, изломами спадало к обрывистому берегу Ангары. Шёл второй послевоенный год; страна мало-помалу поднималась к новой жизни, распахивая заброшенные земли, отстраиваясь, мечтая о лучшей доле.

Афанасий приметил дрожащую точку; она стремительно наплывала от окраинных изб и превращалась в трепещущую каплю. А немного погодя он разглядел голубенькое платье, разброс трепещущих на ветру длинных волос. Улыбнулся блаженно: «Бежит-таки моя Катя-Катенька-Катюша. Понимает, зазнобушка, — голоден я, как волк зимой».

Вот и Екатерина, — запыхалась, разгорелась. Парень любит свою девушку: тоненькая, напряженная, вся как струнка натянутая, тронь её — зазвучит певучей мелодией. А какие у неё глаза — чёрный пламень, однако, кажется, будто светлы. Они у неё лучистые, сияющие, таких больше нет на земле.

ДОНСКИХ Александр Сергеевич. Родился в 1959 г. в селе Малая Хета Красноярского края. Служил в Военно-воздушных силах начальником радиорелейной станции. Работал монтажником-верхолазом, сотрудником уголовного розыска, директором школы-интерната. Окончил филологический факультет ИГПИ. Автор книг прозы «Человек с горы» (Иркутск, 1999), «Родовая земля» (Иркутск, 2009), «Крепка, как смерть, любовь» (Красноярск, 2011), «В дороге» (Москва, 2012) и др. С 2012 г. входит в редколлегию журнала «Сибирь». Член Союза писателей России.

Присела на корточки перед Афанасием, подала ему котомку. Он, очарованный, улыбочиво заглядывал в её глаза, вслепую развязывая своими крупными, уже вполне мужичьими пальцами узелок, но тот настырно не давался ему. Нетерпеливо распылил застрёху, жадно съел вареник, ещё один, булькающе запил молоком из бутылки. Не забыл позабавить Екатерину: целиком запихнул в рот довольно крупную картофелину и вдруг выкатил глаза, замычал, словно бы подавился. Но тут же хлопнул себя по маковке, открыл рот — пусто.

— Смотри, и взаправду подавишься, едало! — посмеивалась Екатерина.

— Р-р-р, я и тебя проглочу!

Она пискнула, выворачиваясь из его тяжёлых, но чутких, ласковых рук.

— Скажу председателю: зачем даёте Афанасию трактор, — он сам может запросто тянуть плуг. И стегать его не надо: известно, самый сознательный в нашем селе.

— А ну его, трактор, и это поле, и деревню! — отмахнул Афанасий рукой. Но прибавил значительно, даже, кажется, с некоторой важностью: — В область, Катюша, на днях отчаливаю. С матушкой и батей уже обговорили. Десятилетка позади, учиться мне надо дальше. Вот такой расклад! Понимаешь?

Екатерина уткнулась лицом в подол.

— Чего закручинилась? — приобнял её Афанасий. — Обустроюсь, осмотрюсь в Иркутске — и тебя за собой.

— Чую, бросишь ты меня... Найдёшь другую... Их вон сколько всяких разных по городам шлындает...

— Прекрати! — рывком поднялся он с земли. — Сказал, возьму, так тому и быть. Ясно? — Но не устояло гневливое сердце Афанасия, тихонько, чуть не шепотком пришептал: — Люблю я тебя одну и никому не отдам. Никому, никогда. Так и знай. — Помолчав с прикушенной верхней губой, тронутый чёрненьким пушком усиков, снова заговорил солидно, старался зачем-то гуще басить: — А кто попробует крутить с тобой — тому можешь сразу передать: щелчком Афанасий Ветров ужокошит, кулака марать не будет. Ты меня знаешь: сказал — сделаю! Пока же, заканчивай десятилетку, знай себе учись. Потом прикатишь в Иркутск, глядишь, поступишь в институт. В библиотекарши метишь? Молодец! Оба будем образованными.

Екатерина несмело подняла глаза на Афанасия: стоял он над ней рослый, могучий, лобастый и, конечно же, родной, любимый, единственный! Но он смотрел в противоположную сторону, снова в ту же, где большие дороги и города, где неведомая другая жизнь.

— Афанасий, родненький, какая может быть десятилетка для меня? Я... брюхатая...

Последние слова произнесла на полвздохе, будто задыхалась.

— Знаю! — упёрся он взглядом в землю. — Уже ведь говорено об этом, и не раз.

— Что мы с тобой натворили!..

Закуривал, разламывая спичку за спичкой. Отбросил так и не задымившую папиросу, зачем-то тщательно втёр её носком сапога в дёрн и даже притопнул.

— Боже, что натворили, что натворили!..

— Не нудила бы ты, Катенька! — снова разгневилось нестойкое, прихотливое сердце парня. — И Бога зачем приплела? Нет ни богов, ни чертей!

— Не нужно тебе дитя?

Афанасий сжал зубы. Молчал.

— Говори, нужно или нет?

— Катя...

— Говори!

— Учиться я должен, учиться! Понимаешь? И тебе нужно учиться. Потом нарожаем детей...

— Понятно, не нужно.

— Катерина!..

— Что нам делать?

Он молчал.

— Что делать?

Молчал, стискивая зубы. Косточки скул выпирали, подрагивали.

— Что? — уже шепнула, обратившись, по-видимому, только лишь к самой себе.

Нет ответа, а взглядом — вдаль, вверх.

Она приподнялась с земли, но отчего-то не смогла сразу выпрямиться, полусогнуто стояла, как старушка. Сказала, не взглянув на Афанасия:

— Вечером наведаюсь к бабке Пелагее... в-вытравлю... — через силу, почти не размыкая губ, выговорила она.

Он, не взглянув на Екатерину, с неловко повернутой от неё головой, шагнул к трактору:

— Пахать пора. Председатель мне так наказал: кровь из носу, а чтобы до своего отъезда я залежь поднял. Ты знаешь, Катя, если я слово дал, в лепёшку расшибусь, а выполню!

Приобнял Екатерину за худенькие плечи, поцеловал в маковку, как ребёнка. Подтолкнул к селу, так и не взглянув в её глаза:

— Ну, ступай, ступай домой.

— Суровый ты со мной, Афанасий. Пахота для тебя важнее.

— Пойми, Катенька, слово я дал!

Но вдруг подхватил её на руки:

— Садись в кабину, прокачу пару борозд. Напоследок! Увидишь, какой я пахарь.

— Что, стоящий разве?

— Небось, слыхала, как хвалят меня в деревне.

— Ой, и хвастун же ты!

— Сейчас увидишь, залежь буду раздирать на куски, кромсать. Глянь-ка, какая тут земля — зверюга! — топнул он сапогами по твёрдой, скованной дёрном земле.

Усадил Екатерину в кабину, рванул рычаги — взревел дизель, впились стальные ножи в почву. Они рвали заматеревшую землю в клочья, вываливая чёрные, литые шматки. Добрый урожай принести этой земле в следующем году, скопившей за лихолетия недюжинных сил, но пока что она, дикая, бесполезная, существует сама по себе, и Афанасию нужно подчинить её надобностям человека, великим целям и устремлениям долгожданной мирной жизни. Скрежетала кабина, лязгали гусеницы, вырывался из трубы чадный дым, трактор хищно напирал на целину. Охваченный задором и удалством, Афанасий улыбался Екатерине, рукой смахивая поминутно натекающий на брови и ресницы пот, даже насвистывал и щеголял умелым вождением трактора, играючи переталкивая рычаги. А то и проказливо гасанёт — Екатерину, как пушинку ветром, откидывало назад. «Ну, каков я? — казалось, хотел спросить у девушки своими выходками. — То-то же! Знай наших!»

Екатерина была восхищена своим озорным парнем, цеплялась за его твёрдое плечо.

Афанасий перекрикнул грохотание:

— Выучусь — и вот так же, Катенька, попру по жизни!

Екатерина не поняла неожиданных слов своего возлюбленного, которые, казалось, нечаянно и некстати оторвались от его потаённых мыслей:

— Попрёшь? Не понимаю, о чём ты, Афанасий?

— Выучусь, говорю, и всей мощью попру по жизни! Ты знаешь, я силач. Ничто меня не застопорит. Пахать буду жизнь, чтобы урожай получался обильным. А если заартачится — по газам, по газам! — налегал он на педаль газа. Екатерину снова отбрасывало. — Пахотные ножи буду остро точить. Лучшим зерном засею поле нашей с тобой жизни. Вот так хочу жить! Только б, милая моя, выучиться, образование получить — и сам чёрт мне не страшен!

Она крикнула в его красное, будто раскалённое, ухо:

— А если людей зацепишь невзначай плугом?

— А-а, что люди! Они, точно этот дёрн: лежит себе, полёживает, непонятно зачем. А пришёл сильный человек, раскурочил его, разбил комки — и вот тебе благодать для всех. Сей, собирай урожай! Эх, много, Катюша, в жизни всякого разного дёрна, хочу разрывать его, культивировать!

Девушка поглядывает на парня, любит его, гордится: умный, красивый, сильный он у неё. Что там, богатырь, красавец, семи пядей во лбу! Лучший ученик школы, един-

ственный со всего района по направлению в институт поступает, а ещё какой труженик, активист, комсомолец. Он перехватывает её взгляд — не без самодовольства, но ласково улыбается. Она напрягается лицом для ответной улыбки, однако губы перекашиваются, лёгкое, игривое настроение сминается. Тяжелы, видать, её мысли, уже, по всей вероятности, не девичьи они, совсем не девичьи. Он, чтобы приободрить, притискивает её к своему боку, чмокает в маковку.

Внезапно тряхнуло, лязгнули ножи плуга, и трактор будто бы поплыл, оставляя позади нетронутую почву, лишь траву просекал. Афанасий шибанул педаль тормоза, рывками заглушил двигатель, выскочил из кабины. Смятой в кулаке кепкой — оземь, выругался, плюнул: станина плуга лопнула на сварном шве, зацепившись за брошенную в поле стальную раму сенокосилки; она скрыто и бог весть сколько лет пролежала здесь, отчасти засыпанная перекатным песком и суглинком, плотно перевитая сухотравьем. Можно подумать, замаскировалась и поджидала своего часа. И вот дождалась-таки.

В порыве ожесточённого отчаяния Афанасий подбежал к плугу, взмахнул кулаком — не садануть ли по нему хотел? Однако только лишь глубоко и горестно вздохнул, поник плечами. Побрёл степью, забыв о Екатерине, в сторону села.

* * *

Вечером в зимовьюшке за огородами, тайком от всего света, над Екатериной колдовала древняя бабка Пелагея, знахарка, травница, повитуха, давнишняя доверительная помощница местных баб и девок, пошедших на вытравливание, выскребание плода своей незрелой любви. Екатерина стонала, кусала подушку, а седовласая, сгорбленная женщина, навидавшаяся всего на своём веку, лишь приговаривала, хладнокровно орудия вязальной спицей:

— Ничё, девонька, ничё... Бог терпел и нам велел... Дитё убиваешь, посему и мучения тебе не по возрасту твоему малому, а по греху великому...

— Убиваю?

— Убиваешь, убиваешь... — бесцветно и нехотя поддакивала старуха.

Ночью через окно забрался к Екатерине в дом Афанасий, и она пересохшими, судорожными губами обожгла его и напугала:

— Хотел... убила... А забудешь меня... убью и тебя...

Целовал, стоя на коленях, потрясённый Афанасий её омертвело скрюченные, но пылающие руки:

— Люблю, люблю, Катюша, одну тебя люблю! Дай поступлю, учиться начну, а закончишь десятилетку — тебя вызову в город. Потом — всю жизнь вместе, любить буду до смерти единственно тебя, на руках буду носить... Любимая, прекрасная!..

А она в бреду и жару, уже не разумея его, шептала:

— Убила... по греху великому... убила...

Ушёл, покачиваясь и запинаясь, будто захмелел, обессилел. Выбрел, подальше от села и людей, на берег Ангары, уткнулся лицом в росную жёсткость травы, завыл без слёз. «Хотел... убила... хотел... убила...» — занозами вонзались в его сердце жуткие слова.

Как жить теперь? Недавно, днём, так мечталось, так пелось во всём его существе, так ясно виделась даль жизни и судьбы! Теперь же — мрак, жуть, путаница. А что вынесла его бедная Катюша, если сказала «убила»? И беспрерывно втыкаются в его сердце беспощадные слова: «Хотел... убила... хотел... убила...» И не спрятаться, не увернуться от них, и никак не обмануть себя, не успокоить. Кажется, сама тьма ополчилась и изрекает, наказывая, карая, затягивая в какую-то пропасть, как в могилу.

Чёрный окоём, наконец, стронулся замутью робкого утра. Переяславка мало-помалу выявляется избами и огородами из дремучих потёмков. Вспыхивают огоньки в окнах, коровы призывно мычат, овцы гомонятся, плещутся о воду вёсла бакенщика, птицы хлопают крыльями по густому знобкому воздуху, отовсюду привычные приметы жизни родного села и округи. Так неужели рассвету, а потом и дню наступить? Неужели жизни быть прежней? Но понимает Афанасий — не бывать, не бывать ей прежней, не вернуться в бес-

печную, вольную юность свою. Пойдёт он сейчас по улице, встретит односельчан, дома увидит мать, отца и брата Кузьму, но сможет ли ему открыто смотреть им в глаза, привычно общаться? Как жить теперь, как жить?!

А утро напирает, берёт своё, засевая дали земли и неба светом и сиянием. Просторы открываются шире, ярче, раздвигая пределы для неминуемого нового дня, для продолжения жизни. По Ангаре и волглым пойменным лугам раскатился блеск — солнце выплеснулось из-за хребта правобережья первыми лучами. Далеко-далеко стало видно; земля — бес-предельна, небо — неохватно, и Афанасию хочется смотреть только вдаль, только вдаль. Там — другая жизнь, там город, там столько возможностей, чтобы учиться, а потом продвигаться по жизни, там, несомненно, легче будет забыть ужас нынешней ночи и, может быть, удастся начать какую-то новую жизнь.

«Новая жизнь, новые люди, большие дела...» — шепчет как молитву Афанасий.

Но одновременно его сердце тяжелеет грустью: Катенька, его бедная Катя-Катенька-Катюша! Он уедет из Переяславки, не может не уехать, потому что ему надо учиться, он оставит любимую — и что же она? Ему сейчас тяжело, а каково Катеньке, какие мучения она выдержала! А потом как ей будет жить без него? Зажигаются в памяти её удивительные, лучащиеся чарующим свечением глаза, не насмотреться в них. И не налюбоваться её кроткой, но гордой красой с роскошными волосами, с косой её знатной, не наслушаться её тихого, но строгого голоса, вся она пригожая, необыкновенная, желанная, единственная.

Чуть расслабилось сердце парня, потянуло губы к улыбке, да снова, снова, будто карая или зловредничая, вторгаются в сознание страшные, ломающие волю слова: «Хотел... убила... хотел... убила...»

Воздух густой, влажный, холодный, Афанасий глубоким, зловатым захватом вбирает его в грудь, как студёную воду в жару, казалось, силась вытеснить из неё гнетущие, уго-льями жгущие чувства и воспоминания.

Ангара перед ним как широкая, выстеленная зеленцевато-голубым бархатом дорога; долга она, широка, ясна, дивна — иди и радуйся. Да, иди и радуйся. А какие просторы и дали вокруг! В груди ширится какое-то сильное, могучее чувство. Да, да, иди и радуйся, молодой, сильный, целеустремлённый. И смело, гордо иди!

Тайга по левобережью — нет ей пределов, великим лесным океаном захватила она землю, вздымается к небу валами сопок и гор. Промышляя с младшим братом Кузьмой, порядком исходил Афанасий левобережные дремучие леса за годы войны. Подкармливалось тайгой всё село, а Афанасий, фатовый, смекалистый охотник, к тому же невероятно выносливый, упористый, набивал дичи столько, что раздавал старухам и бабам с малыми детьми. Они величали его «наш кормилец».

Правобережье — обширное полустепь с полями, луговинами и подпушками перелесков, но немало и богатых, корабельных сосновых рощ. Охваченная полями Переяславка дородным своим туловом жмётся к Ангаре, будто корова, выбредшая с выгона, чтобы напиться воды. А вон кладбище сереньким облачком прильнуло к склону холма; а рядышком с погостом — оборудованная под склады облупившаяся церковка без креста. Дорога-большак, вырвавшись из плутания по оврагам и буеракам, на Бельской седловине вонзается в Московский тракт и устремляется к городам — Усолью-Сибирскому, а там дальше — и к самому, величаво говорили старые переясловцы, «граду нашему стольному» Иркутску. По этим дорогам он, Афанасий Ветров, пойдёт и поедет в большую, новую жизнь, и столько всего ему предстоит совершить! Впереди, несомненно, интересная, прекрасная, захватывающая жизнь.

А позади неизбежное, горестное — война. Позади гибель в Сталинграде старшего брата Николая, полуголодное существование семьи с отцом-инвалидом, которому в Гражданскую осколком снаряда отсекло левую руку по плечо, и уже немолодёнкой, хворой матерью. Позади и затаённый стыд, что, как ни рвался, ни буянил в сельсовете и военкомате, не попал на фронт, такой здоровый парнишка, уже лет с четырнадцати — мужик мужиком статью, норовом, да и умом не младенец. Зато в колхозе трудился за десятерых: и в конюховке подсоблял, и на скотник, если направляли, шёл и воровал навоз, и на трактор

сел уже в тринадцать годков и был сноровист за рычагами как мало кто в округе, и в кузне был желанен — молотом омахивал будь здоров. Но успевал Афанасий и учиться, благо, школу не закрыли, хотя собирались, потому что учеников из старшекласников набиралось к каждому сентябрю не более семи-восьми человек, и ближайшая школа оказалась бы за двадцать вёрст. Не находишься туда каждый день, пришлось бы оставить учение, удовольствовавшись семилеткой. Можно сказать, судьба поспособствовала, чтобы Афанасий закончил десятилетку, и теперь мечта его, необоримая и лучезарная, — высшее инженерное образование.

Начинается другая, совсем другая жизнь. Она непременно будет счастливой для всех. Афанасий верит: легче, веселее заживут люди, и сытнее, да, наконец-то, сытнее. Будут надеяться вволю. За войну многие семьи и лебедой пробавлялись, и крапивой, и жмыхом — кормом для скота. Что производил колхоз — подчистую фронту, госпиталям, заводам; даже молоко и картошку нечасто видел селянин на своём столе. И не придут отныне в Переяславку похоронки, а их нагрнуло, переворотив души, немало. Не слышать надрывного вдовьего воя, хотя плакать и скорбеть, конечно, ещё долго, очень долго, очень.

Стоит Афанасий перед Ангарой и тайгой, перед великими просторами земли и неба и ощущает себя богатырём. Хочется ему героически, непременно как-нибудь ярко, с размахом, «как Стаханов», трудиться. Но в деревне он не хочет оставаться, ему здесь негде развернуться, вроде как мала она для него. Страна поднимается, отстраивается, и он хочет участвовать в великих стройках и делах.

Широка, дивна земля, на которой Афанасий родился и живёт, и он чувствует, что и жизнь его должна быть под стать его родной земле.

Уже светло, надо идти домой. Поспать, вздремнуть, конечно, не получится; позавтракает наскоро, что матушка выставит на стол, — и в поле, вспахивать целину. С мехдвора уже слышны чихания и рокот тракторов.

Пошёл, зачем-то крепко, но и машисто ступая по тропе, да взглядом случайно скользнул в сторону пастушечьей зимовьюшки. Тотчас подскёк шаг, будто запнулся Афанасий: снова вспомнилась Екатерина, его бедная, страдающая Катенька. Недалече от огородов перед развалом выпасных лугов сутулятся зимовьюшка, схороненная от белого света черёмуховым чащобником. В этом пустующем зимами и ранними вёснами домике вечерами любили, пьянея нежностью и восторгом, с нынешнего марта Афанасий и Екатерина. Истопят, бывало, печурку, расстелит Афанасий на топчане свою широкополую богатую медвежью шубу (медведя сам завалил), прильнут друг к дружке — и нет всего белого света для них.

Опять всколыхнулось, будто шипами проскребло по сердцу: «Хотел... убила... хотел... убила...»

— Да что же, всю жизнь мне терзаться?!

У кого спросил, в отчаянии помахивая головой, упираясь глазами в дорогу? Никого не было рядом, только его родная земля, стряхнувшая ночь, только распахнутое во все пределы небо, горящее зарёй нового дня.

2

Через неделю с небольшим, починив плуг и вспахав-таки задичавшее поле, Афанасий попрощался с Екатериной и отбыл в город для сдачи вступительных экзаменов в политехнический институт.

Накануне вечером он прокрался к Екатерине в дом. Лежала она на кровати тусклая, утянутая. Он не смог открыто посмотреть в её глаза, стоял на коленях перед её кроватью, тыкался губами в её ладони, как младенец. А она шептала, пытаясь погладить его по голове, но рука не слушалась, сваливалась:

— Любимый... любимый... Что бы ни случилось, я навсегда твоя...

— Катенька, я виноват перед тобой... виноват... виноват...

— Глупенький, я — женщина, мне и положено маяться по нашим бабьим делам, — помолчала, прикусывая губу. — Ты меня не забудешь, не бросишь?

— Я тебя могу забыть, бросить?! Да ты что, Катенька!..

Она через силу улыбнулась:

— Смо-о-о-три-и-и мне!.. — и следом проговорила очень тихо, чтобы, казалось, никто-никто не услышал, даже Афанасий, а может быть, и самой себе боялась признаться в этом: — Я люблю крепко, до того крепко, что жутко больно бывает в сердце. — Помолчав, пришепнула: — Моя любовь не разорвала бы его.

Он, наконец, взглянул в её глаза, надеясь увидеть в них улыбку, ласку, прежнее, ещё совсем детское, милое ему простодушие. Но в её глазах зияли глубины, из которых сверкали и били острые лучи, а не как обычно струился тихий, приветный девчоночий свет. Она разительно в день-два повзрослела, она стала другой — непонятной, непостижимой, какой-то не от мира сего, подумал Афанасий, потупляясь, очевидно, боясь её глаз.

Вымученная болями и бессонницей, Екатерина затихла, задремала. Растерянный, потрясённый, Афанасий, как заворожённый, смотрел на её строгое, прекрасное, любимое, но тусклое, измождённое лицо, напомнившее ему лики с икон, которые мать прятала на чердаке. Потихоньку, оборачиваясь, ушёл, ссутуленный, казалось, не имея сил распрямить плечи, вздохнуть в полную грудь. Дома не смог уснуть, как ни пытался. Её глаза, её слова, её страдания жили в нём, озадачивая, тяготя, мучая. «Что ж ты, любовь наша сладкая, загорчила, полынью запахла?.. А-а, вон оно чего: «хотел — убила!» — с преувеличенной язвительностью усмехнулся он во тьму, словно бы там мог кто-то скрываться и подслушивать его мысли. — Убила! Убила! Хотел! Хотел!.. Повинен, понимаю... но жить-то надо! Чего же теперь изводиться? Забыть! Забыть!..» — отбивал он кулаком по спинке кровати.

Спозаранку в туманных сырых потёмках Афанасий уехал, точнее, ушёл на большак, наспех попрощавшись со своими домашними, вроде как убежал. Остановил попутку, забился в угол кузова и видел только небо, и смотрел, смотрел в него, казалось, чего-то отыскивая в облаках и высях.

Поначалу небо было глухим, дремучим, мертвенно-синим, и оно раздражало и даже злило Афанасия. Однако чем дальше от родного села — тем светлее, приветнее выявлял себя мир, и Афанасий утешался: «Вот как должно быть в жизни: светло, просторно и... и... оптимистично... да-да, оптимистично! Хватит мрака! Войну выстояли, голодуху... и — горевать? Ну уж нет!..» В душе понемножку отпускало, но уже прежней юношеской беспечности и лёгкости, понял он, в ней не поселиться никогда.

Поступил успешно, по баллам опередив всех. Вскоре, как было принято, его с одногруппниками направили на народнохозяйственные работы; с октября — учёба, библиотечные залы, общественные, комсомольские дела, неперменная вечерняя сутолока общезжития. Новая жизнь порывом подхватила его душу. Мало-помалу изглаживалась в памяти жуть той ночи и того мучительного прощания. А ненароком ярко и резко вспомнится — содрогнётся сердцем, поспешит к людям, чтобы в их кругу скомкались и приглохли нежеланные чувства и переживания.

Но Екатерину забыть он не мог — только она была его любовью, только о ней он думал с нежностью. Ни с кем не водился, ни одну девушку, даже самую раскрасавицу, не подпустил к себе, как ни увивались они возле столь видного парня, мужика-богатыря.

* * *

Что же Екатерина? Она долго и тяжело болела. Мать скрывала её от врачей, от глаз селян — держала дома взаперти, в сентябре не пустила в школу в девятый класс, потому что время было такое: за тайный, недозволенный властями аборт могла воспоследовать кара — тюрьма, лагерь, позор. Лечила как могла — мазями, примочками, отварами. По великому знакомству и за немалые, за ради Христа выклянченные у родственников и соседей деньги обследовали Екатерину в больнице райцентра, и вердикт врача был ужасен.

Этот врач, седенький, с прищипленным, чуть не на кончике носа потрескавшимся пенсне, смешновато суетливый и, очевидно, смешливый старичок, сказал раскрасневшейся, стыдливо понурой Екатерине, которая впервые в своей жизни перенесла гинекологический осмотр со стороны мужчины:

— Мало того, барышня, что спицей... или чем там из тебя изгоняли несчастного зародыша... занесли инфекцию, так ещё твои эскулапы-лапотники травмировали матку. Но умереть, любезная, ты не умрёшь, воспаление спадает, раны зарубцевались... как на собаке, сами собой, — хохотнул он. — Молодой здоровый организм берёт своё. Лечение я тебе пропишу и в стационаре полежишь немного, но-о-о... гх, гх... видишь ли...

Старичок неожиданно осёкся, бодренькая насмешливость, по всей видимости, была привычной для него в общении с пациентками, уже въелась в его натуру, потому он и заговорил по инерции как заматерелый профессионал в своём излюбленном назидательно-язвительном тоне и с Екатериной, однако, похоже, то, что он должен и обязан был сообщить ей, всё же заставило его опаматоваться, всерьёз задуматься. Он помолчал, прикусывая губу и отчего-то даже поёживаясь. Зачем-то встал, зачем-то прошёлся по кабинету и встал полуоборотом к окну, сцепив пальцы за спиной. Наконец, произнёс, не повернувшись к пациентке:

— Детей иметь вы... не... не будете, — отчего-то обратился он на «вы» и снова замолчал.

Екатерину как прибоем качнуло.

— Что? — тоненько спросила она, норовя заглянуть снизу вверх в глаза старика, но он не давался, и она выхватила взглядом только лишь потресканное стекло его пенсне, через которое остро и колко пробивался свет солнца.

— Н-да-с, неласково судьбинушка обошлась с вами, — не отозвался он на её вопрос, но задал свой, по-прежнему не желая смотреть в глаза: — Как же вы теперь будете жить?.. Впрочем, — снова спохватился он, вспомнив о своих профессиональных обязанностях, — вот направление в стационар и — ступайте, ступайте!.. с Богом, — примолвил он тихо, в ладонь.

И, низко склонившись над столом, притворился, что занят бумагами, стал беспорядочно ворошить их, подносить близко к глазам, бормотать.

Екатерина, едва передвигая ногами, вышла из кабинета.

— Чего врач сказал, Катюша? — спросила мать, под руку выведя её на крыльцо, подальше от людей, которыми был набит коридор.

Екатерина хотела ответить, но лишь просипела: нёбо и язык словно бы прикипели друг к другу.

— Бледнущая какая, аж сзелена!.. Ну, чего сказали-то?

Екатерина, показалось, выкашлянула:

— Жить, сказали, буду.

— А ещё чего?

Екатерина молчала. Без цели смотрела на первое попавшееся её глазам — на выцветший, потрёпанный непогодами плакат, который висел на заборе напротив: красноармеец пронзал штыком фашиста. Шепнула, разрывая слипшиеся губы:

— И я убила младенца... как врага.

— Что, что, доченька? Какого врага? Ну чего ты?!

Сглотнула и громко, вернее, отчётливо, явственно, приговором произнесла:

— Пустопорожняя я теперь, мама.

— Ай!.. Ай!.. — вздрогнула мать как после неожиданного, вероломного хлестка. — Батюшки!.. Да тише ты — люди не услышали бы... Смотри, никому ни полсловечка. Ужас-то какой! Господи, за что?..

Но как ни скрытничали, как ни утаивали свою скорбь — деревня прознала. Мать Афанасия на улице подошла как-то к матери Екатерины и сказала суховато, едва раздвигая замертвевшие в суровости губы:

— Ты, Любовь Фёдоровна, вот чего: Катьке своей строго-настрога накажи, пушай боле не липнет к Афанасию. Ему здоровая девка надобна, чтоб дитятки были, чтоб по-человечьи всюю жизнь жилось... а так чего же соделается? Несуразица одна. Твоя теперь вроде как ни парень ни девка, ни рыба ни мясо, ни то ни сё, как говорится, — без пощады колола женщина. — Уж не гневись на меня, а сыну добра хочу, и костями лягу, ежели чего.

— Да мне пошто гневиться, Полина Лукинична? — заробела сухонькая Любовь Фёдоровна перед хотя и недужной, присогнутой — спиной та маялась, сорвав её ещё в молодости на перекатке брёвен, — но величавой сложением и голосом матерью Афанасия. Зачастила не без подобострастия: — Ясный расклад: семья без деток — не семья, баловство на годик-другой. Поживут вместе маненько да разбегутся кто куды... В Бога-то нонче веры нету. Обнюхались впотьмах, опосля в сельсовете закорючки поставили в бумажках и давай жить-поживать в срамоте и грехе...

— Стало быть, уговорились, — удовлетворённо и важно подытожила, немилостиво обрывая разговор, Полина Лукинична и степенно попрощалась.

И стала мать нащёптывать Екатерине, чтобы забыла она Афанасия, чтобы и думать не думала о нём. Поначалу не понимала её молоденькая дочь, почему следует забыть любимого. Хотя и сама сказала, что пустопорожняя, да как же можно забыть своего «богатыря Афанасьюшку», ведь сердцу, известно, не прикажешь! Мать, видя забродившие в дочери недоверчивость и сомнение, — «додумать, дурочка молоденькая, ещё не может!» — напирала, призывая и толкувая, и подчас срываясь на угрозы:

— Отступись от Афанасия, забудь его. Напрочь изотри из памяти. Он парень ладный, славный... он должен быть счастливым. А не отступишься — под замком буду держать, не дозволю тебе даже издали видеть его... Доченька, уразумей: дитё ты ему не родишь, не одаришь его отцовским счастьем!.. Смирись! Афанасий утихомирится, если ты не будешь манить его, мельтешить перед его глазами. И оно всем из того выйдет польза...

Скажет так или немного иначе и — плакать, причитать, сетовать.

«Не рожу дитя? — исподволь холодно-влажной змеей вползал в разум юной Екатерины зловещий ужас её и Афанасия участи, её и Афанасия судьбы. — Он со мной будет несчастным?.. Смириться?.. Забыть?.. И он забудет меня?.. Поверить маме или своему сердцу?..»

Подумает и тоже — плакать, поскуливать. Но — украдкой, в бессонных ночах, гордо хороня и от матери, и от всего света белого печаль свою великую. Но мать слышала, понимая сердце дочери, и потому бдительно и неусыпно подстораживала: не наложила бы девка руки на себя.

Не наложила, однако, тиха стала, пасмурна, молчалива. До того часом задумается, что и громкого голоса, обращённого к ней, не услышит, не поймёт. Раньше с удовольствием тетешкалась со своей десятилетней сестрёнкой Машей, а теперь Маша подойдёт к ней, потянет за рукав, мол, поиграем, Катя, или — помоги с уроками? Но Екатерина приподнимет глаза на девочку — и та невольно потупится, отстанет: темь пустоты в них, ни искорки, ни лучика ласки и привета. Парень какой подступит к Екатерине на улице, заговорит с игривостью, — молчком отодвинется от него, и полвзглядом не поощрит.

Зимой, мало-мало оправившись, пройдя стационарное лечение, на ферму к матери устроилась дояркой, но людей сторонилась, ни с кем из женщин и даже со своими одногодками не сдружилась. Молчком работала, молчком и дома просиживала вечера, только много читать стала, к книгам как никогда раньше потянулась.

В январе определилась в вечернюю школу, блестяще выполнив контрольные работы за две первые пропущенные четверти. Она тоже, как и её любимый, хотела учиться, развиваться, её тоже влекла новизна жизни, другие земли, города, она тоже верила в величие своей страны, которую и ей, комсомолке, поднимать, отстраивать, славить со всем народом. Афанасий мечтает о великих стройках, о великих делах, Екатерина хочет быть рядом с ним, а потому разве может она остаться какой-нибудь полуграмотной, «неучью», «деревенщиной»? Как горячо он рассказывал ей о своих помыслах и устремлениях! Заразил её, влюбив в свои мечты и планы. Она разгадала сердцем — учение становится для неё единственной тропочкой к своему любимому, по которой возможно будет когда-нибудь прийти к нему и остаться с ним навсегда.

Самые блаженные, самые яркие, самые желанные её мысли — об Афанасии. Как раздумается о возлюбленном своём — разнежится девичье сердце, затянется в нём тоненький ласковый напев, а губы сами собой к улыбке потянутся. И улыбается, блаженствуя,

забывая, где она, что с ней. Однако материнское «забуди его, напрочь изотри из памяти» заставляет очнуться, обжигает в груди, вновь просыпается задремавшая было горечь. Не выдержит, застонет, даже если люди поблизости. Спросят у неё: «Ты чего, Катюша? То улыбаешься, то скулишь. Болит чего?» Не ответит, но чтобы не подумали чего-нибудь — улыбнётся, заспешит прочь от чужих глаз.

Мать, примечая безотрадные перемены в Екатерине и изболевшись душой, как-то раз сказала ей, уже не в силах унять досаду:

— Рожала бы тогда, ли чё ли. Пошто вытравила, со мной не посоветовалась, дурёха ты этакая? Старуха Пелагея сказывала мне — мужичок родился бы. — Всхлипнула, муж вспомнился: — Николай наш, родненький, Царствие ему Небесное, сгиб на этой проклятушей войне, вот ему продолжение было бы знатное. Мужиков-то ноне нехватка огромная. А так вишь чего спроворилось — Бог наказал нас, и тебя, и меня, и весь наш род Пасковых. Да уж и не впервой: в ту войну, в Первую мировую, его, Николаева, двуродная сестрица Агрипинка тоже ведь вытравила плод, говорили, мальчонка был. Так опосля ни один мужик в пасковском роду не родился на свет Божий. Вот этот должен был стать первеньким... от тебя... нашей кровинушкой... для всего рода искуплением и надеждой... Ах, как мы все наказаны, как покараны на веки вечные!.. Вон, победища какая приспела, народ по сей дён хмелен от радости и счастья... а нам, что же, печаль, тоска извечная?.. Боже праведный, помилосердствуй!.. Уж за Машкой буду смотреть, а ежели чего не людски сотворит, так сама прибью её, а опосля уж и себя порешу!

Но как только сорвалось «и себя порешу», так сердце обдало жаром страха. Глянула украдкой на Екатерину: не взволновалась ли она, не родилась ли в её головушке шальная мысль?

Погладила Екатерину по вдоль её роскошной, тугой косы:

— Не томись, доченька. Содеянного не поправишь. Без войны-то теперь всем счастье и фарт. Живи, как Господь уставил.

Екатерина спросила:

— Но как, мама, жить?

— Как все... — подумав, повторила: — Как все. — И тихонько примолвила: — Молись, авось Господь смилуется и... и даст тебе дитя.

— Смилуется?

— Известно испокон веку: всё в руках Божьих.

— Комсомолка я, как же мне молиться? И некрещёная к тому же.

Любовь Фёдоровна зачем-то обзирнулась, шугнула из комнаты только что пришедшую с прогулки Машеньку, чтобы девчонка потом не проболталась где-нибудь на улице среди детворы, тихонько-тихонька сказала в самое ухо Екатерины:

— Тайком в Тельминской церкви окрестила я тебя малюсенькой. Николай, Царствие ему Небесное, не хотел, упирался точно бык — в Бога не верил, коммунистом был по самую маковку. Шибко страшился, что прознают. А я с тобой тишком смоталась на подвернувшейся подводе, когда его в соседний район на уборочную отрядили.

— Но как же Бог даст мне ребёнка?

— А ты молись, молись, доченька. Господь всемилостивый.

— Всеми-и-и-лостивый... — певуче повторила Екатерина, очевидно вслушиваясь в редкое для себя, забываемое окружающими людьми слово.

И частенько потом так же пела про себя, если горечью начинало жечь сердце: «Господь всеми-и-и-лостивый...» Но молиться пока не умела и в церкви ни разу не побывала. Может, и завернула бы, будь она где рядом, в родном селе. Но в Переяславке храм ещё в конце двадцатых разрушили, кирпичи частью использовали на постройку школы, частью растащили по дворам. А ближайшая церковь далече, за десятки километров, в Тельме.

Однажды к Пасковым пришла старуха Пелагея.

Екатерина в сумерках стылого, завывающего февральского вечера возвращалась до-

мой с фермы и в потёмках по-за поленицей заметила ворохнувшуюся в её сторону горбатую тень. Девушка испугалась, отпрянула, но, зоркая, разглядела тотчас — это скрюченная летами и хворьями, запорошенная позёмкой старуха Пелагея приподнялась с чурки, на которой, похоже, уже давно сидела. Застыла до того, что едва губы раздвинула; закашлялась, ржавью засипела:

— Наконец-то, дева, дождалась тебя. Чую смертыньку свою, а потому приковыляла к тебе, — повиниться должно мне, удавку на душе моей ослобонить хотя бы на крошечку. Ещё по осени прослышала о твоей беде, да чаяла — лекаря ошиблись, авось, надеялась и Бога молила, обойдётся. А сёдни в сельпо бабы взъелись на меня: погубила-де ты, ведьма такая-растакая, девку. Чуть не побили меня, кто-то в спину шпынул, кто-то плюнул вдогон. А лучше б было, отдубась они этакую тварь... Да чего там: убить меня мало, собаками затравить, четвертовать!.. Каюсь, дева, повинна и грешна я, что вытравила плод, непоправимый урон тебе причинила. Отговорить мне надо было тебя, такусенькую несмышлёнку, соплячку ведь ещё, прости уж. А то и к матушке твоей сходить: покалякали бы с Любонькой по душам, я ведь её сызмала помню, с родительницей ейной товарками мы были не разлей вода... Знаю, и все о том говорят, славная ты девка: и умница, и красавица, и труженица, и рукодельница, и норовом мягка и кротка, и косу не обрезала как другие шлынды, — дева ты, одно слово! Де-е-е-ва! Эх, счастья бы тебе выстелилось на цельную жизнь с Афанасием твоим. Хлопец он знатный, работающий, башковитый. В войну задарма снабжал меня дичью, рыбки подбрасывал, лисьей шкурой однажды одарил. Всем селом боготворим его. Гордимся, что в городах он во всяких там академиях обучается. Чую, большим ему человеком быть... Но как же, родненькие, теперь-то вы? Матушка Афанасьева, слыхала я, взбеленилась супротив тебя: не нужна, мол, мне пустопорожняя невестка... Ай, ай, ай! Что же будет, как же вам пособить, деточки вы мои, какими словами и подношениями умиловить судьбину!.. Прощения не прошу, потому как непростима вина моя перед тобой и людьми, а вот так оно, додумалась я, оно вернее будет, по Божескому...

И она повалилась перед Екатериной на колени, губами — по ступням её тыкаться, обутым в валенки.

— Что вы, бабушка, что вы!.. Встаньте, пожалуйста, не унижайтесь... — уже задыхалась слезами Екатерина, сражённая откровениями и скорбью старухи.

Попыталась поднять её, но силы оставили девушку, и она тоже свалилась на колени. Обняла старушку, и они вместе плакали, рыдали, утешая друг друга и поднимая глаза к небу, беспроглядному, давленному тучами и мраком.

— Нет и не может быть вашей вины, бабушка, потому что сами мы решились... Не было бы вас, ведь пошла бы я к другой... Не стойте на коленях, прошу...

— Я не только, дева, перед тобой преклонила, а перед всем Божьим светом, перед всеми людьми, перед Переяславкой родимой, перед мужиками нашими, сгибшими на войне и покалеченными, перед всеми младенцами, коих я сгубила за свою долгую, но, разумею ныне, беспутную жизнь. Не утешай и не подымай меня, дева, дай помереть мне на сем месте, на коленях...

— Господь всемилостив, бабушка, — шепнула Екатерина, инстинктивно, как и мать её подчас, когда поминала о Божьем, оглянувшись: нет ли кого-нибудь поблизости, не слышат ли.

— Ай, как ты хорошо сказала... Не забыл бы Спаситель наш о тебе, дева, об Афанасии твоём, и пока жива я — молиться буду.

— Он и о вас не забудет, бабушка. Он же всемилостивый. Понимаете, всемилостивый!

— Конечно, конечно, дочка, всемилостивый! Но я-то уже отпетый человек, пропащая душа. Не надо обо мне помнить ни Богу, ни людям. Вычеркните меня из списка живших...

— Бабушка, бабушка! Какие страшные слова вы произносите!

Так разговаривали, приобнявшись, две женщины, младая, как распутившийся цветок под солнцем, и древняя, как обглоданное непогодами одинокое деревцо на пустыре, стоя на коленях друг перед другом во тьме и холоде, на промёрзшей земле, под ветром, невидимые никем из людей, но верящие, что Господь зрит их, внимает их словам и помыслам.

На непрестанный брех собак выглянула из сеней Любовь Фёдоровна, охнула, всполюшилась. Раздетая, простоволосая, кинулась во двор. Вдвоём мать и дочь подняли в упорствовании зацепившуюся за слежалый наледистый снег старуху, завели, уговаривая, всячески обласкивая, в дом. Поили чаем, потчевали припасами, все вместе всплакнули, попричитали, повздыхали, будто в комнате лежал покойник. Уже за полночь под руки увели стихшую, истомлённую Пелагею в хибарку её. Уложили в кровать, а предварительно затопили печь — в единственной комнатухе господствовала стынъ. Разило нежилью; кроме сложенной из досок кровати, пары расшатанных стульев и стола ничего не было. С незапамятных времён обреталась старушка одна в этом полуразвалившемся, обнищавшем домике на самой окраине села, на опушке таёжного чащобника, почти что в лесу, и жильё её величали домиком на курьих ножках, а саму обитательницу его — ведьмовкой, каргой. Судьба Пелагеи поистине была безрадостной, изломной: двоих сыновей и мужа не дождалась она ещё с Гражданской, а иного счастья не захотела, ещё будучи тогда довольно молодой и к тому же красивой женщиной; нового семейного гнезда не свила, хотя могла. Говорили, что любила она своего мужа столь страстно и верно, что не смирилась с приговором судьбы, отнявшей у неё и мужа, и детей. Так и жила одна, одиноко, закрыто, даже отстранённо от людей и их дел; ни в колхоз не вступила, ни разу в общих новых праздниках не участвовала. Только и знали о ней, что бабам была мастерицей пособить, в знахарстве дужа.

Через несколько дней соседи обнаружили Пелагею мёртвой в её жилище. Печь была нетоплена, холод страшный, съестного — ни крошки. Одни говорили, что, мол, уморила себя голодом, другие — выпила какой-то травоядный отвар; судачил и даже злословил переяславский народ, не понимая старуху. Как жила, так и ушла от людей — загадочно, тёмно, в одиночестве полном. Быть может, единственный человек, кто хотя бы немножко понял её и был готов к сочувствию и состраданию, была Екатерина: она догадалась, что душа у старушки была открытой, чтобы принять свет. И на похоронах Екатерина оказалась одной-единственной, кто плакал, впервые в своей юной жизни прикоснувшись к обжигающе ледяной тайне бытия, извечно замешанной на смерти. Почему старушка так жила и почему так умерла — кто теперь ответит, кто поможет понять? На поминках Екатерина слышала перешёпоты подвыпивших женщин: что, мол, когда-то судьбина жестоко обделила Пелагею, отняв у неё родных людей, и Пелагею, в свою очередь, сполна отыгралась за свои невзгоды и напасти, всю жизнь вытравливая зародышей, а может, и травя людей; даже случаи припомнили. «Глупые», — подумала о них Екатерина, вставая из-за стола и не желая слушать дальше и сидеть со всеми.

А ночью в постели затосковала, раздумалась и заплакала, давая дыхание, чтобы не заскулить: «Но если и я озлоблюсь на жизнь и судьбу? Бросит меня, пустопорожнюю, Афанасий, и справлюсь ли я с ужасом одиночества? Ведь другого я никогда не смогу и не захочу полюбить!»

— Афана-а-а-сий, — на подвздохе шепоточком позвала она. Позвала в надежде на чудо, как случается с маленькими детьми.

Но чудо жило и билось только в её сердце.

4

Своим извечным чередом наступила весна. Уже с середины марта земля, хотя и дубела и потрескивала, поледенённая на знобких зорях, днём млела и сочилась в пригревках. Весна начиналась ранней, обещающей. И хотя утрами снова владычествовал мороз с позвоном и потреском льдинок под ногами, к обеду — неизменно великолепие весны с отогретым, духовитым — желанно для крестьянина пахло навозом и землёй — воздухом, с радужно искрящимися сугробами, с ласковым свечением высокого чистого неба; над полями и лугами курчавились, тая, дымки. Ангаре ещё долго, до припёков апреля и начала мая, быть стеснённой льдом, однако вся она уже загоралась проталинами, поминутно взблёскивала вдруг рождавшимися ручьями и лужицами среди жирных, но уже изноздрённых солнцем навалов обледелого снега. Переяславка к концу марта вся вычернилась крышами по-

строек, улицами и огородами; а к началу апреля снег уже полностью сошёл, ухватившись за землю лишь только в тайге, в посевных тенётах. И хотя село стало выглядеть как-то печально наго, даже неприглядно, однако эти печальность и неприглядность тешили душу селянина после нынешней суровой, снежной зимы, обещая скорое долгое тепло апреля, мая и целого, целого лета впереди.

Зимой Екатерина сдерживалась, но чуть приголубило землю весеннее солнце — затомилась вся, каждой жилочкой своей захотела любви и привета. Не забыть ей Афанасия, не вытолкнуть его из сердца своего! Ждала любимого, как он и обещался перед отъездом, в январе после сессии, однако он не появился в Переяславке. Но не знала Екатерина — он слал ей письмо за письмом, рассказывая, как живёт, как любит её. Однако ни одно письмо не дошло до Екатерины, потому что на почте работа двоюродная сестра Любови Фёдоровны Шура — ей по уговору и передавала их. Любовь Фёдоровна тишком да скоренько прочитает, всплакнёт, но одновременно и порадует ласковым словом парня, обращённым к её дочери, и — в печь бумагу, в полымя, предварительно зачем-то тщательно, на мельчайшие кусочки изорвав, словно бы боялась, что и огню не одолеть слов любви. Екатерине, — ни слова, ни намёчка. Если же приметит, что дочь снова затосковала, сникла, начнёт честить весь мужичий род: что и нечестны они, что кобеля они оканные через одного, да про соблазны в городах размалует, про отчаянных бабёнок не забудет добавить, вешающихся на кого ни попадя. Екатерина не прерывала мать, не возражала, но на почту несколько раз забегала:

— Тётъ Шура, нет ли мне письма?

Полненькая, совестливо пунцовеющая тётя Шура, уставившись взглядом в пол, косноязычно бормотала:

— Да... подишь... нетути... Катюша, — и бочком, в ползгиба от племянницы. С приторным усердием принималась перебирать ворохи бумаг и отправлений.

— Если будет — дайте знать. Прилечу пулей!

— Угу, — хоронила тётя Шура уже горящее лицо под стойку, и Екатерина видела только её широкую пухлую спину с повязанным на поясице — «ушками кверху», посмеивалась про себя племянница, — козым платком.

Ни одного письма не попало в руки Екатерины. Но наведывались в январе в Переяславку бывшие одноклассники Афанасия, они тоже учились в Иркутске. От них узнала: жив-здоров её возлюбленный, что ещё в ноябре пошёл работать на завод драг — в стране не хватало рабочих рук, повсеместно требовались слесаря, плотники, кузнецы, вот он и откликнулся на призыв обкома партии и записался в комсомольско-молодёжную бригаду. Днём — учёба, аудитории, зачёты и экзамены, а вечерами в будние дни и в дневную смену по выходным — в кузнечном цеху у горна, с молотом в руках. «Какой же он у меня молодчага!» — гордилась Екатерина.

Терпела она, ждала, терпела, ждала. Да сколько ж можно?! Да что с ним, в конце-то концов, такое?! Почему не пишет, как сулился?! Надо во что бы то ни стало увидеть его: если бросил — пусть скажет в глаза. Не надо щадить, унижать ложью: перемелется — мука, говорят, будет.

В конце апреля не выдержала, как не может устоять перед напором высокого весеннего солнца снег: стужа, сугробы — но вот и ручьи, водополье по земле. Сорвалась: на выходные да с двумя заработанными по воскресеньям отгулами тайком отбыла в Иркутск, а матери сказала: на дальнюю ферму, мол, на подмогу посылают.

Добиралась на перекладных, попутками, а то кое-где и пешком привелось. Изрядно протрясло её в кузове полуторки: дорога, хотя и прозывается Московским трактом, сплошь в этих притаёжных районах она ухабами и рытвинами; к тому же шофёру было по пути лишь до Усолья-Сибирского. На станции, увидела Екатерина издали, пыхтел, блистая красной звездой, паровоз пассажирского поезда, и можно было купить билет, но, досада, денег маловато: в платочке на груди пригрелись завязанные серебрушки-медяшки; в семье никогда не водилось лишней копейки, да и когда в колхозе последний раз оплатили трудодни «живыми» деньгами — не вспомнить, чаще крупами, картошкой, изредка и понем-

ножку — убойной. Снова ловила попутку, но остановилась лишь только подвода — телега с ворохом соломы, в которую впряжена исхудалая лошадка. Что ж, подвода так подвода! Лишь бы не задерживаться, а ехать, лететь, плыть, ползти к любимому, коли решилась!

Доскрипела телега до Биллектая, придорожной деревеньки. «Я, — буркнул возница, — дома». А до Иркутска ещё километров под семьдесят. Пошла Екатерина по шоссе; первая, вторая, третья машины не остановились: то людьми забиты, то грузами. Четвёртая притормозила, место только в кузове. «Живее!» — гаркнул шофёр, выплёвывая изжжённый «бычок». Забираясь по высокому щербатому борту, поцарапалась, занозилась, зашибла колено, но в душе — восторг, песня: скоро, скоро увидит любимого, скоро, скоро пристально посмотрит в его глаза и поймёт — нужна ли, не забыл ли, любима ли?!

В дороге машина, чихая и сипя изношенным мотором, поминутно глохла, шофёр, мажущаяся и чиркая спичку за спичкой, чинил. А уже надвинулся серый гущиной вечер, из распадков и болотистых луговин потаёжью разбойником набрасывался зловатый ветер, знобило, лихорадило; нигде не скрыться. Эх, наверное, зря не оделась по-зимнему, теплее! На плечах — приталенная, кокетливо беленькая дошка на рыбьем меху, на ногах — трикотажные, в модную полоску чулочки да ботики на высоком каблуке. Не пуховой, хотя и громоздкой, но такой любимой шалью повязана голова — мяконьким тонкорунным гарусным платочком с игривыми серебристыми нитями. Зря или не зря столь легко и легкомысленно обрядилась, но охота же перед любимым показаться во всей красе, поразить его, очаровать, взволновать, наконец-то. Всю зиму прикупала в сельпо и выменивала на картошку у наезжих цыган одежку, лелея в мечтах красивую и, несомненно, поворотную встречу с любимым.

К утру, в знобких туманных сумерках, добралась. Добралась-таки до «стольного града Иркутска» — вспомнила она фразу из какой-то книжки. Высадили её где-то в Глазково. Глядит, озираясь, — безбрежная деревня перед ней, а не город. Из печных труб валит дым, собачий брёх несётся из подворотен, а ещё ржут и храпят лошади, и даже слышно мычание коров и блеяние овец. Впереди, сзади, слева, справа — мгла, безлюдье, чужина. Куда идти, что делать? И только здесь уразумела: а ведь ведать не ведает, где разыскивать Афанасия. Даже не знает, как правильно институт его называется. Да и в Иркутске, в большом городе, в такой несусветной дали от дома, от родной Переяславки впервые.

У дородной бабки, обвешанной бокастыми корзинами с картошкой, спросила, где учат на инженеров? Та, поторапливаясь, видимо, на рынок и тяжело отдышавшись, мотнула головой: «Ступай, девонька, туды: тама, кажись, анжанерный иститут». Екатерина долго шла по петляющим гористым улицам и заулкам, вчитываясь в надписи на домах, выискивая какие-нибудь хотя бы мало-мальские приметы учебного заведения. Однако где оказалась — незнамо-неведомо: в каком-то тупике с навалами брёвен и чурбаков, по-видимому, забрела на дровяной склад. У другого прохожего, щуплого старомодного дядечки в расколотых очках, с вдруг явившимся в голосе раздражением спросила, будто потребовала: «Да где тут у вас, наконец-то, учат на инженеров?» Ей солидно и авторитетно указали в совершенно противоположную, далёкую, очень далёкую, да к тому же схороненную смогом, сторону: «Во-о-н там, сударыня, на правом берегу Ангары».

«Господи, помоги!» — в отчаянии, на срыве взмолилась Екатерина, однако решительно направилась по указанному направлению. И, можно было подумать, на небесах услышали её возглас: вспомнилось яркой взблёской заветное слово «драга», «завод драг»! — даже застопорилась она: на инженеров могут учить и в десяти местах, а вот завод драг уж точно один-единственный в городе. Метнулась к первому встречному, не на шутку испугав его: «Скажите, пожалуйста, где делают драги?!» Суховато-обстоятельной скороговоркой и на ходу ей объяснили, указав туда же, на правый берег Ангары. И она, словно бы крылья у неё вмиг вымахнули за спиной, побежала-полетела, убыстряясь, задыхаясь, полыхая душой и телом. Там всенепременно знают Афанасия: такого большого, бойкого, унягу как можно не знать, не выделить из толпы? Там всё и выведает. А может, Афанасий и по воскресеньям работает? Он — стахановец, семижильный. Вот радости-то добавится!

Любознательная, пытливая, приметливая, успевала и озираться: кругом — город, кругом — другая жизнь, и сколько всюду людей и машин, людей и машин — впервые столь-

ко видит. Машины «рычат» как собаки, только что не накидываются на людей и друг на друга. Никто из прохожих и не взглянет на встречного, никто никого не поприветствует, у всех свои дела, заботы, каждый сам по себе, особнячком, не как в деревне: если на улице встретишь кого-нибудь, обязательно постоишь поговоришь, хотя бы просто о здоровье справишься, а прощаясь, — зачастую и раскланяешься.

Вышла к железнодорожному вокзалу, одолев бессчётные, сплошь взъёмные холмы и замысловатые улочки, ещё раз два уткнувшись в тупик, в высоченные заборы из горбыля. «У нас в деревне таких не встретишь. От кого запрятываются?..» Площадь перед вокзалом заполонена народом, трубят, пыхают паровозы, скрежешут, бабахают сцепляемые вагоны, поминутно свистит постовой милиционер, чеканно отмахивая полосатым жезлом, из репродукторов — громогласное хрипение объявлений. Досадую, а то и сердясь на любого, кто мешает ей идти быстро, с ускорением, продвигаться вперёд, вперёд, туда, где сейчас может находиться её любимый, выбилась из толчеи, побежала по длинному, очень длинному мосту через Ангару. Той стороны не видно — кварталы в месиве тумана и дыма; непонятно, сколько ещё километров нужно одолеть. Поспешает Екатерина, обгоняя прохожих: чувствует, любимый где-то близко, недалече. Сердце — в огне, кровь — кипиток, в голове — гуд, однако по-прежнему бдительно и зорко примечает черты и чёрточки этой новой для себя жизни: река ещё во льду, лёд же — сер, чёрен, прокопчён дыханием города с его кочегарками, неисчислимыми трубами печей, выхлопными газами автомобилей, дымом и паром локомотивов. Дома Ангара другая: в любое время года сияет, светится, маня к себе, нежа глаз и сердце. Что же здесь? — жалкая она, сиротливая, может быть, и ненужная людям. Да, ненужная, обременительная: никто на неё и полвзглядом не глянет, все торопятся, глазами — в дымную даль или же под ноги себе. Уж не сердчат ли, что город разрублен рекой на две половины, что мост ужасно длинный, а потому столько неудобств?

За мостом город хотя и стал немного на город походить, но всё равно удручил и опечалил Екатерину. «Небоскрёбы» — она впервые увидела четырёх— и пятиэтажки — шерегами заслоняли и без того сегодня низкое, наморщенное небо, угадываемые таёжные просторы; солнца ни на капельку не видно. Трамваи громыхают по стыкам рельс; здесь гуща автомобилей и людей. Отовсюду шум, треск, гвалт. Запахи неприятные, чуждые; пыльно, дымно. Вот он какой город: неуютный, равнодушный, суматошный, всяк собою занят. «Пожил мой Афанасий туточки и каким же теперь стал? — тревожно Екатерине. — Ему тайга нужна, раздолье полей, наша Ангара... а в городе он захилеет. Он тут, наверное, точно большой зверь в тесной клетке...»

У хлебных, продовольственных магазинов — давка, ругань, рядом костры дотлевают, видимо, народ с ночи стоит в очередях. Ещё голодно жилось, хлеба было мало. Но Екатерина зимой слышала на комсомольском собрании, что уже в нынешнем году продуктов будет вдосталь и продовольственные карточки, наконец, отменят, так сказал по радио товарищ Сталин, так пропечатали в «Правде». А уж если что сказал товарищ Сталин, а уж если о чём пропечатали в «Правде», знает и верит Екатерина, тому иначе никак не бывать. Сказал в начале войны товарищ Сталин, что победим врага, — и победили. Вот какое его слово! Его слово, слышала Екатерина, «самая стальная на свете сталь». Ей хочется подойти к очереди и сказать: «Люди, дорогие, пожалуйста, потерпите ещё немножечко: скоро жизнь станет лучше и легче! Мы все любим товарища Сталина и верим ему!»

А вон на площади и портрет самого товарища Сталина: большущий, под стеклом чёрного полированного «ящика» — назвала про себя Екатерина громоздкую, толстую раму, — окаймлён пышными искусственными розами; под ним череда «портретиков», — члены политбюро, соратники. Торжественная, величавая, «как иконостас», невольно сравнила Екатерина, композиция из портретов. «Точно покойника в гробу украсили товарища Сталина этими дурацкими мишурными бумажками. Ой?!» — тотчас испугалась девушка своих мыслей и, как иной раз случается с матерью, когда что-нибудь не то ляпнет, украдкой озирнулась, словно бы кто-то мог услышать её внутренний голос, разгадать чувства. Но услышать её могли единственно воробьи и голуби, они слетались в примыкающий к площади сквер, чтобы полакомиться зерном и семечками, которые раскидывали отдыхающие граждане.

Дальше, как и указано было ей направление, мчится Екатерина, однако, с неослабевающей пытливостью вглядывается в ранее неведомые для неё приметы городской жизни. И новые запахи ухватывает. «Фу, чем пахнет?!» Видит: рабочие лопатами укладывают на дорогу какую-то чёрную жирную кашу, уплотняют её тяжёлым ручным катком.

— Что это, дедяньки? — любопытствовала Екатерина, приостановившись.

— Чёрная икра! — загоготал маленький мужичок в заношенной, клочковатой армейской телогрейке, под ней — выцветшая гимнастёрка без подворотничка. Левая щека у мужичка срублена, вместо — страшный стянутый шрам, и уха нет. «Фронтовик», — поняла Екатерина и почтительно опустила перед ним глаза.

Вся бригада покатилась хрипатым прокуренным хохотом, очевидно, радуясь поводу, чтобы немножко передохнуть. На многих военное заношенное, без погон и других отличительных знаков обмундирование. Екатерине ясно — и они фронтовики, и у них, на верное, есть ранения.

— Хошь, красавица, попробовать? — не унимался маленький мужичок без уха. — Накась мою боевую подружку, — вынул он из-за голенища стоптанного солдатского кирзача ложку и протянул её Екатерине.

Екатерина, преодолевая замешательство и жалость и зажигаясь общим весельем, бойко и дерзко отозвалась:

— Эй, ты, умник, бери больше — кидай дальше, а пока летит — отдыхай!

Таким манером в колхозе на ферме грозная и рослая бригадириха Галка Кудашкина подгоняет мужиков, которые, нередко с ленцой и поминутными перекурами, загружают в телегу навоз.

— Во отрезала!..

— Молодцом, деваха!.. — довольны рабочие, уважительно поглядывая на Екатерину.

Но ей самой уже совестно за свою выходку, и она прибавляет тихонько, что обычно говорят у неё в деревне: «Бог в помощь...»

Но её не расслышали, мужичок без уха, скручивая козью ножку, принялся балагурить:

— Помню, у нас в медсанбате, братва, была такая же шустрячая девчонка-медсестрёнка. Ей, бывало, попервости какой-нибудь новичок слово, да ласковое, приветное, а то и с ходу с любовностями всякими разными, а она ему тоже эдак ласковенько: подь-ка сюды, котик. Зайдёт за ней в процедурную, уже и млеет весь, она ж его, простака, хватъ за шкирку — получи укол!..

— В язык, что ль? — уточняет кто-то, потряхиваясь в хохоте.

— Не-е, пониже.

— Пониже от брюха, что ль?..

Все гогочут, мужичок развесёло и азартно отзывается, но Екатерина уже не слышит — бежит, порывами, как вихрь, убыстряется. Дальше, дальше, скорее, скорее туда, где встретит любимого или что-нибудь выведает о нём! «Какая глупость, дорога будет чёрной и ужасно пахнуть», — подумала она с искренним недоумением. На рабочих оглянулась, помахала им уже из такой дали, что, наверное, вряд ли можно было разглядеть. Разглядели — вскидами лопат отсалютовали. Чем-то приглянулась им эта юная незнакомка, может быть, своей роскошной длинной косой, выпавшей из-под гарусного платка, светлыми чёрными глазами, боевитым норовом, кто знает. «Столько перенесли, со смертью сталкивались в бою, а весёлые и радостные», — ещё разок оглянулась она, но уже не разглядела их.

Пробегая мимо церкви со сломленным, скособоченным, но так и не сбитым, не сорванным крестом («Не дался, — отчего-то удовлетворённо подумала Екатерина, — буд-то корнями врос в маковку...»), услышала храп и цокот лошадиных копыт. А во дворе солдаты с голыми торсами под команды бравого усатого старшины усердно выполняют гимнастические упражнения. Несомненно, здесь расквартированы кавалеристы нашей доблестной Советской армии, самой могучей в мире, самой справедливой, одолевшей фашистов и японских милитаристов, понимает Екатерина, но как же можно было превратить храм в конюшню?! — вскинулось в её груди. Она смущена, озадачена. Но в то же время понимает: нельзя поступать по-другому, потому что все знают: Бога нет; если же Бога нет —

зачем сохранять и оберегать церкви? Так говорила себе Екатерина, удаляясь от церкви, превращённой в конюшню, однако смутные, тлеющие в глубинах её существа чувства не покидали её.

На каком-то жутко ошарпанном здании — кажется, поликлиники — заметила женскую скульптуру без головы; на яростно-алом плакате с призывом «Товарищ, равняйся на Стаханова!» кто-то исправил в фамилии букву «х» на «к», и получилось «на Стаканова». Екатерина морщится, сердится. Вот она видит красивые дома, ухоженные, с изысканной лепниной, а рядом сущее убожество: гнилые, провалившиеся по самые окна в землю бревенчатые развалюхи. И снова всюду — заборы, изгороди; но ладно бы опрятные, аккуратные — сплошь дырявые, облезлые, скособоченные. На улицах грязь, мусор, помойки, снуют стаи бездомных псов. Оглянулась в сторону площади, Дома Советов: где там товарищ Сталин, точнее, его портрет? Словно бы надеялась, что товарищ Сталин, даже будучи портретом, всё видит, всё знает, всё понимает и кого надо заставит навести порядок, накажет, покарает, если понадобится. Таковой была вера её сердца.

Возле строящегося высотного дома она увидела необычных людей: они были облечены в одинаковое пятнисто-песочного («хаки?» — сомневалась) окраса воинское обмундирование, на голове — непривычного покроя шапки с клапанами на ушах, тоже пятнисто-песочные, на ногах — с коротким голенищем ботинки, а не привычные для служивого человека сапоги. Поняла, но и когда-то слышала: японские военнопленные. Она впервые увидела иностранцев; но важнее, она впервые увидела наяву врагов. Призадержалась возле разношёрстной кучки зевак, пытливо всматривалась: какие они, иностранцы, какие они, враги? Их человек сорок-пятьдесят, а часовых всего, кажется, двое. Работают монотонно, ритмично, без каких-либо лишних движений, словно бы заводные. Но Екатерине ясно: не ленятся, не отлынивают, действуют с пониманием и даже усердием. Никто не подгоняет их, не командует ими.

«Так вот такие они и есть — враги?» — силилась Екатерина углядеть что-нибудь особенное в японцах, возможно, зверское, ужасное, омерзительное, то, что нередко видела на плакатах и в кино. Но перед ней были просто люди, мальчиkovато малорослые, поджаристые, очень похожие на местных бурят и эвенков, «всего-то одеждой они не наши».

Какая-то женщина сказала, причмокнув:

— Гляньте-ка: порядок так порядок у этой неруси! Говорят, чуть чего заковевряжутся — им сразу палками по спине.

— Неужели наши солдаты бьют? — спросила Екатерина, вздрогнув сердцем и невольно нажав на «наши». «Наши, победители, герои, комсомольцы, а то и коммунисты, не могут истязать!» — была она тверда во мнении.

— Зачем же, девушка, наши — ихнее офицерье и нахлобистывает.

«Да, они не такие, как мы», — спешит юная Екатерина с выводом.

Слышит другую женщину:

— Нонешним декабрём на улице Русиновской, там, где дорога круто в гору забирает, машина с японцами опрокинулась. На ночлег везли их. Время уже было позднее, потёмки стояли. Должно, не достало мощи двигателю, сама я видела: машина застопорилась посереёд горы и давай юлозить вниз. Секунда-другая — и все японцы с машиной вместе рухнули в кювет. Кузовом повалило трансформаторный столб. Ой, батюшки, заискрило, аж светло сделалось, а следом полыхнуло, страсть! Крики, рёв, суматоха. Сбежался народ. Какой-то мужик, наш, русский, потом сказали нам, что фронтовик он, кинулся в полымя, точно в воду. Хватить одного японца — швырь его в сугроб, хватить другого — швырь туда же. Третьего только сграбастал, да как бабахнет — бензобак разорвало. Мужик наш и сгинул вместе с японцами в огне и чаду. Никто не спасся, кроме тех двоих, которых выволок. Примчались пожарки, «скорая помощь», а уж спасать-то и некого. Сгибло душ тридцать. Страсть!

— И стоило нашему дурню погибать из-за этих гадов, — сплюнул какой-то видный мужчина в импозантной шляпе и с изящно-тонкой тростью.

Женщина помолчала и прибавила тихонечко, на привздохе:

— Так ить все люди.

— Верно, верно, все люди, — услышала Екатерина за спиной более уверенный и крепкий голос. — Всех жалко, и своих, и врагов. Чего уж, по-человечьи надо.

— Царствие им Небесное, — вплёлся старушечий голос.

Мужчина в шляпе и с тростью сплюнул под ноги, громко, смачно и, зачем-то натуженно супясь гладким лицом, пошёл своей дорогой.

«Все люди, всех жалко...» — безотчётной, необъяснимой радостью разлилось в сердце Екатерины, когда, выпросив, где завод, ринулась в желанную сторону.

Бежит и понять не может: почему-то стало ослеплять? Оказывается, солнце, наконец-то, пробилось и заплескалось в окнах и наледях. Впереди, где начинается улица Карла Маркса, — высокие длинные широкие здания с тысячами блещущих окон, с махинами труб, из которых белыми тушами вываливается дым. Поняла, завод, тот самый, драг, Афанасьев! В сердце щемящий голосок страха, дух в груди сбился.

5

Машины с клокочущими двигателями замерли у белой черты. Екатерина, однако, только собралась перебежать перекрёсток, за которым заводская проходная, — железный поток как загазует, как зарычит и как ринется разом. Едва отскочила на тротуар. Какой-то старичок, снисходительно, но весело усмехаясь, потянул её за рукав дошки:

— Вы что, гражданочка, светофора не видите?

— Светофора?.. А что это такое? — не сразу припомнилось из книг редкостное для деревни слово.

— Э-э-э... понимаете ли... — наверное, по-учёному обстоятельно хотел рассказать старичок о диковинной новинке, которая, к слову, впервые появилась в Иркутске с месяц назад, к тому же в единственном экземпляре на всю область, но Екатерина устремилась на дорогу, потому что машин на перекрёстке уже не было. Сердце словно бы само летело вперёд, преодолевая очередную преграду. Не остановить влюблённую Екатерину никакими светофорами, никакими каверзами людей или судьбы!

Вот и проходная. За металлическим решётчатым ограждением бродит хмурый дядька в шинели, с кобурой на боку, понятно, охранник или вахтёр, и, разумеется, без пропуска хода нет. Боже, снова препятствие! В деревне куда хочешь заходи — на ферму ли, в сельсовет ли или же на любое подворье, а в городе какая запутанная, со всякими подвохами и несурзациами жизнь!

Раскрываясь, угрюмо заскрежетали высокие металлические ворота, показалась широкая морда грузовика с длинным-длинным прицепом, на котором громоздко, хищно возлежало нечто колоссальное — какая-то металлическая деталь, часть механизма или конструкции, не могла уразуметь Екатерина. Но ей стало понятно: на заводе вершится нечто великое, возможно, эпохальное, нужное для всей страны, для народа, а, стало быть, вероятность, что Афанасий трудится именно здесь, чрезвычайно высока — ведь он так любит размах по жизни, значимость, грандиозность в помыслах и делах!

Видит, люди на проходной показывают охраннику серые книжицы, несомненно, пропуска; тот важно, даже насупливаясь, в каждый вглядывается. «Эх, была не была!» — и Екатерина нырнула между медленно выкатывающимся прицепом и растворённой воротинной. Вбежала, как вихрем ворвалась, на территорию завода, и надо бы теперь идти спокойно, таить от окружающих своё бурлящее волнение, но наша юная Екатерина не совладала — сорвалась, припустила что было духу.

Однако за спиной заверещал свисток. Тот хмурый, с кобурой, охранник — прыжками за нарушительницей, сцапал её за косу, смял в кулаке волосы с гарусным платком:

— К-куда, падла?! Стоять! Стрелять буду!

Заволок в служебное помещение, там ещё двое охранников, и все с кобурами, и все одинаково хмуры. Насмерть перепуганная, ошеломлённая Екатерина захныкала, заскулила, как ребёнок:

— Дя-а-а-деньки, отпустите, пожалуйста!

— Вызову чекистов, они тебя, шпионку, и отпустят... годков через двадцать, — злоб-

ной весельцой занялись глаза охранника, словившего преступницу. — Погнись, падла, в магаданских лагерях, похлебаешь пороссячью баланду...

Стужей ужаса окатило и тотчас сковало сердце Екатерины, поняла — пропала! С раннего детства запомнились ей сосланные взбунтовавшиеся донские кулаки — мужики, бабы, детишки, старики. Пригнали их от железной дороги предзимьем; уже лежали снега и утрами трескуче примораживало. Окриками и уськаньем собак остановили колонну едва бредущих, голодных, оборванных людей в поле неподалёку от Переяславки; с машин были сгружены мотки колючей проволоки, доски, брёвна, инструменты. Офицер сказал иззябшим, измождённым людям коротко: хотите выжить — стройтесь. И люди без промедления взялись строиться. Но первым делом было велено вкопать столбы и натянуть колючую проволоку, и люди без ропота за двое-трое суток непрерывной работы создали для себя зону, острог. Потом, на зорях, когда солнце чуть осветит землю, развиднеется, в лагерной стороне клацали выстрелы. Переяславцы шептались: солдаты больных-де пристреливают, потому как за колючкой свирепствует какая-то зараза. К лету лагеря не стало; солдаты скрутили в мотки проволоку, разобрали наспех сколоченные лачуги, вывезли всё до последней досточки. Куда подевались заключённые, переяславцы не знали. Однако в лесу, по оврагам, в болотистом урочище то там, то тут натыкались на свежевскопанную, местами сорванную динамитом землю. «Неужели всех перестреляли и закопали, как собак?» — единственно глазами и отваживались селяне спросить друг у друга.

Теперь и Екатерине попасть за колючку, согнуть на Колыме! Только что сердце жило любовью, ожиданием, только что она чуяла всем своим существом цвет, вкус и запах счастья, только что летела душой над всей дольней жизнью, однако мгновение, другое — и она сражена и смята нравственно твердокаменными законами человеческого общежития, людской косностью, узколобостью, ожесточением, злобным азартом. Не увидеть ей более ни матери, ни сестрёнки, ни Афанасия, ни родного села, ни родимой Ангары! Убьют и её, как за околицей Переяславки тишком поубивали, а то и заморили голодом, тех несчастных мужиков, баб, детей и стариков! «Господи!..» — чуть не вскрикнула она.

Но что такое?! Один из охранников, рыхло-щекастый, красноносый, словно Дед Мороз, дядька улыбнулся. Не усмехнулся, не ощерился, глумясь, злорадствуя, а просто улыбнулся, как может, видимо, улыбаться обычный, хороший человек. Улыбнулся и шагнул к понишке пленнице:

— Да будя тебе стращать девчонку. Глянь на неё: ни жива ни мертва, — обратился к Екатерине, присев перед ней на корточки: — Ты чего, дурёха, хотела-то на заводе?

Она недоверчиво, скорее, опасливо заглянула в его глаза, увидела в них голубоватые искристые рябинки, которые — ощутила — «зайчиками» словно бы помигали ей, поняла: врать нельзя.

— Дяденька, к любимому я приехала, — сказалось по-детски наивно, жалостно. Но, смеясь, прибавила с игривостью подросткового вызова, глубоко скрытой шутки: — Понимаете, повидать его надо до зарезу.

— Хм, до зарезу, говоришь? Чего вдруг приспичило? Забрюхатила от него, кобеля шkodливого, что ли?

Другие охранники за его спиной запотряхивались в угрюмом, холодцеватом хохоте.

Екатерина промолчала, скользнула по ним взглядом, полуотвернувшись зажёгшимся лицом.

— Кто ж твой парень, красавица? — допытывался этот добросердечный охранник.

— Афанасий... Афанасий Ветров.

— Это такой огромный детинушка?

— Ага, огромный!

И все охранники, очевидно, вспомнив приметного Афанасия, улыбнулись, и улыбнулись уже по-другому, возможно, так, как может улыбаться обычный, в глубинной сущности своей неплохой человек.

— На проходной, красавица, другой раз заставляем твоего богатыря скинуть тулуп и даже шапку: в дверной проём не может втиснуться ни по бокам, ни в высоту, косяк-то и без того расшатан, штукатурка сыплется.

На аппарате покрутив диск, соединились с цехом, вызвали, с умыслом не объясняя причины, хитровато перемигиваясь друг с другом, Ветрова.

У Екатерины в сердце заныло, теперь она действительно была ни жива ни мертва: а вдруг он холодно встретит её, а вдруг у него уже другая, коли столь долго не писал?

Она, вздрогнув, увидела его в окошко идущим от цеха своим машистым крепким шагом. Он широко распахнул дверь, шоркнул стежонкой и туго натянутым на голову танкистским шлемофоном по дверному косяку, так что посыпалась штукатурка, и, не видя поджавшуюся на топчане в сумрачном углу Екатерину, строго и с едва сдерживаемым раздражением спросил у охранников:

— Кому я тут нужен? Работы невпроворот... Ну, чего вызывали?

Они, посмеиваясь, молчком вывалили на улицу. Красноносый в спину подтолкнул Афанасия к Екатерине:

— Глаза-то разуй... танкист. Да не раздави своими гусеницами птаху!

— Катя! — ринулся он.

— Афанасий! — метнулась она.

Но оба, обомлев, остановились друг перед другом, слова больше сказать не могут, не знают, что ещё надо сделать, как поступить, возможно, они были очарованы друг другом, заворожены.

После долгой разлуки каждый увидел в другом — вспышкой ли, озарением ли — что-то такое новое, удивительное, прелестное, в мгновение ока разглядел в любимом ранее отчего-то незамечаемые, но такие, оказывается, важные чёрточки. Разлука, замечено, обостряет зрение души. Екатерина приметила у Афанасия на его массивном скуловатом подбородке крохотную ямочку, припорошенную пушком. Казалось бы, ямочка да ямочка, у кого её нет, пушок да пушок, у всех подростков и парней он когда-то пробивается, со временем превращаясь в щетину. Афанасий, мужиковатый, с пытливыми строгими глазами, внешне уже совершенно взрослый человек, однако, эта притаившаяся под пушком ямочка неожиданно сказала Екатерине, что он ещё ребёнок, мальчишка, что он незащищённый, доверчивый, что душа у него — едва ли не зримо ощутила девушка — как и эта ямочка, прикрыта от людей всего-то пушком — пушком, можно сказать, его деревенского простосердечия, распахнутости. Да, да, он беспечный неразумный ребёнок, мальчишка, пацан, несмышлёныш! И шлемофон — явно малой — танкиста, дурачок, натянул на голову, будто намеревается поиграть в войнушку! Екатерине захотелось приласкать своего возлюбленного, сказать ему какие-нибудь наставительные, оберегающие, но сокровенные, нежные слова.

Что же Афанасий открыл особенного в Екатерине? Стоит она перед ним всё такая же низенькая, худенькая, «точно тростинка», в «глупенькой одежонке, как девчурка», хотя ему представляется — она гораздо, гораздо взрослее его, бывалее, что ли. Но что же в ней столь разительно изменилось? Глаза, они, глаза её чудесные, незабываемые! Они по-прежнему прекрасны, чарующи, в них по-прежнему сияет этот диковинный, невозможный чёрный, но одновременно и светлый пламень её страстной души. Таких глаз больше нет и не может быть на всей земле! Но что же такое с ними? Афанасию почудилось — глаза его возлюбленной намного дальше от него, чем само лицо её. Невероятно! Так не может быть! Она как бы смотрит на него из каких-то далей или же, что кажется Афанасию точнее, но вместе с тем и смущает своей противоречивостью, — из глубин. «Она страдала», — понял Афанасий, нечаянно схмуривая брови.

— Ну, вот и свиделись, — вымолвил он, не в силах оторвать взгляда от Екатерины, скованный, казалось, и физически, и нравственно.

— Ага... Свиделись, —дохнула Екатерина, и вся, как надломленная и ослабевшая, покачнулась к нему, секунду назад и не желая того.

Он легонько принаклонил её голову к своей груди.

— Что ж ты не отвечала на мои письма?

— А ты разве писал?

— Писал. Часто писал. А выехать, прости, никак не мог: и учусь, и работаю, как видишь, и по комсомольской линии под завязку в поручениях.

«Неужели тётя Шура, чертовка такая-сякая, перехватывала на почте письма и маме тишком передавала?» — подумала, прикусив губу, Екатерина, но Афанасию не сказала о своей догадке.

В окошко стали заглядывать охранники, лыбились, подмигивали, весело между собой переговаривались, пыхая «беломоринами».

— До окончания смены, Катюша, ещё часа три... Знаешь что, айда-ка в цех, увидишь, как я там тружусь!.. Я уже чуть не бригадирю, — не сдержавшись, похвастался Афанасий. Она усмехнулась: «Всё такой же мальчишка-хвастунишка».

Как девочку, потянул её за руку.

— Ой, а меня не арестуют вохровцы?

— Пускай только рыпнутся... дармоеды!

И он привычной широкой поступью повёл её к чадающему трубами цеху; она едва не вприскачку поспевала за ним. Оглянулась, не бегут ли охранники, не целятся ли из пистолета? Те молчаливо и улыбочиво поглядывали им вслед.

В цехе — грохот, лязг, просто ужас. Дымно и копотно. Екатерине в первые мгновения показалось, что она угодила на пожарище. Цех длинный, бескрайний, чёрный. Перед глазами мелькали, выныривая из смога, чумазые потные рабочие. В Екатерину внезапно пыхнуло огнём из растворённых створок какой-то гигантской печи, в которую подбрасывали уголь, она испугалась, отпрянула, но Афанасий озорно подмигнул ей и потянул дальше. Печь осталась позади, однако по-прежнему страшила Екатерину — пламя утробно урчало вдогон, как зверь. Искрами рассыпался разрезаемый газовыми горелками металл. Скрежетал и трезвонил где-то вверху кран, катясь с грузом по монорельсам. «Боже, Боже...» — только и могла Екатерина произносить в себе, озираясь. А Афанасий спокоен, твёрд, оживлён; он поминутно останавливается возле рабочих, что-то торопливо и на непонятном для Екатерины техническом языке говорит им; ему почтительно отвечают. Гордясь, Екатерина понимает, он здесь свой, до зарезу нужный человек.

В каком-то сумрачном, но жарком закутке с двумя полыхающими горнами — в ответвлении от основного цеха — наконец-то остановились.

— А вот и наша кузня! Мы тут, Катя, непыльной работёнкой занимаемся. Ювелирной, можно сказать.

— Ювелирной? Украшения изготавливаете, что ли?

— Украшения, украшения! — засмеялся Афанасий. — Драга женского рода? Женского. Ну, вот мы и украшаем её серьгами и кольцами, всякими, знаешь ли, женскими побрякушками... пудика, правда, некоторые в два-три.

Екатерина видит: уса́тый, пропотелый и прокопчённый рабочий в залоснённой спецухе, ощериваясь в нагугах, вынимает из горна зажатое в щипцах раскалённое железо, представляет его к наковальне. Другой рабочий, крижистый, чёрный старикан в колом стоящей робе, символически поплевав на ладони, замахивается увесистым молотом. Афанасий спешно заводит, чуть не заталкивает, Екатерину в бригадную бытовку с окошечками в цех, а сам прыжками к кузнецам. Подхватывает молот, не без щегольства передкидывает его из руки в руку, успевая подмигнуть Екатерине, и на пару с первым молотобойцем попеременно бьёт по раскалённой заготовке. Раз по пятьдесят ударили. Потом поочерёдно рабочими, дежурящими у горнов, подсунут второй кусок рдяно горящего железа, следом — третий, четвёртый, пятый; вскоре Екатерина в счёте спуталась.

Кузнецы слаженно, хмуро плющат, сминают, ваяя, металл. Екатерина очарована и восхищена их работой. А как красив, как прекрасен её возлюбленный! Он — силач, богатырь, искусник.

Выкованное железо, «загогулины», смешливо определила в себе Екатерина — то ли «хомуты» выходили, то ли «коромысла», то ли «подковы для громадных коней», и ещё что-то такое не совсем понятное, — отбрасывали в тележку. Её откатывали к токарным и сверлильным станкам и возвращали порожней уже другие люди; они же и обрабатывали, отшлифовывали «загогулины». От этих рабочих сквозило чем-то особенным, какие-то они были не совсем понятные, и Екатерина невольно стала приглядываться к ним. Их было

пятеро-шестеро и внешне они отличались от остальных тружеников цеха своей чистой, даже, похоже, отглаженной спецодеждой, которую, видимо, неуместно было бы назвать «спецухой» или «робой». Ещё они рознились неторопливыми, лишёнными суетливости движениями, предельной деловитостью, скрупулёзностью. Вроде бы мешкотные с виду, однако детали обрабатывали скоро, и контролёр, прищуривший, юркий дедок, поминутно выныривавший из дымного мрака цеха и чего-то вымерявший в «загогулинах», ни одной не забраковал, а, напротив, с помощью других рабочих все до единой куда-то уволокивал на тележке, украдкой, как показалось Екатерине, подмигивая одному из немцев-мастеров, от которого принимал очередную деталь.

Выдался перекур. Афанасий и его товарищи ввалились в бытовку. Екатерина почти физически почувствовала, как от них дохнуло жаром, до того они горели лицами и полуголыми торсами. В нетерпеливой очередности залпом выхлебали по кружке, а кто и по две, воды, машисто, с роспесками зачерпывая её из жбана. Кто-то закурил в бытовке, но его тишком пхнули в бок, указав глазами на юную нежданную гостью. Наконец, двусмысленно перемигнувшись и полыбившись, оставили Екатерину и Афанасия одних; присели на корточки у бытовки и блаженно задымили папиросами и самокрутками.

Екатерина спросила у Афанасия, кто те люди в опрятной спецовке, притулившиеся передохнуть в уголке, в сторонке, а не со всеми, и, похоже, с опаской озираются.

— Немцы, — и зачем-то поправился: — Немчура. Из Архангельска сосланные. Эвакуированные, сволочи, драпают по домам в свои тёпленькие края. Сибирь им, видишь ли, не мила, а у нас теперь работать некому: вон сколько поднялось кругом строек, ширятся леспромхозы. Что там, поговаривают, Катюша, о гидростанциях на Ангаре! А наш завод завален заказами так по самую маковку. Бают, на три пятилетки вперёд. Стране, как воздух, нужно золото, а без наших драг сколько его добудешь, к примеру, в бодайбинской тайге? С гилькин нос! Ну, вот, партия и правительство пособляют нам всякими сосланными.

— Зачем ты так, «немчура», «всякими»? Оторвали людей от родной земли, пригнали невесть куда, разместили, поди, в казармах или сараях. Здесь им всё чужое. Да и Сибирь — мачеха для них, считай, каторга. Мы-то, сибиряки, ко всему привычные, двужилые. Знаешь, Афанасий, жа-а-алко людей...

— Нечего, Катя, жалеть, они — враги народа, — перебил Афанасий, даже взмахнув кулаком, как нередко делают, подумала Екатерина, выступающие с трибуны. — Немчура, одним словом. А точнее, фашисты. — И неожиданно выкрикнул, высунув голову в форточку: — Эй, Гитлер капут! Хэндэ хох, зольдатен!

Рабочие, курившие возле бытовки, захохотали, а немцы сдержанно улыбнулись, не разжимая губ и зубов. Екатерина поняла, робеют, а то и боятся. Она, туго принагнув голову, молча и прямо смотрела на любимого. Стоит он над ней — могучий, лобастый, но в этом никчемном, нахлобученном словно бы для войнушки шлемофоне, с полоской-усиком сажи под носом, с разорванной на колене гачей. Господи, да он просто ещё пацан! Детишка! Надо бы засмеяться, однако, налипло на сердце тягучее чувство.

— Ну, вот те раз, надулась! — осторожно, будто опасался чего, приобнял он Екатерину. — Пойми, всех этих гадов поубивать мало.

Она порывом отвернулась от него. Не знала, как возразить, чем урезонить. Что ведала её юная страстная душа, тому ещё не вызрело слов.

Он смутился, забормотал:

— Чего уж, работы они что надо. И аккуратисты ещё те. Нам, ясное дело, поучиться бы у них...

Екатерина, поплевав на платочек, с немилостивым тщанием обтёрла у него под носом, подтолкнула в спину к выходу — кузнецы снова взялись за молоты и щипцы, а немцы встали к станкам.

— Иди работой... агитатор... провокатор, — усмехнулась она.

Громыхали уже до самого конца смены. А о её завершении возвестил тягучий, осиплый, как брёх старой, но преданной собаки, гудок.

На улице Екатерина зажмурилась — свету, свету сколько! Солнце хотя и приникло уже к кровлям, но ещё грело и блистало. Денёк разыгрался по-летнему тёплым, духовитым; природа млеет и словно бы дожидается повеления: расцветай, распускайся, красавица, зеленью! Но в Сибири растительность, наверное, выучена как нигде — могут ещё и заморозки пожаловать, жгучие северные ветры сорваться, а то и снегу понаметёт, поутру же лёд захрустит под ногами — наверняка погибнуть росткам и бутонам. Подождать надо природе немножко, две-три недельки, а потом уже наверстает, распускаясь, расцветая, подтягиваясь стеблями к небу. Но половички травы с робкими ростками одуванчиков уже поразбросались на газонах, по дворам, по-под заборами — везде, где была земля открыта и напитывалась солнечными ливнями. Почки пухлы и пахучи; крохотными, но ярко зажигающимися серьгами тянется по стволам оттаявшая смолка. Птицы хлопочут, чирикают, перепархивая, вроде как забавляются. Мушки суматошатся, звенят. Небо чисто и ясно. И Екатерина ласково подумала, невольно улыбнувшись и украдкой взглянув на Афанасия: «Божий мир».

Взявшись за руки, пошли от заводской проходной по улице Карла Маркса, центральной, главной улице города, когда-то называвшейся Большой, застроенной солидными до-революционными домами с лепниной, флюгерами, парадными подъездами, в редкостной теперь брусчатке. Афанасий сразу объявил, по-хозяйски размашисто указав рукой: «Улица-музей». Но не говорит, куда идут, а Екатерина не спрашивает. Идут себе, широким шагом идут, хотя спешить, кажется, не надо. А почему широко идут — неведомо обоим. Если умели бы летать — летели бы, а не шли бы по земле! Прямо идут, какова и улица, вместе, рядышком идут. Нет ведомого, как и бывает, несомненно, если шагами правят чувства. Говорят друг другу, что на ум найдёт: как там в Переяславке родичи, приятели, как вообще деревня поживает, готова ли к пахотной? О чём поговорить — не счесть, перепархивают с одного на другое, как, наверное, и пчела с цветка на цветок, собирая нектар.

Оба колоритно интересные, задорно юные, на них заглядываются прохожие. Екатерина со своей роскошной длинной косой, с чёрно полыхающими глазами, напружиненно тоненькая, бодрая, просто королева улицы. Да в беленькой кокетливой дошке, да в модную полоску чулочках, да каблукчиками ботишков отстукивает «цок-цок, цок-цок». «Ишь, дамочка», — думает о ней Афанасий, ощущая сладость слюнок на губах. Какой мужчина, тем более молодой, примечательный чем-нибудь, засмотрится на неё, схмуривается сразу, глядит на человека в упор, сламывая его взор. И на себе примечает чужие взгляды, понимает: богатырь, как не залюбоваться этаким молодцем. И одет необычно, хотя и ясно, бедненько. На нём выцветший, изрядно поношенный пехотный офицерский китель без погон, но с форменными пуговицами, поверх накинута чёрная матросская бушлат — фронтовики, вернувшиеся на родной завод, оделили полюбившегося им парня умельца. На ногах хотя и кирзачи, но надраены щёткой до невозможного состояния — горят, и может показаться, что они яловые, дорогостоящие. «Аж пускают зайчиков и слепят, — хочется подначить Екатерине. — Весь нараспашку, весь герой! Ну, прямо фон-барон!» Однако промолчала, потому что душа тихая и торжественная, потому что любимый он, единственный её. Она приберегла для него другие слова, те, что одинокими нескончаемыми ночами шептала, воображая, будто рядом он.

Если бы улице не было конца и края, так, наверное, и шли бы, и шли бы, не обременяясь мыслями, куда и зачем. Они наконец-то вместе, и весь свет белый — на двоих, на двоих. Солнце на двоих, небо на двоих, город на двоих, лучшая его улица на двоих и жизнь, целая, целая жизнь, позади и впереди которая, и нынешняя тоже, несомненно, на двоих.

Афанасий, случалось, приостановится, укажет кивком на какой-нибудь примечательный дом: «Гляди-кась, какая красотища». А если Екатерина не тотчас посмотрит, обворожённая жизнью и своей любовью, так чуть не повелительно скажет: «Смотри, Катюша, смотри!» Она понимает: «шибко люб» ему город, рад он поделиться своими сокровенными наблюдениями и открытиями. Дивится девушка: ай и вправду торчат Иркутск на красоты всяческие; когда же бежала к любимому, ничего-то такого не примечала. Особенно

нравится Афанасию указать на деревянные, деревенского пошиба дома, которых полно в примыкающих к главной улицам; они, бревенчатые крепыши, в узорчатых наличниках, в изысканной резьбе, словно бы приготовлены к празднику, к такому празднику, которому скончания не бывать долго. Скажет Афанасий задумчиво: «Как у нас в Переяславке, правда, Катя?» «Ага», — охотно отзовётся она.

Заглянули в продуктовый магазин, Афанасий пояснил: «Буду, Катюша, откармливать тебя: больно уж тощая ты». Люди с талонами толкуются и давятся в нескольких очередях, за крупами, за колбасами, за консервами, за хлебом, ещё за чем-то. Полки и витрины — серые, полупустые, однообразные, как солдатские шеренги. Екатерина видит: унылы люди, уныло убранство торговых залов; только красный плакат с кремлёвскими звёздами, с кумачами и размашистой надписью «10-го февраля 1946 года выборы в Верховный Совет СССР!» вроде как радостен; правда, обильно засижен мухами, выцвел, покособился, второй год висит, заброшенный. Потянула Афанасия на улицу: «Пойдём отсюда», — шепнула. Но он, озорно подмигивая, взмахом головы указал ей на расположенный в отдельном зальчике кооперативный отдел. Там витрины и полки яркие, цветасты, обильны, и чего только нет! А народу — ни души, кроме продавщицы в высоком, как боярская шапка, накрахмаленном и с блёстками колпаке. Она, дородная, видная, одиноко-величаво, как памятник самой себе, стоит за прилавком, искоса и строго поглядывает издали на мельтешащий люд. Над ней иконой сияет изумительной прорисовки и красочности новенький глянцевоый плакат со Сталиным и пухленькими смеющимися детьми — «Спасибо родному Сталину за счастливое детство!» Афанасий за руку затянул Екатерину в закуток этого неземного изобилия. Взглянула она на плакат с детьми — внезапно что-то такое колючее шевельнулось у неё в глубинах груди. Но машинально опустила глаза на ценники, и первое чувство тотчас перебилося новым, даже охнула: за всё — червонцами, ничего нет, чтобы копейки стоило. «Булка хлеба четырнадцать рублей сорок копеек?!» И снова потянула Афанасия вон из магазина, но он крепко встал у прилавка. Набывчившись, тыкал: «Дай-кась, красавица, вон то, то, то...» Вскоре образовалась приличная горка из невиданных диковинок: шоколада, конфет, сгущёнки, тушёнки, копчёных колбас, чая индийского.

Кто-то из хвоста ближайшей очереди прошипел:

— Ишь, блатота вшивая отоваривается.

Афанасий расслышал, ответил:

— Не бурчи, честной народ, скоро талоны отменят, цены урежут — всего будет навалом. Верно говорю вам! Эх, развесёлая жизнь наступит! — И, словно бы для наглядности, отбил каблуками с набойками по мраморному полу чечёточку.

Сказал, хотя и с хохотцой, но ёмко, прямя свой ещё юношеский говорок на басовитость. Люди стихли, насторожились, с недоверием поглядывали на парня в матросском бушлате и в кирзачах. А он уже снова распоряжается: «Вон то ещё подайка-ка, хозяйка медной горы...»

Екатерина дёргает Афанасия за бушлат: «Да полноте! Ты что, сдурел?!» А сама думает: «Какой он у меня, ай, ка-а-ако-о-ой!..»

Но не унимается Афанасий, велит: «Ещё во-о-он ту штуковину подай-кась, добрая волшебница». «А деньги-то у тебя имеются ли, моряк с печки бряк?» — упёрлась в Афанасия тугим взглядом продавщица.

В горсти вынул из штанов мятые червонцы, вытрусил их на прилавок: «Сколько тебе? Отсчитывай!»

«Ой, сумасшедший, ой, хвастунишка, ой, щёголь городской!.. — бессильно восклицала Екатерина, а у самой сердце только что не отплясывало под дошкой. — Ай, ка-а-ако-о-ой!.. Понятно, передо мной выставляется: мол, глянь, каков я!.. Ой, сумасшедший!..»

Продавщица вмиг переменилась: посмотрела на отчаянно тороваго покупателя почтительно, сказала, с приятностью улыбая от природы горделиво неподатливые губы: «Балычок свежайший. Сёдни утречком завезли. Рекомендую». «Что ж, давай и балычок». Она несказанно довольна, что покупатель много берёт; завмаг частенько рычит: «Не выполнишь план в этом месяце — пойдёшь в уборщицы!» А за весь день обычно пятюк-другой по-

купателей, потому как народ за войну страшно обнищал; да возьмут по мелочи, «на зубок едва хватит». «Чёрной икорки не прикупишь, морячок? — раззадорилась продавщица, и говорок уже елейный. — Она один из дешёвых у меня товаров. Но вкуснятина, пальчики оближешь!» «Ты что, любезнейшая, хочешь, чтобы я почернел и сдох?» — отшучивается Афанасий, небрежно набивая свою деревенскую дерюжную авоську продуктами. Смиловился — взял и икры.

А напоследок ещё и мороженого купил — диковинку из диковинок послевоенной поры в Сибири. Серебристую пачку на палочке протянул, как цветок, Екатерине; она взяла, а что делать с ней не знает: впервые вживе лицезрит мороженое. Афанасий притворился докой: показал, с немалой бережностью, как развернуть и откусить. Выйдя на улицу, стали есть попеременно, по-братски делясь, точно дети.

Возле монумента первопроходцам — постамент памятника Александру Третьему, а теперь без него («Какой жалкий, кургузый», — вспышкой просквозило по сердцу Екатерины), — вышли к Ангаре. Зеленцеватой синью и сверканием льда ласково пахнуло в глаза и душу. Но не сегодня-завтра потрескается лёд, стронется великая вода и устремится к Енисею, а потом, слившись с ним, к великому океану и, конечно же, к новой жизни, возможно, так именно и почувствовали замершие перед красавицей рекой Афанасий и Екатерина.

Афанасий с вороватой осмотрительностью поприжал Екатерину к своему боку. Но она, хотя и истомлённая долгим ожиданием и вся, как деревце под ветром, подалась к нему, лишь плечиком позволила себе прикоснуться к любимому: рядом прогуливается народ, что подумают люди!

Стоят перед Ангарой, родной своей рекой; с детства они с ней и она с ними. Выходит, втроём они сейчас, родные. Да ещё небо с ними, просторное, ясное, пригревающее.

— Подчас после смены прибреду сюда, гляжу на реку и думаю: как там наша Переяславка? По течению, чисто дурачок, вглядываюсь вдаль, аж шурюсь: не увижу ли родных берегов?

— И я в Переяславке подолгу смотрю на Ангару... в иркутскую сторону.

— Меня хочешь разглядеть?

— Угу.

На противоположном берегу на станции голосисто затрубил и густо пыхнул дымом паровоз, устремляясь с вереницей вагонов к Байкалу, на Кругобайкалку. Зачем-то смотрели вслед, пока не истаял состав вдалеке.

Афанасий откуда-то из своего высока шепнул в темечко Екатерины:

— «Зацелую допьяна, изомну, как цвет, хмельному от радости пересуду нет...»

— Есенин? шепнула и она.

— И он, и сердце моё.

— Любишь?

— А то!

— Скучал?

— Маялся, как медведь в клетке.

— Ишь ты! Чего же не бросил всё, не примчался в Переяславку?

— Учусь, прирабатываю, к тому же общественник, понимать должна, — помолчав, нерешительно примолвил: — Письма-то мои, слышь, Катюша, не на почте ли в Переяславке кто перехватывал? Скажи, я им устрою расчихвостку.

Екатерина отозвалась тотчас и по-особенному твёрдо:

— Не выдумывай.

Снова пошли; и стронулись одновременно, не сговариваясь, не сговаривались и о направлении, и о цели. Как будто одной душой и одной головой жили. И Екатерина снова не спрашивает куда. А Афанасий не объясняет, однако идёт уверенно, широким шагом, минутами не соразмеряясь со своей хотя и скорой, но путающейся в подоле спутницей. Петляли какими-то заулками, двориками, порой протискивались через застрёхи в заборах, по всей видимости, значительно скорачивая путь. Свободной рукой, когда нужно было — в сущности, лёгкое — джентльменское содействие, Афанасий не без дерзновенности на-

щупывал под дошкой рёбрышки любимой, притискивал её к себе. Ей было щекотно, её, как девочку, тянуло засмеяться, но засмеяться или отстраниться она не позволила себе, потому что любила, потому что наконец-то с ним, с единственным, потому что верила в долгую, долгую и счастливую жизнь вместе.

Пришли к студенческому общежитию — мрачной, прокоптевшего кирпича трёхэтажке, обветшалой постройке прошлого века. Екатерина неожиданно остановилась перед входом: ей не хотелось входить внутрь, ей хотелось остаться под этим тёплым голубым безбрежным небом, которое сегодня на двоих, а что может ждать их обоих в общежитии? Известно, там нет неба и там, несомненно, людская теснота! Она подняла глаза к небу. «Пойдём, пойдём, — нетерпеливо потянул её Афанасий, жадно заглянув в чёрно вспыхнувшие глаза. — Чего ты испугалась?» «Что ж, пойдём», — шепнула она, неохотно отклонив взгляд от неба.

Внутри у громоздкой двери в тусклости, под громадным бюстом Сталина и кумачовым стендом «Ты, Сталин, солнце наших дней! Ты всех дороже и родней! Тебе несём тепло сердец, мудрейший наш отец» — вахтёр. Хотя и сухонькая старушонка, но глазки зловатые, липучие. «Как у Бабы-Яги», — мгновенно оценила Екатерина. «Документ! — шепеляво, но властно потребовала она у Екатерины. Бесцеремонно прибавила: — Чёй-то не припомню тебя, девах». Екатерина схмурилась на «девах» и едва сдержалась, чтобы не осечь старуху. По сумеречным коридорам просквозило девичьим смехом, за ним как бы протопал басовитый говорок парней; где-то хлопнули дверь, где-то загремели тазом. Екатерина потянула Афанасия за рукав бушлата к выходу. Но он притворился, что не понял. Вынул из авоськи банку с чёрной икрой: «На тебе, бабка Агафья, документ! Да гляди, помногу не уписывай: почернеешь, чего доброго». Утянул Екатерину в полумрак холодного, отдающего плесенью и квашеной капустой коридора.

В комнате, куда он её затянул, четыре железные кровати, грубой столярной работы стол, табуретки, шкаф и толчея шумного молодого люда: и парней, и девушек. Кто-то заходит, кто-то выходит, кто-то просто заглянет и скроется. Смеются, поют, бренчат на гитаре. Екатерина смущена, растеряна; она впервые в большой компании, не знает, как себя вести. С досадою понимает: комната Афанасия гостеприимная и весёлая всегда, и девушки здесь бывают, похоже, не выводятся. На красивую, с богатой косой, в трикотажных модных чулочках, в ботиках на высоком каблуке, в тонкорунном гарусном платочке незнакомку смотрят, вглядываются, двусмысленно подмигивают Афанасию. А какая-то, почувствовала Екатерина, нескромно высокая и нескромно яркая рыжею, с накрашенными губами девушка улыбается ей в лицо, и улыбается с выпячивающей приятностью, которая почти враждебность, почти коварство. Не хочет ли девушка сказать: «А, прикатила, деревенщина? Разделась как Ключня Ивановна, а сейчас-то в моде вот что! Глянь, с какими складочками моя юбка — просто плиссе аля франсе. А как тебе мой ленинградский жакет с переходной спинкой? А мои польские туфельки с розовым бантиком? Наматывай на ус, колхозница! Приехала к своему суженому-ряженому? Что ж, смотри, как мы тут всюю веселимся с ним!»? И Екатерина с оторопью понимает: девушка может быть влюблена в Афанасия: она под него высока, она под него раскована, хороша несомненно и, кажется, не глупа к тому же. И ещё, ещё крутятся и смеются среди парней всякие, а некоторые что-то там такое говорят Афанасию, а то и нащёптывают на ухо, очевидно, кокетничая с ним.

Екатерина немеет душой; в груди — комок раскалённого льда. Она осознала сейчас: там, на входе, она, возможно, как зверь, почуяла в этом людском неприглядном муравейнике угрозу, угрозу своей любви, своему счастью, и потому хотела остаться с Афанасием под небом, просто под небом, под чистым просторным небом, вдвоём, только вдвоём, а все люди вокруг — они всего-то прохожие, они пусть сами по себе. Как она ждала этой встречи! А теперь какие-то люди встряли между ней и Афанасием и будут, несомненно, мучить её, утягивая за собой Афанасия! А он, посмотрите на него, важничает, красуется!

— Что, оглоеды, уже сбежались? — риторически осведомился смеющийся глазами Афанасий. И довольный и недовольный, что столько народу набилось в его комнату, от-

махнул рукой. — Ладно уж, будем гулять!.. Знакомьтесь, Катя. Присаживайся к столу, будь как дома. Тут всё мои друзья-товарищи, однокашнечки... чтоб им пусто было.

Молодёжь смеётся, ни капельки обиды.

Афанасий вытряхнул содержимое авоськи на стол, небрежно сказал: «Угощаю». «У-у!.. Зна-а-атно!.. Люблю повеселиться, особенно пожрать!..» Кто-то вынул из-под кровати бутылку самогонки, ладонью шибанул по донышку — пробка вон. Зазвенели выставленные на стол гранёные стаканы, в них весело забулькало. Выпили, закусили. Афанасий — царь стола: угощает, наливает, тостами сыплет, подтрунивает над кем заблагорассудится ему. Но Екатерине видно: его любят, уважают, принимают за старшего. И гордится, но и злится она. Злится, что окончания застолью не видно, ещё появились бутылки, ещё народу привалило, пуще смех, пуще гвалт; табачного дыма — как в туман угодили. И люди, люди, всюду люди! А Екатерине хочется смотреть в глаза любимого, хочется слышать слова любви, ей хочется всего Афанасия, она не хочет разделять его с кем бы то ни было. И хотя она улыбается, потому что улыбаются все, но понимает, её улыбка скорее всего неприятна или даже гадка, губы отвердели, непослушливы.

Принесли патефон, с заезженной пластинки мелодично и вкрадчиво захрипел обожаемый всеми Утёсов. Танцевали парами, вприжимочку. Афанасий не любил и не умел танцевать, Екатерину не пригласил, но она ничуть не обиделась, а была даже рада, потому что сидела рядом с ним, и он под скатёркой держал её за руку, словно бы боялся, что она убежит. Они оказались за столом в одиночестве вдвоём. Какой-то залётный паренёк, только что заглянувший на огонёк, расшаркался перед Екатериной и протянул ей руку. Афанасий крикнул в кулак. Бедный ухажёр немедля исчез. «А я, может быть, хочу танцевать», — едва сдерживая смех, шепнула Екатерина с ласковой укоризной. «А я, может быть, хочу тебя съесть», — с театральной свирепостью взглянул на неё Афанасий.

Она примечает, на неё с Афанасием украдкой смотрят, и смотрят по-особенному: и любованье, и зависть взлёскивают в глазах. И она подумала, немножко ослабляясь душой, что они сидят сейчас как жених и невеста, а все собравшиеся — гости на их нечаянной свадьбе.

Снова выпили, закусили, поставили Русланову, принялись плясать, да так, что игла подпрыгивала. Теперь Екатерина уже рада, что все веселы и не спешат расходиться. Она и Афанасий чинно сидят плечом к плечу, глазами — на пляшущих, но видят ли их? Наверное, видят, но сердцем только друг друга. Афанасий под скатёркой истоиво, наступательно тискает, секундами до боли, руку Екатерины. Шепнул: «Всё, Катенька, хорошо: разгоняю компашку». «Пусть веселятся. Тебе жалко, что ли?» — «Жалко! И тебя и себя жалко, маемся. Разве не прав?» «Только о себе и думаешь. Несчастный эгоист», — ласково попрекает Екатерина. «Да, эгоист. Но ты приехала ко мне, а не к ним. Выходит, праздник у меня, а не у них». Она поправляет его, загадочно улыбнувшись: «У нас праздник». «Правильно, правильно! А потому к чертям незваных гостей!»

Подозвал одного, второго друга, что-то шепнул им на ухо. Те, пританцовывая, с шуточками-прибаутками утанули заартачившихся барышень из комнаты. Упиравшаяся обеими руками и ногами рыженькая в дверях подморгнула Екатерине и показала язык. Екатерина нахмурилась, едва не крикнула вслед «дура!»

Наконец, одни, за столом с объедками и пустыми бутылками; доигравшая пластинка — скрип, скрип; смолкла и она. Тишина, только за дверью утробный коридорный гул. Молчат, оба вроде как растерялись, что вдруг оказались наедине. Столько жили в разлуке, любили друг друга издалёка, а сейчас сердце сердце задело, может быть, и не больно сделалось, но оба почувствовали себя неприятно.

За окном в фиолетовых глубинах позднего вечера зябнут редкие огоньки города. Екатерина затревожилась: огоньки, как какое-то неизъяснимое обещание и чаяние, могут стигнуть, проглоченные этой бездушной вселенской теменью. Невольно поёжилась, плотнее запахнулась платком.

Афанасий, долго принаравливая свою медвежью, грабастую руку, несмело и неловко — защемил и наддёрнул локон — приобнял Екатерину, словно бы намереваясь согреть её. Но она строго спросила, слегка отстранившись плечом:

— Ты влюблён в эту... длинноногую? — мотнула она головой в сторону, где недавно сидела высокая рыжая девушка.

— Да ты чего?! — с перекосом губ засмеялся обезоруженный Афанасий.

— Смотришь же на неё. Признайся, смотришь?

— Я и на стены смотрю, — стремительно, но крепко и властно поцеловал её в сжатые, вредные губы, — А вижу единственно тебя... Катенька, Катюшка!..

Подхватил на руки, да не рассчитал силушку — пёрышком подлетела. Поймал, всю прижал, будто скомкал, к груди. Виском и ухом, чуть присев, шоркнул по выключателю. Во тьме безрассудным броском шагнул, как в пропасть, к кровати. «Зайдут?» — придушенная, вымолвила. «Не зайдут». — «Сумасшедший». — «Ты и свела с ума...»

Забыли свет и тьму, небо и землю, жизнь и смерть — ничего нет, ни прошлого, ни настоящего, ничего и не надо, и о будущем надо ли помнить и переживать. Она и он — больше нет ничего и больше ничего не ждать. И оба — в огне, в полыме, в неведомых пространствах то ли ада, то ли рая. Уже не выбраться, не спастись. Что ж, пропадать — так вместе, едиными душой и телом.

Затихли, опалённые, вымотанные.

Мир житейской жизни мало-помалу возвращается в сознание, и первое, что слышат и чувствуют, — кипящее сердце друг друга.

Первое слово — Екатеринино. Оно тихонькое, зыбкое, с хрипотцой, оно точно бы проверка, что способна говорить, обыденно жить, чувствовать. Ещё слово, ещё, голос укрепляется, слова сливаются, как ручейки в речку слов. О чём говорит? О том, о чём уже никак нельзя не сказать любимому. А может, не надо было говорить? Поздно, девонька! Слово не воробей. А всё ли сообщила? Кажется, всё, лишь про свою и его мать промолчала, что сказали и чего пожелали матери, то свято, то неподсудно. Нельзя впутывать ни ту, ни другую, самим надо разобраться — не маленькие!

— Не будет, говоришь, детей? — пересохшим до шершавости ртом переспросил Афанасий, во всё время рассказа Екатерины как бы всматриваясь в те два чудовищных слова, когда-то вбитых, как гвозди, в его душу, может быть, во всю его суть: «Хотел... убила... Хотел... убила...»

Екатерина покачала головой, будто роняя её. Помолчали. За окном — непроглядье, ни огонька, ни крошки жизни. И звуки мира затаились.

Сказал, срывая в горле сипоту:

— Ну и ладно!

Помолчав и крупно сглотнув, ещё веселее и непринуждённее прибавил, но уже чистым, своим, наступательным ветровским голосом:

— После сессии на денёк-другой нагряну в Переяславку. Жди со сватами.

— Ой ли?! — аж вскрикнула.

— Жди. Сказал, жди, значит, жди. Ты меня знаешь.

Вот и ясность. Вот и зазвучала в сердце самая нежная струнка. Вот и сладилось, может быть, как и надо. Слава Богу. Чуть было и не сказала «слава Богу», возможно, заругался, взъершился бы Афанасий, непримиримый атеист, богохульник.

Перебивая друг друга, долго, запоем говорили. Вспоминали детство, Переяславку, рассказывали, как жили в разлуке и мечтали, мечтали. Но не наговориться, не наслушаться голоса любимого, не насмотреться досыта в глаза. Не заметили, как уснули, сморенные безмерным счастьем любви и дружбы. Но вздремнуть осталось всего часок-два; рано поутру одному в дорогу дальнюю домой, другому — на учёбу в институт на другой край города. Снова разлука, снова ожидания и тревоги. Хорошо, что всего-то до лета. А потом? А потом только счастье, только счастье.

Засыпая, Екатерина успела увидеть: за окном зарябило, замутилось, это стронулся в сумерках рассвет нового дня, и, блаженная, полегчавшая, полетела к неведомой, но при- манчивой жизни на своих цветастых и широких, как платы, девичьих снах.

Очнулась первой, испуганно посмотрела в уже индигово набухшие потёмки. Оказывается, сорвался ветер, по окнам хлёстко саданул дождь. Афанасий не слышал, не проснул-

ся, не шелохнулся даже, спал тяжким богатырским сном. «Умаялся за день, бедненький. Помашки-ка молотом», — опершись о локоть, вглядывалась в любимое лицо Екатерина.

Уснуть уже не смогла, переживала: сегодня во вторую смену на ферму, и надо успеть добраться до Переяславки, чтобы никто не прознал, где была. Послушав дождь, первый дождь этой весны, тихонько оделась, склонилась над Афанасием и неожиданно для себя перекрестила его, но быстренько, воровато, даже привычно потянуло оглядеться — не видел ли кто. Будить не стала. Дверь за собой закрывала медленно, напоследок всматриваясь в Афанасия. Улыбнулась ему. «Глупая».

Общежитие ещё спало, за дверями храп, сонное бормотание. На цыпочках прошла возле злой бабки вахтёра, та, склонившись маленькой усохшей головкой на столешницу, сладко дремала под чёрным бюстом навечно бдительного Сталина. Затаивая дыхание, сбросила с ушка на двери туго поддающийся крюк, выскользнула на улицу. И только сейчас, охмелённая счастьем и трезвея под ветром и дождём, подумала: а как же будет добираться домой?

Добралась. Сначала рейсовым автобусом добралась до Московского тракта. С полчаса пришлось голосовать под пронизывающим ветром и морозящим дождём. Машин было наперечёт, и все неслись гружёные, к тому же с пассажирами в кабинах. Наконец, один дядька с двумя втиснувшимися в кабину мужчиной и женщиной сжалился, позволил Екатерине забраться в уголок заваленного домашним скарбом кузова своей полуторки, забросил ей армейскую плащ-палатку. Закуталась в брезент с головой, согрелась быстро, размлела и вскоре, счастливая, задремала. Видела сны, и они были прекрасны.

Подфартило ей невероятно — довезли до самого сворота на Переяславку, следуя на Половину. Шофёр с подножки растолкал. Неохотно высунулась из своего гнёздышка — бело, до гугчей кипени бело, будто молочными реками и озёрами залито и без того славное переяславское местечко. Прижмурилась и не сразу сообразила — снег. Видно, недавно прекратился здесь мокрый обвальный снегопад, ни одного следа к селу, ни одной стёжки в улицах. Навалило изрядно, как обычно бывает в ноябре перед зимой. Иркутск можно считать южным городом, здесь же почти северные земли, лесостепные, климат, что говорить, посуровее, привередливее, и в мае, и даже в июне случаются снегопады, заморозки. Однако почва уже тёплая, прогрета довольно глубоко, в прозеленях, а потому не сегодня-завтра снегу сойти, обернувшись ручьями и лужами.

Спрыгнула с борта и утонула в сугробе выше щиколотки, помахала вслед удаляющейся машине. «Прибыла блудная дева! — вздохнула полной грудью, потягиваясь и усмехаясь на неожиданно пришедшие слова о деве. Повернулась лицом (помнила, как однажды так же поступили мать и отец, вернувшись издалёка) к селу и реке, принаклонилась: «Здравствуй, Переяславка, здравствуй, Ангара!» Но ни реки — она ещё во льду, ни села не отличишь от полей и лугов: округа — монолитные белые волны, лихо взлётывающие по правому, сопочному, берегу. Всюду чисто, белоснежно, ясно, земля и небо прибраны точно к празднику. И сны сегодня прекрасны, и явь изумительна, надо же! Одно только плохо: тяжело идти к дому, ноги вязнут в снегу и в спрятавшейся под ним грязи. Чуть горочка или ложбинка — заскользит ботиками, забалансирует руками. «Не растянуться бы, как корове на льду. Уехала чистенькой, вернулась чумазой, хорошенькое дело...»

Дома, порадовалась, никого не было: мать на работе, сестрёнка ещё из школы не пришла, видимо, как обычно, заигралась после уроков с подружками. Переоделась стремительно и бегом на ферму — надо успеть к началу вечерней дойки. Успела, слава Богу. Доярки уже шебаршились в стойлах, гремя подойниками, уластивая коров. Со всеми поздоровалась, но притворилась хмурой, чтобы не заподозрили чего-нибудь, потому что счастье, как водится, нужно оберегать от завидующего глаза. Верила, с малолетства слыша от взрослых, слезят чёртовы бабы!

До поездки к Афанасию ферма тяготила, сюда порой не хотелось идти, потому что здесь вечно потёмочно, сыро, смрадно, всюду натыкаешься на свежие навозные кучи, сопрелую сенную труху; народ тут работает матерный, грубоватый, а от мужиков и некоторых доярок разит табаком и хмельным. А сейчас показалось, что светло внутри, хотя ни

одного светильника нет, что люди сплошь добры, приветливы. А запахи какие! Не то что в городе! Здесь запахи лета, сенокоса, лугов, парного молока, хорошие, естественные запахи здоровой деревенской жизни. Здесь сегодня тепло, уютно. Работалось споро, молоко весело прыскало в ведро.

Около полуночи вернулась домой. Маша и Любовь Фёдоровна, дожидаясь, сидели при керосиновой лампе за рукодельем. Скороговоркой поздоровалась и прошмыгнула в свою комнатку, чтобы и матери не открыться, чтобы мать не поняла, где её дочь была, что привезла в своём сердце.

— Вся, Кать, светишься, будто гнилушка на болоте, — сказала мать со смешинкой в голосе. Помолчав, спросила с неестественной строгостью: — Уж не у него ли была?

Екатерина промолчала — ни соврать, ни правды не могла сказать.

Но мать знала свою дочь.

— Ай, бедовая ж ты головушка, Катюха моя горюха.

Сестрёнка, хихикнув, проголосила:

— Жених и невеста, поехали по тесту...

Мать лёгкой затрепачкой остановила:

— Спать живо, певунья! Опять сегодня двойку отхватила. Учителя жалуются, егзишь, коза, на уроках, только что не безобразничаешь, как пацан. Каким-то сорванцом растёшь, а не девочкой. Смотри мне, Машка, отцовский ремень вон висит на гвозде... А ты, Кать, позанималась бы с сестрой математикой и русским.

— Угу, — отозвалась Екатерина.

Мать зашла к старшей дочери, приобняла её, погладила по распущенным волосам:

— Я ж сразу догадалась, дурёха, куда ты тогда намылилась. Хотела было остановить, да вижу, бесинка в глазах твоих беспроглядных. Так и скачет там, так и мечется, окаянная. Ладно, думаю, пускай доча попробует судьбину... Как хоть съездила-то?

— В жёны хочет взять, — слабо и отрешённо, будто где-то не здесь была, улыбнулась Екатерина. — Сватов, говорит, жди в конце июня после сессии.

— Ой! Что будет, что будет!

— А что будет? — бледно спросила Екатерина, сердцем всё пребывая далеко отсюда.

— Матка-то его, Лукинична, поперёк не стала бы. Ух, несговорчивая да ершистая она баба. — Помолчав, примолвила тихонечко: — Отговори его.

Екатерина слабо и равнодушно помотнула головой:

— Будь что будет, мама, — и подумала, устремляя взгляд поверх занавески чёрного окна, в самое непроглядье сырой и холодной ночи: «Жизнь и помыслы наши в руках Божьих. Разве не так?»

— Ой, Катюха горюха, ой, отчаянная головушка...

Теперь уже Екатерина гладила мать, её нагруженные, шероховатые, но такие родные ладони. Что сказать маме? Какими словами выразить сердце?

В конце мая Полина Лукинична получила от сына письмо. «Батюшки, стряслось чего, ли чё ли!» — всколыхнулось в груди, когда у калитки приняла из рук почтальона конверт. Ни разу за время отлучки Афанасий не писал, потому как не принято у деревенских по пустякам писать, как говорится, изводить бумагу, балуясь всякими писульками. Письма — удел городских да всякой интеллигенции, у них, поди, времени поболее, чем у крестьянина. Денег, правда, два раза отправил, но не почтой, а с подвернувшимися нарочными — студентами земляками, приезжавшими в Переяславку на побывку. Молодец, радовалась мать, у кого ещё такой сын? Ни у кого нету, единственный он такой! И учится, и работает, и себя обеспечивает, и недужных своих родителей с младшим братишкой не забывает. В свою очередь, и мать с оказией на колхозной машине отправляла ему пару кулей с картошкой, туес квашеной капусты, связку вяленой дичи, ещё по малости напихала в корзину разного съестного, взрощенного на огороде или добытого в тайге или реке. Последнее и, кажется, единственное за всю жизнь письмо, полученное Ветровыми, — похоронка с фронта

на старшего сына, незабвенного Коляшку, первенца, с потерей которого мать не может смириться по сей день. И вот теперь второе письмо. Что в нём скрыто? «Господи, не приведи...» — твердеющими губами шепчет мать.

Не заходя в избу, а даже зачем-то задвинувшись в тень за поленницу, нетерпеливо вскрыла конверт. Слепокуро вчитывалась в крепкого нажима сыновние строчки. «Здравствуйте, мои родные, матушка, батя и брательник Кузьма, — читала она, малограмотная, по слогам, опасливым шепотком. — В первых строках своего письма сообщаю, что жив, здоров, чего и вам, мои дорогие, искренно желаю...» «Слава Те Господи», — вскинула мать глаза к небу. «Я живу хорошо, учусь, тружусь, даже некогда, как другим, вырваться в Переяславку...» «Ну и ладненько. Ну и учись, сыночек. Уж мы как-нибудь потерпим, дожидаячи тебя, родненького». «А пишу я вам вот по какой причине: в конце июня после сессии на недельку загляну в Переяславку, потом укачу по комсомольской путёвке на северную стройку, на которой пробуду до середины сентября, после, сами понимаете, снова учёба, завод. А до моего отбытия на севера со сватами ходим к Пасковым. Екатерину я беру в жёны. Теми же днями сыграем свадьбу. Деньги имеются. Дело решённое, хотя, как доброму вашему сыну, сначала мне следует просить у вас, так сказать, благословения. Но теперь, сами понимаете, не царские времена, всякие там разные замшелые церемонии ни к чему. Я знаю, что делаю. Если можете, поймите и простите. До свидания. Ваш сын и брат Афанасий».

Дочитывала Полина Лукинична, а сердце уже сколосось, дыхание сбивалось, то затихнет, то сдёрнется, будто завязало. Она, нравственно придавленная, сокрушённая, постарушечьи сгорбленно опустила на чурку и замерла, казалось, ожидая смерти или большей напасти. «Чаяла, забудет её, завертится в городской сутолоке... а оно вона куды заворотило, а оно вона куды понесло. Ай-ай-ай! Сгубит, несмышлёныш, всюё свою жизнь. Когда хватится, поздно уж будет. Нам с Ильёй ни внуков не видать, ни спокойной старости. Один сын на фронте погиб, другому несчастная доля может выпасть, Кузьма не навторил бы чего...» — смолой потянулись нелёгкие, застрашивающие мысли.

Илья Иванович, рослый, крупноголовый, моложавый, низко склонясь в дверном проёме, вышел из избы во двор — пообедал и теперь направился в колхозную конюховку, где извечно служил старшим конюхом. Единственной правой своей рукой, ловко орудуя внешне негибко-грубыми, натруженными пальцами, свернул козью ножку, прикурил, чиркнув спичку о голенище кирзача, блаженно затанулся, пошагал было, да заметил жену:

— Поля, ты чего за поленницу забралась? Да вся с лица спала.

Полина Лукинична поспешной украдкой скомкала злополучное письмо, запихнула его между поленьев — мужу показывать не надо, никому не надо показывать! Но что делать, что же делать, что же, люди добрые, делать?! Как оберечь юного и неискушённого своего сына от шага неразумного, рокового?

— В пояснице, Илюша, стрельнуло, вот, перевожу дух. Настудилась в noneшнюю непогодицу, ли чё ли.

Поднялась, с излишним усердием припадая то на одну, то на другую ногу, направилась в избу.

— Почтальонша-то чего подходила?

— Почтальонша? — снова обмерла Полина Лукинична, невольно стопорясь. — Кака така почтальонша? А-а-а, Зойка-то Кудашкина!.. Да та-а-ак... Мимо шла... Покаякала с ней о том о сём.

Илья Иванович с хитроватым весёлым прищурцем посмотрел на жену, в седой, но ещё браво подкрученный ус усмехнулся чему-то, вышел за калитку, неторопко направился к конюховке на другой край села. «Чёй-то заподозрил, никак», — полвзглядом уловила Полина Лукинична усмешку мужа.

Облокотившись на изгородь и как бы пригорюнясь, глядела ему вслед. До чего же Афанасий похож на отца! Та же редкостная богатырская стать, та же крепкая развалка поступь, та же не без горделивости поставленная большая умная голова, ну, чисто список с отца! А норовом, а разумением, а хозяйственной хваткой просто до тютельки схожи! За

долгую и непростую жизнь Илья Иванович несколько пообтесался, поутих, поговорчивее стал, а по молодости упрям, нравен, ершист бывал. Уж если чего вздумал да пожелал — будет так и никак иначе. Горестно вспомнилось Полине Лукиничне, как в Гражданскую дерзкой своеволькой ушёл из родительского дома её будущий супруг в партизанский отряд сосланного политического преступника — грузина Нестора Каландаришвили, а там чуть было жизни не лишился, изувечился — руку потерял, слава Богу, что не голову.

Переяславка, как и многие приангарские веси и заимки тех жутких, всемирно переломных лет хотела жить наособицу, как говорили, старинщиной — ни с белыми, ни с красными, ни с генералом Каппелем или адмиралом Колчаком, ни с «бандюгой» Каландаришвили, или пока что малопонятными Советами не пожелала знаться. «Никому не верим!» — упрямовствовал до самого выдворения белочехов и падения армии Колчака осторожный, в большинстве своём зажиточный сибирский крестьянин, таёжник-промысловик. А юный Илья Ветров, как немало и другого люда, преимущественно рабочего, городского, своевольно, наперекор родительской воле ещё до революции устроившись на железную дорогу и сойдясь там с социалистами, напоился иным духом — духом противления и нетерпения: нынешнюю — царскую, «кровавую» — власть невзлюбил, от церкви отшатнулся. Когда вместе с идейными товарищами уходил в тайгу, чтобы влиться в партизанский отряд, отец, Иван Кузьмич, размахивая кулаком, отчаянно прокричал ему вдогон: «Проклинаю тебя, иудово племя!» Сын не обернулся, не уstraшилcя.

Однако судьбу его развернуло и перетрясло так, что едва живым остался. Через несколько недель Илью, охваченного жаром, перебинтованного и, похоже, умирающего, приволокли, измаявшись с этой неимоверно тяжёлой ношей, в дом отца на носилках: осколками шального каппелевского снаряда парню отхватило левую руку по плечо, к тому же посекло рёбра, но внутренних органов и лица, на диво, не затронуло. Отец хотя и попыжился, поугрюмился, даже раскричался на незваных гостей, «слуг Антихриста», однако, супротивного сына всё же не отверг. Семья выходила его.

Вскоре советская власть одолела и внешних и внутренних своих врагов, утвердилась на немереных сибирских привольях. Начиналась какая-то новая, необыкновенная, манящая жизнь. Илье Ветрову хотелось влиться в неё, вершить большие дела, но без руки человек, понял он, как птица без крыла: душа хотела полёта, но взлететь по жизни как следует он не мог, только что и оставалось хлопать попусту о землю в безнадежной попытке взмыть к выси. Он долго и мучительно не смирялся со своей однорукой участью, угрюмился, чуждался односельчан. Инвалид он и есть инвалид, калека — ещё беспощаднее подворачивалось слово — он и есть калека, открывал молоденький самолюбивый Илья для себя суровую, беспощадную правду человеческого общежития. Дюжему, неуёмному, любившему жизнь, жить и работать, однако же, приходилось в полсилы, вечно быть у кого-нибудь на подхвате, ходить вроде как в немощных, если не сказать, сирых. С людьми ему, гордому, умному, порывистому, бывало порой невыносимо неуютно, тяжело, злился, и зачастую несправедливо, по пустяку.

Но замечал с возрастом и опытом: годы, оказывается, могут лечить душу. С появлением колхоза потихоньку пристал к лошадям — животное не обидит, не посмотрит снисходительно, с жалостью. Наловчился запрягать одной рукой. Что там! даже подковывал, тут уж совсем озадачивая и дивя людей. Ну а задать овса или подбросить соломы и сена — и вовсе просто было. Поднаторел и в починке упряжи. Веселее становился, общительнее; выбился в начальники. Но главное, жена ему хорошая досталась, крепкая, под него статью, природно суровастая с людьми, но ласковая и учтивая с супругом Поля Ванина. Она тянула дом, немаленькое хозяйство со скотиной; порядок во всём был; родила ему троих сыновей. «Ай, молодчинка, Поля-то Ветрова!» — говаривали селяне. Даже сама раскалывала чурки, хотя Илья и тут набил, как говорится, руку. В этих своих каждодневных трудах Поля и сорвала спину, надсадилась, и теперь мучилась, порой не имея возможности и ведро с водой поднять; лечилась, однако, не помогало как надо бы; хорошо, сыновья подросли, рано сделались помощниками. Илья поругивал жену, если она исхитрялась опередить его в какой-нибудь тяжёлой мужичьей работе. Поля стала действовать тайком, украдкой,

пока он в отлучке на конюшне или ещё где-нибудь. Он замечал и понимал: жалеет. Но если заподозрил бы, что жалеет, как другие люди, то есть как калеку, немощного, мог бы, вспылив, и наругать. И в первые годы их супружества так и случилось несколько раз. Но скоро понял, её жалость, если таковая вообще была, тонула в её беспредельной любви к нему.

Однажды сказал жене: «Ты, Поленька, моё второе крыло». Она, стыдливая к похвалам и сыздетства скуповатая на открытое проявление своих чувств, притворилась, что не поняла: «Куриное, ли чё ли?» А у самой, поспешно отвернувшей лицо, колко вздрогнуло в глазах, будто внезапным ветром набросило снежинки.

«Ах, Афанасий, ах, Афанасий! — мысленно обращалась Полина Лукинична к сыну, вспоминая у калитки скорби и отрады былого. — Также, как твой отец когда-то, натворишь делов, а потом попробуй-ка полететь с переломанными крыльями. Пошто тебе, родненький, пустопорожнее счастье? Найди другую девушку, здоровую да родящую, ведь любая бросится к тебе. Катюшка, чего уж мне наговаривать напраслину, конечно же, красавица, умница, но дитя-то даже самого замухрышнённого от неё, сынок, не дождёшься. Что сделаешь, коли так судьбинушка распорядилась. Смирись! Богу одному ведомо, почему содеялось, что содеялось. Он ведёт нас по жизни, и наказывает и жалеет, и отнимает, и дарует. Скажу напрямки: оба вы повинные, оба наворотили уже сполна, но я денно и нощно буду замаливать твой грех, а Любаше, ейной матери, ясное дело, молиться за дочку свою. Авось, обойдётся, авось, судьбина твоя выправится. Авось, и Катюшку Господь не оставит своими милостями, глядишь, найдёт себе паренька, со временем возьмут они сиротку на воспитание, пропасть, сколько сейчас обездоленных-то детишек. Али как-нибудь ещё дела их образуются и уладятся. Господь, известно, всемилостив...»

Проводив взглядом супруга до самого сворота в проулок, как давнишние повелось у неё, Полина Лукинична вошла в избу, постояла на порожке у двери, пробрела на серёдку комнаты, остановилась. Похоже, не знала за что приняться, хотя никогда днями напролёт до самого поздна не сидела без дела, ни приляжет, ни присядет даже. А сейчас потерянная стояла посреди комнаты, словно бы не знала не только, что делать, а и как жить дальше. Подросток Кузьма недавно пришёл из школы и сидел у окна за уроками. Что-то бормотал, решая задачку. Нос в чернилах, волосы взъерошенные, выхуданный. Что говорить, старательный мальчонка, хотя, поглядывая в окно, наверное думает: эх, скорей бы на улицу, к пацанам! Любил сразу после школы выполнить уроки, чтобы потом подольше побегать на улице. Задачка, однако, явно не даётся. Но он умный, упрямый; они все, Ветровы, умные, упрямые. Отрадно матери, славный сынок растёт. Они все трое её сыновей славные. «Ах, Николашенька!» — снова неизбывной памятью пронизало сердце.

Кузьма привык: когда мать в доме (она лишь вечерами уходила мыть полы в клубе и правлении колхоза), всегда шебуршится, двигается, пошумливает — скребёт, метёт, моет, варит, на дореволюционном «Зингере» строчит, а сейчас что такое? — мать, кажется, вошла в избу, однако, тишина за его спиной. Наконец, оторвался от задачки, взглянул на мать — стоит посреди комнаты, оцепенелая, с закушенной губой.

— Мама, ты чего?

Вздрогнула, будто застали её. Порывисто подошла к Кузьме, крепко и широко обняла его за голову, будто желая укрыть сына, спрятать, и вдруг заплакала, зарыдала.

— Мама-а-а-ня?... — от страха слов больше найти не может.

Когда видел материн плач, не припомнит. Не любит мать плакать. Или же таится, когда тошно ей? Сильный она человек, не как другие женщины. «Кремнёвая баба, Польша-то Ветрова», — услышал он однажды от взрослых. Но нет, нет, вспомнились Кузьме слёзы матери — на Николашину похоронку с фронта. Словно бы ссеченная, упала она тогда у калитки на землю с извещением в руке. А плакала как, боязно и вспомнить, казалось, при каждом вздохе хотела войти в землю, зарыться в неё, трясло её, било. Кузьма мельком тогда увидел её лицо, поразило: слёз не было, а глаза вроде как горящие, в огне. Такого страшного плача Кузьма больше ни у кого не видел, даже у пацана Сашки Роговцева, которому прошлым летом косой нечаянно отхватили полступни. «Кремень маманька-то у меня», — не без горделивости думывал Кузьма.

С трудом вывернулся из рук матери, заглянул в её глаза. Снова нет как нет слёз, и, сдавалось, не влаги излиться из её глаз, а огнём пыхнуть, красные они, как накалённые.

Сипло вымолвил:

— Да ты чего, маманя?

— Ай, так! — и, вроде как опомнившись, отошла, стала хлопотать у печи, чрезмерно стуча чугунами. Видит Кузьма, вслепую тычется мать, бестолково, уронит то заслонку, то лучину с тесаком.

Молчала весь день, и вечером была немногословна и задумчива, когда пришла с конторских помывок. Всю ночь не спала, ворочалась. Илья Иванович тоже не мог уснуть, похрапывал, вставал, покуривал, в задумчивой хмури пуская дым в приоткрытую дверку печи. Наконец, спросил, хрипато прокашливая, занемевшим голосом:

— Поль, а письмо-то не от Афанасия ли было? Не стряслось ли чего с ним? Чую, таишься и маешься, а?

— Охо-хо, — глубинно и тяжко вздохнула она, но по привычке с плотно сомкнутыми губами.

Но губы всё же разомкнула, заговорила, но тягуче, неверным голосом, и о письме поведала, и о своих переживаниях и опасках.

— Не отдам ей сына, не отдам, — прерываясь, повторила многожды, казалось, уже на срыве дыхания, каким-то тяжёлым, наждачным шепотком.

Уснуть не смогли оба, до ухода Ильи Ивановича на конный двор, куда он обычно припевал самым первым, проговорили, смолкая, вздыхая, зачем-то всматриваясь в мутные и качкие сумерки за окном.

— Слыш, Поль, не поломать бы жизнь обоим, — осторожно заметил Илья Иванович у калитки.

— Куды уж, Ильюша, дальше ломать, переломана и без того, — отозвалась, но не сразу Полина Лукинична. — Да жить-то дальше надо, молодые ведь. Девочек вон скока повсюду. А для неё паренёшка какой-нить ли чё ли не найдётся? — Помолчав, прибавила с неестественной, совершенно не приличествующей бодростью: — Ежели встречу её — расчихвостю. Чертям будет тошно. Ишь, ухватила за нашего Афанасия, точно кощёнка коготками за дармовую рыбу!..

— Не надо бы этак о Катюшке-то, — насупил Илья Иванович и отвернулся от жены. — Девка-то она славная, чего уж ты!

— «Не надо, не надо...»! А как надо? А как надо? В улыбочках перед ней расползтись, а сыну жизнь сгубить за понюшку табака?..

— Может, не будем встречать, пускай сами разбираются, — угрюмо и глухо, будто из за стенки, вымолвил муж. — Им, пойми, жить-то. А?

Полина Лукинична внешне сникла, промолчала, уставленно смотрела себе под ноги. Муж в потёмках разглядел её крепко-накрепко сомкнувшиеся губы, туго сморщенный подбородок. Также промолча, пошёл неторопко, пожёвывая погасшую скрутку. У сворота в проулок, однако, приостановился, будто что-то позабыл, слегка повернул голову к своей избе. Нет, не вернулся и ничего более не сказал, пошёл дальше. «Чего останавливался? — напрягаясь и зачем-то даже поднимаясь на цыпочки, всматривалась ему вслед жена. — Сомнения, видать, гложут, ещё поугovarивать хочется. Не уговори-и-ит! Не да-а-амся! Уж рубить, так рубить с плеча, чтоб разом, чтоб обратков не было ни ей, ни ему и чтоб нам всем: перехворали — и из сердца вон!»

Серыми холодцеватыми буграми тумана накатывалось на Переяславку утро. Не сегодня-завтра лето, но природа, как в предзимье, тяжела, неуклюжа, затаённа. Кто знает, может, и снег нагрнать, а вот заморозкам непременно случиться — всегда они в самом начале лета хозяйничают на утренних зорях, подмораживая нежные побеги. В сердце у Полины Лукиничны стало ныть, что-то, как жилы, тянуть, тянуть, вроде как даже вымогать наружу, чтобы, казалось, если уж обнажать, так обнажать до мяса, до костей, в груди сгущалась тягость, и вот-вот, сдавалось, ноги подломятся. Как для избавления, вглядывалась женщина в туман, чтобы увидеть Ангара, свою красавицу реку, свою любимицу.

Может, от неё придёт какой-нибудь спасительный зов, намёк, ответом ли, всплеском ли. Но не видно реки. Ни реки, ни неба, ни окрестностей переяславских, родных и дивных, ничего отчётливо и явственно не видно, кроме изгибистой, изрубленной ухабами дороги до сворота в потёмки проулка да ближайших, исчернённых ненастьями и временем заплотов из горбыля. «Ох, грехи наши, грехи непосильные...», вздыхаячи, поплелась Полина Лукинична в избу, держась за мучительницу свою вечную — поясну. Кузьму скоро уже пора будить, в школу мальчонку собирать, кормить, расчёсывать гребнем его непокорливые кудлы, растущие — посмеивались повсюду — «растопыркой», а потому и дразнили его Кузей Растопыркиным. Начинаются нескончаемые домашние хлопоты, в которых забыться бы, а то и спутать бы своё сердце. Ах, спутать бы, не натворить делов!

9

И весь божий день подступали, подкрадывались к Полине Лукиничне сомнения, всяческие неспокойные мысли. Они хотя и смягчили сердце, но хватко и жёстко, словно бы на разрыв, пытали его. Однако крепкий и упористый её норов мало-помалу осилил такие колебания: не стала она дожидаться мужних увещаний в нелёгких разговорах, боясь во все расслабнуть, а потом, конечно же, отступить, сталкивавшись со своей совестью и разумом. Порешила: махом, ныне же, лучше сегодняшним вечером, порубить окаянные узлы судьбы. Примет грех на душу, но и тем самым освободит для сына дорогу в счастливую, благополучную жизнь. Он умный, он поймёт свою мать, непременно поймёт, родненький, и поступит благоразумно.

После помывок часа два до самого поздна Полина Лукинична простояла у заплота вечерней школы, подстораживая Екатерину.

— Ты чего же, гадюка, моему сыну жизнь увечишь? — обрушилась с ходу, из потёмков хищно надвинувшись на оторопевшую девушку. — Не допуш-шу! Убью себя, а не допуш-шу, чтоб ты его женой стала! Како тако счастье ему принесёшь, пустопорожня-то? Смерти моей хочешь, гадина? Получишь! А как опосле жить будешь, людям в глаза зыркать, с моим сыном миловаться?..

Снова рядом с Екатериной дохнуло смертью — «убью себя», «смерти моей хочешь». Воздух, почудилось ей, вокруг загустел, сплотился, как, возможно, земля в засыпаемой могиле, даже дышать стало трудно, а перед глазами черно. Сорваться, убежать бы. Ничего не слышать и не видеть. Как жестоки люди, как жестоки! Но плотен воздух, а в лёгкие уже точно бы земли набилось — невозможно стронуться с места, невидимый, но чуемый гнёт одолел и душу и тело.

— Полина... Лукинична... Полина... Лукинична... едва выговорила она онемевшими губами и вдруг пошатнулась, поосела враз. Успела ухватиться за доску забора, но всё равно не смогла удержаться на ногах, привалилась коленями к земле.

Нет, она не потеряла сознание, нет, ей не стало дурно как барышням в старых романах, но она действительно не смогла устоять на ногах, словно бы не словами ударили её, а чем попадая, и били так, чтобы наверняка повергнуть, а то и убить. Хочет подняться, но уже и руки подламываются, пальцы слабеют, всю тянет книзу, и упавшая на землю коса, вроде как верёвка с грузом. Не стала Екатерина сопротивляться, притиснулась к забору — что ж, унижение так унижение, смерть так смерть.

— Ты чего, ты чего, дева? — принаклонила к ней Полина Лукинична. — Эй, жива ли?

— Ага.

— Пала, точно обухом по голове тебе вдарили.

Морщась от ломи в спине, помогла Екатерине подняться, под локоть довела до лавки. Присели с краешку, молчат, со стороны можно подумать, что обе — старушки: поджались, присгорбились, взглядом зацепляются за землю под ногами. Мимо парни и девушки шумно и весело расходятся с занятий. По-ребячьи толкаются, минув узкую калитку, хохочут. Где-то растянули залихватски гармонь, и девичье многоголосье задорно и кокетливо стало вить венок из слов:

*Мы на лодочке катались,
Золотистой, золотой!
Не гребли, а целовались,
Не качай, брат, головой!..*

Праздник жизни теряется и гаснет в сумерках улиц. Екатерина и Полина Лукинична остаются совсем одни, на них отовсюду наступают потёмки, коконом тьмы облакают, словно бы отъединяя ото всего села, а то и ото всего белого света.

— Любишь Афанасия? — проталкивая голос и крадущейся скосинкой взглянув на Екатерину, спросила Полина Лукинична.

— Люблю, — вздрогнув, точно бы в испуге, покачнула головой Екатерина.

— И я люблю. Только вот материнская-то любовь, Катюша, куды как крепше. У-у, кре-е-е-пше! Крепше стали. Крепше даже смерти. Да, да, вона оно по-каковски баю! Разумеешь ли меня?

Екатерина, будто кланялась, покорливо мотнулась всем туловищем. Но разговор не развився, снова нагушалось молчание. В окнах повсюду зажигались огни, вытесняя мутную полумглу. Однако небо и дали уже устойчиво черны, и ночь в этот час, конечно же, необорима, не отступит и вскоре всецело затопит собою переяславские просторы. От Ангары и безлюдных сопок правобережья наволакивало угрюмой мшастой сыростью, чёрной изморосной дымкой. Становилось знобко. Полина Лукинична широкими резкими движениями плотнее закуталась шалью, решительно поднялась, казалось, бодрила себя, настропалая. Чрезмерно громко кашлянула, хотела что-то сказать, но слова отчего-то не пошли, заколодились в груди. Перемялась с ноги на ногу, зачем-то норовя ухватить взглядом низко склонённое лицо Екатерины.

— Слышь, пора уж по домам нам разбегаться, ли чё ли, — сказала, наконец, так и не разглядев лица девушки, — да главного-то не сказано... Ты вот чего, дева...

Екатерина поужалась, ещё больше сгорбилась, поняла, пощады не ждать, женщина собирает силы, чтобы сказать как надо и, видать, на том точке в разговоре и быть.

Полина Лукинична снова хотела было сказать, да снова осеклась, снова замолчала. Но Екатерина знает: Ветровы, они решительные, они умные, они знают, как поступить, что сказать, и Афанасий хотя и похож на отца статью и лицом, однако, норовом и разумением — слепок с матери.

— Эх, чего уж!.. — по-мужски кулакасто отмахнула рукой Полина Лукинична.

Да, снова и снова одолевали женщину сомнения, мучила кровь нерешительность. Однако довольно терзаться, надо говорить, заканчивать эту пытку!

— Вот чего тебе, Катюша, хочу сказать напоследки, отвадь от себя Афанасия, ради Христа, отвадь. Отвадь его, окаянного, умоляю! Он приедет, только шагнёт к тебе, а ты ему — другого, мол, люблю, прости, прощевай. А? Скажешь? Или чё-нить другое брякни. Поразмыслить есть времечко. Отвадь, огорешь парня! Ладом? Уговор?

Екатерина, утянутая, вконец раздавленная, молчит. Не видит ни чёрного, ни белого света, и не сразу поняла, что зажмурилась.

— Ну же, дева? Пойми, добра хочу и тебе и ему.

Приоткрыла веки — тьма. Может быть, уже в могиле? Хорошо бы!

— Отвадить, говорите?

Казалось, произнесла потому только, чтобы проверить, жива ли ещё, может ли говорить, видеть, понимать.

— Отвадь, родненькая, отвадь! Ну, чего ты вся заостенела? Замёрзла, ли чё ли? На-кось мою шаль. Дай повяжу на тебе... Ой, батюшки, да ты горишь полымем, лбом своим ажно обожгла мне ладошку.

Но тотчас, как в беспамятстве, ринулась напролом, уже не давая передыху ни себе, ни Екатерине:

— Поклянись, что отвадишь? Поклянись! Покляни-и-сь, родненькая! Умоляю! Клятой святой и нерушимой скрепи наш уговор. Клятва, она силища, она поборет и твои, и мои сомнения. Клянись! Клянись, доченька!

Екатерина насилу разжала губы, но и сама не поняла, сказалось ли что.

— Ну, чего ты, чего? Не слышу, Катюша. Повтори, родненькая!

Екатерина снова шевельнула губами, и какое-то слово, точно бы напуганное мраком и холодом, вздрогнуло в воздухе. Она не чуяла, не слышала себя, она горела, и не хруст ли и треск огня во всём её существе оглушил её, палом не омертвило ли сердце?

— Вот и молодчинка, вот и ладненько, вот и уговорились. Смотри помни, поклялась! Клятва — ого-го что такое!.. Мой свояк Гошка Пеньковский как-то раз поклялся прилюдно, что пить бросит. И бросил ведь, а мяготе-е-елым был! Бросить-то, вишь, бросил, да сердце не выдержало крутенькой перемены: помер мужик через месяц... Ой, об чём, полоумная, калякаю!.. Вот чего давно уж хотела сказать: люблю тебя, Катюша, всем сердцем, славная ты девушка, ан сынок дороже мне жизни моей. Умру за него, так и знай...

Но неожиданно голос её смялся, растёкся, и рыдания стали увечить корчами черты её солидного, «ветровского» лица, пригибать к земле стан.

— Ой, чиво натворила, чиво натворила, окаянная баба! Господи, помилуй меня, грешную! — мелко и спешно перекрестилась. Приобняла Екатерину, погладила, как ребёнка, по голове: — А как тебя Афанасий-то кличет? Знамо, знамо на всю деревню — Катя-Катенька-Катюша. Не имя — песня. Ах, Катя-Катенька-Катюша, песня ты наша прекрасная... прекрасная, да скорбная, ой, ско-о-орбная! Бедовая ты головушка! Прости, родненькая, бабу дуру, прости, ежели можешь, — причитала как над покойницей.

Но, помолчав, преодолела эту вырвавшуюся из оков её по-мужичьи дюжего, семижильного характера слабину, распрямилась, пересиливая боль в спине, кулаком смахнула с глаз и щёк слёзы.

— Довольно, Екатерина, разговоров, пора расходиться. Вона уж темень-то какая. Тебя, слышь, до дому довести? Айда вместе, ли чё ли!

Екатерина отозвалась очень тихо, и было件нятно, что сказала столь негромко вполне осознанно, будто только для одной себя:

— Я сама... теперь всегда сама.

— Что, Катюша?

— Я сама. Сама.

— А-а.

Полина Лукинична вздохнула, спешно перекрестила неподвижно сидящую Екатерину, шепнула поверх головы, минуя взглядом её сровнянные с сумраком глаза:

— Положись, дочка, на волю Божию. Ну, бывай. Христос с тобой, — и, несоразмерно широко шагнув, тотчас пропала в ночи, будто в яму сорвалас, или же не было никого.

10

Долго ли просидела на лавке, Екатерина не знала. Поднялась, пошла, не чуя пути, в направлении, как ей казалось, дома, по-старушечьи неверно переставляя ноги. Но вскоре поняла, что направление ошибочное — шла в обратную сторону, к Ангаре, в самый тёмный и непроглядный край Переяславки, подпёртый с правобережья глыбами взгорий, тайгой. Мрак, безмолвие, жуть. «Топиться иду, что ли?» — подумала безразлично и буднично.

Постояла на яру. Внизу, в реке, щедро рассыпанные небом, плавали звёзды, не тонули, а, напротив, поминутно и искристо вспыхивали в волнах. Дали плотные, чёрные, но там, где недавно село солнце, Екатерина разглядела: небо морщилось бледной кожицей, будто напряжённо и мрачно думало. На далеко отстоящей от Переяславки железке густо и властно прогудел несущийся к Иркутску паровоз; Екатерина, как по оклику, полуобернувшись, увидела мощно пыхнувшие из трубы искры. И тотчас неожиданно и отчётливо расслышала в себе, казалось, разбуженное этим повелительным трубным гласом и полымем из глубин ночи: «Иди живи!» «Жить? А надо ли? А для кого? А зачем?..» — стало наперебой перекликаться в сердце.

Но её сильная, живая, рано повзрослевшая натура жила своей жизнью молодости и любви. И молодость и любовь были истинными, как истинными извечно пребывали под её ногами земля, а над её головой — небо. Она не могла — или ещё не умела — победить в себе природу жизни, потому что сердцем и рассудком сама была частью всеобщей приро-

ды, частью этой прекрасной реки, частью этих немереных таёжных лесов, частью своего родного села, частью всего сущего под этим грандиозным небом из звёзд и облаков. Нужно было жить, конечно, нужно было и хотелось жить, но жить надеясь и веря. Но как? Как жить, на что надеяться, во что верить? Что должно было стать для неё жизнью-судьбой, смыслом, направлением, опорой?

Она отвела взгляд от реки, пошла прочь от яра. «Ещё, поди, успею утопиться», — заставила себя усмехнуться, но поняла, что только лишь сморщилась. Шла убыстряясь, но нет-нет да обернётся, нет-нет да смедлит шаг. Не ждала ли, что-то или кто-то позовёт, подскажет: вот так поступи, вот так живи, Катя-Катенька-Катюша. А кто или что окликнет и подскажет: река, небо, холмы, поля, или же люди? И тут же — «сама, теперь сама», повторяла, вроде как крепко-накрепко заучивая, отодвигая другие мысли и настроения.

В избу пробралась тихонько, на цыпочках, шмыгнула в свой закуток у печи: никого ей сейчас не надо, утихла бы душа, угасли, замертвели бы чувства. Мельком увидела: мать тяжело приподняла голову с подушки, спросила сонно: «Пришла, доча? Слава Богу» и сразу задремала, вымотанная за день. «Сама, теперь сама...» являлись слова, но уже без усилий, каким-то торжествующим нудным самотёком, как случается во сне, и ты не можешь противостоять и что-либо изменить.

«Слышишь, мама: теперь я сама...» — приподнявшись на локте, мысленно и неожиданно обратилась она к матери, но спотыкнулась, напряглась вся, не зная, как пояснить даже самой себе: а что, собственно, сама?

— Мама, мама, — тихонечко проскулила, упрятав лицо в подушку.

Не думать, не копать, не растревать душу! Нужно бы уснуть, отдохнуть, наконец, забыться. Но как назло сон не шёл, обходил стороной; грудь горела, кровь, казалось, обжигала жилы, нет, не уснуть, не спрятаться от маеты и тоски! Чредой, наталкиваясь друг на друга и тесня друг друга, вроде как борясь за первенство, подступали воспоминания, образы, виды, слова. То пригрезится мать Афанасия, страстно и страшно требующая «поклонись, поклонись!..» То явятся перепутьями-переплетениями улицы, мосты, площади пугающе незнакомого для неё Иркутска, по которым она отчаянными перебежками спешит, запинаясь, падая, вскакивая, но не может никуда прибыть, и в итоге запутывается, заворачивается так, что вот-вот заплачет, запричитает, взывая о помощи. То вдруг предстанет Афанасий, такой весь весёлый, могучий, устремлённый; он видеть не видит Екатерину и вышагивает деловой машистой поступью своей дорогой. Она рвётся из перепутий, из многолюдья улиц, чтобы подойти к нему и сказать: «Здравствуй, любимый, не ждал, а я вот взяла и приехала к тебе!» Однако Афанасий — взором вперёд, поверх голов, и идёт, идёт в ведомом только, очевидно, ему одному направлении. Екатерина отчаянно вскрикивает: «Афанасий! Вот же я!» И его шаг, кажется, замедляется, а голова, похоже, что неохотно, поворачивается. Однако снова, будто подстораживало, врывается, рубя с ходу, наотмашь: «Поклонись, поклонись!..» И нет как нет Афанасия, его образ смят, рассыпан, искромсан. Опять Екатерина оказывается в сплетениях иркутских улиц, среди чужих людей, в толкотне; заплутала как в тайге. Ищет глазами любимого. Не находит, мечется.

«Поклонись, поклонись!..» — настигает всюду, куда ни кинься.

Жуть. Не спрячешься. И то ли сон, то ли явь, отъ уже не поймёт Екатерина.

«Мне нужно забыть его, и тогда всем нам будет хорошо. Всем!»

«Ещё минуточку, ещё секундочку, и я одолею свои надежды. Я изменюсь и стану жить, как надо, а не как душа моя требует...»

Но ни сомнений, ни воспоминаний она пока что не способна была побороть, отодвинуть от себя. Жуть напирала, сбивая и смешивая мысли, сумраком кутая и забивая душу. Вспоминалось, до чего же тяжело добиралась до Иркутска, стало быть, не судьба была встретиться. Ещё тогда надо было крепко задуматься, остановиться, повернуть назад, смирившись с судьбой. Неужели непонятно, что и судьба, и люди, и пути-дороги были против той встречи, как в сговоре! Письма его не доходили, поразмыслить бы хорошенько, неспроста, наверное. Вымерзла в своей кокетливой беленькой дошке на рыбьем меху, в трикотажных модных чулочках, вот и сама природа была против, хотя перед поездкой долго не жили Переяславку чудесные ростепельные деньки. Простыла страшно, мать пользовала

настоями и мазями, но и по сейчас ещё нападает кашель и подскакивает температура. Как только не умерла! В дороге, вспоминается, что-то поминутно стопорило, не пускало к любимому, одна загвоздка возникала за другой, как по чьёму-то недоброму замыслу, по чьей-то неумолимой воле. И попутные машины не останавливались, пришлось, маясь, тащиться в повозке. Наконец-то, попутка подобрала, да очередная незадача — в дороге поломалась, и казалось, никакими усилиями не стронуться с места. Потом по горкам и рвам Глазковского предместья с лихвой поплутала. На проходной завода свирепый туповатый вохровец сцапал, словно бы единственно её и поджидал, и причудилось: всё, навеки пропала, не вырваться из хватких лап злодейки-судьбы, дальше — неволя, лагеря, рудники. Страху натерпелась, чуть ли не с жизнью прощалась.

И все же было и другое, случилось и благоволения судьбы. «Катя!», «Афанасий!» — потрясённые, обрадованные, враз вскрикнули. В общежитии сидели за одним столом, рядышком, плечом к плечу, как жених с невестой. Словно бы по волшебству — вдвоём остались. Да и как же не волшебство случилось, если вмиг такая ватага молодёжи хоп — и улетучилась.

«Не будет, говоришь, детей?.. Ну и ладно!.. После сессии на денёк-другой нагряну в Переяславку. Жди со сватами...» Улыбнулась Екатерина, разнеженная воспоминаниями, однако снова, чтобы, видимо, пресечь её радость, отнять надежду и мечту — «Поклянись, поклянись!..» И нет Афанасия, словно бы и он услышал голос матери и не посмел послушаться, поступить вопреки родительской власти. «Он должен быть счастливым». — «А я? А что, я?»

— А ты полетишь к солнышку, доченька! — неожиданно услышала она хотя и хриповатый, но ласкающий шелест чьих-то слов, тихих-тихих, но явственных. Поняла, из далёкой-далёкой дали прилетели они, уже, может быть, и не голосом человеческим, а мелодией и отзвуком иных сфер.

Но кто же мог так сказать? Чей этот хриповатый голос? Голос мужской, и что-то в нём тотчас распозналось родное, но забываемое и такое летучее, как дым, не удержать ни в себе, ни рядом.

Догадалась, вспомнила, шепнула:

— Папа... Папа, ты где? Ты не погиб на войне? Ты здесь? Отзовись. Помоги своей неразумной дочери.

Привиделось ярко и зримо: ещё очень-очень маленькую её подкидывал на руках отец и приговаривал, смеясь:

— Хочешь к солнышку? Лети-и-и!

И подкидывает. И снова:

— Хочешь к солнышку? Лети-и-и!

И выше, ещё выше подкидывает шупленькое тельце дочери.

А она:

— Я не к солнышку хочу, к тебе и к маме хочу!

Он прижимал её к своей груди, тыкался усами:

— Ай ты вкусненькая, моя доченька! Ай ты розовенький мой цветочек!..

«Да, папа, я полечу к солнышку. И мы когда-нибудь с тобой встретимся на небесных путях...»

— Ах! — вскрикнула, потому что снова взлетела. Взлетела высоко-высоко, словно чтобы и в самом деле полететь и не вернуться в руки отца.

Но уже непонятно ей: та, маленькая, лёгонькая телом и душой, или нынешняя, взрослая, уже отягчённая жизнью и судьбой, взлетела к небу, к солнышку? Если взрослая, неужели папа смог подбросить её да ещё столь высоко? Но где он сам? Его нет. Его нет!

И снова наскочил зверем страх: если вверх взлетела, придётся ведь, коли не имеет крыльев, вниз падать, так? И действительно, она летит вниз, летит, несётся стремительно, с оглушающим воем ветра в ушах. О ужас! Рук, подкинувших и следом принимающих на земле рук, ни отцовских, ни чьих бы то ни было других нет! Над собой ещё чует пригревающее голову и спину солнце, а перед глазами — яма, пропасть, бездна. В грудь и в лицо дохнуло холодом и сыростью. Закричала: «Папа! Мама!»

Вздрыгнула, проснулась. Жива, лежит в кровати, но в груди клочок, стон, в ушах всё ещё гул. Страхом и отчаянием свинцово налитое тело, не шелохнуться, будто пригвождена. Но в окно заглядывает, как добрый сосед, солнце, на кухне мать с шумом передвигает по печной плите чугунок, пахнет сваренной в мундирах картошкой, простоквашей. Сестрёнка всунула свою мордочку в застрёху занавески:

— Ты чего, Кать? Зовёшь кого?

— Что, я кричала?

— Кричать не кричала, но мычала, — насмешливо сказала мать, тоже просовываясь лицом в закуток к дочери. — Снилось чего, что ли?

Екатерина смотрит на солнце, на мать, на сестрёнку, веря и не веря, что явь светла, что сама она жива и здорова, что дорогие её люди рядышком, а она с ними, что впереди жизнь, а не могильный холод.

— Хороший был сон, папу видела.

Мать вмиг сникла, отошла к печке и клюкой без очевидной надобности стала тщательно шурудить в топке раскалённые уголья. Маленькая Мария присела на корточки возле матери, прижалась щекой к её спине.

— Чего хоть он делал-то, расскажи? — попросила мать, когда Екатерина оделась и вышла из своего закутка.

— К солнцу меня подкидывал, высоко-высоко, аж дыхание перехватывало. А я вопила, что хочу не к солнцу, а к нему и к тебе.

— О-хо-хо. Переживает и он за тебя, — значительно пояснила мать. Тяжело помолчав, прибавила: — Что ж, а нам жить-ковылять дальше. Давайте-ка, девки-припевки, позавтракаем да кто куда разбежимся. Нам, Катюша-горюша, с тобой на ферму топотать, а тебе Машка-букашка, — в школу. Живё-о-ом! — протянула она бодренько, но неожиданно всхлинула, ткнулась лицом в ладони.

Дочери, влажнея глазами, прильнули к матери. Гладили её в молчании, а она с силой притискивала их к себе, будто они могли тотчас покинуть её, бросить.

— Айда жить, девки, что ли. Горя нашего не выплачешь, не выгорюешь, как не плачь и не горюй, а жить-то надо. Надо, девки, ой, как надо!

«Надо жить, надо жить...» — отзвуками вторилось в душе Екатерины, когда она шла с матерью на ферму. Повсюду в этом раннем дымноватом предлетнем утре роилась жизнь, жизнь людей, жизнь животных, жизнь насекомых, жизнь растений, жизнь неба с землёй. Люди приторапливались по своим делам, хлопотали во дворах и на огородах, коровы и овцы сбивались в общее стадо, бредущее из улицы в улицу на луговины и елани под управлением лихо свистящего бичом пастуха, уже трудились пчёлы, метаясь в розысках пока ещё малочисленных цветов, дымились прозелениями листиков и ростков деревья, по небу широко, ярко, в богатстве колеров и оттенков разливалась заря, и день обещался быть тёплым и продолжительным. Смешанно, но духовито пахло разнообразной весенней смолю листиков, хвои, «слёзок» стволов сосен, и навозом, выносимым на огороды и поля. Ангара, призастенная туманцем, пробивалась к людям всполохами бликов, возможно, говоря: «Смотрите, как я хороша!»

«Надо жить, надо жить...» — вглядывалась Екатерина в закраешек излучи Ангары, ловя глазами её лучистые приветы, и в душе понемножку отпускало, легчало, мало-помалу прояснялось, будто выходила из неё мгла дурмана, ночь.

На ферме в стойлах переминались заждавшиеся, с неудовольствием мычащие коровы. Бабы, суетливо готовясь к дойке, гремели подойниками. Мужики, пыхая дымком папирос и самокруток, с лопатами и вилами в хмурой неохотце брались за работу. Отовсюду — пересмешки, подначки, матюгальные словечки — началась извечная, но привычная и будничная жизнь.

«Жить... жить...» — слышалось Екатерине в струйках молока, которые ударились о дно ведра, когда она принялась за дойку.

Вечером — школа, любимые предметы и учителя.

На истории внимала утянутому в мундир отставного пожарного, мальчиковато низенькому старичку Степану Леонардовичу, который, зачем-то приподнимаясь на цыпочки, говорил беспокойно шевелившемся классу: «Наш великий вождь и учитель товарищ

Сталин, отбывая ссылку в глухой сибирской тайге, самозабвенно мечтал об Октябрьской социалистической революции, разрабатывал планы по её претворению в жизнь. Вокруг — звери, тайга, лихой народец. Морозы трещали, за перегородкой бормотала молитвы старуха-староверка, у которой наш великий вождь и учитель снимал угол. Ну как можно было думать обо всём человечестве? А ведь думал!..» Некоторые ученики, насилу сдерживая и сбивая смех, кашляли, кхыкали, зажимали рот ладонью. А Екатерине сочувственно и сердобольно казалось, что этот махонький, ничтожный, вечно пьяненький и, похоже, выживающий из ума учитель подрастает и трезвеет на глазах, настолько, видимо, может человек меняться, если во что-то поверит всем сердцем. Екатерине тоже хочется, вместе со Степаном Леонардовичем, всем сердцем верить, что великий вождь и учитель товарищ Сталин в суровой сибирской тайге, в окружении зверей и недобрых людей мечтал о революции, о счастье всего человечества. Он мечтал о счастье всего-всего человечества, как это прекрасно! А она, себялюбка, что? Она думает только о себе, о своём обывательском счастьеще. Понимать надо, должно быть стыдно! А ещё комсомолка!

На литературе недавняя горожанка Мария Семёновна, молодая вдова с двумя малолетними детишками на руках, потерявшая на фронте мужа и вынужденная, чтобы как-то прокормиться, переселиться в деревню к родне, задыхаясь своим собственным восторгом, читала вслух из «Душечки»: «...Она останавливается и смотрит ему вслед не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из её прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда ещё раньше её душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней всё более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает — почему?..»

Ученики видят, в глазах учительницы скапливаются, искрясь, слёзы, и они уже ползут по одной щеке, по другой. И только Екатерина ничего не видит, не различает, потому что у неё у самой глаза уже потоплены слезами.

Учительница пытается дочитать, осталось всего ничего, но всё — не может. Замолчала и до звонка простояла у окна, отвернувшись лицом от замершего класса.

Дома Екатерина с жадностью хватается за «Душечку», о которой сегодня впервые узнала: «Что же она, как же она, бедненькая?..» Читает с ненасытностью: «Вдруг сильный стук в калитку...»

Невольно вздрагивает, ей кажется, что наяву стучат, пришли за Сашей сюда, в Переяславку, к дому Пасковых.

Читает дальше, покусывая губу: «Оленька просыпается и не дышит от страха; сердце у неё сильно бьётся. Проходит полминуты, и опять стук. «Это телеграмма из Харькова, — думает она, начиная дрожать всем телом. — Мать требует Сашу к себе в Харьков... О Господи!»

«О Господи!» — думает и Екатерина и тоже начинает дрожать.

«Она в отчаянии; у неё холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее её нет человека во всём свете. Но проходит ещё минута, слышатся голоса: это ветеринар вернулся домой из клуба. «Ну, слава Богу», — думает она».

И Екатерина: «Ну, славу Богу». Дочитывает-пробегаёт последние строчки, закрывает книгой лицо и тихонько-тихонько, чтобы не слышали мать и сестрёнка, плачет у себя за шторкой.

Но это не слёзы горя, отчаяния, тоскливости. Это какие-то другие слёзы, прежде неведомые ей. Она не может объяснить, что с ней. Но она понимает и чувствует, душа её светла, душа её легка, и если печальна, то печальна по-особенному, совсем уж по-особенному, радостно, догадывается она.

Через неделю — каникулы. Впереди ещё год учёбы, выпускные экзамены. А потом? А потом, хочется, чтобы всю жизнь с нею были книги, прекрасные герои, прекрасные мысли. Так и будет, так и должно быть! Она сильная, она, кто знает, сможет поправить судьбу, но по-другому, как-то по-другому, потому что теперь уже не с ним, не вместе. А с ней будут хорошие, добрые, мудрые книги, в которых она найдёт ответы и поддержку. Так и

пойдёт с книгами по жизни. Хорошо бы поступить в институт культуры, на библиотечного работника, и книги, понятно, можно будет читать не только дома, но и на работе. Как это прекрасно и приманчиво! — мечтается по-детски и дышится легко, может быть, не совсем легко, но, конечно же, легче, свободнее.

Таким руслом-мечтой потекли мысли и дела её молодой, малоопытной жизни. Дома — родные люди и тихий уголок-закуток с книгами, с грёзами. А выйди на улицу — встретит небо тебя, открытые дали полей и тайги; чуть отойдёшь от ворот — изумрудно-синими переливами распахнётся, будто улыбнётся, подруга Ангара. За ней и вдоль русла и берегов какие-то другие дали. Екатерина прищуривалась, чтобы разглядеть. Однако, что разглядеть, что такое особенное увидеть? Дали далее? Возможно ли, нужно ли?

Дали у окоёма смешивались, съединялись с небом, а небо, оно и над тобой то же самое небо: необозримое, огромное, переменчивое. Захочет — солнцем одарит, синевой, захочет — дождём вымоет, а то и градом побьёт, захочет — снегом запорошит, засыплет. Оно и поможет человеку в его делах и помыслах, но оно и беду, горесть принесёт. Запомнилось накрепко: пять лет назад такими дождями разразилось, что, казалось, Переяславку в Ангарау смоем. Тогда, почитай, весь урожай погиб, сгнил на корню, сенов мало накопили, плодородные слои полей и огородов изрядно повымывало. А потом два года и снегу было вдоволь, чтобы по весне земля была достаточно влажной, и дождей, особенно в июне, в самый раз, урожайность год от году стала подниматься, и люди посытнее зажили.

Сменялись в жизни Екатерины день ночью, ночь днём, дни днями, ночи ночами, хорошая погода плохой погодой, своя непреложная и вечная очерёдность и последовательность во всём. Видела, присматриваясь, как отцветали черёмухи и яблони и следом набухали завязи плодов, зеленились молодыми побегами поля и огороды, птицы ещё в мае свили гнёзда и уже скоро зачирикать и опробовать крылышки птенцам. В деревне опочило с начала года семеро стариков, одна молодая женщина умерла от рака, и удавился, не известно почему, угрюмый бобыль конюх Селиванов, но зато родилось аж одиннадцать младенцев, и все, говорят, здоровенькие, пять девочек и шестеро мальчиков. Особенно радовало селян, что «мальчат», «мужичков» побольше. В предвкушении богатого урожая решением правления колхоза затеялась постройка нового зернохранилища; стадо пополнилось молодняком, а потому замыслили пристрой-тепляк к коровнику. Сколько лет ничего не строили, только лишь как могли выживали, или, как говорила мать, «выцарапывались»!

И Екатерина понимала, но не столько пока, по причине молодости, разумом, а душой и сердцем: что бы ни происходило с ней, а власть жизни несокрушима. Жизнь всюду, и всюду она единоличная, но радетьельная властительница, как бы ни возносились над ней, хитря, а то и свирепствуя, некоторые особи рода человеческого.

Жизнь всегда победит смерть.

Разве не так?

11

Афанасий приехал в Переяславку в конце июня, успешно сдав экзамены за первый курс, с прикопленными деньгами — прибыль и от повышенной стипендии и от нешуточных заработков. Там, в городе, не тратился на пустяки, хотя слыл за компанейского, распаханного человека, по природе своей, однако, был прижимист, как и вообще заведено у крестьянина. Знал и помнил: там к свадьбе стодятся деньги, к тому же родителям надо подсобить, брату Кузьме одежонку справить, кровлю на доме перекрыть новым тёсом.

Лихим наездником, будто с коня, спрыгнул с бортика попутки, щедро расчёлся с шофёром, хотя тот, похоже, и не ждал никаких подношений, пристально и зорко глянул с горки на деревню и Ангарау, подмигнул им. Своим привычным широким шагом направился вниз к околице. Поминутно занывирал рукой в карман брюк, похрустывал купюрами, которые по большей части были червонцами, невольно посмеивался — знай наших!

«Знай наших», — заявляло и его бравое городское обличье: на породистой крупной голове щеголевасто примостилась «лондонка-восьмиуголочка» — кепка с маленьким блестящим козырьком и с пуговкой на макушке. На плечах — новый коверкотовый приталенный массивный двубортный пиджак, который отяжелён, тоже массивными, подкладными

на вате — плечами. Афанасий догадывался, что пиджак делает его ещё шире, объёмистее, точнее, толще, может быть, даже тучнее, а потому ворчал в себе: «Чего доброго, на бабу смахиваю». Однако пиджака не снимал, потому что — знай наших! Брюки наимоднейшего, весьма широкого покроя. На ногах блещут надраенные яловые сапоги с задиристо и щеголевато подъятым носочком; и кирзой ещё небогаты люди, а у него, смотрите, яловые, чуть не хромовые; ясно — знай наших! В одной руке куртка на молнии, прозывавшаяся «москвичкой», или «хулиганкой», в другой — громадный фанерный чемодан, до отказа набитый подарками и учебниками, и учебники эти уже за второй курс. «Учиться, учиться и учиться» — любил он слова Ленина, и нынешним летом тоже будет, по возможности (через неделю отчаливать на северную стройку), учиться, чтобы зимнюю сессию сдать только на отлично. К тому же — знай наших! — неплохо было бы попасть в сталинские стипендиаты.

Пиджаков и вообще всякой «моднучей одежи» Афанасий хотя и не любил, но понимал, а как иначе к свадьбе нужно приодеться? Здесь, в деревне, в «задрипанном» магазинчике сельпо с вечно полупустыми, запылившимися полками, что купишь? Автолавка будет не будет. И, наконец-то, не в армейском же кителе и танкистском шлемофоне жениться, порядок и пристойность в таких делах надо блюсти. Правда, в чемодане аккуратно сложенным лежал сшитый на заказ шевиотовый френч, такой, как у товарища Сталина, но Афанасий пока и побаивался, и совестился надевать эту желанную его сердцу обновку, потому что такие френчи обычно носили партийные и советские руководители, инженеры, преподаватели, вообще, солидные люди, а Афанасий покамест кто? — студент, просто парень. Ан всё равно хочется сбросить этот дурацкий пиджак с «бабьими» ватными плечами, который ему насоветовали купить однокурсники, и пройтись по родной деревне во френче, потом показаться в нём Екатерине.

Только вступил в первую улицу, здороваются с ним народ наперебой. «Моё почтение, Афанасий!» — говорят пожилые, приподнимая над головой выше, чем обычно, кепки или шляпы, а бабки даже раскланиваются. Подбегают с протянутой рукой молодые мужики, одноклассники или всякая шпана, ручкуются с задорным замахом, а то и обниматься лезут. Для всех памятен Афанасий, для всех он люб.

Мать на огороде в малиннике хлопотала, обрезая отмершие ветки, когда нечаянно заметила сына на подходе к дому. Сорвалась навстречу, да ноги подсекло, поясницу прошило болью. Приосела у забора. Афанасий подхватил её. Повисла на нём, зарыдала.

— Сыночка, родненький...

— Да ты чего, мама, чего... как по покойнику? Живой я! — говорил бодро, но у самого в груди жалостливо и смятенно сщемило — мать за месяцы, почти год разлуки сдала заметно, даже одряхлела; недуги, видать, наступают, подкашивая и точка, и погибшего под Сталинградом сыночку Николашу конечно же забыть не может.

Только от матери Афанасий слышал это изумительное по ласковости и сокровенности слово «сыночка». Не «сыночек», как правильно бы, наверное, а «сыночка», и в слове этом слышалось ему и «он» и «она», как в слове «дитятко» — и девочка, и мальчик, и ещё что-то, нечто неведомое стороннему глазу и слуху, соединены. Понимает, для матери все они трое её сыновей — дитятки, дитяти её навечно, и никакими силами, никакими болезнями и испытаниями, посылаемыми жизнью и судьбой, не вытянуть из сердца матери нежности к ним, даже уже ушедшим в мир иной.

— Ну, что ты, мама... — и сам чуть не заплакал.

Смотрит сверху на её выбившиеся из-под косынки седые волосы, на зыбь морщинок, в которых плутают катящиеся вниз слёзки, и будто утешает:

— Я тебе, мама, оренбургский пуховый платок привёз. Вот такущий! — несоразмерно размашисто, как бывало «мальчишкой-хвастунишкой» (так его поддразнивала мать), раздвигает он руки.

— Сам жив-здоров — вот настоящий подарок мне, сыночка.

И как-то по-особенному, кажется, и пытливо, и сурово, но и с лаской одновременно, заглянула в его глаза:

— Головой будешь жить — так ещё больше надарится мне и отцу всяческих радостей к старости нашей. А уж она, злодейка, не за горами, подкрадывается.

Не понял Афанасий о чём мать. Разве он не головой, не умом живёт, учась, работая, скапливая копейку? Сколько всюду непутёвых людей — пьяниц, лодырей, всяких шалопаев, а он разве такой, да к тому же не пьёт, не курит — в чём можно укорить его? Почему напомнила, что головой надо жить? Почему про сердце не сказала, про душу?

Но ни спросить, ни обдумать — Кузьма с разбегу запрыгнул на спину брательника-богатыря, следом отец чинной торопкой подошёл, приобнял, потрепал сына за предстательный, коротко — по моде — подстриженный чуб, который раньше, в недавнем отрочестве, лохматиной нечёсаной болтался на лбу, свисал на глаза. Отступил Илья Иванович на пару шагов назад и обозрел сына хитроватой смешливой прищуркой:

— Ишь ты, глянть, мать, расфранти-и-и-илси. Ваты напихал, верно, с пуд. Своих-то плеч мало, что ли?

— Теперь, батя, в городе все так носят, — загоревшись щеками и досадуя на этот «чёртовый» пиджак, вроде как оправдывался Афанасий.

Вскоре был накрыт стол. Родственников, соседей подбрело в избу. Афанасий, наконец, решился сбросить ненавистный «бабий» наряд, надел френч, усмехнулся, украдкой глянув в зеркало, — знай наших! Понял, вот оно то! И солидность, и форс.

Все любят Афанасием, нахваливают его, ощупывают диковинную для деревни одежду, а мужикам непременно надо помять кожу яловых сапог — какова? Прицокивают, кажется, хороша, «почитай что монголка», заключают деревенские мастаки.

Афанасию не сидится за столом, поминутно тянет шею к окну, на дверь поглядывает, хотя и никого не поджидает, но надо бежать, надо бежать, Катенька, уж верно, прознала, что приехал, ждёт, изводится, костерит наверняка, что долго не идёт её суженый-ряженый. Но только, в который уже раз, вставать Афанасий соберется, мать, сегодня натянутая, непривычно бдительная, вскидывается, хватает за рукав — посиди, сыночка, с людьми, уважь родителей и односельчан. Да и люди не отстают: расскажи-ка, поведай-ка, Афанасий Батькович, как там в городах живётся-можетесь народу, чему обучился в «иситуте, али как оно там зовётся», про денежную реформу чего слышать, продовольственные карточки отменят когда, зерно за трудовни будут ли выдавать, точно ли, что маршала Победы Жукова исключили из кандидатов в члены ЦК? — сыпятся разномастного калибра вопросы, как картошка из прохуdivшегося мешка, когда мужик вскинет его на плечи.

Афанасий умеет говорить, ему нравится выступать, на комсомольских собраниях в институте он уже поднаторел в ораторском искусстве, да и в школе не был молчуном. Видит, слушают земляки, чувствует, уважают. Тешится его душа, млеет. Рассказывает обстоятельно, важно, объясняет заботливо, учтиво: вот как надо понимать, уважаемые товарищи колхозники, вот где собака зарыта, дорогие сельчане. О попечении партии и правительства о нуждах народа растолковал, как и самому ему растолковывали на лекциях и политзанятиях в институте и на заводе. Хотя и разруха в стране, но отстраиваемся, мол, помаленьку.

О февральском и нынешнем, июньском пленумах партии так сказал:

— Жукова действительно выдворили из ЦК. Партия и товарищ Сталин никогда не ошибаются. Ну, что из того, что Жуков — маршал Победы? Не один он победу ковал. Набедокурил чего, что ж, отвечай, голубчик! Хоть ты колхозник, хоть ты маршал, все равны перед судом партии и народа. Правильно?

Мужики закричали, засопели, заёрзали на табуретках, но никто не отозвался.

Афанасий крякнул в кулак, продолжил:

— Спрашиваете про нынешний указ «О мерах по обеспечению сохранности хлеба, недопущении его разбазаривания, хищения и порчи»? Отвечаю: и зерно, и любой овощ с колхозного поля являются собственностью государства и распоряжаться ими не имеют права ни колхозники, ни председатели. За утайку же хлеба и выдачу его за трудовни до полного расчета по госпоставкам колхозное руководство, как вы знаете, привлекалось по всей нашей необъятной стране, а теперь ещё строже будет привлекаться к уголовной ответственности как за разбазаривание государственного имущества. Ясно?

— Куды уж яснее, — хмуро и коротко отозвались мужики.

— Да вы чего, тёмные люди, скукисились? — добродушно засмеялся Афанасий. — Всё это временные меры, скоро заживём легче и веселее, всего будет вдоволь. Партия и товарищ Сталин знают, чего делают.

— Оно конечно, оно конечно... — бормотали и почёсывались мужики.

— Ай, Афанаська Ильич, ходить тебе в начальниках! — вскрикнул и полез обниматься с Афанасием перебравший дед Щучкин, двоюродный брат Ильи Ивановича. — Наливай, хозяин! За здоровье нашего Афанаськи Ильича жалаю дербалызнуть!..

— Да присядь ты, дедуся! — зашикали на него и в несколько рук едва-едва усадили. — Дай послушать человека. Агитаторы наезживают, брешут, брешут, слушать тошно, а тут свой человек балакает, к тому же учёный, поди, не соврёт.

И снова распрос-допрос. Афанасий рассказывает, толкует, где надо, увещевает. А за окном уже тьма. Что же его Катя-Катенька-Катюша подумает?

12

Наконец, улучил миг, когда чокнулись, выпили, принялись закусывать, вырвался за дверь. Мать следом, нагнала у калитки. Ухватила за рукав, не пускает, но молчит, только тяжело дышит.

— Ты чего, мама?

— Сердце скололось в духоте, вышла дыхнуть свежего воздуха.

— Ну, пойду я. Не со стариками же мне киснуть. Вон, кажется, возле клуба, надрывается гармонь.

— Оно, конечно, дело твоё молодое.

Но пальцы матери, чувствует, заостенели на его рукаве, не разжимаются.

— Ма-а-ама, ну чего ты? Дай пойду. Отпусти!

— Ты, сыночка, не поспешал бы... по жизни-то. Гляжу, запальчив ты больно, ходок. Душа-то, можа, и требует чего, ан с разумением легче жить...

— Да говорила уже!.. Мама, отпусти, пожалуйста!

Разжались пальцы, будто туго затянутые тиски раздвинулись. Крестит сына, молитву шепчет, всхлипывая.

— Вот только этих всяких поповских штучек не надо бы!.. Потопал я. Не плачь! Мама, прошу!

— Не буду, не буду, сыночка... Что ж, ступай... Всё одна, и жизнь и смерть наши в руках Божьих, как бы мы чего ни намыслили для себя.

Чинным неторопливым шагом прошёл Афанасий до проулка, и только завернул в него, сорвался бежать как мальчишка. Сердце, казалось, выбилось из груди, где-то уже впереди летит. Догоняй его! Дороги-пути не различить, потёмки казались жуткими, привык глаз к городским освещённым улицам. Не напороться бы на забор или дерево, или не сбить бы кого-нибудь с ног, этак и покалечить можно. Деревня жила без электрического света, в окнах сиротливо жмутся тусклые огоньки керосинок и свеч, но Афанасию чудится, что он отчётливо видит и окрестность, и под ногами. Понятно, не глаза, конечно же, видели, а сердце! Оно же, очевидно, чуюло и колдобины, и заборы, и столбы, любые препятствия, сплошь возникающие из тьмы, и ни единого разочка даже не запнулся, словно бы пролетел через добрую половину Переяславки.

И вот он уже перед домом Екатерины. Наконец-то! Сейчас он увидит её, прижмёт к своей груди, окунётся взглядом в её милые светлые чёрные глаза... И столько у него заготовлено ласковых слов, столько слов и любви скопилось!

Различил сквозь занавеску огонёк в её закутке. «Не ложится спать, поджидает моя зазнобушка!» — ликовал, оправляя френч, приглаживая ладонью чуб. Ещё какие-то секунды — и он увидит Екатерину, свою Катю-Катеньку-Катюшу и... и... ну непременно что-нибудь такое особенное начнётся, не может не начаться. Другая не другая жизнь завяжется, когда он увидит Екатерину, но чему-нибудь особенному, конечно же, суждено случиться.

Но только, как раньше поступал, хотел перемахнуть в палисадник и легонечко постучать в окошко, как вдруг от ворот отъединилась тень.

Афанасий, чутьчку испуганный, даже вскрикнул:

— Катя!

— Это я, Афанасий. Поджидаю тебя на скамейке. Ведь не мог ты не заглянуть к нам, правильно?

— Тётя Люба?

— Ну, я это, я.

— Здравствуйте. А где Катя?

— Здравствуй, Афанасий, здравствуй, родной, — приветствовала женщина вздыхаячи. — Помолчала, возможно, собираясь с духом. — Разговор к тебе имеется. Не буду плутать в словах, наводить тень на плетень, а напрямки говорю, не судьба тебе моя Катька. Не судьба! Ты парень видный, умный, мастеровитый, в анжанера выбешишься, найдёшь себе девушку-ровню, полегоньку обустроишь свою судьбу. Ступай с Богом, ступай! Вот весь тебе мой сказ.

Афанасий застыл, но чувствует, весь охвачен огнём, и изнутри и снаружи. И начинает что-то говорить, но сипота пресекает речь, комкаются слова. Наконец, произнёс, выбивая из себя чуть не по слогам:

— Любовь Фёдоровна, что же вы такое говорите? Не надо мне других девушек. Мне ваша Катя нужна!

— Я ить, сынок, не по своей воле говорю, а по её великой просьбе. Не хочет она с тобой дружбу водить. Отдельную от тебя намерена торить судьбу. А ты — отступи! Не мешай ей, Афанасий. Уходи... — помолчав, прибавила на полусшепоточке: — Ступай с Богом.

Афанасий задохнулся закипевшим в груди огнём:

— Она... не хочет... тётя Люба... да вы что... да как... зачем, зачем вы так... — горлом выдирались спевавшиеся в сгустки слова.

Любовь Фёдоровна всхлипнула, легонечко погладила Афанасия по рукаву френча:

— Ну, чего уж ты, родненький... Ну, вот так оно вышло... Смирись, смирись, Афанасий, и начни жизнь наново. Ты молоденький, ты чего только ещё не добьёшься в жизни, с кем только ещё не повстречаешься...

Афанасий зачем-то весь вытянулся, зачем-то оправил френч, зачем-то пригладил ладонью чуб:

— Позовите, пожалуйста, Катю! — сказал чеканно.

Однако голоса своего и сам не признал — чужой он, будто кто-то другой, из-за спины, исподтишка, произнёс. Не голос — металл, тонкий сталистый металл, но дребезжит, когда его пробуют на изгиб.

— Знаю, что шибко упористый ты. Не отступаете вы, Ветровы, по-простому-то... Что ж, погоди чуток, перетолкую с ней. Выйдет так выйдет, не выйдет так не выйдет — её решение и судьба будут.

И, неопределённо потоптавшись ещё, повздыхав, неестественно припадающей походкой скрылась за калиткой.

Долго никто не появлялся. В доме, слышал обмерший, наструненный каждой жилкой Афанасий, встрепенулись и оборвались голоса, пометался и погас в закутке Екатерины огонёк. Однако снова зажёгся, снова забили, возможно, боролись за него, не давая загасить.

«Неужели не выйдет?! Конечно, оба мы норовистые... но... но за что же она со мной так? За что?!» — хотелось крикнуть, потому что гнев и обида ломали разум.

И, может быть, крикнул бы, да вдруг вскрипнуло. Калитка приоткрылась, Афанасия пошатнуло, словно бы ударило внезапно вихрем. Как в тумане, не сразу понял, что глаза обложило влагой, — увидел Екатерину. И вот только что и вокруг, и в нём самом была тьма, жуткая непроглядь, а вышла любимая, увидел её ясной и светлой, будто вся она сияет, свет от неё исходит. И дали, почудилось, разъяснились, и небо засветилось — не в приветствии ли? От души отхлынула тьма, губы тронуло улыбкой. Как прекрасна его любимая, как он ждал этой минуты! Сколько передумано там, в Иркутске, с какой ясной душой приехал он на родину, чтобы навсегда соединиться с любимой! Вот она! Подойди к ней, возьми её за руку, скажи припасённые для неё самые ласковые, самые сокровенные слова!

— Катя! — шагнул он навстречу. — Катенька!..

Но нечто невероятное произошло, она стремительно и строго взглянула на Афанасия. Он, застопорившись в полуметре, наткнулся взглядом на чёрный свет её невероятных прекрасных глаз, оробел, совсем потерялся, оборвавшись на особенно любимом им, милуемом в мыслях слове «Катюша».

— Я тебя не люблю, — произнесла она без чувств, ровно, холодно.

— Меня... не любишь?..

— Да, не люблю.

— Ты чего, Катя, чего ты?.. Зачем же ты меня кувалдой по голове?

Но она, казалось, не слышала, не разумела его слов. Была неумолима и страшно чужа:

— Парень у меня есть. Полюбила его. Прощай.

Он придержал её за локоток. Она не далась, отхлынула мягкой, но сильной волной.

— Неправда! — выкрикнул.

— Правда, — ответила тихо и ровно.

— Кто он?!

— Уходи.

— Катя!..

Но её уже нет. Нет как нет.

Не убежала — растворилась, сгаслась в пространстве земли и неба. Может быть, её не было и вовсе? Ни любви, ничего не было?

И нет света, пропал он, сгинул, рассыпался во тьму, завяз в ней. И нет её прекрасных, невозможных, единственных на весь белый свет глаз, в которых огонь и тьма неделимы и едины, как неделимо и едино небо ночи со своими звёздами и планетами. Тишина. Тьма. Куда ни посмотри — тьма.

И в груди Афанасия воцарилась тьма, будто прогорело, отпыхало в ней, и остались одни чёрные уголья и сажа. Не видит он ни неба, ни далей, ни даже дома Екатерины, перед которым стоит, как на распутье. Стоит, возможно, как на распутье герой сказки, остановившийся перед камнем, на котором судьбоуказующе начертано: «Направо пойдёшь...» Но герою сказки полегче, ему определено поступить по писаному. А что же делать Афанасию? Кто для него напишет подсказку, укажет направление? Недавно рассказывал землякам, как надо жить, как следует понимать деятельность партии и правительства, товарища Сталина, говорил о том, что вычитал в газетах и услышал на лекциях. А самому как теперь жить? Куда идти, что делать, даже, что думать?

Тьмой сделались его мысли и чувства, и душа уже не душа — копоть и уголья. Может быть, Афанасию снится ужасный сон? Может быть, нужно встряхнуться, чтобы проснуться? Проснуться и ожидать, сладко томясь сердцем, встречу!

В доме свет не появился.

Тишина и тьма.

Нет, не сон, но и на явь не похоже.

И побрёл богатырь Афанасий неведомо куда и зачем.

Видит, клуб, света в нём много, похоже, две-три керосинки запалили. Зашёл, тягучим шагом взобравшись по ступенькам высокого крыльца. Мрачно обозрел — народ в зале толчётся, тени сшибаются и коробятся на стенах. Патефон играет, скрипит истасканный трофейный фокстрот. Пары ногами шуршат по плахам пола среди окурков и ошметьев глины и назёма. Со стен невозмутимо смотрят на людей Ленин, Сталин, Маркс и Энгельс. Посередке зала, видимо, для украшения, торчит разросшийся до самого потолка фикус в бочке, толсто-жирными листьями сыто, самодовольно лоснясь.

Только вошёл Афанасий, весь зал так и воткнулся в него глазами, так и принагнулся в его сторону. Перебирают взгляды френч его, яловые сапоги — диво, диво, ничего не скажешь. Девушки подобрались, платья, причёски оправляют, сверкают очами — видный парень пожаловал, городской да модник, и один — диво, диво; что там — диво дивное,

невидалящина! Некоторые парни напыжились, но зловато насторожены, бдительны. Но Афанасий понимает, если были бы хвосты, подприжали бы.

Смотрит Афанасий на любопытствующий народ и чует, яростная неприязнь в нём скапливается, чуть что, может наружу выплеснуться. Диковатые желания пробуждаются: хочется этот кичливый фикус выдрать из бочки, саму же бочку взмахнуть над головой и — об пол, хряпнуть кулаком по патефону, а то и кому-нибудь в морду дать. «Ну чего они выпучились?!» — закипала кровь.

Школьный приятель, тощеватый, но задиристый Федя Замаратский, подпрыгнул. Распахнув борт куртки, украдкой показал бутылку с самогоном:

— Тяпнем, Афанасий, за встречу?

— Айда.

На крыльце прямо из горлышка хлебнул Афанасий. Содрогнулось нутро, ненавидел хмельное, мерзостью считал, а если, случалось, и выпивал в общежитии или на заводе, так то за компанию, помолодецествовать тянуло, чтобы считали мужиком, а не хлюпиком. Хотя и противно, однако ещё хватил. Передохнувши, ещё разок, ещё. Занюхал рукавом френча. «Хар-р-рошо! Та-а-ак!» Постояли, покурили, о том о сём потолковали, полегче стало. Однако в голове — раскачка мыслей, предвещающая, почуялось ему, не бурю ли?

Бутылка опорожнена, заброшена в кусты. Афанасий не глядя сунул Феде горсть денег:

— У бабки Зурабихи брал? Ну вот и дуй к ней. Да закусить чего-нибудь прихвати.

— Сей миг! — прищёлкнул каблуками Федя.

Снова пили, благо, закуска была, не так противно шло, и в какой-то момент осознал, пьётся как вода. В голове уже вихрь, сумятица, но на ногах удерживался и помнил, всё помнил. «Пьяный? Хар-р-рошо!» Слабосильного Федю раскачивало, но рядом с Афанасием он чувствовал себя героем, задибался на прохожих, девок цеплял, щупал их.

— А скажи-ка, Федя, кто к моей клеился? — наконец, спросил Афанасий, истово выговаривая слова, потому что застревали они, вроде как выталкивать надо было.

— Да всякие ошивались хахали.

— Говори! Ну! — внезапно сгрёб за шиворот и встряхнул, точно пустопорожний куль, тщедушного Федю.

Паренёк не на шутку струхнул, чуточку протрезвел даже. Понял, лишка сболтнул, да поздно уже было.

— Самолично, Афоня, как-то раз узырил: Колян Усов увивался возле твоей Катьки. Катька-то у тебя, конечно, строгая девчина... да кто их знает, баб этих...

— Заткнись!

— Да я чё? Я ничё. Моё дело маленькое. Ну, ещё тяпнем? — но Афанасий промолчал, стоял недвижимый, как камень. — Ну, тады я один. Здоровьица, Афанасий Ильич, ли чё ли.

Афанасий недавно видел Николая Усова в зале — танцевал тот с толстушкой Машей Весениной. Маша, тридцатилетняя вдова с двумя детьми, муж её погиб ещё в сорок первом под Москвой, льнула к парню, млела. Скотником Усов работал. рвался в армию, не взяли — ходил скособочкой по причине больного позвоночника, искривлённого с голодного и обильного на надсадные труды детства. Но собой был приятен, виден, поджарый, кучерявый, синеокий, просто молодец. «Неужели променяла меня на него?» — сжимал Афанасий зубы, так что скулы ломило и дышалось трудно. Выхватил из руки Феде бутылку, крупными глотками допил остатки из горлышка, отшвырнул бутылку в кусты, не закусил, а сказал, едва раздвинув челюсть:

— Кликни-ка его сюда.

— Кого?

— Кого, кого! Усова, кого ещё!

— Бить будешь, чё ли?

— Зови! — рывкнул Афанасий.

— Ага, сей миг, — попятился к парадному входу Федя.

Ленцеватой развалкой вышел Усов, а за ним вывалило в дверной проём ещё несколько парней, тоже хмельных, а то и пьяных, чуя и предвкушая, видать, стычку и мордобой. Спросил Усов, сплюнув себе под ноги, чего надо. Афанасий молчком рванул его за грудки, в упор

глянул в глаза: правда или враньё? Хотя и увечным был Усов, да жилистым и сноровистым, из-под низу уловчился кулаком раскровать Афанасию губу. Афанасий, сатанея, схлёбывая кровь, своим кувалдистым кулаком хватил его раз, два. Ещё замахнулся и наверняка зашиб бы до смерти, изувечил бы, да больше не дали, нахлынули ордой, нацеплялись на руки, даже на спину запрыгнули, повалили через перила на землю. Однако Афанасий вскочил. Одного сшиб, другого, но с разудалой, молодецкой оравой, конечно же, не справиться. Снова повалили, пинали, колотили чем попадя, хорошо, ножом только для отваги и форсу размахивали.

На шум повыскакивал на крыльцо народ, сбегался от ближайших домов заспанный люд. Охи-ахи, писк, галдёж, брань несусветная. Собаки взвились по всей деревне, скот загомонился в стойлах, даже пара петухов, сбитых с толку, прокукарекали зарю. Какая-то молодуха заголосила:

— Ма-а-а-мочки мои, убива-а-а-ют!..

Но кое-кто вворачивал, подзуживая, распаляя нападающих:

— А ну-кась, ребята, всыпьте этому гладенькому барчуку! Мы в колхозе хрип гнём день и ночь, в навозе по уши вожжаемся со скотиной, впроголодку перемогаемся, а он тама, в городе своём, книжки почитывает на государственный кошт. Гляньте, мясами оброс точно бык-производитель, френч партийный напаялил!

Шнырявшему в темноте разоблачителю вторили, с азартом и весельем, отовсюду:

— Получай, анжанерчик, получай, шившая антялягенция!

— Иш, расфуфырилась, гнидюга городская!

— Чё там, ясно дело, мы быдло для него! Вжарьте ему, парни, чтоб помнил подольше про нас, забубённых варнаков!

— Эх, мать-перемать!

— По сопатке ему, пушай кровушкой умоется! А то ить под френчем и портками-то синяков не увидишь опосле!

— Дайте пырну!

— Ну, ну, полегше, паря!..

Уже и не понятно стало, за что били, почему лютовали. Похоже, вымещали на Афанасии обиды за все свои беды, за несладкую жизнь колхозную.

— Да вы пошто же нашего Афанасия колошматите, изверги рода человеческого?! Самого Афанасия Ветрова!.. А ну кыш! — налетел из темноты какой-то рослый старичина с костылём, которым и принялся охаживать парней. Кого по спине, а кого и по голове приголубил. — Эй, кто-нить, скачками дуйте за оперуполномоченным!

Услышали парни, отхлынули, стали расходиться, разбредаться в потёмки, в кусты, за заборы, однако, посмеиваясь, гогоча. Наверное, довольны были, ублажены сполна, всё весело провели вечер, будет о чём посудачить потом. Но за что от души да яростно лупцевали Афанасия, вспомнётся ли хорошенько?

Старик с костылём и ещё две бабушки, притаившиеся от своих дворов с керосиновыми лампами, помогли Афанасию подняться, отряхнули его, огладили ладонями. Кости, рёбра, кажется, не поломаны, глаза целы, хотя подзаплыли синяками. И голова не пробита, только что лицо изрядно умыто кровушкой. Потоптался, тут побаливает, там саднит, сплюнул густо-кроваво, отмахнулся пренебрежительно:

— Ладно, жить можно.

— Целёхонек? Вот и ладненько, — беспрерывно оглаживали и отряхивали пожилые люди, любившие Афанасия, помнившие его добро, бескорыстие, трудолюбие. — Уделали тебя, но до свадьбы, чай, заживёт... А на парней, дураков деревенских, слышь, не шибко злись, завидушские они, вот и отдубасили тебя. Жисть-то у нас тут, сам знаешь, не жисть, а сущая каторга. А ты вона каким соколом нагрязнул в родные края, сытый да гладкий... Прости уж имя, а?

— Да я ничего... Бывает! Спасибо большое, люди добрые, что помогли... Поковылял я, что ли...

— С Богом, Афанасьюшка, с Богом, родимый...

Френч располосован, без единой пуговицы, сорвал его с себя, утёр лицо и руки и забросил в кусты.

— Эх, Катя-Катенька-Катюша!.. — сдавленно вздохнул, не смоги разжать зубов.

Что ещё сказать, чем явить свою великую досаду и печаль, не знает. Лишь поматывает, как оглоушенный, головой. Понимает, судьбу какой-то грубой, беспощадной и пока ещё ему неведомой силой развернуло, перекособоча её рельсы. На каком таком паровозе ехать дальше? Что, окольными, а не магистральными путями теперь продвигаться? Но если и продвигаться, то куда? Куда? И зачем? Куда и зачем — без неё! Жить, мечтать, дышать, радоваться, горевать, многое и многое из того, что называется жизнью, без неё? «Катя-Катенька...» А вслух:

— Уы-уы-уы-уы!.. — и уже не слова выпадают чрез сжимаемые зубы, а что-то утробно безобразное, страшное.

Однако, кроме судьбы, чуёт, есть ещё воля, его, Афанасия Ветрова, воля. Да, человек он волевой, но зачем, зачем ему воля без неё?!

— Уы-уы-уы-уы...

Цепные псы незлобиво отзываются, видимо, узнавая какие-то родные отзвучья, докати́вшиеся из потёмок улицы.

14

В доме уже спали, только мать поджидала, при свечном огарке сидя с вязанием у окошка, в которое поминутно заглядывала.

Увидела вошедшего в горницу Афанасия, вскочила с табуретки, всплеснула руками, роняя клубок шерсти и спицы. Чуть не вскрикнула.

— Тсссс, мама!

— Господи Боже мой, да кто же, сыночек, посмел?..

— Пустяки. Поцапался с парнями. Бывает.

— Изнахратили, жиганы!.. Страшней германской войны учинили тебе бойню... Под суд мало отдать их!.. Говори, кто они такие? Я им живо кудлы повыдеру! — и, притопнув, рванулась к двери. — Говори!

— Тсссс! Ишь развоевалась, — за руку перехватил её Афанасий. — Сам я виноват, мама, сдуру полез в драку. Вот и схлопотал. Так мне и надо

Жадно напился воды из ковши, сполоснул лицо и шею под рукомойником, выпрямился, сказал хотя и тихо, но чётко:

— Поехал я.

Мать так и подсекло, повалилась на табуретку.

— Пое-е-е-хал? Ещё не легкой! Сынок... сыночка...

— Да, мама, уезжаю. На стройку, на севера наши. Буду прокладывать дорогу, посёлок строить, а с октября — снова за учёбу. Комсомольская путёвка уже при мне. Запрыгну в товарняк — и ту-ту. Нечего мне теперь делать в Переяславке. Вот такой расклад! — пошарив в кармане, протянул в горсти: — На деньжат, почините кровлю без меня, ещё чего по мелочам сработайте, а я... а я поехал. По-другому, кажется, нельзя. — Помолчав с прикушенной губой, повторил кратко и чеканно: — Нельзя!

Мать всхлипнула, однако отговаривать не стала. Догадалась, Екатерина поступила правильно, как надо было. Видно, свадьбе не состояться. Что-то она ему такое важное сказала. «Слава Тебе, Господи, отвалила. Клятву сдержала... Прости, Катенька, прости, родненькая! Господь не обойдёт тебя, сиротинушку, милостями. Буду молиться за тебя, чем смогу, помогу...» — плакала и ликовала женщина.

Афанасий натянул куртку-«хулиганку», напялил на голову «восьмиуголочку», несо-размерным рывком взялся за свой огромный фанерный чемодан.

— Да ты чего, сыночка... неужто прямо вот сейчас и отъедешь?

— И прямо, мама, отъеду, и не прямо, — усмехнулся, вздохнув, Афанасий и нежно приобнял мать свободной рукой. — Пора, пора. Пока темно, укачу, чтобы своей рожей не напугать честной переяславский народ.

Мать спешно набила холщовую котомку провизией, какая попалась под руку. Вышли из дому. У калитки сын в привычном, стародавнем заведённом ритуале покорливо склонил голову, мать на прощание поцеловала его в лоб и перекрестила.

Сказала, отчего-то не посмеяв посмотреть сыну в глаза:

— Не крушись о былом, сыночка. Иди по жизни без оглядок, что было, то минуло безвозвратно, а чему бывать, того не миновать. Ты дюжий, ты сможешь...

Но он не дослушал, сорвался, прервал. Но прервал не словом, не жестом, а каким-то невнятным звучанием, то ли стоном, то ли рыком, то ли всхрипом.

— Афанасьюшка, сыночка, что с тобой?!

Он мутно посмотрел на мать.

— Пустяк. Скула побаливает. Пойду я.

Мать глубоко вобрала воздух, чтобы не разрыдаться.

Сын уходил быстро, не оборачиваясь, а мать вослед меленькой украдчивой щепоткой осеняла его путь.

За спиной зашуршала трава, муж подходил.

— Уехал?

— Уе-е-ехал.

— Слышал ваш разговор, да не стал встречать. А то, что уехал, может, оно и к лучшему. Перемелется, мука, глядишь, будет.

— Дай Бог, — помолчав, прибавила очень тихо, казалось, не желая, чтобы муж услышал и понял: — Дай Бог, чтоб мука, а не мука... на всю жизнь.

Илья Иванович пристально посмотрел на жену. Что-то хотел сказать, но промолчал. Мужу, известно, негоже много говорить. Стал скручивать табак в газетный обрывок, да никак не получалось одной рукой, пальцы отчего-то не держали. Так и не прикурил, записал кيسет и газету в карман.

Мало-помалу светало. На мерклом востоке задрожала серенькая, с мертвечинкой лиловости зорька. Афанасий остановился на седловине Бельского всхолмия, перед самым Московским трактом, по-современному, шоссе, полуобернулся, посмотрел сверху на Переяславку и Ангару. Славный родной переяславский мирок был многослойно оплетён и перепутан жилами тумана и дыма. Дым натаскивало с того берега, в дальнем потаёжке которого уже третью неделю хозяйничали на старых вырубках низовые пожары, то разгораясь, то пригасая. Неясно было видно даже ближайшие дворы и огороды. Однако Афанасий разглядел, скорее угадал, вспоминая сердцем, в черёмушнике возле Ангары пастушью избушку, в которой когда-то миловался с Екатериной. Поворотился спиной к селу, по-бычьему туго склонил голову и стремительно пошёл.

Однако почуял, да и краем своего охотничьего, пристрелянного глаза ухватил, что-то произошло за спиной. Обернулся — и замер: это роскошным зеленцевато-голубым переливом вспыхнула река, по которой, пробившись через дали, дымы и туманы, юными бегунками промелькнули первые лучи нового дня. Сияние, однако, погасло. Но секунда-другая — и оно вновь занялось, ещё роскошнее, ещё ярче, ещё искристей. И так несколько раз: погаснет — вспыхнет, погаснет — вспыхнет. Свет настойчиво пробивался к жизни. Река словно бы манила, торопато обещая свои красоты и просторы.

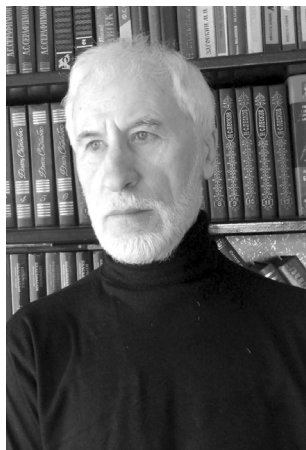
Афанасий нахмурился, но обмануть себя не смог, улыбнулся.

Ни машин, ни подвод на шоссе в столь ранний час, и Афанасий не стал поджидать фarta. Перелесками и полями спрямляя и скорачивая путь, за час с небольшим своими широченными шагами добрался до Тайтурки, ближайшей железнодорожной станции, здесь локомотивы с товарными вагонами частенько замедляли ход. Запрыгнул на тормозную площадку приостановившегося состава с пустыми, предназначенными для черемховского угля вагонами. До Черемхово добраться, а дальше как получится; можно до северов и на перекладных катить — задором и отвагой молодости вспыхивало сердце.

Вскоре состав, оглушительно грохоча и скрежеща, летел по лесостепным немереным землям. Вихри свистали, в клочья рвало паровозный дым. День разгорался, раздвигая небо, ширя просторы. Афанасий всматривался в шаткие туманистые дали — через время и расстояния, какая она там, жизнь?



АНАТОЛИЙ СМИРНОВ



Край добровольного изгнания...

Бегство

Я убежал. Уехал. Скрылся.
Я сам себя похоронил.
Но не забыт и не забылся
Тот мир, который я любил.

Там, на берёзовом раздолье,
Сияли радугой венцы,
А над безбрежным, майским полем
Всю ночь звенели бубенцы.

Весенний плач лесной кукушки,
Жар, закипающий в крови,

И утром — слёзы на подушке
Святой, молитвенной любви.

Прости, прощай! Навстречу солнцу
Не полететь в счастливом сне.
Лишь пепел на душевном донце
Да ночь тревожная в окне.

Я убежал. Уехал. Скрылся.
Я сам себя похоронил.
Но не забыт и не забылся
Тот мир, который я любил.

СМИРНОВ Анатолий Петрович родился в посёлке Харик Куйтунского района. Учился в Уральском государственном университете на отделении истории искусства. Служил на Тихоокеанском флоте на острове Русском. Художник и преподаватель рисования детской школы искусств в посёлке Новая Игирма. Публикуется впервые.

Видение в ночи

И эту грусть, и святость прежних лет
Я так любил во мгле родного края,
Что я хотел упасть и умереть
И обнимать ромашки, умирая...

Николай Рубцов

На застылой щеке — лепесток от ромашки,
Тень креста распласталась на смертной рубашке.
Возле свежей могилы — ни вздоха, ни стоны,
Ни родных, ни друзей, ни церковного звона.

По краям — комья глины, сырой, безотрадной,
Прутья чёрные врозь — у решётки оградной.
Под ногами стаканчик картонный, помятый,
И Христос на кресте — безоглядно распятый.

Кружева пожелтевшей корявой берёзы,
На сиротских венках — две бумажные розы.
Вьётся тонкая пряжа лесной паутины,
Да звенит горький плач одинокой осины.

Во и всё. Я уже тишины не нарушу,
Лишь бы принял Господь мою грешную душу,
Лишь бы Ангел забрал её в светлые руки
И не вергнул в грядущие вечные муки!

Вербное воскресенье

Казалось — лето на носу,
А мы всё топчемся в зиме.
Всю эту снежную красу
Пора оставить Колыме.

Пускай у нынешней весны
Такой холодный, длинный срок,
Её заснеженные сны
Разбудит свежий ветерок.

И вдруг апрельским ясным днём,
В преддверии Страстей Христа,
Поймёшь всей сутью и умом,
Что жизни истина проста.

Дойдёшь до церкви не спеша,
Поставишь свечи у икон
И отогреется душа
Под колокольный мерный звон.

Мы одолеем ада мрак
Огнем Божественной зари,
Запечатлеем верный знак —
Что Царство Божие — внутри!

Впервые сможем мы открыть
Всю сладость скорбного Креста...
...Нет выше радости, чем быть
У ног Воскресшего Христа!

Собственник

Светлане

И надо же! Почти на тризне, Когда, казалось, жить устал, Когда познал всю горечь жизни, Я алчным собственником стал.	Гараж, загруженный металлом, В нём — достославный раритет, Как образец большого в малом — Коммунистический мопед.
По-разному катилось время, Давил на душу груз вещей. Порой казалось — гладит темя Над златом чахнувший Кощей.	Теплица, парники, заборы, Навесы, баня и дрова. За крепким чаем разговоры, Родные, тёплые слова.
Как с неба — сразу всё свалилось: Дом, вещи, хлопоты, семья. И, кстати, очень пригодилось, Что многое умею я.	Я счастлив, что могу ответить — И этим жизнь моя полна, — Что у меня на белом свете Есть величавая жена.
Смешалось всё: картины, книги, Аппаратура, клей «Момент» И добровольные вериги — Сплошной электроинструмент.	Мы одолеем с ней дорогу, Которой нам идти пришлось, И благодарно скажем Богу: «Всё в нашей жизни удалось!»

* * *

В ужас приводит меня, Господи,
гну́сность моя...

Святой Ефрем Сирин

Как осенние листья, как ветер сквозной,
Как мучительный стон укоризны,
Потерялся мой ум безнадёжно больной
В закоулках утраченной жизни.

Пролетевшей по небу падучей звездой
В паутинку судьба истончилась,
Обратилась усталой волчицей седой,
От которой душа отвратилась.

И, послушный грядущей Небесной трубе,
Я застыл на последнем причале.
Опостылела жизнь. Я противен себе.
Утолить не могу я печали.

* * *

Бесшабашно года пролетели.
Занесло. Что ж, теперь выбирай, —
Или чёрного неба постели,
Или светлый, берёзовый рай.

Падшим ангелом сизая чайка
Просвистит надо мною крылом.
Как уйти от тоски изначальной,
Как вернуться в отеческий дом?

Захлестнёт разливанное море
Поистраченной жизни ладью.
Пропаду в человеческом горе
И покину обитель свою.

Затеряться в берёзовой роще,
Слушать говор байкальской волны.
Там, наверное, было бы проще
От безмерной укрыться вины.

Понесут меня дикие волны,
Будут молнии падать вокруг.
Дух жестокий, сомнения полный,
Мне не бросит спасательный круг.

Помолиться над чистой водою,
Лечь на травы в родимой глуши
И уснуть под вечерней звездой
Вечным сном отлетевшей души.

Прости меня

*Светлой памяти мамы — самого
дорогого человека на земле*

Второй Иркутск.

Мне было странно —

Ничто не дрогнуло внутри...
Я словно гость, никем не званный,
Как побродяжник нежеланный
В разломе мертвенной зари

Бреду один в слепой надежде.
Хотя, гляди иль не гляди,
Всё нет защиты бережной,
Исчезло всё, что было прежде,
И то, что будет впереди.

...И вдруг на грани бытия
Слетит с души моей заглушка —
Впервые осознаю я,
Что мама милая моя —
Седая, древняя старушка!

...Непобедимый, светлый взгляд,
И тень креста у изголовья,
Как знак меж смертью и любовью...
И сердце захлебнётся кровью!
Так больно пить незримый яд
Жестокой горечи сыновьей!

...Так охраняй меня всегда
От мерзостей греха и срама.
Ты всех прощаешь нас, упрямых.
Молю тебя — за все года
Прости меня, родная мама!

* * *

Ну что ж, прощай!

Прикрою тихо двери,
Сомкнётся ночь над светлой головой.
Такие невозвратные потери
Всю жизнь, как птицы, выются надо мной.

Они кричат ночными голосами
Всех женщин, обратившихся в туман,
Летят вдали и за собою манят
Уйти в мираж и колдовской обман.

И неизбежны горькие утраты,
И невозможно изменить свой путь,
Когда во мгле вечернего заката
Тех дней не повторить и не вернуть.

Но всё равно святая благодарность
По-прежнему бессмертна и светла.
И не избыть, как рок, как жизни данность,
Желания душевного тепла.

Пройти сквозь ночь, приблизиться к рассвету,
Свою свечу до Бога донести,
Прильнуть всем сердцем к внутреннему свету
И вновь любовь и радость обрести.

* * *

Что я значу теперь?
Что люблю, ненавижу?
После стольких потерь
В небе Бога не вижу.

Или всё потерял,
Распылил на потеху?
Чем Господь наделял —
Превратил я в прореху.

То стою над собой,
Равнодушно-усталый,
Словно вечный покой
Над последним причалом,

То лечу над землёй
Я в пустой колеснице.

Под остывшей золой
Эта жизнь только снится.

Этот сон ни о чём
В заколдованном мире:
Не разбудит лучом,
Не сыграет на лире.

Не согреет души,
Не обнимет любовью,
От тепла отрешит
Замороженной кровью.

Кроме страшных потерь
Мне дана, как причастье,
Потаённая дверь
Со звериной печатью.

* * *

Майский вечер. Ветер звонкий,
По-весеннему сквозной.
В ветках яблонь месяц тонкий,
Россыпь звёзд над головой.

В глубине набухшей почки
Трепет будущей листвы.
И молитвы дивной строчки
Прорастают из травы.

Устремились к Божьей воле
И к сиянию небес
Это сказочное поле,
Этот высвеченный лес.

И стоят, как двери рая,
Возле дома тополя.
В сладкой неге замирая,
Славит Господа земля.

Молитва святому Серафиму

Прошу святого Серафима,
Чтобы молился обо мне.
Чтоб свет души его незримой
Сиял свечой в моём окне.

Чтоб в русле жизни быстротечной
Не растерять в потоке дней
Христовой Истины предвечной,
Что всех мирских богатств ценней.

Пусть нами правит Божья воля —
Случайностей на свете нет.

Когда дойдём до края поля,
Настанет час держать ответ.

Прошу в молитве Серафима
Помочь мне тьму преодолеть
И в искушениях хранимым
В грехах покаяться успеть.

В борьбе с гордыней и страстями
Усвоить правой веры суть,
Что нам Христос — святое Знамя
И Жизнь, и Истина, и Путь.

Молитва Пресвятой Богородице

Гаснут свечи поминальные,
Чуть горит лампадка пламенем.
Песня тихая, прощальная
Льётся над иконой «Знаменье».

Пресвятая Богородица,
В бедах скорая Заступница,
Не гнушайся, Матерь Божия,
Человеческой распутицей.

Все мы, дети сиротливые
Пред Твоим высоким Образом,
В трудной жизни несчастливые,
Обращаем просьбы слёзные.

Твоё сердце открывается
Для молитв и песнопения.
Твоим именем спасаются
От печали и забвения.

Надели нас светлой радостью,
Укрепи Своим участием.
Обогрей душевной жалостью,
Напой духовным счастьем.

Отведи беду кровавую,
Сохрани от помрачения.
Укажи дорогу правую
Христианского спасения.

Провинциальная тоска

Край добровольного изгнания,
Игирма, скрытая в лесах,
Где вынужден я в наказание
Жить не за совесть, а за страх.

Седой залив в густом тумане,
Куда ни глянешь — лес да лес.
И поневоле тяжело станет
Под сводом сумрачных небес.

Я б эти звуки век не слушал,
Не видел этого песка,
Где постоянно гложет душу
Провинциальная тоска.

Но в памяти моей беспутной
Со мной остались навсегда,

Как вид природы неуютной,
Глухие, горькие года.

Перечеркнуть крестом широким
И никогда не вспоминать!

Не быть на свете одиноким,
Сомнений и тоски не знать,

Глядеть на жаркую рябину
В волшебном свете за окном,
Писать иконы и картины,
Не забывая отчий дом.

Чтоб вновь когда-нибудь вернуться
Туда, где плещется Байкал,
От прошлой жизни отряхнуться,
Найти последний свой причал.

Лесной родник

Здесь пряный аромат опавшего листа
Стремится в небеса, напоминая ладан,
А тень простого, деревянного креста
Таит в себе прощальную отраду.

Пронзительно-сквозной, осенний мягкий свет
В переплетенье тонких, обнажённых веток
Несёт печальный, призрачный привет
Неверного, как сон, изменчивого лета.

И, очарованный журчанием воды,
Мелодией любви, покоя и надежды,
Я верю, что спасёт от злобы и беды
Лесной родник, как это было прежде.

Кометой пронеслись ушедшие года,
Когда из края в край носило по отчизне.
Но вот она взошла — заветная звезда,
Прекрасная пора — святая осень жизни.

Я улечу туда в байкальский синий рай,
Чтоб на родные дали насмотреться,
Где жаркая тайга, мой переспелый край
Озябнувшей душе помогут отогреться.

Благодарю судьбу за радость и печаль,
Благодарю за всё, что мне дала природа.
За счастье прозревать таинственную даль
В предчувствии зимы и вечного ухода.

Пасха

Я верю, чувствую, я знаю —
Христос Воистину Воскрес!
Он весь — от края и до края —
В пасхальной радости небес,

В улыбке малого ребёнка,
В сиянье старческих седин,
В листве резной рябины тонкой
И в синеве морских глубин.

В Фаворском свете Он явился
На крыльях утренней зари
И в каждом сердце поселился,
Стал Царством Божиим внутри.

Звучит Божественная лира
Меж дальних звёзд и летних гроз.
Среди всего земного мира —
Христос Воскрес! Воскрес Христос!



ЛЮДМИЛА ЛИСТОВА



Дыханье голубя Ода радости и печали

ПОВЕСТЬ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОГО ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

— Ма, мамочка, salut! Comment ca va? J'ennuis bien a toi, je!¹... — с места в карьер звонко затарыхтела в трубку Александра.

— S'il vous plait, plus lentement², и по-русски, ты ведь знаешь, я не люблю твой плюманже, — мягко прервала её мать.

— Прости, ма, здесь привыкаю... В понедельник, двадцать восьмого, буду в Москве, а в четверг, Бог даст, в Снежине. Ты уже наморозила пельменей?

— Целых два противня. Тебя ждут. Вчера Лоне звонила. Ему обещают отпуск. Как раз успеет к бабе Мафе на годовщину.

— Здорово!

— Как там наша Мари, поправилась?

— Oui³, всё хорошо. Учится. Ну, мамочка, a bientôt⁴!

— Ангела-хранителя тебе, родная!

¹Привет! Как дела? Я очень соскучилась по тебе. Я...

²Пожалуйста, говори помедленнее

³Да

⁴До скорой встречи!(фр.)

ЛИСТОВА Людмила родилась в Иркутске в семье энергетиков. Окончила политехнический институт. Несколько лет работала по специальности: электромонтёром, инженером-релейщиком. Позже поменяла профессию, и уже более тридцати лет в журналистике. Автор рассказов, повестей, романа-трилогии «*Душа скорбящая*». Публиковалась в альманахах «Енисей», «Иркутский Кремль», журналах «Сибирь», «Россия молодая», «Москва», «Русская Сила», «Роман-журнал XXI век», «Южная звезда», а также в коллективных сборниках, выходивших в Иркутске, Москве, Минске. Выпустила семь книг прозы. Людмила Листова живёт в Иркутске, редактор православной газеты «Верую!». В 2009 году удостоена премии имени Святителя Иннокентия Иркутского.

Елена Андреевна после разговора с дочкой долго сидела на диване. Вот уже сумерки зарозовили окно. Стало вдруг одиноко, тоскливо одной. «И зачем она только поехала тогда на эту дизайнерскую выставку! — с досадой подумала о дочери. Может, не встретишься бы со своим Леоном, не уехала бы... Ну да, конечно, суженого на кривой кобыле не объедешь. Промысл... Божечки, конечно, промысл. Ладно, всё, хватит хандрить. Надо делом заняться. Давно хотела мамины фотографии разобрать. Все соберутся, посмотрим, помянем...»

Она встала, включила свет, поставила кассету с детскими рождественскими песнопениями. Подошла к зеркальному шкафу. Мельком глянула на своё отражение. «Вот клушка!» Махровый халат только подчёркивал худобу, тонкие руки кукольно торчали из подвёрнутых рукавов. Домашний платок сбился набок, обнажив щедро посеребрённый висок; небольшая, ещё темноватая косичка с вплетённой тесьмой лежала на плече. Отекшее лицо, впалые, сухие жёлта щеки, выцветшие брови, лениво прикрывавшие усталый взгляд живых светло-карих глаз. «Божечки, и это я?» — только подумала и тут же вспомнила, горько и явственно, как мать порой, взглянув в это же зеркало, равнодушно говорила: «Какая страшная стала!»

«А, ладно там...» — Алёна махнула на своё отражение рукой, открыла дверцу шкафа, достала пухлый старый портфель с фотографиями. Уселась на диван, подобрав ноги под плед. В первом же, старинном — ещё из-под фотобумаги — чёрном пакете сверху лежала её любимая фотография: они с братом с двух сторон прижались к матери. Как же красива она была! Нежный чистый овал лица, обрамлённый шёлком русых волос, короткие пёрышки бровей, небольшой упрямый рот, но главное взгляд этих грустных глаз, и светло, и скорбно глядящих куда-то в свою, неведомую никому даль. В вечность. Туда, где теперь двое её умерших послевоенных детей-близнецов.

На матери атласный халат, фартучек, который она сама сшила. Елена Андреевна даже помнит: эти мелкие цветы — красные, а отделочная лента — белая. Жоре здесь года два, Алёне — около шести. Сколько же, сколько радости и любви... Совсем детски вихрастый, с белым чубчиком брат, но уже полное мечты о будущей жизни — лицо сестры. Все они смотрят в разные стороны, не на отца, который их фотографировал, и каждый видит своё.

Алёна приходила к матери на старую Снежинскую ТЭЦ. Марфа Петровна что-то считала, с треском накручивая арифмометр. Эту смешную железную машинку с грубым трескучим голосом девочка называла «фомером». Она же убегала с Жориком на жаркий берег Арагны, где истекали горячим варом старые рыболовные лодки, где в прозрачной воде радужно, радостно бликовала разноцветная галька, а вдали, весело завывая, маленький буксир кое-как тянул баржу с углём. Белоголовый Жорик в рубашонке, коротких штанах и чулках на пажках, скинув сандалики, хлюпался на тёплой отмели. Алёнка сидела на гладком горячем топляке и смотрела в небо. Там, причудливые и прекрасные, плыли, бесконечно меняясь, облака — те самые «облака лебединые» из песни, что пели вместе с отцом. И облака, и этот ветерок, пахнувший рыбой и доносящий то вой сирены, то вскрики острокрылых чаек, и ласковое солнце, брызжащее золотом по мелким синим волнам, было счастьем.

Но как же это получилось? Ведь вместе с братом бабушка крестила их в единственной тогда не закрытой в Снежине Воскресенской церкви. Вместе играли они во дворе с крёстными, соседскими старшими ребятами из дома напротив. Вместе тянули руки за сухими кусочками просфорок, когда баба Варя доставала их с потайной полочки под тёмным образком. Вместе радовались Пасхе и бегали по улице с крашеными луковым пером яичками, «клевали» сладкие цветные просинки с кулича. Как же получилось, что теперь Георгий считает её «ударившейся в религию», а когда она его провожала на операцию и просила надеть крестик, который купила для него, брат, с ухмылкой взглянув на икону распятия, скорчил карикатурную гримасу, передразнивая Христа. Он ушёл, не взяв крестика, не попрощавшись, а Алёна, привычно уже перекрестив его вслед, долго молилась тогда и плакала, и просила у Бога прощения за него.

*В ночном саду прозрачно и светло,
Стоит наш мирный дом.
Проходит Ангел, белое крыло
Мелькает за окном...*

— высоко и пронзительно пели детские голоса. Елена Андреевна слушала, уплывая от привычной уже боли в свой мир — мир любви, чистоты и радости. «А, да, вот эта фотография, мама с корзинкой голубики. А здесь — в парке у фонтана...»

...Шли высокой тенистой аллеей. Мама — весёлая, лёгкая, летняя. Платье: алые маки по горчичному крепдешину. Как оно шло ей! У Алёны и Жорика мороженое в руках, белые капли на мостовой. И вдали кто-то громко, задушевно поёт: «Снова цветут каштаны, это не про-о-сто та-а-к...» Она думает, что вот эти огромные деревья вокруг и есть те самые каштаны, и снова счастье, как цветущая, расцвеченная солнцем галерея будущей жизни, проходит через её сердце.

...Было летнее росистое утро. Солнце так ново, первозданно блистало на влажном после ночного дождя лазурном небе, как радостью сияет после слёз детский чистый взгляд. Она помнила то своё чувство в это мокрое, напоённое свежестью утро, когда вместе с матерью поехали на грузовике за брусникой — чувство беспредельности и красоты мира. Лесная, в цветах и зелени дорога, сырой пронзительный воздух, кузов, полный весёлых ягодников с корзинками и горбиками. Солнце, срывающиеся с веток капли дождя, дрожащие на лице, нежная рука матери, прижимающая к себе, — всё это, смешиваясь, было праздник, полное погружение в любовь. И сейчас Елена Андреевна ещё помнит те свои чувства, лелеет и любит их. Нет, тайна невыразимая — что-то в нашей душе, наверное, принадлежащее Богу, остаётся неизменным всю жизнь.

Двадцать три года до рождения

«Во владеньях инея и снега расцвели хрустальные сады...» — хрустально выводил девичий голос.

Елена Андреевна взяла тоненький пакет с надписью карандашом: «Война».

Фотография сорок третьего года. Две улыбающиеся девушки. Марфа Чернобров и Туяна Мондодоева. Студентки Снежинского института народного хозяйства, подружки — хохлушка и бурятка, интернационал. Обе милые, круглолицые, длиннокосые, одна беленькая, другая смуглая. Серые и чёрные глаза полны ласки и грусти. И ожидания счастья. Даже, несмотря на войну.

Елена Андреевна опустила руку с фотографией, закрыла глаза. В душе зазвучал голос матери.

— ...Автобусов не было, пешком ходили. Туфли худенькие, износились, так намотаешь брезент на деревяшку и ходишь, ноги болят. В институте холодно, в общежитии — час идти надо — тоже. После занятий в госпиталь ходили. Как же война парней наших уродовала! Губы от ужаса и боли закусишь, носилки таскаешь, всюду стоны, кровь, бинты. Военврач наш Пётр Петрович говорил, талант у меня к медицине. Не экономистом, врачом бы стать. И подумывала, нравилось мне облегчать страдания. Но как-то пришлось при операции присутствовать, услышала этот звук, когда живую плоть вспарывают, дурно стало. Нет, не моё.

В институтской столовой похлёбку из черемши давали. К вечеру уже весь живот сколет от голода. А мы ещё с Туянкой да с другими девчонками на вокзал бежим — вагоны с углём разгружать. За это нам по маленькому ведёрку угля давали. Придём в свою промёрзшую комнату, иней с подоконника свисает, и уже нет сил печку топить. Туянка, она посильней меня была, бывало, весело шурует в печке, поёт свои степные бурятские песни. Ох, и голос у неё был! Сильный, бархатный. А коса, словно из конского волоса — в руку толщиной, длиннючая. Она потом обрезала её, говорила: тяжёлая, голова от неё болит. Не знаю уж, правда ли, только косу свою на барахолку снесла, а мне оттуда — два кругаля мороженого молока. Я тогда уже не вставала — после ночных допросов кровью рвало.

Приходили прямо на лекции: «Чернобров, выходи!» Увозили, и одно по одному: «Что рассказывал отец, кого называл? Зачем ходил к священнику Николаю?..» Молчу. Да и что я знала — тринадцать лет было, когда батю посадили. Ох, лишенько! Надоест им, что молчу, — бить давай. В живот кулаком. Зубы выбивали. Сплюну их в ладошку, кровь в платок — очень злились, если пол им измажешь.

Так с голодухи да побоев и заболел у меня желудок. Туянка, видя, что меня уже ветром качает, в госпитале врача спросила, что делать. Отправили нас тогда, доходяг-студентов, летом на покосе помогать да немного речной рыбой подкрепиться. На всю жизнь запомнила нашего старого бригадира Тонхоя Додоевича. Лицо чёрное, узкоглазое, ноги колесом, ходил в ичихах и овчинной безрукавке, подпоясанный сыромятным ремешком. Добруший дед был, хоть и строгий с виду. Сварил он мне тогда особый бурятский чай — солёный, жирный, с травами. Сначала меня мучило от него, а Тонхой Додоевич всё приговаривал: «Ты, декха, скрепись, пей, грю, а то помирать совсем скоро пайдёшь. Я тебе саламаты щё дам».

Этой саламатой — мучной кашей на сметане, да жирным бурятским чаем он, наверное, и спас меня.

Осенью на занятия вышли — опять похлёбка из черемши, допросы. Тогда и закурила, на пару с Туяной...

ЗА ТРИ ГОДА И ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ДНЕЙ ДО СМЕРТИ

— Алёна, мне плохо! — среди ночи мать бухнулась под дверь дочери, и та мгновенно проснувшись и сграбастав в кучку всё своё мужество, босиком выскочила в коридор. Тут же на полу смерила ей давление — более-менее — кое-как подняла, привела на кровать.

Она уже не бросалась, как бывало раньше, спасать, бессмысленно носиться по комнате, когда мать бесцеремонно будила её, даже беременную, не думая, не желающая и не могущая уже думать: а каково это дочери... Алёна мгновенно, автоматически облакалась в особую броню, чтоб без лишних слов и чувств быстро, точно действовать. Вот и сейчас она сначала плотно закрыла дверь в комнату сына, потом надела носки, тапки и уже после этого позвонила в «скорую». Усталая и сонная бригада из толстой, стриженной «под канадку» докторши и рыженького медбрата с заспанным, но умным взглядом, приехала на удивление быстро.

Ну, как водится, диагноз теперь так просто, на глаз, не ставят. Как бы желудок с сердцем не перепутать... «Идентификация болей» называется. Повезли сначала в терапию. Полночи на коляске возила безучастную мать по кабинетам. Кровь, УЗИ... Снова в «скорую» — на другой конец Снежина в кардиологию. Довозили до реанимации. Марфа Петровна едва жива. Дочь валится с ног. В тёмном обшарпанном коридоре, похожем на тюремный, тётка в рваном байковом халате и резиновых тапках на босу ногу мыла пол.

— Куда прёшь?! — рыкнула на Елену Андреевну. Потом, смягчившись, добавила: — Ты, слышь-ка, сдала её — и всё. Давай отсюда. Завтра днём приходи, после обхода.

Позвонили рано утром: «Приезжайте, забирайте мать!» Нет, это не про неё: будто бы всю ночь она не давала спать больным в коридоре, куда её определили из реанимации. Кричала, лезла в окно, трясла за голову какую-то старушку. Марфу Петровну привязали к кровати, отмотав с ног противоварикозные бинты.

Позвонила Георгию. Вместе приехали.

— Жора, это не про нашу маму. Наверное, они что-то перепутали.

— Ну, успокойся, сейчас узнаем. Ты там посмотри, где она, я тут подожду.

Слёзы хлынули, когда увидела мать, жалконькую, маленькую, мёртво лежащую под капельницей с закрытыми глазами на рваной казённой постели в углу коридора, отгороженного застиранной, с пятнами йода простынёй. Алёна подошла, осторожно положила ладонь на щёку матери. Та открыла ясные свои глаза, неожиданно легко поднялась, спустила на пол ноги с багровыми кровоподтёками на лодыжках. Дочь едва успела перехватить её руку, чтоб не выскочила из вены игла. Лицо Марфы Петровны как бы застыло, на нём отпечаталось тихое, странное, самососредоточенное выражение; она не понимала, где она, что с нею, не узнала сына, в растерянности стоящего у окна; она словно считала

про себя, и так углубилась в эту свою странную работу, что не замечала ничего вокруг, и никто, и ничто не могло помешать ей. На запястьях, освобождённых от пут, тоже багровосиние ссадины — тонкая, словно подпалённая бумага, кожа не выдержала. Как только она вовсе не слезла, обнажив вялую, угасающую плоть! «Что вы с ней сделали?! — хотелось кричать Елене. Но она только гладила материнскую руку, пока не кончилась капельница, и тихо шептала: «Мамочка, мамочка...»

— Что же вы мать бросили? Она нам тут такое устроила! — строго выговаривала ей немолодая врач, режущая из-под примятой белой шапки острыми, ледяными глазами.

— Да я только вчера её привезла, — уже несколько оправившись, сказала Елена Андреевна. — Что вы с ней сделали?!

— А вот забирайте её домой и сами делайте с ней что хотите!

Георгий стоял молча, только крутые желваки катались по серым щекам.

Алёну так и хлестанули слова докторицы — больше ещё, потому что ей казалось, мать всё же слышит и понимает, что это говорят о ней. А если не о ней — то можно?! Да что там говорить! Домой надо ехать. Бежать, бежать отсюда, от этих острых ледяных глаз.

Идти сама Марфа Петровна не могла. Алёна сводила её в туалет.

— Вон Бусый пошёл, — показала мать в стенку, когда шли по коридору. Бусый был их старый пёс, издохший от старости много лет назад.

— Угу, — опять давясь слезами, отозвалась дочь.

— Так её не парализовало? — спросила Елена Андреевна невролога, который по её настоянию осмотрел Марфу Петровну.

— Никакого инсульта у неё нет. Старческое слабоумие, что ж вы хотите?

Мать сидела с отсутствующим взглядом, пока Алёна собирала вещи, одевала её. Тут подошла соседка по коридору — худенькая немолодая женщина в обвисшем кособоке свитере и пляжных шортах. С опаской поглядывая на Марфу Петровну, сказала вполголоса:

— Да они что-то вкололи ей ночью, чтоб не мешала. Вот она и сдвинулась... Скажите, а кто это у вас такой — Лоня?

— Это её внук. А что? — спросила Елена Андреевна, пряча слёзы.

— Она всю ночь звала и искала его.

До выхода мать везли в кресле-каталке. До машины Георгий нёс её на руках. Домой заносили вместе с зятем Павлом. Дома уложили — мать спала и спала. Постелила себе рядом на полу — дежурить. И так — сутками, неусыпным «ванькой-встанькой»: «Что, мамочка, что?..»

Через два дня мать стала узнавать её, Лонгина, начала есть.

— Что это у меня? — спрашивала, немощно поднимая руки, будто освобождённые от кандалов, и показывая свои синие запястья. И Елена Андреевна, целуя её в тёплое плечико, глядя сквозь пелену бессонных ночей в детские материны глазки, лишь тихо шептала:

— Ничего, мамочка. Ты ударилась, это пройдет...

Ничего, что было с нею в больнице, Марфа Петровна не помнила. Но память вернулась к ней. Дочь же вернулась на работу, хотя по ночам по-прежнему устраивалась спать рядом с матерью. И когда та уже смогла оставаться одна, отладили и новый распорядок: дочь выставляла на стол готовый завтрак, уходила на работу, а обедала Марфа Петровна вместе с Лонгином. Елена Андреевна наконец вернулась в свою комнату. Но эта картина, там, в отгороженной простынёй коридорной палате — жалкое, кротко-бессмысленное, видящее что-то своё, лицо матери, её багровые запястья, «Бусый пошёл...» — угнездилась уже в сердце, заставляя тревожно вскакивать среди ночи, бежать, прислушиваться. Полночная тишина, сильный храпоток и молотом бьющиеся в сердце слова: «Я скоро умру...»

Спокойно спать уже было невозможно. С Иисусовой молитвой на устах она бралась за кисти или выбирала по цвету берестяные свитки. В такие ночи в молитвенном предстоянии Богу рождались её райские птицы с прозрачными невесомыми крылами, краюха рыжего хлеба, крынка молока, синичка, подбирающая на столе крошки, иссекающие мёдом янтарные соты; рассыпавшиеся по скатерти краснобокие яблоки; по синему лугу летящие белые кони. И словно дождь или снег — несказанной тайны покров Пречистой в облаках...

Она понимала и не понимала других. Тех, которые годами могли жить далеко от родителей и годами не видеть их. Её, пусть даже не любовь, но привязанность, возможно, болезненная, была настолько велика, что она не представляла, как бы жила без них, чтоб без неё текла их жизнь, в то время как они нуждаются в ней, а она — в них. И если близких, друзей она просто не понимала и порой даже в душе поражалась то ли их независимости от родителей, то ли чёрствости к ним, но когда слышала по радио: «Нас у мамы пятеро, она растила нас без отца, и мы шлём ей в деревню музыкальное поздравление с юбилеем», даже откровенно презирала этих бесчувственных и, как ей казалось, лукавых, с лукавой, какой-то придурочной любовью людей.

«Не судите да не судимы будете»... А что знаешь ты об их судьбах, чувствах? Ничего.

Письмо от Валентины, подруги-одноклассницы. Приехала, оставив больного мужа, детей, на похороны отца, шесть лет не виделись. Проводила, квартиру продала. Развела у мусорки костёр и жгла старенькую отцову мебель, рубашки, письма, и вместе с ними горькую свою память и боль. И вину, да, наверное, и вину. Но легче не стало, не сразу становится легче. Писала позже Алёне: «Думаю о папе, и внутри всё болит...»

Молодые и старые — отдельно есть циничный, рациональный смысл. Чтоб старые не навевали мыслей, не тянули к смерти, а молодые могли свободно блудить — без свидетелей, без стыда? Да, жить вместе людям разных поколений, молодым и старым, трудно, но ведь на Руси так и жили всегда — вместе, соборно, большим домом, с бабушками, дядьями, братьями и сёстрами... Да когда это было? Скажут — оглянись вокруг... И всё же когда она представляла, что и ей надо будет закрыть глаза своим родителям и, навсегда осиротев, проститься с ними, ей казалось, она вообще не переживёт этого и умрёт вместе с ними.

Но обретаемая вера, перерождение души всё больше меняли её отношение к смерти. Она проводила бабушку, отца, ухаживая за ними до последнего вздоха, уже зная, веря, ну, всеми силами стараясь верить — за гробом наступает иное, вечное бытие.

Теперь на её попечении мать.

ОКОЛО ГОДА ДО СМЕРТИ

«Бог стал Человеком, чтобы весь мир спасти» — на высокой ноте закончилась песня, и магнитофон отключился. Елена Андреевна опустила руку с фотографиями. Взглянула на незаконченную картину, приколотую к мольберту. Их старый деревенский дом. Кошка в углу, тишина, пушистый сумрак. Мать у окна. Глядящая в вечность. И снова желанный отрадный покой и горячая волна любви и радости залила её сердце. И вспомнилось всё.

Это случилось, когда осенью вернулись в город из деревни. Сначала Марфа Петровна бросила курить. Причём не так, как она уже не раз принималась раньше — мучительно страдая, почти умирая без привычной дозы отравы. Нет, она вдруг бросила курево окончательно и легко, в один день, она будто забыла, что вообще курила, и больше уже не вспоминала об этом, не просила сигарет. И початый, купленный дочерью блок валялся на полке, пока Алёна не выбросила его, предварительно распотрошив, чтобы не травился ещё кто-то на свалке.

Марфа Петровна как-то отстранилась от жизни, совершенно утратив при этом привычное беспокойство и раздражительность; порой не узнавала ни дочь, ни внука, ей будто стало неинтересно жить, и она чаще всего просто сидела, тупенько отклячив губу, беззлобно и равнодушно глядя перед собой, или спала, тихонько всхрапывая и громко, бессвязно разговаривая во сне. Алёне приходилось поднимать её, почти силой заставляя есть; та покорно съедала завтрак или обед, снова сидела в «самолётной позе», отвалив голову на спинку кресла. И бывало, Елена Андреевна, ещё не успев убрать посуду, замечала: мать уже снова спит.

Один отпуск без содержания, второй. И дочери пришлось оставлять Марфу Петровну одну или на Лонгина, который, не поступив в институт, перед армией подрабатывал

мойщиком на соседней заправке. С бабушкой было не скучно. Она преподносила такие сюрпризы... Закрывала замок, и они бывало часами звонили, кричали ей с улицы. Как-то в воскресенье пришли из церкви: старая хозяйка подогрела всё, что нашла в двух холодильниках, включая сырую курицу и пачку творога. Пришлось прятать ключи, продукты, отключать электроплиту, откручивать задвижку на железной двери.

Когда в голове её вдруг прояснилось, она по привычке ещё старалась помочь, искала свой старый источенный нож — чистить картошку, убирала со стола, забывая мыть, посуду, наворачивала полотенце на швабру. Всюду валялись какие-то тряпки, скомканные бумажки. Рассыпалось, билось, подгорало.

— Мама, мне надоело! — порой не выдерживал Лоня. — Сколько это будет продолжаться?!

— Я не знаю. Мне тоже тяжело, но я не могу положить мать живою в гроб! — жёстко обрывала Елена Андреевна сына. — Разве ты забыл, как она нянчилась с тобой, когда погиб наш отец? Как любила вас с Сашей!

— Да, да! Но теперь-то какая она стала...

— И это верующий человек говорит?

— Мама, ну прости, я устал на всё это смотреть.

— Скоро, скоро это кончится, — говорила с горечью, будто про себя.

Уходили, закрывались от матери с телевизором. Она просыпалась, брела, опираясь на палочку, к ним. «Скрип-скрип» постанывала половица, Марфа Петровна молча входила, невидяще-жалко взглядывала на них. И немного тлело, колыхалось в её глазах остатнее чувствешко «а, вот вы где, нашла...».

— Баба, ну чего? — нетерпеливо ныл Лонгин.

— Молчи! — Елена Андреевна шлёпала его по плечу. — Садись, мамочка с нами. — Подкладывала матери подушку.

Та прилегалась рядом с ними на диван, недолго согреваясь остывающим телом, дочь гладила её холодные шершавые руки.

— Устала, пойду, — скоро говорила Марфа Петровна.

Алёна помогала ей подняться. «Скрип-скрип» затихали шаги. Опять ложилась спать. Не понимая: день, ночь...

— Вот когда не станет нашей бабоньки, мы вспомним этот скрип и как гнали её, предпочитая поганый телезящик! — может, больше себе, чем сыну, говорила Алёна.

...Среди ночи — яркий обод вокруг двери — будто гудящий электрической дугой свет. Этот сумрак, этот полусвет. Оттуда. Этот мучительный полусвет. Среди ночи брякает палка, «скрип-скрип» стонет половица. Опять, опять шуршит, царапает в дверь, ломится, отворяет, щелчок выключателя; не останавливает ни заградительная верёвка, ни листок с крупной надписью «Мама, не буди меня!» — как-то подлезала и под него. Алёна вставала, вела или тащила, когда как, как хватало терпения и сердца, бухала или укладывала в постель, когда крестила, когда ворчала, закутывала в одеяло, наливала грелку к её ледяным ногам. И вдруг тихое, удивлённое в ответ: «Вот спасибо, как хорошо!..» Сморённая стыдом и сном дочь возвращалась в кровать.

Проходила вечность. Или только ночной час? Алёна вздрагивала, не прислушиваясь уже, мгновенно вскакивала, снова шла в комнату матери. Косматенькая, с тонкой пушистой косичкой на спине, в длинной бесформенной майке, открывающей старческие узенькие плечи и руки с обвисшей кожей, в шерстяных носках на босу ногу, вольно болтающихся вокруг сухих синих лодыжек, она невесомо семенила по комнате, как бы обирая её. Постель была идеально, по-солдатски застлана, тряпки уложены горкой, лекарства — ровными рядами. В этом порядке и безмолвном беспорядочном движении матери было и что-то нелепо-забавное, как в одном ему понятной игре взрослого человека, словно бессмертная душа её, чистая от боли, всё видела и понимала. Но в резком свете всех ламп и люстр среди глубокой ночи Алёна чувствовала, как на голове её панцирем стягивается кожа и начинают шевелиться волосы. Этот, приоткрывающийся ей в такие, всё повторяющиеся ночи мир так потрясал своей холодной запредельной непонятностью, что она,

словно спасаясь, закрываясь от него, вновь и вновь грубовато укладывала мать, крестила, выключала свет и уходила.

В декабре Марфа Петровна слегла. В прокуренных, застоявшихся лёгких началась пневмония. Кашель, жар, пятна гноя на подушке... Алёна взялась лечить сама. Снова спала на полу рядом с матерью. Если спала.

Предложение положить в хоспис, анализы, кардиограмма — всё это только вешки, обманки, флажки для затравливаемого зверя: никуда не деться. Ни той, ни другой...

Кормить, расчёсывать, мыть. Одевать, водить, убирать. Крестить и молиться. Едва ощутимый ответный поцелуй, как дуновение ветерка... И если сказать, что тогда, когда это всё происходило, она не понимала, что конец придёт, и он уже близок, и у неё не хватало терпения и сердца любить и ловить каждую минуту, и каждую минуту быть ласковой; и уже знала со смерти отца, мужа Сергея то обрушительное чувство вины, которое настигнет её, когда мать будет лежать в гробу, — нет, всё это она знала, и всё же ходила по этой грани: любовь — жестокость, будто кто-то то и дело сваливал её в чёрную пропасть, в которой барахталась она, каждый раз в кровь сбивая руки и колени об её клинковые края. Она подходила вплотную, носила в себе, пыталась понять, постичь эту тайну: как в душе уживаются, тесно сплетаясь, любовь и зло, и не могла.. И хотя давно знала — есть тайны Божии, что до поры недоступны человеку, а он надменно пытается постичь их бедным умишком своим — ну не полезно для души! — всё же вновь и вновь бессмысленность тщетной душевной борьбы, в которой она чувствовала себя побеждённой, рождала отчаяние и презрение к себе. В такие мгновения она тупо-искренне не понимала — как это: «любить ближнего, как самого себя»? А если себя ненавидишь, тем более не можешь любить ближнего? Но всё равно верила: она любит, по-прежнему, нет, даже иначе, больше, большее, взрослее и глубже, чем в юности, любит мать. Но она просто смертельно устала. И всё чаще чувствовала: не не могу, а не хочу больше! Надоело!

Её словно обузили, пропихнули в узенький коридорчик, в котором больше уже никого не может быть, войти, поместиться, лишь она одна, и лишь один-единственный выход из него — туда, вместе с этим уходящим, гаснущим существом: матери — в смерть, дочери — в иное, страшное, неведомое бытие, в которое она вместе с умирающей должна войти.

«Я скоро умру...» Год назад. Вчера. Первый, третий, шестой раз. На одиннадцатый ты уже перестаёшь бояться.

И всё же, когда они с Лонгином собрались на рынок и Марфа Петровна снова попросила: «Не уходите, я сегодня умру», они быстро сходили только в ближайший ларёк и тут же вернулись. И в этот день мать не умерла. Ей словно надо было выполнить ещё, закончить какое-то своё Богом данное дело, отмучиться, отболеться, отстрадаться за себя, да ещё отжить за своих — семерых! давно уже ушедших, иных совсем мало поживших, в младенчестве умерших, братьев и сестёр.

* * *

Елена Андреевна уже давно ждала этой смерти и боялась её, чувствуя, что у неё уже нет сил, зная, что будет до последнего тянуть, спасать мать. Опять эта «скорая», вызов и ожидание врачей, их укоры и укоризненные взгляды, больница, реанимация, или — писать отказ, как приговор. Всё — и то и другое было страшно, тяжело, но необходимо пройти, как собственную смерть, как неотвратимо крупинке песка протечь сквозь горлышко песчаных часов. И не было никого, кто мог бы помочь ей. Санька, живущая в Париже, брат Георгий, занятый своей работой и семьёй, Лонгин, то и дело стонущий: «Мама, ну когда это кончится?!» — разве в счёт? Всё видел и помочь им всем мог только Он.

Елене в храме сказали — есть такие молитвы, в которых просят Господа облегчить страдания человека и быстрее забрать его к Себе. Называли даже святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Но видя, как мучается мать, дочь всё же не могла решиться на подобное моление. Не любовь уже, не надломленное усталостью сострадание, что-то иное, незнаемое, благоговейное пред величием и тайной совершавшегося останавливало её. И она, шаг за шагом подвигаясь к концу, наступая на горло собственному отвращению,

уже научилась во всеоружии, как в скафандре, надев резиновые перчатки и вооружившись инструментами, проделывать всё необходимое с изболевшимся материнским телом, в котором отказывала одна система за другой. И что-то даже получалось, и она отчётливо понимала: только любовь помогала ей. Одна любовь вела и вразумляла её, и она отходила от одра матери, сияя просветлённым лицом, как умытая в бане страдания. Если же хоть на мгновение, на минуту любовь отступала, бес тут же скручивал обеих в дугу. Елена Андреевна, несмотря на отчаянные стоны, с боку на бок ворочала мать, держала её силой, связывала полотенцем руки — та стягивала с себя всё, сбивала в кучу простыни, лезла и падала на пол.

Гной, кровь, пролежни...

Нет, судить, знать, осуждать может только тот, кто сам прошёл, испытал, перенёс и выдержал. Она же, не выдерживающая, волокущая с поля боя пудовую суму своих поражений, судила, жестоко и яростно, и тем убивала — себя.

* * *

Из глубины своей усталости и печали всплывавшая на поверхность этого пёстрого, залитого солнцем, нет, не радостного, а просто не имеющего отношения к её заботам мира, она без наслаждения отдыхала в нём. И, не желая возвращаться назад — к хрипам, клизмам, мокрым простыням, почти без дела заходила в знакомые ларьки и бутики, где покупали, ели, примеряли. И стоя вместе со своей матерью на пороге смерти, и уже устало, почти скучно заглядывая ТУДА, она с ленивым интересом воззрилась на блузку цвета осени.

— Пестра, — почти обидела почти знакомую продавщицу.

— Нисколько, изысканная гамма, — с достоинством хорошего вкуса парировала та.

Алёна зашла в молочный, в хлебный, купила в аптеке памперсы. Нет — осенняя блуза в очах! «Тебе надеть, что ли, нечего? Полон шкаф...» Но зная себя — так проще отвязаться: иди, купи; вернулась к бутику, постояла ещё на улице, поглядывая за витрину. Вошла как ни в чём не бывало, попросила примерить. Продавщица свойски заглянула за штору:

— Ну, я же говорила — ваш цвет...

Взяла. Воровато-скомканно сунула в набитый покупками пакет. И уже по дороге домой почувствовала, как у неё горит лицо, как гадкая оправдательность борется с досадой на себя и удивлением собственной безмерной порочности. И хотя самооправдание уверенно побеждало, она испытывала чувство даже хуже того, когда, бывало, через силу доедала вечером на заговенье жирные котлеты.

Позже она почти никогда не надевала эту блузку цвета осени.

* * *

— Лена, Саша, Жора! — хрипло звала Марфа Петровна. — Где вы? Боюсь, боюсь! — причитала, хватая за руку дочь.

— Я здесь, мама, всё хорошо, — Елена Андреевна брусничным морсом смочила её губы, отёрла марлей холодный пот. Позвала Лонгина, чтоб удерживал бабушку, сама встала перед иконами; громко, грозно, у самой мурашки бежали по спине, в который раз снова и снова читала «Живый в помощи Вышняго» и «Да воскреснет Бог». Потом брала молитвослов, присаживалась к матери и так же громко, раздельно читала всё подряд — правила, каноны, молитвы святым. Марфа Петровна успокаивалась, вся как-то умягчалась, и, если не засыпала, то лежала тихая, а то вдруг — уж какая была редкость и радость для дочери — совершенно ясно просила «сметанки» или «конфетку». С трудом глотала или просто мусолила во рту.

Были эти нелепые, перед Рождеством, новогодние каникулы. Жора на ночном дежурстве, его дочь с зятем где-то праздновали Новый год.

Елена Андреевна, видя, что матери полегчало, уже несколько ночей пыталась спать у себя. Она уже чувствовала, когда надо встать, дать пить, переодеть её, поменять простыни. Она даже смирилась с мыслью отдать мать на неделю в хоспис: вдруг помогут...

Вечером померила ей давление: то ли «0», то ли батарейки в тонометре сели. Дала кофеин. Тонометр заработал. Снова читала молитвы. Мать лежала тихонькая, мирная. И почему-то в тот вечер Алёна вспомнила про освящённое масло, стоящее на божнице, и именно старое, подаренное матушкой Верой, масло от Иоанна Шанхайского попало ей под руку, только она открыла бутылочку, помазала мать, сына, себя и несколько успокоенная пошла спать.

Встала затемно. Дверь, коридор, дверь. Потом — стена...

...Падала эта серая глухая бетонная стена. Упиралась, останавливалась, тут же набегали заботы, дела, застилал глаза пепел забвения. Она стояла перед дверью. Отгадать, узнать. Понять... Снова и снова: наискосок дивана вытянутое в струнку тело. Этот сумрак, полумрак, слабый свет. Когда так черно на душе, одинаково невыносимы темнота и яркий свет, и лишь лелеемый, плывущий полусвет, дыханьем волнуемая свеча мирит и примиряет свет и темноту. Полусвет, полутьма, ни ад, ни рай. Проснулась, встала, пошла — и уже знала — была готова! Видит откинутае к стенке одеяло, струнка тела в перекрученной ночнушке, один рукав кофты снят — мерить давление...

Включает у кровати свет, ищет дыхание. Но что, но что ей говорит: «всё»?! Нет, не готовность, не эта струнка тела, не вжатость в подушку головы, не тихость, неподвижность, безмолвие груди, другое, иное, что-то внутри неё сразу узнало и ужаснулось, и воздвигло эту каменную стену. И каменно снимала памперс, переодевала в сухое — она тепла! Каменно пыталась оживлять, давила грудину, вдыхала в губы. Тихий сип да белая пенка в углу рта. «Нет, не может, не дам, не отпущу. Не сейчас!..» Но змеится, ползёт, шуршит по каменной стене поганая мыслишка: «Зачем? Чтоб мучилась ещё? Не надо. Поздно...»

Одиннадцать месяцев и шестнадцать дней до СМЕРТИ

Кладбище утопало в пышных снежных перинах, ватными шапками огружались тумбочки, кресты, свежие венки пушистой зеленью напоминали то ёлочные гирлянды, то увитые цветами и лентами кедровые ветви. Здесь, в искрящемся всюду мягком снеге, в сиянии солнца, в глубокой непривычной тишине и горечь, и боль растворялись обновлённой сокровенной радостью. Здесь, всюду тихо лежащие под перинами снега, они казались успокоившимися, мирно и тепло спящими. Они, прошедшие уже — счастливые — чрез ту незримую гигантскую мельницу: ножи-жернова, чрез тайные врата, дружно населившие этот иной, но всё ещё земной город. Как же быстро он рос!

Георгий плавно вырулил на обочину. Осквернив белоснежную тишину, хлопнули дверями. Букет в серой бумаге, сумка с блинами, лопата — на всякий случай. Дальше — пешком. Да, вот он, «ориентир» — белозубый парнишка-десантник на большой фотографии. Чуть старше Лонгина. Чугунные якоря на цепях. И слева — новая просторная ограда — три могилы в ряд, видно, мать и двое детей. Что-то с вами случилось? Почему?..

На девять дней место неузнаваемо изменилось: новые могилы и жёлтые раны отверстых, ещё дымящихся кострами глиняных рвов уже уходили дальше в лес, покорный молчаливый лес, без спроса густо начинаемый гробами. Могилу Марфы Петровны нашли по большому кресту. Заснежило её почти до края оградки. Какая уж тут лопата... Подойдя, увидели: снеговой шапкой навесило, закрыло фотографию. Жора, едва протиснувшись между оградками, налепленными впритык, смахнул снег, и в глаза всем нежно-печально глянула молодая Марфа Петровна. Алёна не нашла тогда в спешке другой, более поздний снимок. Как вновь уличённая, застыдившись этого, будто укоряющего, уже всё знающего теперь взгляда, дочь опустила глаза, начала смахивать снег с высокого пушистого венка.

— Не надо, мама, — остановил её Лонгин, — пусть лучше так будет.

— Да, Лен, не стоит ворошить. Красиво, — добавил брат. — Давай цветы.

Она безжалостно раздела на морозе живые, яркие, как кляксы разноцветной краски, — иностранные цветы герберы — большие голые, без листьев, но такие радостные ромашки. Георгий воткнул их в снег возле креста. Елена Андреевна, глядя на них, представляла, как не тронутая тлением до весны, мать будет лежать здесь, под этой холодной периной, как покроется инеем её лицо под церковным покровом, в лёд замёрзнет тело в старомодном

платьишке, надетом на неё чужими руками. Но ведь ей же не холодно! Ведь она, она сама совсем не здесь, не в этой стылой яме. Она в этом нежном молодом взгляде, в птичьем щебете, в серых глазах Лонгина, она там — в непостижимой дали, в вечном предстоянии Ему...

Вместе с Лоней тихо читали заупокойную молитву. Жора достал бутылку с облепиховым киселём, Алёна вынула из сумки блины, одноразовые белые стаканчики. Давясь нахлынувшим рыданием, кое-как пригубила ледяную медузу киселя. Лонгин, с поста, мёл блин за блином. Собрали остатки в мешок. Ноги уже хватало морозцем. Постояли молча. Елена Андреевна молилась про себя. И вдруг солнце, словно сбросив облачный плат, засияло совсем по-весеннему, и вдали, в стороне новых могил, в серо-белом плетении берёз громко и радостно заголосили птицы. Елена Андреевна глубоко, судорожно вздохнула, как будто задохнулась от радостно-горького чувства, будто нить, соединяющая два мира, больно и сладко прошла сердце. И снова одинокая горячая слеза заслонила взгляд, захотелось громко, в голос петь, петь так, чтоб эхо перекликалось, дробилось меж сосен и осеняло всех, «зде лежащих», и главное её — её мать: «Со святыми упоко-о-й...» Но брат, он рядом: нельзя, не надо тут его насмешливого, осуждающего взгляда. Пора уходить. Последний раз, сделав над собой усилие, подняла глаза к фотографии. Лоня поправлял на венке ленту с надписью «Любимой бабе Мафе от внучки Александры и Леона». И тут это и произошло: Жора вдруг неловко ступил в снег, обнял рукой и поцеловал могильный крест. И слёзы уже горячими потоками хлынули из её глаз.

— Мам, ну чего ты? — тихо взял под руку Лонгин. Прошептал: — У Бога же все живы.

— Да, да, прости. Пойдём... — отозвалась мать, поклонилась последний раз кресту и, тяжело угружая в снегу, пошла прочь.

ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ДО СМЕРТИ

...Вот она сидит на лавочке возле старого, ветхого дома. Барханы морщинок на лбу, жёлтые пятнышки на щеках — тихое, задумчивое лицо, озарённое голубенькими глазами, хранящими лёгкую тень то ли улыбки, то ли грусти. В руках букетик, ромашки и васильки — любимые цветы. Марфа Петровна плохо видит, плохо слышит, но ещё в уме — узнаёт детей, внуков. Она сидит на лавочке, вдыхая воздух своей родины, и смотрит вокруг — пред нею небо, зелень, цветы, целая рукотворная поляна цветов — белорозовые душистые левкои, лупастые анютины глазки, пёстрые юбки петуний, несколько стрелок гордых белых гладиолусов. Лишь несколько стрелок рядом с высокими зарослями васильков. А когда-то она выращивала столько редких сортов гладиолусов, выписывая луковицы из столицы, что к ней на огород приезжали даже из Снежина. Фотографировали, просили семена. Она с радостью раздавала. Теперь Марфе Петровне уже не под силу ни сажать, ни ухаживать. Осталось лишь — дышать, смотреть, любоваться. Любить...

* * *

Вот и дочь её сидит теперь на той же лавочке. И синий букет медуницы в стакане — на перилах крыльца. Она уже хуже, чем прежде, видит, хуже слышит. Но ещё понимает. Понимает: теперь её очередь — она не просто вступила в возраст, а заступила, как на вахту, за своей матерью. И вот уже также начинает дрябнуть, истончаться кожа, появляются те же боли в ногах, и тонометр радостно — без простоя! — переключал в её комнату.

И новый, ещё более рациональный век холодно смотрит в усталые глаза её.

— Боря, так ты водопровод-то когда соберёшь? — спрашивает зятя, мужа племянницы Ольги.

— Я сантехника позвал, — буркнул, не глядя.

— Сантехника, чтоб три трубы скрутить?

— Я филолог, а не слесарь. Каждый должен своим делом заниматься.

— Сантехника, чтоб три трубы скрутить?

— Тётя Лена, пусть делает, как хочет. Он и так еле терпит тебя, мол, пять раз одно и то же надо повторять, — пояснила Ольга, когда муж, облачившись в спортивные трусы

и майку, надвинув на рассерженный лоб длинное жёлтое кепи, отправился копать свои странные, в полметра высотой грядки, на которые приходили смотреть оставшиеся в деревне редкие и мелкие мужики: «Ё-кэ-лэ-мэ-нэ, городские-то чё деют!..»

— Оль, я там три мешка перегноя взяла под огурцы. Вы бы купили новый кран к бочке, я сама соберу.

— Нет, мы с Борей в эту землю вкладываться не будем. Смысла нет.

«Вот так, мать, смысла нет... У них теперь во всём смысл, выгода, прибыль. Когда, как, где упустили мы Олю? Слабы, видно, мои молитвы о них... Ночные клубы, текила, суши — вот это их, её мир. Туда «вкладываются». Пузо голое, брючки срамные; забыла, какого цвета у неё свои волосы. Такая в детстве ласковая была, умненькая. Теперь резкая, прижимистая. Чужая. Мужа посадит, накормит — всё молчком, всё врозь. Бедная ты, бедная. Бедные мы, бедные. Родные по крови, а как далеки. Крестились вроде, лба не осенят, ни праздников у них, ни выходных. Сейчас грядку себе вспашут и домой укатят. И хорошо.

...С Жорой поехали тогда к матери в областную: подозревали инфаркт. Ольга села в машину с большим, шуршащим целлофаном, букетом. Ещё подумалось: бабушке, наверное, не до цветов. А они до неё и не доехали. Внучка, сделав ручкой, выпорхнула на полпути, оказывается, отец только подвёз её на день рождения подружки.

— Разве эти цветы не бабе Мафе? — только спросил Лонгин. В ответ — неловкая тишина.

Алёна постояла немного у калитки, провожая взглядом и крестя вслед машину Бориса. Потом убрала в стайку лопаты, грабли, верхонки, валявшиеся на веранде. Поставила кипятить самовар. Снова вышла на крыльцо. Кругом тихо, безлюдно. Она смотрела туда, вдаль, где за низким заборчиком огорода расстилались заросшие коноплём и осотом поля, сквозь чёрные мётлы прошлогодней уже пробивалась новая трава. Справа и слева стояли ещё крепкие, но сиротливо жалкие деревянные домишки. Алёна знала — пустые. Как-то осенью она забредала в них: тишина и запустение. И ещё что-то — словно дух человека, бросившего своё родовое жилище, остался в нём и тосковал, то жалобно завывая в печной трубе, то покачивая оторвавшимся ставнем. Пыльные чугунки, давно не видевшие каши, никого уже не согревающее лоскутное одеяло, свисающее с ржавой железной кровати, деревянная ложка, забывшая тепло руки, одиноко истлевающие занавески на окнах... Здесь, в этом стылом умирающем доме не верилось, что всего в нескольких десятках километров шумят городские улицы, полные одинаково нарядных в будни и праздники людей; здесь она казалась себе последним человеком на земле, то ли брошенным человечеством, то ли освободившейся от тяжкого его бремени.

...Она смотрела теперь в небо. Да, это удивительно — здесь виделось небо, громады облаков, немо вздувающие свои ватные кудрявые горы или застилающие закатную лазурь длинными павлиньими мазками. Здесь, на просторе, она видела, как серой шуршащей стеной наступает ливень. Только было ясно — и вот уже весело топочет по крыше, рассыпается по доскам крыльца, ласково-радостно затрепетали листья сирени, склонили мокрые головки цветы. И быстрые зеркальные ручьи текут по плёнке теплицы, и капли музыкально булькают в небольших лужицах, и стая мокрых воробьёв ныряет в развесистый куст вишни. И вот уже первый гром ударил, мощно и радостно, слово кулак возмездия, бьющий с небес в земную грудь, легко и весело сотрясая её. Пронеслась короткая летняя гроза, и радуга сияющим коромыслом осенила небо. То Пресвятая Богородица, вновь прощая, вновь замиряясь с человечеством, одарила землю самоцветным поясом Своим.

И переполненная восторгом, Алёна по-девчачьи смеялась, напяливала на тапки пёстрые как клумба резиновые калоши и шла к своим цветам — теперь она уже садила их, как и прежде для матери, и в память матери, и для себя.

— Мамочка, смотри, какая у нас роза расцвела! — вслух говорила она, приседая возле мокрого куста на короточки. Тёмно-красные бархатные лепестки были осыпаны жемчужными каплями, из желтеющей срединки вылезала пчела. — Ух ты, спряталась! Хитрая. Ну, теперь лети, уже можно.

Алёна услышала знакомый звук — опять пожаловали здешние хозяева — сороки, они вспархивали над покрытой толью крышей бани, которая уже парила под яростным умытым солнцем. Сорочье собрание разгорелось с новой силой. Одна птица, видимо, из оппозиции, плавно слетела вниз и принялась солидно припрыгивать по тропинке. Волнами переливающиеся по чёрному зелёным-синим-золотым перья, подбелённые бока, длинный, несколько мешающий ей обдумывать свои аргументы, волочащийся хвост, округлая, с длинным любопытным носом головка.

— Да какая же ты красивая! — увещательно-нежно воскликнула Елена Андреевна, радостно протягивая к птице руки. Та повела в сторону женщины блестящей пуговкой умного чёрного глаза, важно крякнула, мол, знай наших, и прямо от земли развернув три великолепных веера крыльев и хвоста, вспорхнула, вновь присоединяясь к трескучему обсуждению экологической обстановки в пригородах Снежина. — «Ну куда же ты?!» — с детской обидой вздохнула Алёна и, махнув рукой, пошла в дом.

За молитвой о чадах прочла ещё несколько глав Евангелия. Поставила к иконам букет свежих, в дрожащих, сияющих каплях, цветов.

Напившись чаю с сушками, нехотя взялась за французский: обещала Саньке изучать. В гости ведь звали — по аллеям Фонтенбло погулять...

— Лёнди, марди, мэкрёди, жёди... — терпеливо повторяла она дни недели, но неожиданно рассмеялась. Подумала: «Ну нет, это не для русского — язык вязнет, будто в патоке». Отбросила разговорник, встала, молодо, сладко потянулась. Глянула в окно: знакомая сорока, важничая, разгуливала по тропинке.

Двадцать пятого декабря, пятница. За два часа до смерти

В пятницу Елена Андреевна взяла отгул и отсыпалась. Встала в двенадцатом часу. Затешила лампаду. Долго, медленно, с сердечным трепетом молилась. К правилу у неё уже прибавился изрядный свой кусок — молитвы о детях, о сокровенном материнском грехе, молитва Оптинским старцам, любимым святым, большой помянник. Огонёк лампы то, ниточно истончаясь, немного чадил — палил пыль и грехи, то нежно колыхался, притягивая взгляд. Алёна давно не молилась так вдумчиво, благоговейно — всё чаще на бегу, в маршрутке. Оторвалась, наконец, от своих икон, словно до краёв наполнилась, как чаша — родниковой водой. Хорошо, тихо, ласково на душе. И за окном, за белым тюлем шторы — танцующий снежный пух. Господи, какая красота! Совсем скоро Рождество. Приоткрыла раму, постояла, с наслаждением вдыхая морозный воздух. Пошла в кухню. Всё то же — гречка да чай с овсяным печеньем. Прибралась и уселась за годовой отчёт, который взяла домой.

Прошло немного времени, и вдруг что-то будто упало на окно. Алёна выглянула: снаружи на оконном откосе в снегу бился чёрный голубь. Он громко и настойчиво стучал клювом в стекло. Елена Андреевна часто кормила на балконе птиц, у неё там была кормушка, и она не удивилась, что голубь прилетел на окно. Но почему-то сразу — от этого ли странного падения, от стука ли ей стало не по себе. Она уже не была суеверной, как раньше. Но годы столь въевшейся светской приметливости враз не слетают с души. Тяжко застонало, заныло сердце. А тут ещё с голубем странное — скользя и переступая лапами, он заворачивал голову набок так неестественно, будто кто-то свернул ему шею. Алёна со страхом смотрела на него, ясно понимая, что он умирает, и если она откроет окно, чтоб насыпать ему крупы, только спугнёт его. Ещё раз жутко заломив голову, голубь заскользил по откосу и ухнул вниз. Елена Андреевна не нашла в себе сил выйти на балкон посмотреть.

«Ну, он просто замёрз, заболел, ну, кошка поранила, сколько их гибнет кругом...» Нет, ничто, никакой здравый смысл не помогал. Запечалилось, заплакало сердце как о ком-то родном.

Позвонила Александре в Париж: абонент недоступен. Посидела немного с отчётом. Нет, что-то не так. Не выдержала, стала дозваниваться сыну в часть. Не отвечают. Металась, ходила по дому от окна к окну — чёрный голубь пред глазами. Принялась за Иисусову молитву. Но она то и дело перебивалась в сердце словами Крещенского тропаря: «...и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение».

...Дыханье перехватило. В груди огненный кол. Алёна вдруг почувствовала необычайную лёгкость и увидела, что с её правого плеча свешиваются стеклянные висюльки люстры. Она непроизвольно смахнула их рукой, ожидая звона, но ладонь прошла сквозь них, не задев ни одной. С ужасом взглянула на свою полупрозрачную руку и тут увидела внизу собственное тело, ничком лежащее на ковре. Мгновенно опустившись вниз, принялась тянуть себя за плечи, поворачивать голову — ничего не получалось: руки проходили через тело как сквозь туман. Едва она успела отстранённо и облегчённо подумать: «я умерла», как вылетела сквозь стену на улицу, опустилась к земле и на газоне увидела голубя — он был мёртв, только растопыренное чёрное крыло торчало из снега. Одно ещё, бесконечное и краткое, мгновение как дуновение — и она в комнате в Париже. Мари в сиреновом платье, белой резинкой с сиреновыми бусинами схвачены на затылке длинные волосы, сидит за пианино, гоняет гамму «фа диез мажор». Маленькие розовые пальцы запинаются, Мари злится, рыжий локон прыгает на лбу. Бабушка поцеловала внучку в пушистую макушку. Полетела в кухню, откуда вкусно пахло стряпнёй. Саша, особенно красивая в своём цветастом ситцевом сарафане, напоминающем живописные полотна Моне, тихонько напевала «Царице моя Преблагая...» и пекла для дочки свои знаменитые постные оладьи с изюмом и корицей, наливая каждую в виде какой-нибудь фигурки. На подоконнике лежал разрядившийся сотовый телефон.

Елена Андреевна несколько мгновений постояла около дочки, с любовью и грустью всматриваясь в её раздуманное сосредоточенное лицо, увидела, как та взяла маленького зайца «в последней степени ожирения», так, бывало, шутила она, прочитала заупокойную молитву о умерших близких, краешком макнула оладку в мёд и съела, прихлебнув обжигающий капучино.

Мгновение — и холодно. Не телом, душой. Остров в Тихом океане. Крыша с толщей спрессованного снега. Комната с иконами. Дверь. Кровь. В луже крови — Лонгин. Сын! У него оторвана нога. Рядом — ещё двое, один мёртв, кишки на полу, второй хрипит, ползёт к двери, оставляя красные следы.

— Ло-о-ня! — дико кричит мать. Но что-то неудержимо тащит, ураганно несёт её вверх, дальше, дальше, выше. Ослепительный свет, свист в ушах.

И вот — тихо. Серо. Всюду серый приглушённый свет. Тот, знакомый, такой страшный знакомый полусвет. Неопределённо, неуютно, муторно — чувство, как при цистите: и больно, и тяжело, и сама не знаешь, куда бы делся, и деться некуда. От боли и от себя.

Вдруг забелело рядом, потеплело душе — её коснулось мягкое снежное крыло.

— Пойдем, Елена, — сказал печально.

Она подняла глаза. «А, это мой Светлый Ангел... Ангеле Божий, хранителю мой святой...» — сразу привычно потекла молитва.

— Подожди, не сейчас... — остановил он.

— Да, не сейчас, милашечка! — вдруг шипяще заверещал кто-то сзади. Дохнуло невыносимым смрадом, и, скрипя членистоногими лапами, из серого марева выползла темно-фиолетовая каракатица. — Попалась, душка-молитвенница! Таким у нас как раз и место...

— Ну, это мы ещё посмотрим! — осадил тварину Светлый Ангел.

— А вот давайте и посмотрим, что у нас тут есть, — грязно-жёлтая каракатица запустила волосатое щупальце в какое-то чёрное корыто и достала оттуда... зубы. Алёна узнала их, это были зубы её матери, Марфы Петровны. — Она их выкинула уже. Воровато, как и многое делает, а не кается, завернула в пакетик да в мусор бросила. Чтoб не напоминали. А они, зубы-то, многое помнят. Жевала-то не так, прищёлкивала — раздражала доченьку. Потом в кружку на ночь снимала, отвратительная, надо сказать, кружица была — другая бы вычистила зубки-то мамочке, ты брезговала. А уж сколько раз ругала, что везде их с посудой ставит — не счесть! Мамашка-то, в уме была, плакала украдкой. Поди, знаешь, отчего она рано без зубов-то осталась?

— Знаю, — еле слышно прошептала Алёна.

— А сколько раз они с Логином эти самые зубы искали! — нашёлся Светлый Ангел. — Как-то полдня потратили, всё перерыли, даже диван отодвигали. Потом оказалось, они к наволочке прилипли.

— Да, было, — каракатица подняла вверх зелёный когтистый палец-щуп. — Но как истерически она потом хохотала, заражая этим неприличным ржанием сына!

— Ну, подумаешь, посмеялись с устатку...

— Хохот — грех! — оборвала Хранителя синяя каракатица. — А потом-то, к концу бабки, что утварила молитвенница наша! Старуха уже ничо сама не могла, даже зубы свои напаялить. Доченька и сняла их совсем, чтоб самой в рот не всовывать. А какая же еда без зубов? Уморила мать голодом.

— Врёшь, бесовка! — прикрикнул Светлый Ангел. — Марфа могла во сне поперхнуться ими, да и днём они ей уже в тягость были. Дочь давала ей жидкую и протёртую еду. Она не от голода умерла.

— А оттого, что доченька, смерти её дожидаясь, не отдала мать вовремя в хоспис, как ей предлагали врачи, — ехидно заметила ехидна.

— Нет, Марфа в хосписе ещё раньше бы умерла, ночью, в туалете. А так — дома, в своей постели...

— А дочечки-то рядом не было!

— Так Бог судил... Если бы она не заботилась о матери, та умерла бы ещё лет семь назад.

— Ладно, защищай Ленку свою! Смотри, что у меня есть, — серая каракатица неожиданно ловко для её неповоротливой туши выдернула из своего корыта за шнур электронный тонометр. — Сколько раз этой штучкой она яростно хотела грохнуть о стенку? Ещё с тех пор, когда был жив отец её Андрей.

Елена Андреевна стояла, опустив голову, плакала, беспрерывно шепча: «Господи, помилуй!»

— Да, не раз хотела, и всё же не разбила прибор. А кто счёл, сколько раз в день ей приходилось мерить это давление, и сколько лет подряд? А эти очереди за рецептами — отцу, матери, в поликлинике, потом в аптеках... А ведь она осталась вдовой с двумя детьми. Нет, терпение у неё порой было поразительное.

— Ш-ш-ш, — зашипела, наливаясь красным, каракатица и выпустила в сторону Елены Андреевны десятки новых лохматых щупалец, пытаясь схватить её. — Терпение? Ха-ха. Да вот хоть на это посмотри, — достала из корыта простой карандаш китайского производства с белой резинкой на конце. — Бедная старушка записывала показания давления в блокнот, а дочечка даже карандашик этот возненавидела и хрупнула его пополам. Да и блокнотик в мусорное ведро бросила.

— Да, так. Но потом, устыдившись, с самоукорением карандаш склеила скотчем и блокнот обратно достала.

— А, да что уж тут, Ангеле мой, защищать меня! Кругом виновата. Прости, Господи!

— Да наша она, виновата, виновата! — довольно заверещала, заскрежетала каракатица. — Тут у меня, знаешь сама, кое-что пострашнее материных зубов припасено. Полотенчико вот, старенькое, длинненькое, в полосочку — узнаёшь? А последний старушкин початый блок сигарет — «Оптималёкая» — помнишь? Ненависть лютую свою... Тут тебе сады Фонтенбло не светят, *mon cher*!

— Замолчи, чернь! Исповедано, — сказал Светлый Ангел, укрывая Алёну крылом.

— Знаем мы эти исповеди — общие записочки ни о чём! — зашипела она, грозя толстым, синим пальцем с блестящим розовым ногтем в цветочек.

— Не тебе судить!..

— Ра-а-но. Вернуть рабу сию... — раскатисто загремело вдруг сверху.

Серое марево раздралось в лохмотья, на Елену хлынул ливень тёплого света. Она в страхе зажмурилась, и в наступившей вдруг тишине услышала не голоса Светлого Ангела и каракатицы, а бегущее шуршание стрелки на ручных часах. Она открыла глаза: пред нею песочные узоры ковра. Медленно приподнялась, взглянула на часы: с тех пор, как она потеряла сознание, прошло не более пятнадцати минут.

НАЗАВТРА ПОСЛЕ СМЕРТИ

На следующий день она уже была во Владивостоке. На остров, к сыну в часть, её не пустили. Командир только по телефону сдержанно сообщил: Лонгину в госпитале сделали операцию, состояние удовлетворительное, он просит мать не беспокоиться, ехать домой и молиться за него.

Это уже позже Елена Андреевна всё узнала. Лонгин ещё с одним украинским парнем, Володимиром Завдoryчним, добились, чтобы в части открыли молельную комнату для православных. Туда даже «деды» стали наведываться. Но это не понравилось карачаевцу Исламбеку. Стал угрожать Лонгину, тот его послал. Подрались. Отсидели в карцере. Мало. Ещё раз подрались. А тут из Черкесска Исламбеку письмо пришло, что его сестра за русско-го вышла. Он достал боевую гранату и пошёл разбираться с неверными. Видел, что Лонгин с Володимиром в свою церковь собрались. Возле её двери по полу и швырнул им в ноги гранату. Маленький юркий Завдoryчний, успевший прикрыть собой друга, был убит на месте, Лонгину оторвало ногу, а Исламбек получил несколько лёгких осколочных ранений.

Приезд дочки, годовщина по матери, молитва и слёзы, бесконечные звонки — всё подёрнулось для Елены Андреевны серой пеленой. Но когда, наконец, она попала к сыну, её встретил радостный крик:

— Мама, мы с Андрюхой победили вторую палату! — он сидел на кровати рядом с худеньким курносим парнем, у которого была загипсована рука, и азартно резался с ним в шашки. Румяный, русобородый, с весёлыми светлыми глазами, в апельсиновой футболке, открывающей крепкую шею, её сын Лонгин вёл себя не просто, будто ничего не случилось, будто не было ужаса взрыва, потери ноги, операции, он стал совсем другой — радость так и лучилась, бурлила, играла в нём, будто солнце выглянуло из-за туч и неожиданно озарило его лицо. И эта сила, мужество, радость сына передались матери, она уже смогла без слёз склониться и обнять его.

— С Рождеством Христовым, родной мой! — поцеловала в щетинистую щёку. И только когда в волнении задела и с грохотом упали на пол костыли, из её груди вырвался судорожный стон.

— Ма, всё нормально. Жизнь продолжается, — так же бодро, разве только чуть тише, сказал сын, ловко поднимая и пристраивая сбоку от подушки костыли.

Попытка Дневника Елены Андреевны

Пишу, сама не знаю зачем. Ну, так не пиши. Душа болит. Подумать, разобраться, понять, как жить.

О чём же я могла думать тогда, кроме Лони! Казалось, всё, умру там, во Владивостоке. Умру? Во второй раз? По-настоящему. Как же мы все связаны! Ой, Божечки, как связаны... Лоня спасал меня, я пыталась — его... Да нет, курица ты, куриные мозги, это Он, Он нас всех спасал!

Это уже потом, после госпиталя, когда приехал домой и началась наша другая жизнь, тоже Он, Господь, помог наконец-то вернуться, уже иной вернуться в себя, подумать, что произошло. Сон? Видение? Смерть? Ведь так всё и было на самом деле тогда. Думала, вспоминала, смотрела фотографии... А, да, бетонная стена, воздвигнутая кем? — она застила всё: просто не могла смотреть в глаза своей совести и не видела главного: любила и люблю.

* * *

Почему как-то забылось, кем стёрлось в памяти последнее перед смертью мамино Причащение? Думала, ну два раза уже соборовали, причащали... Успею ещё. Нет, не то, если честно, не хотелось опять звонить, просить батюшку, готовить мать. Да, эта лень, усталость, дурное «неудобно». И тут кто же — Лоня! Один раз напомнил: «Надо бы бабу Мафу причастить...», другой раз. Всё же устыдилась, пересилила себя, переступила через «не могу», «не хочу», «неудобно». Позвонила. Позвала. Отец Игнатий, со странностями, как всегда перепутал что-то, думал, надо какую-то мою соседку причастить. Уже не надеялась, что с Дарами придет, что причастит мать, исповедаться-то она уже не могла.

Приехал всё же батюшка, спаси его, Господь! Как-то сумел её растормошить, слова нашёл. Чтоб она тихое прошептала: «Господи, прости». И причастил. О радость! причастил! За неделю до смерти. Это уже после, как уехал, в календарь глянула: было празднование иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Подарок мамочке от Пречистой. Драгоценный подарок!

А после-то, после... Тоже забыла? Божечки, что ж глупая-то такая! Грелки да памперсы помнила...

Как приехали с Жорой и Лонгином в свой храм. Мороз, пар клубами в тёмных сенях трапезной. Меня не узнали. Что, кто, куда? Чугунные банки прошлогоднего варенья, ещё мамочка варила, пакеты с елеем, вином, колбасой — впереди Рождество, празднично-минальная трапеза.

— Да тебя тут и не знают, — привычно уязвил Георгий.

Промолчала. Разве может быть ещё больней? И всё же через боль почувствовала: какие же они родные мне, храмовые сестрички, как люблю их всех!

— Привезли! — крикнула позже брату, не осознавая, что крикнула радостно.

Мамочку нашу в бордовой, как запёкшаяся кровь, домовине привезли. Пока мы в трапезной — без нас — уже занесли в храм.

Светлый лик, хохолок пушистых, будто чистых (кто и как их там моет...) волос из-под платка, накрепко закрытые, запавшие глазки. Как она, бывало, взглядывала ими, васильково расцветало лицо. Эти вечно молодые, печально-нежные глаза. Увидев мать в гробу, Жора блеснул слезами.

Да-да, уже въехав в ограду храма, уже с трапезной, с братниной утешительной слезы, с видения двух гробов, стоящих рядом (приспела ещё одна раба Божия Катерина), с того, что в правом приделе началось крещение двух младенцев, девочек-близняшек; и вскользь подумалось — назвать бы Катей да Марфой, я уже почувствовала себя дома, под Его великой защитой и покровительством.

Близкие друзья приехали читать Псалтирь. Приступала сама. Да где там... Голос дрожит, в глазах расплывается. Матушка Вера взялась — у той псалмы накатано, быстрым ручейком потекли.

Смерть — как ваза, которую не знаешь, куда поставить, — тут нелепа, там велика, здесь боишься разбить. И не знаешь, с какой стороны подойти к человеку в горе. Помолчать, обнять, просто постоять рядом... Умереть за компанию, заплакать. Матушка могла только взглянуть, так взглянуть своими серыми, полными боли и слёз глазами, обнять крепко, притянуть к себе рукой — как хорошо... Наталья с Павлом, тоже подавляя неловкость присутствия смерти, торопливо взялись читать. Спаси их, Господь! Ну, побыли, тихо-сочувственно постояли рядом, по кафизме прочли, что уж их тут в холодном храме до утра держать. Домой с матушкой отправила. Отец Игнатий на всю ночь читать по усопшим поставил свою братию. Так, сменяясь, и читали. Лонгин сморился, два дня не спавши, прихожанка Ирина, что рядом живёт, увела его к себе ночевать.

В чёрных платках, в шубах, нахохленными воронами сидели мы с дочками Катерины, молились за обоих.

Мне всё хотелось упасть пред гробом на колени, обнять её, прижаться к холодным навеки щекам, заголосить тихо: «Да мамонька мо-о-я!..» Люди кругом, не могла. Останавливало ещё что-то. Стыд, вина. Да, мне было стыдно, страшно, словно все вокруг могли догадаться, как я обращалась с нею, что и из-за меня тоже она теперь лежит здесь. Да разве мне и находиться тут, рядом, можно? Но уж и кто вместо меня? Жора уехал. Уж надо же было мне дойти до конца и проводить её. Хотя бы как могу.

Почему, почему мне не хватило любви?! Ведь говорила же Наташа, уже проводившая свою мать, ласково в глаза глядела, гладила по плечу: «Потерпи, милая, всё пройдёт, а потом как ангелочек будет лежать, тихая, светлая. Вот увидишь...» Да, увидела, тихая, ясная, ушла от меня, спаслась от меня; и это в закатно-запёкшейся багровой домовине — уже только тело, дух отлетел. Лежала, будто спала, светленькое, спокойное лицо, но нет — эти

крепко зажмуренные, отгороженные от мира глазки, тишина груди, немо говорили: её-то, самой, бессмертной души её здесь уже нет. Может, она, бесплотная, уже склонялась ко мне, глядела в глаза, знала, иным теперь зрением проникала в мое испепелённое сердце. И забыв уже про людей, презрев стыд, опускалась на колени ко гробу, гладила её холодное твёрдое лицо, и, целуя его, шептала только одно: «Прости, прости меня...» Каждый раз чувствуя, как утекает малое время, которое ещё могу побыть рядом с нею.

* * *

И всё же ушла, оставила, хоть ненадолго, но ушла. Почувствовала: до утра не выдержу, поднялось давление, затошнило. Вспомнила, староста Иннокентий говорил, можно в келье сестры Анастасии отдохнуть.

Впервые в эти двое суток — странная радость света. Бумажные снежинки и ангелы по стенам.

— Это мы к празднику готовимся, — просто и ласково говорила Настя. И вдруг близко-близко её молодые блестящие участливые глаза и лучезарная улыбка, и её тёплое, как тепло! — объятие, будто заледеневшую ладонь в варежку с горячей руки.

Со скошенным потолком, похожая на каюту келья. Спартанское серое одеяло. Подушка в ситцевой наволочке...

Цикадно скрипят часы. И почему-то тоже тёплый, пушисто-живой полумрак здесь, в сокровенном чреве уединённого жилища среди зимы обнимал со всех сторон. Настя читала на кровати под маленькой настенной лампой.

Прилегла. Чувство: да, здесь всё, всё мое, всё со мною: сын где-то близко, у чадолюбивой Ирины, рядом храм, в нём маманька моя, и для неё, над ней совершается то, что ей сейчас важнее всего.

Нет, наверное, не спала. Чуть забылась, отдохнула. Тихо поднялась, вышла из кельи. Вместе со мной подходил к церковной двери очередной брат, худой бородатый Илия — как часовой караула — очередной чтец на смену.

* * *

Отпевание. Горящие свечки — крестом на гробе. Сколько раз была на панихидах, всё видела. И не видела...

А вы знаете, что такое торжество Православия? Да, празднуется после первой седмицы Великого поста. Нет, торжество Православия — это когда отпевают твою мать, и знакомые и незнакомые люди с прихода стоят рядом и молятся за усопшую, которую никогда не знали; когда вместе поют «Со святыми упоко-ой, Христе Бо-оже, ра-аб Тво-их...», и тебе представляются райские обитатели, куда ты вместе со всем народом, собором провожаешь дорогую свою маманьку. Когда не можешь уже выдержать слов «яко уготовася тебе место упокоения», помирски опять представляя лишь холод могильной ямы, и кто-то неведомый — не видишь от слёз, горячо обнимает тебя за плечи. Торжество Православия — это когда батюшка снимает путы с рук и ног твоей матери, читает и вкладывает в негнущуюся кисть разрешительную молитву, а ты холодеешь: он же увидел эти лиловые пятна на запястьях её, но не обернулся, не прожёт тебя уличающим взглядом. Торжество Православия — это когда прихожане, подходя вереницей, дарят близкому твоему последнее целование. Ты отныне навеки в долгу. Торжество Православия — это свечка в руках неверующего моего брата. Торжество Православия — справный деревянный крест, который за ночь сделали на приходе неизвестные тебе мастера.

Обнимали, украдкой совали деньги. Поехали на кладбище. Рядом с тобой стояли у ямы, поглощающей гроб. Поминали...

Чем же мне отплатить за вашу, братия и сестры, любовь? Своей любовью. Люблю вас!

* * *

Рождество. Белая радость. Хрустальная звезда. И мне? Чёрная и в чёрном приехала на позднюю литургию. Вина, чёрное вино вины так разгорелось в сердце. Божечки мой, ну не могу дышать. Жить не могу!

Служил уже утром-то молодой священник отец Савва. Передала через алтарника просьбу исповедать после литургии. Молилась, ждала у аналая: выйдет не выйдет, жар — волнами по щекам. Храм пустел, последние прихожане с детками кланялись вертепу. Дарили Богомладенцу молитвы и шоколадки. Отец Савва, не взглянув на меня, мерным шагом прошёл мимо. И это, видно, так надо. Поделом!

Постояла. Лоня домой зовёт. А мне-то — как же? Нет. Не могу! Выскочила на улицу. Отец Игнатий! Весёлый, лёгкий, праздничный, за благословением к нему все бегут. Подошла, в ноги поклонилась: «Батюшка, исповедуйте! Не могу, грех жжёт...» Он тут же вернулся в алтарь, надел епитрахиль. Исповедал. Сладко так, так горько плакалось! И всё спрашивала, больно, горячо спрашивала:

— Она знает, чувствует, как я люблю её?

— Конечно, — отвечал отец Игнатий, глаза его светились любовью и состраданием.

Господи, как бы мы жили без покаяния!

* * *

Нет, подойти близко-близко, понять хочу, как штормку смахнуть эту стену. Божечки, миленький, Ты же видишь сердце моё! Ты ж всё знаешь!

Вина. Одна вина. Когда она бесконечно перевешивала раскаяние, уже казавшееся невозможным, бессмысленным, почти автоматически, почти беззвучно шептала «прости», мама с всегдашней готовностью отвечала: «Пусть Бог простит, а я всегда прошу». Так если бы сейчас, сейчас упала бы у её ложа и молила простить за всё, она, живая, видя мои слёзы, простила бы? Наверное, да. Тогда и Ты, любящий нас неизмеримо больше, чем можем себе представить, тоже простишь, простил уже, когда каялась на исповеди? Да? Почему же так больно?!

...Вдруг вижу во сне: в синей своей курточке она выходит из избы; бегу, как же радуюсь: жива! Жива моя мамонька! Наяву уже и радоваться-то так — по-детски, до самой глубины души, не могу. Подбегаю, обнимаю: как же я люблю тебя! Родное тепло, тёплые слёзы на щеке. И самое-то главное — радуюсь, что успею попросить прощения ещё раз.

Ну да, ведь это же так ясно, Он вернул меня, ну, вразумил, но вернул... за РАДОСТЬЮ. Чтoб научилась радоваться здесь. Чаешь воскресения и жаждешь попасть ну на краешек, хоть на самый краешек Рая, так надо, да что уметь! — просто хотеть видеть и Божью красоту, и радость, столь круто разведённую скорбями, но всё же и на земле нам данную. В утешение.

Сергей мой разбился тогда на своём вертолёте. В закрытом гробу хоронили. Лоне три было, не понимал, Санька так убивалась, думали, умом тронется. Не спала, кричала. Отец Игнатий вытащил нас. С Божьей помощью... А Серёжа — разве он не у Господа теперь: два дня как покрестился, и погиб, спасая людей, горящий лес.

Нет, жить! Молиться. Помнить и любить.

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Редает народ. Тут, там, как травинки подкошенные падают. Редает твоё поле, Россия. Коса прошла, жернова смололи: где кровь, где мука. Жёлтая стерня, уходящая в горизонт. Где они, жившие в девятнадцатом веке? Все — ТАМ. Теперь — наша очередь.

Елена Андреевна снова слышала, как соседка Кира орёт на свою парализованную мать. Сколько же переслушала этих жалоб знакомых, сестер во Христе на своих «вредных» стариков. Сердце плакало от бессилия и боли. Говорила, умоляла, порывалась даже бухнуться в ноги, чтоб заставить их полюбить, и любить своих, живых ещё, родителей. Кто-то слушал и слышал, и что-то открывалось, страгивалось в душе; и они, бывало, тут же торопились позвонить, даже поехать к оставленной, забытой матери в дальний микрорайон. И поле этого бесчувствия вокруг — поле! Она остро осознавала свою беспомощность, а главное — бесправие. «Кто ты (!), чтоб взывать? Всё помню: Светлый Ангел, каракатица... Ну помоги же мне, Божечка! Пречистая, помоги! Научите, как достучаться, вразумить, пока не поздно...»

Иной раз ей хотелось вломиться к пьяной соседке, по-звериному ревущей на мать, схватить за шкуру, трясти, кричать: «Да ты же, дура, не понимаешь своего счастья — у тебя мать, ещё живая, тёплая, мать! Понимаешь, ты — мать есть!» Но тут же, ошпаренная кипятком стыда, она сникала, вспоминая своё: «Бесправна? Сама в сто раз хуже? Да, да!

И она-то, эта оручая Кирка, пришла как-то пьяная, с бутылкой, мол, выпьем мировую, и жаловалась, и плакала, и я почувствовала всю тяготу и бездну изболевшейся, измаявшейся души, и утешала, глядя в мутные глаза её, утопающие в слезах. И в этот миг полюбила её. Да, полюбила! Так, может, мне-то, окаянной, бесправной, и звать, стучать, говорить? И даже утешать?.. Господи, помоги!»

* * *

Уйти, измениться, умереть должны все — и эта синица, нежно пиликающая на ветке нарядившегося в золотистые серьги клёна; и эти девушки с голыми пупами; и парни, залепившие микрофонами уши и притворяющиеся спящими, чтоб не уступить в автобусе место старушке; и этот весёлый мальчишка, прыгающий на доске по перилам и парапетам; и наша земля, возделанная и изуродованная падшим человеком; и я, и ты, и все...

Память смертная не стояла теперь немым стражем у ворот той гигантской мельницы: ножи-жернова, она, словно календарик в сумке, всюду таскалась за нею. И взвешивала, и оценивала. И побуждала: это делать, это — нет; одно важно, другое подождёт. И на этих мгновенных «смертных» весах всё оценивалось однозначно — имеет ли смысл для жизни вечной. И какой же нелепостью могут тогда представляться бриллиантовые аукционы, миллиардные состояния одного человека, который тоже умрёт — даже зимой его похоронят в одном костюме.

Живые женщины с мёртвыми глазами и идеальной кожей рекламировали молодильные кремы: «Как в пятьдесят выглядеть на тридцать пять...» «Зачем?!» — немо кричала она им и себе. Мир, со всеми его магазинами, шумом, бесстыдством современной одежды, мусором — и так давно надоевший, отступивший куда-то в тень, теперь вовсе казался ей досадной необходимостью временного бытия.

Елена Андреевна просыпалась и нудила себя благодарить Бога ещё за один дарованный день. Просыпалась и тут же вспоминала, что матери больше нет, и не надо бежать, узнавать — как она? И снова, и снова вина вжимала её в подушку, и, только делая над собой усилие, она вставала навстречу новому дню — ещё один шанс, ещё время для искупления.

Но чем больше она думала о смерти и порой отчаянно тяготилась этим «календариком» в сумке, тем больше отстранялась и уставала от жизни, порой, уходя из храма, облегчённо вздыхала: так хорошо на воле, в одиночестве, вдали от фальши приторного благочестия. По дороге вновь вспомнилось: как это говорил владыка Серапион — Монблан... Один человек от природы добр, и он как бы видит всё в радостном свете, и ему легче любить людей и, может быть, легче спастись. Другому же, не столь доброму от природы, ну, злыдня с ледяным осколком в сердце, — надо взойти прежде на свой Монблан, чтоб, ещё лишь приступая к спасению, отвадиться, скажем, от водки, наркотиков, зла в сердце. И только Господь измеряет эти разные усилия каждого на пути к Себе.

Вспоминала, и сияющая, как крест в небе, надежда на бесконечную и таинственную Господню милость смотрела в жалкую замученную душонку и приказывала: Царствие Божие нудится! И спасаясь от рутинности жизни, от себя, и спасая себя — что ж ей ещё оставалось?! — нудила. Закусила удила. Вперёд!

Да-да, лелеять и возгревать в себе радость. Ставить красивую детскую ёлочку и как в детстве, загадав игрушку, хитро спрашивать: «А где, Лonya?...» Он до обидного быстро находил, мать даже втихоря перевешивала их, чтоб дольше искал. А вот бы ещё напрячься, превозмочь боль в спине да побелить углы над батареями, перестирывать все шторы, разобрать кладовку — и уже яснее, чище и в доме, и на душе. Список. Да, список дел. Сходить в детдом, провести старую соседку, купить ей крестик, продукты; рассказать маминной подруге, как готовиться к исповеди, купить ей икону; отдать диван молодой семье; пожертвовать денег на операцию приходской девочке; перебрать, выстирать и отнести в храм вещи...

Милосердие. Оно должно быть круглосуточным. Тут не заскучаешь. Милосердие — это есть в человеке милость сердца или её нет. Если он сегодня подал булку нищему калеке, а завтра, а послезавтра уже устал, прошёл мимо — и подать нечего, и настроение плохое, «а тут ещё эти вечные попрошайки...», то милосерд он или нет? Пять лет убирать за парализованным отцом, а потом отдать в дом престарелых, ты милосерд? Сунуть в Пасху деньги сиротке и забыть её до следующей Пасхи, ты милосерд? Ты нищ духом, смертен, нетерпелив... Ты — просто человек, грешный и слабый. Какие уж тут списки!.. «Без Мене не можете творити ничесоже...» Да, без Бога — ничего. Помогите же, Господи!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

На другой год Лонгин поступил в мединститут и стал помогать отцу Олегу в Реабилитационном центре Дикюля со «спинальниками», колясочниками. Все они любили его, радовались его появлению, издали заметив, весело кричали: «Лонгин Сергеевич, Лоня, мы здесь!» И никто из них не догадывался, что этот красивый приветливый парень, способный и пошутить, и утешить, и иного строгим словом подвигнуть к борьбе за собственное здоровье и саму жизнь, так неутомимо снующий по этажам, сам инвалид.

Сестра Александра во Франции продала свои акции и заказала брату новейший биопротез. Теперь Лонгин не только работает в Центре Дикюля, он участвует в соревнованиях по плаванию и помогает в ремонте местной церкви. Там познакомился со своей кроткой Ниночкой. Она поёт на клиросе.

* * *

Елена Андреевна закрыла свою тетрадь, убрала в дальний ящик стола. Посидела ещё, постояла у окна. Пошла к сыну. Обняв его за плечи, посмотрела в монитор.

— Мам, ты только послушай, что они пишут: «Русские строят в Париже шпионский центр, замаскированный под храм...»

— Надо же, испугались нас. Глупые...

— Как там только наша Санька живёт! Нет, ты посмотри: «По мнению французов, использовать храм для шпионского прикрытия будет очень удобно, так как земельный участок, купленный Россией, находится в центре французской столицы».

— Да-да, Лоня, я вижу. Ну не хочу! Устаёшь от этой черноты... — она выпрямилась, зябко повела плечами. — Ты же обещал мне поискать фотографии орхидей.

— Угу, — отозвался сын, — вечером пошарю.

— Пойду, чайник поставлю, — ласково взъерошила его волосы.

Налила воды, включила, подошла к буфету за печеньем. Глянула в окно: там, за перилами балкона, в кормушке сидел рыжий в белых подпалах голубь. Прихрамывая на культяпку обмороженной лапы, он деликатно подбирал оставшиеся рисовые зёрна. Ясное февральское солнце вдруг так осветило голубка, что Елена Андреевна увидела лёгкое облачко его дыхания. Она замерла. Казалось бы — что тут необычного? Просто не замечала, как дышат птицы. И этот прозрачный парок, нежданно увиденный, почему-то поразил её — как приоткрывшаяся откровенная тайна жизни, как видение незримо отлетающей в небо души новопреставленного. И снова полнота и счастье жизни затопили сердце, и оно, уже столь измученное болью, раскрылось, вбирая в себя и золотой свет предвесеннего солнца, и звенящий морозный воздух, и дымчатые куржаки берёз; и голубя, уже вспорхнувшего в небо и теперь вольно парящего над землёй; и Саньку, Леона, Мари там, далеко, в сыром Париже; и Лонгина, и Жору; и Сергея, и отца, и мать в дали обетованной; и свой старенький, родной и любимый храм; и тепло, и радость, и всё, и вся...

«...и Дух, в виде голубине, известоваше словесе утверждение...»

2012 год



ГЕННАДИЙ АКСАМЕНТОВ



Три посвящения

Бледный рассвет

Видно, для рая не вышла пора.

Р. Филиппов

Мы с собакой под тёплым дождём
по берёзовой роще бредём.

Мы бредём к незнакомому краю,
может быть, он окажется раем.

И окажется, что на Земле,
в этой тихой приветливой мгле

от порога совсем недалёко
зрит за нами пресветлое око.

Роща манит в открытое лето,
что-то знает она про поэта,

и про райскую птицу, что пела
ему как-то про доброе дело.

Он ответил ей, что для добра
и для рая не вышла пора.

Прав поэт или райская птица,
мы бредём, чтоб самим убедиться.

Этот брод, этот бред, этот бледный рассвет
так же ветхи, как Ветхий Завет.

И собака, приняв подобающий вид,
возле ног моих мирно бежит.

2006

АКСАМЕНТОВ Геннадий Васильевич, поэт (род. в 1945 г. в г. Иркутске). Автор книг стихов: *Поэтические акварели* (Иркутск, 1997); *Прохожий* (Иркутск, 2001); *В ритме шага* (Иркутск, 2005); *Одна жизнь* (Иркутск, 2009) и др. Член Союза писателей России.

Портрет

С.И. Переносенко

Фотограф проецировал мгновенье.
Он обо мне такое что-то знал,
что, кажется, сгорал от нетерпенья
скорей убрать пустой оригинал.

Его он скручивал и выпрямлял, и прятал
то за предмет, то знает Бог куда,
он что-то вызволял своим обрядом,
чему-то не оставил и следа.

И вновь кроил и складывал опять,
но лик как будто избегал экрана,
то плавился, то пролетал, как рябь
над темной гладью океана.

И, наконец, испепелился дух.
И дело сделалось. Фотограф усмирился.
В права вернулись зрение и слух.
Оригинал ушел. И я явился.

2012

* * *

А.И. Обухову

Я вспоминаю «физиков» и «лириков» шестидесятых,
заботой пламенной о будущем объятых,
объединенных и слегка размятых
своею фрондой.

Этот бунт

будил воображение, вселял живую веру
в науку и поэзию — две равноценных меры,
предвестьем новой европейской эры
он увлекал.

Не «как-нибудь»,

а «по серьгам» всем справилось, и отгremели споры.
И каждой буквы лик, и аромат, и чувств её узоры
нам физики в букет срывают на просторах
своих полей.

И их поля,

их торсионные и волновые всплески,
не менее волнительны, чем перелески,
пригорки и луга, тени и блески
в владеньях муз.

Et voila*.

2013

**Вот так, так-то (фр.)*



АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ



Поют полозья по Руси...

РАССКАЗЫ

Санин-Сусанин

Это уж потом, к концу века, заговорили об отчуждении крестьянина от земли, об утрате им чувства хозяина, а в пору нашего послевоенного детства мы таких разговоров не слышали. И хозяйское чувство к артельной земле было у нас отнюдь не ущербным. Не знаю, возможно, в нас ещё жили гены старокрестьянской общины, вытравленные у следующих поколений, но все мы, по крайней мере, знали свои пашни и покосы, свои лога и леса, утиные озёра и клюквенные болота. Знали до считанных шагов, где проходила грань, отделявшая наши угодья от соседских, и ревниво оберегали общее достояние. Не раз выгоняли настырных ребятишек, жителей окрестных сёл из наших боров и березняков, богатых брусникой и смородиной, груздями и рыжиками, предварительно вытряхнув их котелки и корзинки. Случались и потасовки, в которых неизменно одерживали верх хозяева земли, потому как дома и стены помогают. А один из нас, мой приятель Ванька Санин, за твёрдость и находчивость в защите общественного достояния даже получил поощрительное прозвище, которым, наверное, гордится по сию пору, как почётным титулом.

Дело было так. У Ваньки умерла мать, портниха тётя Саня, и они остались вдвоём с отцом Куприяном Костылёвым, человеком безалаберным, несамостоятельным, по общей

ЩЕРБАКОВ Александр Илларионович — потомственной сибиряк, родился в селе Таскино Красноярского края, в старообрядческой крестьянской семье. По образованию — учитель словесности и журналист. Работал учителем, корреспондентом, возглавлял краевое отделение Союза писателей России. Издал более двадцати книг в Красноярске и Москве, в числе прозаических — *«Свет всю ночь»*, *«Деревянный всадник»*, *«Душа мастера»*, поэтических — *«Трубачи весны»*, *«Глубинка»*, *«Хочу домой»*. Печатался во многих журналах России — *«Нашем современнике»*, *«МГ»*, *«Уральском следопыте»*, *«Сибирских огнях»*, *«Сибири»*, *«Дальнем Востоке»* и др. Член СП России. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Красноярске.

оценке. Осиротевшее хозяйство стало разваливаться на глазах, и добрые люди посоветовали Куприяну жениться. Скорый на решения, он не замедлил последовать совету, однако, к удивлению земляков, новую жену нашёл не в своём Таскино, и даже не в соседних сёлах, а привёз, наняв такси за немислимые деньги, аж из города Абакана. Настоящую горожанку, молодящуюся вдову Аделаиду Акимовну, довольно округлую, толстоногую на тонюсеньких каблукках и в яркой шляпе с пластмассовой розой.

Как и где они «снюхались», кто натакал его на эту «Коломбину», осталось секретом для таскинцев, но Куприян, похоже, в выборе не ошибся. Акимовна (так её стали называть в селе, опуская заковыристое имя и одновременно подчёркивая уважительное отношение) быстро вошла во все детали крестьянского двора и дома, даже научилась доить корову, носить на коромысле воду, почти не култыхая вёдрами, и выпекать в русской печи круглые буханки. Люди сразу заметили, какими обихожеными, обытыми-обстиранными стали Куприян и Ванька, как засияли чистотой стёкла и наличники окон, и поняли, что в дом вошла настоящая хозяйка. Всяческие пересуды насчёт Коломбины вскоре прекратились. Неудельный Куприян зажил как у Христа за пазухой — сыт, пьян и нос в табаке.

Правда, не совсем удобным вышло то, что у Акимовны оказалось слишком много родни, но тут уж деваться некуда, ибо сказано: женишься не только на жене, но и на её родне. Хлынули в сельский дом городские сёстры, братья, племянники с детьми и внуками — подышать чистым воздухом, попить парного молочка. Напасть да и только! Однако Куприян вскоре примирился с ними, особенно с братьевыми и племянниками, которые пили не только парное молоко. И притом хозяина не обносили.

Труднее переживал этот наплыв чужих людей Ванька Санин. Парнишка он был замкнутый, чувствительный, рос единственным ребёнком в семье. Саня-покойница любила его «изо всей мочи». И теперь, видя эту нахальную ораву ребятни, шныряющую по чужому двору, огороду, чердакам и сеновалам, эту жующую, пьющую, орущую толпу новоявленных тёток и дядек, Ванька испытывал сложное чувство неприязни к ним, вины перед памятью матери и смутной тоски, смешанной с горечью отчуждения и одиночества. Он сторонился гостей, на их назойливые вопросы отвечал нехотя и односложно, с трудом сдерживая раздражение, и при удобном случае старался убежать из дома, сославшись на какие-нибудь школьные дела.

Акимовна видела и понимала, что происходит в душе подростка. Она была чуткой мачехой и, стараясь завоевать расположение пасынка, проявляла редкое терпение. Со временем Ванька сам заметил, что всё чаще отзывается на её ласку и доброе слово, и уже вслед отцу стал было смиряться с этим ордынским нашествием на их дом, даже раз или два, по просьбе мачехи, сводил гостивших ребятшек на пруд, купался с ними и ладил им удочки на карасей. Но всё же однажды, когда дело коснулось не только его личных переживаний, но были затронуты общественные интересы, он не смог перешагнуть через то ревнивое охранительное чувство к близкому и дорогому миру, к отчей земле, которое сродни патристическому. По крайней мере, так его понимали наши селяне.

Как-то на исходе жарких петровок, ясным утром воскресного дня, к дому Костылевых подвернул широколобый ЗИЛ, кузов которого был до отказа набит весело галдящим народом. Люди сидели на подвесных скамьях рядами, как бобышки на конторских счётах, и едва машина притормозила, посыпались вместе с корзинками, заплечными торбами и гремящими вёдрами на землю, хлынули во двор, стали с преувеличенной радостью обнимать и целовать Акимовну, выбежавшую навстречу, тискать руки Куприяну, тоже вышедшему из дому к гостям. Лишь Ванька Санин не участвовал в этом шумном братании города с деревней. Он стоял в стороне, у собачьей конуры, и старался успокоить Полкана, который метался на короткой цепи и отчаянно лаял, возбуждённый толпой незнакомых людей. Из-за его заливистого лая Ванька почти не слышал, о чём говорили незваные гости, окружившие Акимовну и Куприяна, но всё же из отдельных выкриков он понял, наконец, что это прибыл из Абакана «коллектив гортоповской конторы», в котором когда-то работала Акимовна. Прибыл с намерением «отдохнуть на природе», «подышать чистым воздухом», а заодно и набрать клубники, благо, ею, говорят, богаты здешние косогоры и залежи. Кто-то

предложил перекусить перед выездом на ягодный промысел, и гости, горласто поддержав предложение, повели под руки Акимовну и Куприяна в дом.

Ванька остался у конуры. Присев на корточки, он поглаживал Полкана по ошетиленному загривку, и чем больше успокаивалась после бессмысленной атаки дворняга, тем острее подымалось в Ванькиной душе чувство протеста против налетевших саранчой горожан и их алчных желаний попастьись на чужих ягодниках, пожать там, где не сеяли.

— Ваня, сынок, иди в избу, с тобой поговорить хотят, — позвала сладко-ласковым голосом Акимовна, выйдя на крылечко.

Ванька никак не откликнулся, только склонил голову и стал ещё усердней наглаживать остывающего Полкана.

— Не дичись, люди все свои, твоего совета просят, — пропела Акимовна, явно переложив сахару в переливчатый зов.

Ваньке стало противно от её елейного голоса. Он едва сдержался, чтобы не ответить грубостью, и промычал что-то невнятное:

— Полкана держу... Потом...

Акимовна ни с чем вернулась в избу.

Но вскоре текучая толпа, ещё более возбуждённая и шумная, вывалила во двор и направилась к Ваньке, наперебой расхваливая его собаку. Полкан не стал больше рвать глотку, он только молча огрызнулся и юркнул в конуру. Ванька прикрыл лаз деревянным ушатом, стоявшим у хлева.

— Парень, а парень! — обратился к нему красномордый толстяк, явный любитель «перекусить» с утра. — Ты здешний, места знаешь, показал бы нам, дал бы, так сказать, направление... — А потом, жирно икнув, добавил: — Садись-ка в кабину!

— Да ещё рано по ягоды, там слепушки одни, — пробурчал Ванька.

Он не сразу осознал всю мерзость предложения, с которым обращаются к нему, а когда понял, у него перехватило дыхание. Вон оно что! Мало обшарить ягодники в чужих угодьях, так ещё подайте лучшие места. И это он, Ванька Санин, должен как последний хриstopродавец повести городских бездельников заповедными тропами на самые ясные клубничные поляны и по-лакейски пригласить к грабежу артельных богатств... Да за кого они его принимают?!

— Ничего, что впрозелень, через ягодку поберут, слаще клубничка покажется, — стараясь сгладить неловкость, прощепетала Акимовна с неуместной игривостью. — Люди уж несут вёдрами. Сама видела. Бабка Звяжиха говорит: «На сушку пойдеть».

— Не знаю я никаких ягод, — упёрся Ванька.

— Ну, чо кочевряжишься: знаю — не знаю, — встрял Куприян. — Отведи вон за Татарскую гору, к избушке седьмой бригады, там ягодных косогоров этих — до самого русла Тубы.

— К Тубе, к Тубе, — подхватили его слова две молодые женщины в одинаковых козынках горошком. — Какая ж клубничка без купанья? Ха-ха-ха! «Мы едем, едем, едем в далёкие края...» — запели они, пританцовывая перед Ванькой, а потом взяли его «под самоварчик» и почти волоком потащили к машине.

Они попытались затолкнуть его в кабину, где кроме шофёра сидела худая, как вешалка, старуха. Она тоже было простёрла к нему руки, чтобы усадить рядом, но Ванька, коснувшись её острых деревянных колен, с ужасом отпрянул и завопил:

— Не-ет, я на крыле!

— Ну, на крыле, так на крыле, — сказал сквозь зубы шофёр, которому, видно, надоела уже вся эта кутерьма. — Только держись крепче, парень. По коням!

Ягодники быстро полезли в кузов, подталкивая под зады друг друга, смеясь и улюлюкая. Кабина захлопнулась. Ванька встал на подножку со стороны бабки Вешалки, одной рукой ухватился за окно (стекло было опущено), другой — за борт. Шофёр включил скорость, машина тронулась и взяла направление к Татарской горе. Ванька старался не глядеть по сторонам, чтобы не встретиться взглядом с кем-нибудь из прохожих. Ему было совестно, что он не устоял, поддался на уговоры и согласился на постыдную роль проводника этих праздных, бесцеремонных людей во владениях своих односельчан, вечных тружеников, которым в страдную пору не до клубники.

Пассажиры наперебой кричали и пели, обрывая одну песню и начиная другую, с показным страхом ухали на рытвинах и ухабах. Старая Вешалка о чём-то все спрашивала Ваньку, выбрасывая в окно палки костлявых рук, но он молчал, делая вид, что не слышит. Лишь иногда коротко выкрикивал шофёру с едва скрываемой неприязнью: «Давай направо! Левее, левее! Прямо держи!» Пока поднимались на Татарскую гору, он всё казнил себя за малодушие, ища выхода из нелепого положения, а потом у него созрел тайный план, который показался ему спасительным. План был не без коварства и содержал долю риска, но всё же принятое решение успокоило Ваньку, сняло раздражение и словно бы придало сил. Он выпрямил грудь, окинул хозяйским глазом открывшиеся поля, перелески, косогоры и дал команду шофёру:

— Налево! И — в те вон лога, видишь?

Шофёр кивнул и послушно взял влево, съехав с торной дороги на чуть приметный в траве тележный след. Пассажиры примолкли и тоже стали оглядывать открывшиеся просторы.

— А вон река блестит, — захлопала в ладоши одна из женщин в горошковом платке.

— «К Тубе, к Тубе...», — криво усмехнулся Ванька.

После долгих петляний по окраинам полей и березняков ЗИЛ уже без всякой дороги поднялся по елани на косогор, и с вершины его стали видны длинные и ровные, словно гигантские траншеи, лога, перемежёванные крутыми лысыми хребтами.

— Стоп, — поднял руку Ванька. — Вот вам ягодные места. Хоть прямо, хоть налево, хоть направо...

Машина остановилась. Ванька спрыгнул с подножки и торопливо пошёл назад по колёсному следу.

— Эй, парень, ты куда? Давай с нами, — закричал красномордый толстяк, поднявшись в кузове и потрясая опрокинутой корзиной, словно богатырским кулачищем. — Как мы без тебя? Забудимся ещё...

— Ничего, доберётесь! Здесь всё рядом! — крикнул Ванька и поводит рукой по сторонам. — А у меня дела. Домой надо...

И он решительно зашагал в сторону деревни. В сердце его шевельнулось что-то вроде сочувствия к городским гостям. Ему представилось, как будут они, бедолаги, весь день под палящим солнцем кружить по пустынным логам, которые таскинцы называют Каменными, а ещё — Волчьими. И в них, и в косогорах над ними действительно ничего не водится, кроме щебнистого камня, выступающего из-под скудной растительности, да ещё волков, которые почему-то любят здесь устраивать свои логова и волчьи свадьбы. Люди сюда забредают лишь изредка, поздней осенью, когда на скатах косогоров вызревает шелковистый седоватый ковыль, идущий на изготовление щеток для побелки деревенских изб. Но и на эту поживу решается далеко не всякий, боясь дурной славы волчьих логов.

Ванька знал обо всём этом и потому был момент, когда сердце его защемило жалостью к обманутым незадачливым ягодникам, особенно к тем смешливым женщинам в платочках горошком, но он тотчас вспомнил, с какой наглой уверенностью красномордый мужик предложил ему роль поводыря-шпиона, и поднявшаяся в душе неприязнь к городским шалопаям, охочим до чужих угодий, перехлестнула сочувствие.

И всё же вечером, когда машина снова подрулила к воротам костылёвского дома и пассажиры, уже без прежнего возбуждения, но довольно проворно и шумно покинув кузов, опять двинулись к Акимовне «перекусить на дорожку», Ванька с чувством вины убежал из дому и спрятался в огороде. Сквозь щель заплота он видел, как при прощании повторились утренние лобызания гостей с Акимовной, рукопожатия с отцом и похлопывания его по плечу. Только Полкан теперь не лез из кожи, захлёбываясь лаем, а просто лежал у конуры и побрекивал изредка с явной ленцией и беззлобностью. Из обрывков разговора Ванька понял, что гости всё же набрали немного ягод.

— В тех логах — шаром покати, но мы же народ битый, нас на кривой кобыле не объедешь, мы по полянам к Тубе, к Тубе и — набрали на небраную клубничку! — хрипловато кричал толстый мужик, прожаренный на солнце и ещё более красномордый, чем утром.

Это известие принесло Ваньке некоторое удовлетворение. Во-первых, выходило, что городские паслись за таскинской гранью, на муринской земле, а во-вторых, они всё-таки возвратились не с пустыми руками, и это смягчало невольные угрызения совести.

Когда гости уехали, Ванька вернулся в дом и сел за книжку. Акимовна ничего не сказала ему. А Куприян только покачал головой и обронил не то в поощрение, не то в осуждение:

— Ну и Сусанин ты, мать твою за ногу...

Не знаю, с чьей лёгкой руки, может, с его же, Куприяна, рассказавшего кому-нибудь о проделке сына, но вскоре вся деревня стала называть Ваньку Санин-Сусанин. Притом, с явно сочувственным отношением к его «подвигу». С одобрением и мы, ребяташки, восприняли Ванькин находчивый поступок, а его прозвищу втайне завидовали. Как ни говори, оно несло на себе отсвет геройства, проявленного при защите родной земли.

...Даже и теперь, видя, как прут несметные орды городских жителей поездками и машинами на наши давно вытоптанные клубничники и черничники, как буровят сотни моторок наши обезрыбевшие реки Тубу и Амыл, как разбойно оглушают пальбой поредевшие леса охотники-«любители», как крушат кедровники необузданные шишкари, я с тоской вспоминаю Ваньку Санина-Сусанина. Видно, нет у него достойных последователей — ревнивых хозяев, радетелей и защитников отчего края, крестьянского мира. Колхозная община ушла в прошлое, но рассеялся и миф о рачительном частнике — владельце земли и вольном хлебопашце...

Перчатки смерти

Коллега мой Володя Дроздов, покойничек уже, Царствие ему Небесное, любил по-рыбачить. И выпить любил, грешный. Живя у речного порта, на набережной, он бывало уживал в Енисее буквально под окнами своего дома. И не без успеха. Но всё же его излюбленное место лова было под Студгородком, которое он называл «за огородами». Оно и впрямь располагалось за огородами деревянной Николаевки, старинной городской окраины, где жили Володины родители.

Вот сюда-то, «за огороды», он и позвал меня однажды, соблазнив оздоровительной прогулкой по берегу Енисея, рыбалкой со спиннингом и бутылочкой «на природе». Дело было в конце апреля или в начале мая. Денёк стоял серый, с редкими просветами, с холодным ветром, то и дело посыпавшим жёсткой снежной крупкой.

Мы поехали на автобусе, потом прошли Николаевку, огороды и спустились по крутым склонам к Енисею. Сбросив заплечный мешок, Володя немедленно стал настраивать снасть. У него был спиннинг с блесной и ещё пятиколенное удилище с «балдой» — самодельным красно-белым поплавком из пенопласта, и целой низкой крючков, «наживлённых» цветной изоляцией под мотыля. У меня же ничего не было. Володя предложил мне покидать блесну, но я отказался, ибо заранее настроил себя на роль созерцателя, прибывшего к реке отдохнуть и размяться.

Правда, день был явно не прогулочный. По речной долине с верховий, как из трубы, тянуло пронизывающим ветром. От одного вида свинцовой воды с белесыми барашками становилось зябко и неудобно. Но я всё же прошёлся вдоль берега по жухлой и набрякшей, как мочалка, траве, по мокрому песку, постоял на серых валунах, облизываемых волнами, покурил, пряча папиросу в рукаве от пружинистых накатов ветродуя. Штормовка чёртовой кожи шуршала на мне, точно жестяная. Берег был почти пуст, только вдали маячила на стрежне резиновая лодка да выше нас у бона сидел, не двигаясь, рыбак в зимней шапке.

Изрядно продрогнув на сквозном ветрогоне, я вернулся к приятелю. Он уже всю орудовал своим удилищем, то разматывая лесу так, что красно-белый поплавок едва виднелся среди прыгавших волн, то снова закручивал её на катушку и подтягивал «балду» с гроздьё крючков к самому берегу. С каждым закидом он уходил ниже и ниже по реке, но поклёвок всё не было. И лишь когда уже почти скрылся за поворотом, за ивняковым мыском, вдруг закричал:

— Есть! Тащи рюкзак!

Я подхватил за ремни рюкзак, спиннинг и побежал к нему, огибая прибрежные камни, перепрыгивая через колодины. Володя ещё издали замахал мне увесистой рыбиной, зажатой в руке:

— Хариус! Значит, начинается ход. Смотри, какой красавец! Не грех бы обмыть.

Когда я подбежал, он передал мне улов, засунутый в целлофановый мешок, а сам стал сматывать удочку. Я полюбовался тугим черноспинным хариусом, пружинисто извивавшимся в прозрачном мешочке, и положил его на траву подальше от берега. Мы сели на сухую коряжину. Володя победоносным жестом вынул из рюкзака бутылочку горькой, кусок сала, луковицу, хлеб и две алюминиевые кружки. Мы выпили, закусили под оживлённый рассказ о рыбацкой удаче. Дрожь прошла. Стало заметно теплее. Очень кстати выглянуло солнышко из-за бегучих лохматых туч, и порывы ветра вроде сразу стали реже и слабее. Заиграли белки на высокогорье противоположного берега — в вершинных лесах ещё лежал снег. За островом промчалась ранняя ракета, по-тараканьи поднявшись над водой.

— Давай-ка сходим к тому рыбаку, к бону, там место клёвое, может, ещё повезёт, — предложил возбуждённый вином и уловом Володя.

Он взял снасть, я подхватил рюкзак, и мы пошли к бону.

Мужичок-рыбак, в фуфайке и шапке, увидев нас, закрепил удилище между брёвнами, поднялся нам навстречу и призывно замахал рукой:

— Рыбак рыбака видит издалека!

— О-о, да это знакомый мушкарь, — воскликнул радостно Володя. — Привет, Максимыч! Ну, как улов?

— А у вас?

— Да у нас кое-что есть, — похлопал Володя по моему рюкзаку. — Харюзина. Вот такое полено!

— А я вон налима поймал... на три аршина, — приглушённо сказал Максимыч, кивнув в сторону бона.

И только теперь мы увидели такое, от чего разом обомлели и смолкли. На мокрых коричневых брёвнах бонного ограждения, заплёскиваемых волнами, лежал труп, похожий на те же бревна, и потому плохо различимый на них: в коричневой куртке с облезлым воротником, в грязно-серых шароварах, в грубых «горных» ботинках, с расплывшимся, каким-то кирпично-синим, точно обожжённым лицом. Прямые жидкие волосы утопленника слегка шевелились на ветру.

Максимыч некоторое время молчал, словно бы давая нам возможность «налюбоваться» на свой «улов», а потом тем же приглушённым и как бы испуганным голосом, каким говорят при покойниках, кратко пояснил:

— Сам попался. Прибило его к бону, зацепился воротом за проволоку, за перевязь эту, и повис как на крючке. Я вытянул его на бревна, сбегал на гору, позвонил в милицию, сказали: приедем, жди. И вот жду...

Володя слушал его как-то вполуха, рассеянно, а сам всё смотрел на утопленника. Потом вдруг сказал тоже приглушённо, почти шёпотом:

— Может,хватишь косушку?

— Да я бы не против, если поднесёте. Передрог весь, и на душе как-то неловко. Пробовал кидать удочку, да какая тут ловля?

Развязав рюкзак, я налил Максимычу полкружки, подал бутерброд с салом, он махом выпил, крикнул, передёрнул плечами, стал закусывать.

— А ты знаешь, он мне кого-то напоминает, — сказал Володя. — Вроде как знакомое что-то...

— Вот именно, «что-то». Поди узнай, там уж ни кожи ни рожи, чурка с глазами... то есть без глаз, прости Господи...

— Чш-ш, разве можно так о покойнике! — прошептал я с нескрываемым суеверным страхом и осуждением.

— Ничего, не обидится. Чую, наш брат, рыбачок. Летел, небось, сломя голову, да ещё с подогревом, — и вывалился из лодки. Знакомая история.

— Это сколько же он прокупался в Енисее?

— Кто его знает? Судя по черноте, с месяц, наверно, болтало беднягу. Давно уж в розыск подали, говорят, а он взял да сам вынырнул.

Сжевав бутерброд, Максимыч удовлетворённо пошмыгал толстым носом, потёр ладони, сделал несколько боксёрских движений и потряс плечами:

— Ну вот, полегчало на душе, потеплело. А то уж я совсем задубел в такой компании.

— Прости, коллега, а не было желания, чтоб он сорвался с крючка и дальше поплыл своей дорогой?

Максимыч помолчал, потёр шею, потом глубоко вздохнул и сказал:

— Так-то оно так, возможно, не мне первому он на глаза попался, да ведь кому-то надо было и вытащить бедолагу, по-людски земле предать, чтоб душа успокоилась. Знаете, что мне подумалось? «А сам-то я кто? Рыбак-фанат и за воротник плеснуть не промах. Другой раз по ниточке хожу. Не ровен час — придётся хлебнуть ледяной волны. И будешь вот так же болтаться, как навоз в проруби, и каждый будет норовить от берега тебя отпихнуть, чтоб себе жизнь не усложнять. Нет, думаю, не по-русски это, не по-христиански...» И давай его удилицем поближе к бону подгребать, чтоб удобней поймать за шиворот. А он тяжёлый, остамелый, вроде как не хотел из воды вылезать, упирался.

На косогоре показался длинный белый автомобиль, похожий на «скорую». Развернувшись на тропинке, ведущей вниз, он остановился. Из кабины вышел мужчина в светло-сером плаще, в шляпе и женщина в чёрном пальто и берете.

— Это, пожалуй, к нам. Наконец-то!

Спустившись по тропинке, молодой мужчина сухо и деловито представился судмедэкспертом Гавриловым, но, взглянув на Володю, дружелюбно улыбнулся:

— А мы, кажется, знакомы?

— Да, встречались на дне рождения у одной дамы.

— Помню, помню, как спорили насчет экзистенциалиста Сартра... Но сегодня, как видите, тема у нас более земная и прозаичная, хотя и не без философского оттенка, — Гаврилов кивнул на утопленника.

Женщина в берете, сошедшая к реке чуть попозже, только скромно кивнула нам, присела на сухую чурку, валявшуюся на берегу, и вынула из сумки общую тетрадь в синей обложке.

— Готовы, Галина Ивановна? — обратился к ней Гаврилов и, когда она снова молча кивнула, представил ее нам: — Мой ассистент. Ну, что ж, приступим.

Судмедэксперт решительно шагнул к утопленнику, взял его под мышки, поманил пальцем Максимыча, прося подмочь, и они вдвоём сволокли труп с бона и положили на галечную тропу вверх лицом. Максимыч помыл руки в реке и отошёл в сторону. А Гаврилов, присев на корточки над утопленником, деловито продиктовал:

— Труп выловлен в Енисее. Прибит течением к оградительному бревенчатому бону чуть ниже Студенческого городка.

Молчаливая ассистентка мотнула головой и стала быстро записывать за своим шефом.

— Мужчина лет тридцати-сорока, тёмноволосый, черты лица значительно стёрты, малоразличимы. Рост около 180 сантиметров. Коричневая болоневая куртка, чёрный свитер, брюки тёмно-серые, ботинки спортивные, с высокой шнуровкой и крупным протектором... — помедлив минуту точно в раздумье, судмедэксперт вдруг проворно запустил руку в один, другой карман покойника и, вынув содержимое, тем же бесстрастно-строгим тоном продолжил: — В правом кармане куртки обнаружен носовой платок, размокший коробок спичек, ключ гаечный десять на двенадцать; в левом — следы от сигарет, кусок изоленты, мелкие принадлежности рыболовной снасти: три свинцовых грузила, кембрики, синие и винно-красные, воткнутые в поролоновую подушку семь на десять сантиметров...

Мы молча стояли в стороне, не без любопытства слушая чёткое и ясное, почти художественное описание утопленника и его вещей. Эксперт, видимо, оценил наше неподдельное внимание к своей работе, в его бесстрастном голосе стали прорываться почти горделивые нотки. Он явно демонстрировал профессионализм, работал на публику.

— Левый карман брюк пуст, в правом — моток лески, клочок наждачной бумаги, нож складной, металлический, с двумя лезвиями и штопором; в заднем...

Здесь Гаврилов сделал некоторую паузу, расстегнул пуговицу на отдувшемся заднем кармане брюк и почти торжественно вынул пол-литровую бутылку, наполненную прозрачной жидкостью и заткнутую высокой тёмной пробкой. Он выдернул пробку, понюхал жидкость, потом капнул на палец, лизнул языком, снова заткнул бутылку и, поставив на песок среди прочих вещественных доказательств, продолжил:

— В заднем справа — пол-литровая бутылка зелёного стекла с бесцветной жидкостью жгучего вкуса, со спиртом этиловым C_2H_5OH , полная, под нестандартной пробкой, резиновой, чёрной... Теперь определим примерный срок пребывания трупа в воде, точнее, степень разложения его, — сказал Гаврилов не то для нас, не то для ассистентки и после недолгого размышления лаконично продиктовал: — Пишите: руки прачки.

Мы тотчас бросили взгляды на синюшно-бледные кисти рук несчастного утопленника со сморщенной, облупленной кожей, на пальцы без ногтей, с рваными волокнами мяса, обнажившими белые косточки, и не успели подивиться выразительной точности определения эксперта, как он решительно сказал:

— Нет, зачеркните. Перчатки смерти!

Эти слова прошли меня насквозь, точно электрическим током. Я даже вздрогнул невольно, отвернулся от мертвеца и сделал несколько шагов в сторону, чтобы подавить подступающую тошноту. Володя последовал за мной. Натянута улыбка сошла с его широконогого лица, разом посуровевшего и побледневшего. Я пошёл по песку возле кромки воды. Володя тянулся сзади. Максимыч тоже было побрёл за нами, но эксперт со строгой вежливостью сказал ему:

— Вы оставайтесь. В качестве свидетеля.

Отойдя на полсотни шагов, мы закурили. Володя, видимо, желая поделиться впечатлением, пробурчал что-то невнятное: во, мол, даёт служба — «перчатки смерти»! — но я, подавленный увиденным и услышанным, не поддержал разговора, и он замолчал тоже.

Солнце скрылось за очередной набежавшей тучкой, прозрачная синева гор на противоположном берегу мигом потемнела, скалы насупились, вода в Енисее приняла чёрно-сизый, даже фиолетовый оттенок, и, кажется, тотчас усилился ветер, холодный и промозглый.

Гаврилов продолжал сидеть на корточках над утопленником. Максимыч, отвернувшись от ветра, стоял рядом. Ассистентка, не отрываясь от тетради, писала под диктовку шефа.

Вдруг на косогоре появился милицейский «воронок», резко развернулся прямо на крутизне и стал впереди белого автомобиля. Из кабины выскочил милиционер, открыл тёмно-синюю будку, и из неё, словно бы нехотя, вылезли друг за дружкой четверо мужиков, одетых довольно пёстро — в рабочую спецовку, в модную куртку, в пальто. Один держал в руках плаху, другой — моток толстой верёвки. Вместе с милиционером они шажком спустились до ивовых кустов, потом сбежали к бону.

Когда мы, бросив окурки, подошли к ним, они уже успели привязать утопленника к доске и за концы верёвки быстро потянули его к «воронку» волоком. Плаха прыгала по кочкам, по ухабам, и утопленник, прыгая вместе с нею, чудом держался на ней, накрениваясь то влево, то вправо. Милиционер шёл следом за ними.

— Это «пятнадцатисуточки», — сказал Гаврилов. — Незавидная работёнка выпала ребятам, но деваться некуда, приказы гражданина начальника не обсуждаются.

Ассистентка в чёрном берете всё так же молча уложила тетрадь и ручку в свою сумку и, ёжась от холода, потихоньку побрела в гору. Гаврилов тоже спешно собрал скромные вещдоки в целлофановый мешок, затем завернул в чёрную бумагу и сунул в портфель. На песке осталась только бутылка со спиртом.

— Это можете взять себе, — кивнул он Максимычу. — Продукт чистый, медицинский, без вредных примесей.

— Да неудобно как-то... Разве что наружно, для растирания от ревматизма, — неуверенно сказал Максимыч, смущённый неожиданным презентом.

— Ничего, можно и внутренне, качество гарантирую. Ну, бывайте здоровы, мужики! Спасибо за помощь, хорошего вам клёва, только не ловите больше подобных особей.

Гаврилов вымыл руки в енисейской воде, притом с дегтярным мылом, и вытер их вафельным полотенцем, также оказавшимся в объёмистом портфеле, который как бы дышал своими боками при открывании и закрывании, потом подхватил его и быстро зашагал в гору вслед за своей безязыкой ассистенткой.

Максими́ч почесал седоватый висок, взял бутылку, поболтал её в Енисее, обтёр полой фуфайки и сунул во внутренний карман.

— Нехай будет так. Авось, пригодится для целебных снадобий.

На вершине крутосклона, где проходила дорога, на минуту ещё раз показались из-за бугра тёмно-синий «воронок», за ним белая «скорая» — и скрылись. Максими́ч проводил их взглядом, затем смотал свою снасть, ловко сдвинул в батожок длинное телескопическое удилице, запихал его в брезентовый чехол и бодро предложил:

— А что, мужики, не пройти ли ко мне да не принять ли по махонькой после всей канители? Я тут недалеко живу. Жена сейчас на работе.

— Медицинского «без примесей»?

Володя старался скрасить невольно вырвавшийся вопрос иронией, но всё же голос его прозвучал испуганно.

— Да зачем? Мы непривычны на чужбинку, у нас своя водится. Самоделочка, но как слеза.

— Слеза, говоришь? Ну, тогда веди. С холода — не помешает. Уж так и быть, жертвую улов на закуску.

И мы поплелись в косогор по той же тропе, где только что законопослушные арестанты протащили вперёд ногами заколоченного утопленника на подпрыгивающей плахе.

Максими́ч жил действительно недалеко, в одном из стандартных панельных домов, в стандартной двухкомнатной квартире. Он оказался не только гостеприимным хозяином, но и проворным, изобретательным кулинаром. Не успели мы с Володей рассмотреть предложенные нам для ознакомления наборы крючков и кембриков, как на столе появились солёные грибки и помидорчики, глазунья с колбасой, разваристая картошка с восходящим к потолку паром, а следом и скворчащие на сковородке куски свежего хариуса.

— Неужто из моего такая гора?

— Чуток своих добавил, вчерашнего улова. Я ведь в отпуске, нет-нет да сбегая под гору к реке, как в магазин.

«Самоделочку» Максими́ч представил не в бутылке, а в двухлитровой банке и, прежде чем разлить по стаканам, показал нам банку на свет — «продукт» действительно был прозрачен, как стёклышко.

— И не сахарная, а хлебная. Теперь это редкость, особенно в городе. Я на мелькомбинате работаю, дак приспособился из пророщенной пшенички. На два прогона, с водяной баней. Сивушного духу — нисколько, чуть только хлебом отдаёт, свежeweыпеченным. Могу списать рецепт.

— Прости, Максими́ч, это не по нашей части. Дегустация — другое дело.

Продегустировав родниковой чистоты жидкость раз и два, мы живо разговорились. Беседа шла в основном вокруг рыбалки и «улова» Максими́ча, принесшего столько хлопот и ему, и милиции, и судмедэксперту, и бедолагам-«пятнадцатисуточникам». И каждый раз, когда Максими́ч повторял подробности происшествия, вновь и вновь анализируя свои действия и чувства в чрезвычайной ситуации, Володя как бы вскользь ронял замечание:

— И всё-таки он мне кого-то напоминает...

Как ни заманчива была заложенная в банке перспектива приятного общения в тёплой рыбацкой компании, но мы не стали исчерпывать её до дна. Расправившись с грибами и хариусами, мы поднялись, стоя приняли «на посошок», обнялись с добрым хозяином и покинули гостеприимный дом.

На дворе было уже сумеречно. В окнах домов загорались огни. Вдоль улицы сияли цепочки фонарей и мелькали машины с включёнными фарами. Володя предложил дойти пешком до Николаевки, до улицы своего детства.

— Мне надо заглянуть к знакомым, — сказал он.

Мы прошли несколько остановок по магистральной улице, продолжая оживлённо беседовать, потом свернули на узкую старую улочку, состоявшую из тёмных бревенчатых домов. Во многих домах уже закрыли ставни, фонари на столбах здесь были редкими и горели тускло, подслеповато, так что нам пришлось не однажды споткнуться и чертыхнуться на избитой дороге. Наконец возле одного невысокого дома, словно бы выросшего в землю, Володя остановился, снял с плеча и передал мне рюкзак и попросил меня с минуту подождать.

Когда он шагнул к дощатым воротам, во дворе загремела цепь, залаяла собака, но калитка оказалась незапертой, и Володя, повернув кольцо, открыл её и заглянул в ограду. Я тоже подошёл к воротам и увидел в проёме крылечко с поручнями и светящееся окно над ним. Оно было занавешено, однако в клинышке между шторами виднелись мелькающие лица и руки. А когда собака на минуту перестала брехать, послышались музыка и обрывки разгорячённых голосов.

— Похоже, и здесь пируют. Мы с тобой из огня да в полымя, — сказал Володя.

Собака была привязана, но доставала почти до крыльца, и он не рискнул войти во двор. Подождал, когда в очередной раз оборвётся приступ заливистого лая, и стал кричать:

— Алё! Кто там живой? Зина дома?

Вскоре скрипнула дверь, и не то на собачий лай, не то на Володин зов на крылечко выскочила довольно молодая женщина в одном платье кремового цвета и с непокрытой головой, увенчанной высокой причёской. На шее тускловаты сияли в несколько низок крупные, как поплавки, бусы, в ушах покачивались громоздкие серёжки. Она встала на верхнюю ступеньку, оперлась на перила и, поёжившись от холода, спросила:

— Кто там? Чего вам нужно?

— Зина, это я.

— Дрозд, что ли? Откуда тебя занесло, какими судьбами? Слыхала — писака, в центральной газете шарить? Давай, проходи до кучи, у меня гости.

— Да спасибо, мы только из гостей. Я по делу. Где у тебя Мишка?

— Э-э, хватился. Я уж и думать про него забыла. Где-то закатился по ранней весне на рыбалку — и след простыл. В розыски подавала, но ни слуху ни духу. Да чего тебе Мишка-то дался? Заходи, выпьем, побалаболим.

— Погоди, погоди, мы, кажись, напали на след. Тут один знакомый рыбак за огородами у бона... Я видел... Вроде на Михаила смахивает...

— Выловил, что ли?

— Ну да, прибило к бону, он вытащил. Медэксперт приезжал, милиция... Увезли в морг.

— Тьфу, пропади ты пропадом, не мог оттолкнуть от берега! На хрена мне твой Мишка сдался, прости меня, грешную, я уж нового жениха нашла. Вон за столом с друзьями сидит, пройди — познакомлю.

Володя, видимо, опешил от такого оборота дела и не сразу нашёл, что ответить.

— Да ведь человек же, надо бы по-людски предать земле, — произнёс он после напряженной паузы, явно «цитируя» Максимыча.

— Вот и предавайте, раз выволокли, — сердито фыркнула Зина. — Это сколь ты мне мороки принёс? Сейчас пойду по моргам, по милициям, по судам — как же! Держи карман шире! Ведь уже всё было улажено, все сроки прошли, за давностью события... и концы в воду. Списан. А ты слюни распустил: «по-людски», «по-человечески»...

Собака, примолкшая было с выходом хозяйки, теперь почему-то снова залилась нервическим лаем, и последних слов Зины мы не расслышали. А когда лай прекратился и наступила тишина, Зина с нескрываемой злобой бросила:

— Ну вот что, дружок, ты меня не видел, и я тебя не знаю, и ни о каких Мишках слухом не слыхивала, понял? Мало ли жмуриков в Енисее болтается!

Выпалив это, женщина круто повернулась, так что серьги её заходили качелями, и хлопнула дверью. Собака снова залаяла, заметалась на цепи, стараясь прорваться к незваному гостю, и Володе ничего не осталось, как ретироваться и тоже захлопнуть ворота.

— В древности гонцов с плохой вестью просто убивали, — попытался я сгладить остроту ситуации неуместной шуткой.

— Такая и убить может, духу хватит, — буркнул обескураженный Володя.

— Кто она тебе?

— Зинка? Да никто, бывшая одноклассница. С детства знаю, вместе учились. Вроде ничего девчонка была, в активистках ходила. После школы в пединститут поступила, потом бросила, по торговле пошла, по буфетам разным. Но когда озвереть успела — ума не приложу.

— А Мишка?

— Это её муж. Экспедитором в орсе работал, завскладом. Я его близко не знал. Мельком видел тут, в Николаевке. Нормальный как будто мужик, шустрый такой, оборотистый. Говорили, выпить не дурак. Рыбачил, лодку с мотором держал... Ну, да что мы стоим? Дай-ка рюкзак, я, пожалуй, к своим старикам найду, попроведаю, у них и переночую. А ты иди на остановку, вот здесь, за углом, на магистральной.

Володя закинул рюкзак за плечо и подал мне руку:

— Пока! Не обессудь за такой финал. Перчатки смерти, брат, перчатки смерти...

Постукивая удилищем, как батожком, он пошагал наискосок через дорогу, а я поплёлся вдоль улочки к автобусной остановке. Проходя под Зинкиными окнами, я невольно прислушался. Сквозь закрытые ставни не было слышно ни музыки, ни разговоров, а только время от времени прорывался, словно из-под земли, хриплый, с надрывами мужской голос, долдоня с методичностью испорченной пластинки слова фальшиво детской песенки: «То ли ещё будет, то ли ещё будет, то ли ещё будет, ой-ёй-ёй... То ли еще будэт, то ли еще будэт...»

«Перестройка» на Руси лишь начиналась.

Поют полозья по Руси

Когда тяга хороша

Что может быть прекраснее зимней поездки в деревню! Особенно в ту, единственную, дорожке которой и на свете нет...

Мороз был крепок и сух. С востока тянул обжигающий хиус, так что приходилось отворачивать лицо и прикрывать рукавицей. На тыльной стороне её сразу выступал иней, тонкий, как пудра.

Прибыл в Таскино в два часа пополудни. Вышел из автобуса, невольно зажмурился — так ярок снег. Тысячами колких блёсток сиял Берестов проулок, завьюженный до верхних прясел изгороди, низкое солнце било сквозь тын прямо в глаза.

Морозы морозам рознь. Декабрьские — с туманами, плотными, промозглыми. Февральские пронизаны ветрами, снежными круговертями. Январские же морозы светлы, бодры, хотя и жёстки, безветренны, хотя и опаляют хиуском.

Тесовые ворота с кольцом открыл осторожно, почти беззвучно, чтобы не услышала собака. Она и вправду не услышала бы, пригревшись в конуре, набитой соломой. Но выдал иссера-жёлтый щенок. Он выкатился из-под крылечка и с визгливым лаем, выражавшим скорее восторг, чем возмущение, бросился в ноги. Тогда загремела цепью большая чёрная, с бурым подшерстком собака, заметалась, бухая хриплым и густым лаем. Но цепь была слишком коротка, а гость проворен...

В сенях я отдышался, обстоятельно обрабатывая голичком заснеженные валенки. Отсюда заметил, что мною заинтересовалась сорока, присевшая на кол возле бани. Она поводила хвостом, точно флюгером, и всё наклоняла глянцевитую голову то влево, то вправо. Однако стоило мне выпрямиться, сорока стрекотнула коротко и только махнула на прощанье своим плоским хвостом.

Изба была пуста. Я присёл к печке, снял рукавицы и прислонил ладони к тёплым кирпичам. Озябшие пальцы сладко заныли, покраснелись. Оглядевшись, я увидел, что тётка Липистина тихо спит на печи, прикрыв лицо лёгким платком. Так делают на сенокосе женщины после обеда, прикорнув прямо на траве под ближайшим кустом.

На цыпочках прошёл я во вторую половину избы. Разделся. Расстегнул портфель и разложил по столу свои бумаги, ручку, чернила. Мне так давно мечталось поработать здесь, в

окружении вот этих кадушек с фикусами, «туями» и «алоями», что захотелось сесть за стол сейчас же, немедленно, с дороги, с мороза, хотя я и понимал прекрасно, что невозможно войти в работу так вот сразу, что мне придётся ещё долго мучиться, думать, настраиваться.

В это время скрипнула стремянка, приставленная к печи, и по ней спустилась на пол тётка Липистина.

— Ты уже здесь? — всплеснула она руками. — А я только видела во сне, будто была нашу Нинку маленькую. Она будто бежит по двору босиком, по холоду-то, а я поймала её за косички и давай мутузить. Потом проснулась, думаю, гость какой-то должен приехать. Когда бьёшь во сне — это уж точно к гостю. А что проснулась? Щи мои, слышу, закипели...

— А пёс лаял — не слышали? — рассмеялся я.

— Это забота не моя. Хозяин — Егор, Султан — его сторож.

Вечером я попросил, чтобы мне разрешили самому топить печь в моей комнате. Здесь стоит плита. «С тремя колодцами», — сказала о ней тётка Липистина. Это значит, что дым, горячий поток, в обогревателе делает всего три зигзага и вылетает в трубу, ещё толком не отдав своего тепла. Печь тонка, в один кирпич, и накаляется быстро, зато скоро и остывает.

Главное достоинство печи — тяга. Уж тяга так тяга, шапку бросай — вынесет.

Я выскочил на мороз, накинув фуфайку дяди Егора, набрал из поленицы дров и грохнул берема на пол перед поддувалом. С полена, гладкого, без сучка, без задоринки, специально хранимого за печью для этой цели, нащепал лучины огромным косарём с выщербленной деревянной ручкой. Щепка под ним шла ровная, хоть линейки из неё делай. Через колено с хрустом переломил пучок лучины, подложил лоскуток бересты, потом дров — снизу сухих, сверху сырых. Затем открыл выюшку на две ладони, больше не нужно. В мороз и так тяга хороша.

Наконец поднёс спичку к бересте. Она куражливо заизвивалась, но огонь приняла, передала по тонкой кромке на другой конец, а потом скрутилась в рулончик и запылала факелом. Тогда загорели и щепки — одна, вторая, третья... Как свечи, которые зажигают в день рождения.

И вот уже гудит весело печь и мечутся оранжевые гребни огня, как будто петухи дерутся.

— Буй-буй-буй-буй, — услышал я эту музыку, ясно на душе стало, светло и спокойно.

«Солнушко» всходит

— Пожар! Пожар! Склады горят! — закричал я, вбегая на кухню.

— Где? Какие склады? — испуганно вскинула глаза тётка Липистина (она мешала пойло в ведре) и стала торопливо вытирать руки о передник. — Уж не у Егора ли в гараже?

Я повёл её, оторопевшую, через комнату к своему окну и молча показал на красное пламя. Оно взметнулось над высокой крышей зерносушилки.

— Где твой пожар-то? — всё не могла взять в толк тётка Липистина.

— Да вот же он!

— Тьфу, будь ты неладный! Напугал меня до смерти. Какой это пожар? Это же солнушко всходит...

Понял я свою оплошность.

Но восход удивительно напоминал пламя, полыхающее над складами, навесами, сушилкой. Белые крыши их вдалеке приходились почти вровень с горизонтом. Возвышалась над ними лишь сетка частого березняка, через которую и проридалось в эту минуту огнисто-красное, невероятно огромное солнце, так схожее с пожаром. Сходство усиливал серый дым над трубой школьной кочегарки. Он, как бы покачиваясь, обволакивал размытое полукружие солнечного диска, и казалось, пламя колеблется.

Но это длилось лишь несколько мгновений. Стоило солнцу вырваться из леса, как сразу чётко обозначился весь его круг, и цвет из воспалённого стал медным, потом золотистым.

...Восход — не первое, что вижу я утрами из своего окна. Много раньше, когда только рассеивается тьма, проступают силуэт сельской школы, очертания высокой трубы с султаном плотного дыма. Труба эта словно бы висит в воздухе, потому что заснеженной крыши под нею пока не видно. Она сливается с белой мглой рассвета.

Потом на сизовой белизне проявляется дерево, его тёмный ствол, бегущие вверх развилины крупных сучьев и, наконец, вся решётка мелких побегов. Уже видны и утонувший по макушку в сугробе штакетник, кусты ранеток в садике со снежными кружевами на ветках и школьная крыша, пологая, как японская шляпа.

Ребятишки у школы появляются, едва взойдёт солнце. Они обивают с валенок снег и проворно взбегают по ступенькам крыльца — мороз поторапливает их. Звонков я не слышу за двойными рамами. Но по тому, как в момент замирает всяческая жизнь вокруг школы, могу точно определить начало урока.

Видна и небольшая часть деревенской улицы. Она, несмотря на лютую стужу, оживает довольно рано. Сначала я вижу цепочку светящихся во мгле окон, потом лиловые трубы дымов над домами, потом людей, торопливо идущих и едущих на конях, притом обычно стоя в санях.

Чуть попозже начинают снова юркие тракторы «Белоруси», стреляя из труб густым молочным дымом, и грузовые машины, погромыхивающие бортами ещё порожних кузовов.

В полдень медленно проплывают мимо окна сенные стога, отбрасывая на дома и заборы ломаную тень.

Сегодня то и дело мелькали в окне заиндевелые тройки лошадей, заложенные в розвальни и кошёвки. Дуги коренников увиты голубыми и розовыми лентами. На шлеях треплются резные ремённые кисти. Под дугами приплясывают и ладно звенят колокольчики.

Особенно хороша одна тройка. Длинноногий гнедой коренник явно гордился своим убранством и музыкой колокольчиков. Красуясь, он вскидывал поверх дуги свою крупную голову. Серые пристяжные по обе стороны его, пружиня постромки, шли на отлёте.

Тройкой правил дружка — Никита Иванович, хозяин сельского водопровода. Он был одет в пёструю собачью дошку и мерлушковую шапку. В кошеве, обнявшись, сидели молодые. Сегодня в селении свадьба. Тракторист Федя Чихирин женился на Грудцыной Наде, воспитательнице детского сада. И вот, отдавая дань старому обычаю, жених с невестой во главе целого свадебного поезда разъезжают по селу, приглашают гостей.

Каждый раз, когда упряжки с гиканьем и звоном пролетают по улице, с дороги спешно поднимается на тополь воробьиная стая. Потом воробьи возвращаются на дорогу, усыпанную сеном трухой и конскими яблоками, в надежде чем-нибудь поживиться.

А синицы, в жёлтых шубках и атласно-чёрных тюбетейках, целый день прыгают в палисаде по кустам. То ли тоже ищут какую-то пищу, то ли просто греются, играют в баши-догоняшки, как ребятишки на большой перемене.

Недолог январский день. Чёткие тени деревьев на сугробе, как стрелки часов, незримо подвигаются и подвигаются по снежному циферблату, пока не погаснет зимнее солнце, окунувшись за деревней в далёкие алые сугробы.

Егорова сторожка

Дед Егор узкоплеч, лицом сух, буйно бородат. Сторожит механические мастерские и гараж. Под его надзором тракторы, комбайны, автомобили и прочая кооперативная техника. Дед исправно несёт свою стариковскую службу, но, в сущности, равнодушен к ней. Я уже говорил, что всю жизнь он был конюхом и наездником. И в мастерские-то пошёл на старости лет единственно потому, что там сторожу положена лошадь. А без лошади Егору свет не мил.

...Сани бежали легко и раскатисто. Дед правил стоя. Я лежал позади на охапке сена, пахнущего осенним травянистым тленом. На крутых поворотах хватался за отводины сани, чтобы не улететь в снег ненароком.

Низенькая карая лошадка Гагара усердно семенила ногами, то и дело подбадриваемая вожжей. Когда вожжа со шлепком прилегала к подёрнутому инеем крупу, на нём оставались чёрные полосы. Впрочем, Гагара и сама, без понуканий, бежала бы охотно. Пока дед пáужинал, она понуро стояла у ворот, продрохла на морозце, и теперь ей хотелось поскорее согреться.

Предвечернее солнце, всё багровея, нависало над горизонтом. И гребешки снежного наста были так ярко розовы под его лучами, что от их ослепительной ряби начинала кружиться голова.

Наконец сани влетели в ворота мастерских, скользом ударились о балясину, так что их даже раскатило полукругом и поставило боком в аккурат к коновязи подле проходной. Жокейские замашки у деда...

Проходная мастерских, она же сторожка, не страдает избытком мебели. Вся её обстановка состоит из лавок вдоль стен да из тяжёлого конторского стола с тумбами, тёмной столешницей в чернильных пятнах и контрастно белого на ней телефона. Треть комнаты занимает печь с продолговатой плитой. Сейчас, в крещенские морозы, она — первая забота сторожа. Несмотря на скудность мебелировки и неуютность, сторожка не бывает безлюдной. И притягивает она механизаторский народ именно печью, щедро источающей тепло.

Егор прежде брал с собою на службу Султана (того самого, который так грозно встретил меня в первый день), но теперь ему Липистина запретила делать это. Без Султана ей дома боязно по ночам. Зайди кто во двор — и голоса подать некому. Дед Егор согласился с её доводами. Тем более что в мастерских и гараже воров всё равно сроду не бывало.

Шесть часов вечера — время, когда в сторожке смена караула.

Вместо деда Прокопия на вахту заступает дед Егор. Церемония передачи поста довольно незатейлива.

— Кобылу напоил? — спросил дед Прокопий.

— Напоил и сена задал, — с достоинством ответил дед Егор и тут же поставил встречный вопрос: — Объекты проверил?

— Так точно, всё в порядке. Бачок водой заправил?

— Заправил. А кто сёдни дежурит в кочегарке?

— Иванашкин. Угля в запасник привезли?

— Привезли, да больно мелкого. Давай-ка затопим печь, что-то холодать стало...

Дед Егор начал выгребать клюкой из печи золу и шлак, а дед Прокопий пошёл за углём. Вскоре весело загудела, затрещала печка. От плиты потянуло теплом. А в сторожке между тем всё теснее становилось от народа. Трактористы, шофёры, электрики, слесари, кочегары, в задымлённых и замасленных фуфайках, прежде чем отправиться с работы домой, считают долгом заглянуть в сторожку. Посидеть, покурить на дорогу, отвести душу неторопливой беседой, узнать деревенские новости.

Новостей много. Но больше всего разговоров вокруг последнего события на грани чуда. Молодой тракторист Ваня Березин выехал ночью, чтоб к утру пораньше добраться, в дальнюю бригаду хозяйства — деревню Таяты, — и заблудился. Думал, за тридевять земель умотал, блуждая, но оказалось, что колесил до рассвета рядом, за поскотиной. Надоело впотьмах кружить среди каких-то березняков, косогоров, решил заглушить трактор. Вздремнул чуток, а утром открыл глаза — и похолодел от ужаса: трактор стоял в трёх шагах от обрыва над речкой.

Все, кто побывал на том месте, говорили со страхом и восхищением одно и то же:

— Вот уж точно счастье! Будто сам ангел-хранитель на ухо шепнул.

— Телепатия называется, — заключил известный книгочей Петька Шанин, худенький шофёр с русыми колечками волос из-под ушанки.

Самого Вани Березина в сторожке не было. Боясь расспросов и насмешек, он миновал проходную, вышел через большие ворота.

В набитой людьми сторожке единственной «белой вороной» среди чёрных мазутных фуфаяк, закопчённых лиц был мельник Андрей Мясников. Шапку, лицо, одежду, валенки — всё у него запорошило мучной пылью.

— Как мололось? — спросил его деловито дед Егор.

— Спасибо, с примолом, — ответил не особенно словоохотливый Андрей.

Домой я возвращался с дедом Прокопием. Пешком. Мороз к ночи стал ещё круче. Иссиня-чёрное небо играло крупными яркими звёздами, какие бывают только в студёные январские ночи. Месяц был так тонок, что света совсем не давал, и дорожку в снегу мы определяли ногами на ощупь.

«Больно рога круты у молодого месяца, это к морозу», — вспомнились мне Липисти-нины слова...

Двор тётки Липистины

Сегодня на восходе того пожара уже не было. Солнце выплывает теперь много левее, восточнее школьной кочегарки, и его не обволакивает дымом, как прежде. День прибыл на целый час. И сколь бы с утра ни злился мороз, ни пускал по логам седые туманы, лучи солнца, сверкая всё веселее, умиряют его, он сдаёт помаленьку.

Когда к обеду заметно пригрело, чёрно-белая корова Тучка вышла из пригона в ограду и встала у больших ворот. Стоит-постаивает, жвачку прожёвывает, глаза чуть прикрыла от колко искрящегося снега. Тёмные тесины ворот быстро нагреваются на солнце, и от них веет теплом.

Тучка стельная. Через месяц у неё теленок будет и молоко. Молока все ждут, но особенно кошка Манька, тоскливо мяукающая по утрам у корытца. И ещё — дед Егор, принципиально не признающий чая. Каждый раз за обедом он повторяет притчу:

— Раньше, бывало, сядешь, расправишь бороду: «Давайка-ка молока, старуха!» А теперь: «Чайку бы пошвыркать, что ли?» — и бороду в горсть.

Тётка Липистина тоже ждёт не дождётся молока, потому что в феврале сын Петро придет из Норильска в гости. Внучку привезёт. Три года всего внучке, и без молока ей нельзя.

У коровы есть тоже дочь Томка. Полуторагодовалая. В мать пёстрая. Живут они вместе. Из одного навильника сено едят, из одного корыта воду пьют. И ночуют в хлеве в одном стойле. Рядом в клетке два подсвинка.

— Тяжело уж мне с двумя управляться, но ведь без лишней животины долго не протянешь на пенсиёшках нынешних, да и свиныхушкам, поди, вдвоём-то веселее, — вздыхает тётка Липистина.

Лохматый Султан до сих пор недолюбливает меня. За что — ума не приложу. Я уж, было, в отместку окрестил его пустолаем, но сегодня услышал одну историю и сразу проникся уважением к нему. Выходит, впрямь не надо судить по первым впечатлениям.

Дед Егор рассказывал:

— Заходит недавно ко мне пастух из Кочергина. Нарочи к нам в Таскино приехал. Продай, говорит, Егор, мне собаку. Всё равно, говорит, ты теперь не пасёшь, зачем она тебе? А если уж надо для забавы, найду взамен не дворнягу какую-нибудь, а настоящую, породистую.

— Поди, правда, отдать? — спрашиваю я Липистину, чтоб, значит, торг потянуть да обмозговать дело хорошенько.

— Ты бы всё отдал! — накинулась она. — А не думаешь того, что такая собака самим нужна? Она, смотри, ни цыпушки, ни курицы не тронет, на крылечко зря не зайдёт, не загавкает попусту и во двор никого лишнего не пустит. Таковую собаку держи — и запоров не надо.

И это истинная правда. Вот лежит Султан другой раз посередь двора, а по нему цыпушки бегают — и хоть бы хны. Не позарится. Дремлет себе, даже глазу не откроет. Как-то внучки, старшего Ивана девчонки, у нас летом гостили. Во дворе играли. Потом гляжу — бегут, кричат Липистине:

— Бабка, бабка, в Султановом домике яйца спрятаны!

А Султан летом не жил в конуре, у амбара под навесом спал. Жарко, значит, ему в закутке-то было.

Пошли мы смотреть — и верно! В конуре, в соломе, курицы гнездо себе устроили и полное с краями яиц нанесли. Старуха мало не полведра набрала. И все свеженькие. И хоть бы одно тронутое. Вот ведь какой деликатный пёс — уступил курам жильё и на плату не претендует.

А этот мужик откуда про Султана узнал? Пас я когда-то овец артельных на кочергинской грани. И он рядом пас по ту сторону границы, значит. Ну, сперва мы издали перекликались. А потом он в гости пришёл. Познакомились. Лежим на траве, курим, беседуем о том о сём. И вот говорит он мне:

— Глянь, овцы-то твои скрылись уж, иди заворачивай.

— Ничего, помощник заворотит. Смотри, сейчас из этого ложка выйдут, — отвечаю. А сам беру комок земли да швырь в сторону ложка. И даже головы не поднял. — Султан, заверни-ка окаянных, — говорю.

Султан сделал стойку, взвизгнул и метнулся в указанном направлении. А через минуту, видим, стадо и вправду из ложка выкатывает. Кучно идёт, прямиком на нас курс держит. Султан их мигом организовал, овец-то. Удивился кочергинский пастух: «Мне бы такую собаку...» — и аж глаза у него загорелись.

А теперь, вишь, прослышал, что я по старости лет пасти бросил, и тут как тут, прикатил, чтоб Султана выпросить. Но не отдали мы. Правда, мне жаль мужика стало, пообещал ему, мол, приезжай, когда Пика вырастет на смену, может, и договоримся...

Пика — та самая собачонка, которая в первый день выдала меня Султану столь звонким лаем. С Пикой мы теперь друзья. Она проходу мне не даёт — всё норовит смести услужливо снег с валенок своими лапами. Впрочем, и без меня не скучает: то костью во дворе играет, катая её и подбрасывая, то за тенью собственного хвоста гоняется, пока не закружится и не упадёт лапами вверх.

У Пики такая история.

Младший Егоров сын Колька работает в Абакане на стройке, на окраине города. Однажды шёл он вечером с работы и на свалке, среди битого кирпича, извести, бумаг увидел барахтающегося щенка. Щенок тоненько скулил и всё тыкался головой в какую-то ветошь, стараясь согреться от лютого холода. Кольке жалко стало беспризорного щенка. Поднял он его и спрятал под шубу, за пазуху. Пока шёл до общежития, щенок обогрелся, перестал дрожать, замолчал и уснул.

Утром Колька его на стройку принёс. Холостяцкое общежитие днём пустеет, и за щенком там некому досмотреть. А здесь гнездо ему устроили в теплушке. Бутылку молока купили. Скоро все рабочие со щенком познакомились, и, поскольку он «викал», когда его на руки брали, то дали ему имя Вика.

Неделю прожила песочно-рыжая Вика в теплушке на абаканской стройке, а в субботу Колька, как обычно, поехал на выходные дни к отцу, к матери в деревню и Вику с собой взял. Так она оказалась за сто вёрст в Таскине.

— Как назвал-то? — спросил Егор у Кольки, когда тот вынул из-за пазухи незваную гостью.

— Вика, — сказал Колька.

А Егор толком не расслышал — у него последнее время какой-то шум в голове стоит — да окрестил собачонку Пикой. Теперь под этим странноватым именем и числится она среди прочей живности в Липистинином дворе.

Недавно Пика вдруг исчезла. Дед за водой пошёл к водопроводной колонке, она увязалась за ним да где-то дорогой отстала и запропастилась. Два дня не ночевала дома. Решили уж, машиной задавило или ребятишки какие к себе заманили. А сегодня утром глядим — Пика снова играет костью во дворе как ни в чём не бывало. Подошёл я, поздоровался с ней за лапу, она невинно посмотрела мне в глаза своими тёмно-бурыми сияющими смородинками и бросилась сметать с валенок снег.

Шелехова катушка

Как красива деревня в морозный солнечный день!

На чистейшем белом снегу под чистейшим голубым небом все краски расцветают, будто их только что покрыли лаком. Прежде сельские хозяйки белили ставни и наличники на окнах. И это тоже выглядело неплохо. Нынче другая мода пришла — красить. Идешь вдоль деревни — в глазах рябит: играют цвета голубые, синие, зелёные, бордовые. Но больше всего сочетаний из белого, красного и голубого.

Мало что окна, так некоторые ещё и ворота красят.

Тётка Липистина расцветила наличники белым и бирюзовым, и старый дом веселее стал. Теперь она к лету думает и ворота покрасить. Сын Петро, живущий в Норильске,

обещал красок прикупить. Но только цвет они с дедом Егором ещё не выбрали, тут у них пока нет окончательного решения.

В будни улицы почти безлюдны. Идёшь — редкий человек навстречу попадётся. Но если уж попадётся, обязательно поздоровается, даже если и незнакомый. В деревне все здороваются — знакомые и незнакомые. Исстари обычай такой.

Чаще всего, конечно, ребятишки встречаются. Этот на лыжах в лес направился, не иначе петли ставить на зайцев. Тот с книжками вышагивает важно — небось, читатель сельской библиотеки. Там вывалила ватага из ворот, у всех санки-самоделки на поводках. Здесь уж и гадать не надо — на катушку двинула ребятня.

А вот пострел в коротенькой шубейке, в ушанке набок пролетел на лошади в санях. В головках саней сестрёнка сидит, как кукла, закутана шалью. Сзади под самыми пялами розвальней собака бежит, лает звонко и хвост у неё крючком. Куда поехал парень? Наверное, отец доверил отвезти младшую сестрёнку на другой конец деревни к бабушке в гости.

У крайнего дома пустынной улицы встретились мне две лошади. Обе вороные, молодые, с ровно подстриженными чёлками. Встретились и остановились, смотрят на меня, взмахивая головами, чтобы «модные» чёлки набок отбросить. А может, и здороваются со мной.

Вышел я к Шелеховой горе, думал полюбоваться, как ребятишки катаются. Ан нет, пуста гора — шаром покати. Странно мне это стало. Раньше здесь народу бывало, как на ярмарке. В чём дело? Может, мороз виноват? Да разве мальчишек удержишь морозом? Нет, размышляю, здесь причина иная...

Выхожу на другую улицу, спрашивают девочку лет семи-шести, семенящую навстречу:

— Где ребятишки? Почему гора пуста?

— Да на этой горе никто и не катается сроду-роду. Здесь машины ходят одна за другой. Разве правил уличного движения не знаете?

Вот те раз! Я к ней с вопросом, а она мне нотацию читает.

— Ну а где же всё-таки катаются?

Девчонка опустила воротник шубки, шаль поправила округлым женственным движением и вдруг фыркнула:

— Где ж им быть, как не на льду? В хоккей играют край на край.

— Как «край на край»?

— Два края деревни — две команды. Чего тут не понять?

Поблагодарил я юную землячку, пошёл дальше. Вон что оказывается!

Хоккей появился в нашей деревне. А мы-то росли и слова такого не слыхали. Да и на лёд редко ходили. Чаще снегурки притягивали ремешками к валенкам — и на Шелехову гору. Спуск здесь накатан, как стол, не хуже вашего льда. Но главное — народу уйма, не заскучаешь.

А на чём только не катались вечерами на Шелеховой горе! И на санках, и на коньках, и на самокатах, и на ледянках, и даже на огромных розвальнях с отводами. А чтобы кататься на конных санях, нужен был умелый ведущий. Иначе как неуклюжими розвальнями править? Ведущим становился далеко не каждый. Тут надо было сноровку иметь, силёнку и, если угодно, храбрость. Я до сих пор горжусь, что частенько бывал ведущим. И вроде даже неплохим.

Зачем же храбрость ведущему? А затем, что стоит он на коньках впереди саней, держа их за головки, и тяжелые сани, полные ребятишек, как горшков вповалку, напирают на ведущего с неодолимой силой. Представьте на секунду, что будет с ним, если он на горке споткнётся. Конечно, не минуя угодит под сани, летящие за ним со свистом и скрипом. Шуточное ли дело!

Меня выручали руки. Я почти висел на них, словно на пружинах. Спускаюсь всей тяжестью тела на коньки, проеду несколько метров, чтобы только дать верное направление саням, и опять подтянусь на руках, чуть скользя снегурками по дороге.

Зато какое уважение ведущему! Все зовут тебя не по фамилии, как в саду или в школе, а по имени, да ещё в ласкательной форме (особенно, конечно, девчонки).

У подножия горки костры жгли. Не только, когда масленицу «сжигали», но и задолго до неё, в крещенские и сретенские морозные вечера. Как съедут на санях — сейчас все

бегут к костру греться. Ты подойдёшь — тебе почтительно место уступают. Одно слово — ведущий...

Шёл я по улице и вспоминал старую Шелехову катушку, пока не поровнялся с чайной. Возле неё всегда народ, потому что здесь остановка автобуса. Одни едут в Минусинск и Абакан, другие в райцентр Каратуз, третьи — на станцию Туба, чтобы сесть на поезд, и там уж Тайшетская железная дорога уведёт в любой конец света. А четвёртые (их большинство) никуда не едут. Просто шли по деревне да задержались: поговорить, новости узнать на бойком месте, полюбопытствовать, кто куда собрался ехать и по какой надобности. Нет на свете народа любопытнее деревенского.

Здесь, возле чайной, пришлось мне долго здороваться с земляками. Многие в гости приглашали. И я обещал всем, что непременно загляну, потому как в селе нельзя от приглашения отказываться, обычай такой. Все на прощанье говорят:

— Бегайте к нам.

— Ходите сами.

Закончил я путешествие на другом конце улицы — на Малаховой горе. И здесь было пусто, ни души. Значит, правильно девочка сказала: этот край села тоже выставил свою хоккейную команду. А остальные ребяташки, должно быть, болельщики.

Хлеб и мельница

Наши представления не всегда поспевают за быстротекущей жизнью. Скажем, при слове *мельница* многим доньше видится тихий пруд, плотина, жёлоб со сверкающим потоком воды, неторопливое мельничное колесо со спицами, круглые жернова. Они крутятся и крутятся, спирально рябя бороздками, как огромные пластинки на проигрывателе, который забыли выключить...

Такую картину видел и я когда-то на нашем Мельничном и на соседском Маковкином прудах. Но теперь водяных мельниц мало. А те, что сохранились, работают редко, лишь при большой воде — в недолгую пору паводков.

Ныне в сёлах распространены иные мельницы — вальцовые.

В Таскине вальцовка трудится уже который год. Она стоит за селом, рядом с сушилкой и механическими мастерскими, недалеко от сторожки деда Егора. Недаром в конце рабочего дня сюда заходил погреться белый, как альбинос, Андрей Мясников, о котором я упоминал выше.

Мельница эта совсем небольшая — величиной с мотор трактора. Она и формой похожа на мотор, закрытый металлическим кожухом. Только по бокам у неё выступают, как уши, шкивы.

Когда поднимешь крышку вальцовки — видны вальцы, металлические, толщиной в ствол среднего дерева. На первый взгляд, валы эти абсолютно гладкие. Даже блестящие. Но если присмотреться внимательно, увидишь нарезанные на их поверхности мельчайшие чешуйки. Вот этими тонкими нарезками, шероховатыми на ощупь, и размалывается зерно.

Но вальцовка ещё не вся мельница, а только её главный агрегат, сменивший старые жернова. Прежде чем попасть на мелющие валы, зерно проделывает длинный и извилистый путь. Сначала его засыпают в бункер. Оттуда оно идёт в нории — движущиеся по цепи ковши, которые поднимают его наверх, на второй этаж мельничного амбара, и сыплют в решёта веялки. Потом зерно идёт вниз на вальцы, потом, уже раздробленное на первый ряд, снова — вверх на сита, а затем — опять на вальцы...

Словом, мукомольное дело осталось довольно сложным. Мельник так и мечется с этажа на этаж по белым, припорошённым мукой лестницам, сам белый, как Дед Мороз. То надо сыпь прибавить, то ухвостье из-под веялки убрать, то муку посмотреть, потрогать в мешках — ладная ли?

Я тоже брал щепотку муки и первого, и второго сортов. Первосортная была и пышна, и легка, как пух, и вроде бы шелковиста на ощупь. Из такой муки сельские хозяйки пекут к праздникам шаньги, сушки, хворост, печенье и прочую сдобу. И хлеб выходит — прямо

есть жалко, до того красив, мягок и запашист. Да и второй сорт неплох. Из него пекут, как говорится, хлеб насущный — булки, большие калачи — то есть тот, что подаётся на стол каждый день. А поскольку, слава Богу, его пока у крестьян в достатке, то многие женщины для повседневной еды пекут хлебы из смешанной муки — второго и первого сортов.

Ну а третий сорт — это отрубь, по-нашенски, отруби, шелуха пшеницы с тончайшим слоем необбитой муки. Отруби — тоже в хозяйстве не лишний продукт. Мешанки из них с большим аппетитом едят да похваляют и свиньи, и телята, и овцы, и куры — все, кто неравнодушен к хлебушку, какого бы сорта он ни был.

За водой поутру

Конечно, светлая речка, прорубь, колодец со скрипучим воротом или длинным журавлём — это красиво, поэтично и воспето исстари — «Спой мне песню, как девица за водой поутру шла...» Но и водопроводные колонки в селе куда как хороши.

Частенько прошу я тётку Липистину разрешить мне сбегать за водою разок-другой. Надеваю старую фуфайку деда Егора (в ней легче и ловчее себя чувствуешь), шапку, рукавицы и беру в сенях звонкие вёдра. Здесь же висит и коромысло с коваными крючьями, но я с ним толком обращаться не умею. К коромыслу сноровка нужна, иначе вёдра качаются на нём из стороны в сторону, вода плещется направо и налево. Мало что по полведёрку принесёшь, так ещё и вымокнешь.

Пробовал я с коромыслом, да ничего не выходит, пришлось отказаться от него.

Просто беру два ведра за дужки, дергаю верёвочку щеколды у сенных дверей, потом поворачиваю кольцо у ворот и выхожу на улицу. Всегда со мной норовит улизнуть со двора и неугомонная Пика. Провожает меня до калитки, наверное, думает: вот сейчас разгуляюсь на просторе, а я — р-раз! — да и захлопну створу перед самым её носом. Пика начинает сердиться на меня за столь явный обман и, просунув мордашку в щель под ворота, скандално лает своим пронзительным голосом. Мне что? Я бы и пустил её прогуляться по солнечной деревне, так ведь она сама проштрафилась недавно. Я уж говорил об этом: пошла с дедом Егором за водой и затерялась.

До ближайшей колонки девяносто семь шагов, это уж я точно сосчитал. Хорошо идти по морозцу, особо, когда чувствуешь, что не зря шляешься, а важное дело у тебя — воды принести. Вода нужна и корове, и свиньям, и овцам, и Султану, и той же Пике, провожающей меня обиженным визгливым лаем. Немало воды и в доме расходуются — щи сварить, чай вскипятить, квас завести... А уж если наступит банный день — суббота, тогда и по-давно двумя-тремя вёдрами не отделаешься. Таскать не перетаскать...

Колонка сейчас низенькой кажется. Её сначала снежком привалило, потом ещё льдом вокруг обложило, так что стоит она вроде как на ледяном холмике. И рычаг у колонки такой низкий, что приходится каждый раз кланяться, чтобы надавить на него. Есть рычаги у колонок, которые поднимать нужно, а в Таскине наоборот — прижимать сверху вниз. Думаю, так легче: положил на него руку и — готово, из рожка вода побежала. Струя хорошая идёт, тугая, упругая, толщиной в полтинник, да такая серебристая, хоть и вправду на полтинники руби. Удобная штука, что и говорить. Недаром, слышал я, когда вышел однажды насос из строя, так селяне, не дожидая помощи властей, сами сбросились и починили его в складчину.

Приятно возвращаться с полными вёдрами. Вода покачивается, рябит, в кругах солнце переливается, точно плавится. А если ранним утром идёшь, то заря в вёдрах купается, и вода такая, словно брусничный сок несёшь...

Рифечёные пельмени

К вечеру мороз сдал. Небо затянулось туманной пеленой, и зарябил мелкий-мелкий снежок. Это был даже не снег, а скорее изморозь — тоненькие блестящие слюдиночки сыпали с неба, чуть припорошивая дорожки, следы.

А сегодня снова ясное небо, снова — мороз и солнце!

— Солнце на лето — зима на мороз, — сказала тётка Липистина. — Не зря месяц кротогий народился. Разве что четверть кончится, дак перемена будет...

— Будет, иначе небесную канцелярию переизберём, — сказал дед Егор.

— Переизберёшь... Болтат чо попало, побоялся бы Господа, старый, — ворчит тётка Липистина.

...Вечереет. Мы сидим на кухне за столом и стряпаем пельмени. Тётка Липистина раскатывает тесто в длинные и тугие колбаски. Потом режет их ножом на галушки, обваливает в муке и катает скалкой на небольшие лепешки — сочни. Скалка у тётки Липистиной настоящая, старинная, с точёными овальными ручками по концам.

В огромной эмалированной чашке стоит ароматный фарш, пахнущий чесноком и перцем.

Мы с дедом «гнём» пельмени. Он не любит этого занятия, потому и немного не в духе, то и дело перечит тётке Липистине. Зато он любит фарш, нет-нет да отправит кусочек в рот, зацепив кончиком вилки.

— Эх, я раньше строганинку любил, — крикает он. — Принесёшь, бывало, с морозу мяска поволокнистей, настрожешь рубанком тоненько, а стружки так и завиваются кольцами. Макаешь их в соль да перец — и с хлебом. Лучше всяких пельменей.

— То и желудок извёл, — опять подварчивает тётка Липистина.

— Как бы не так! Мясом и извёл! Щами твоими скорей изведёшь, — перечит дед Егор.

Я стараюсь увести их от этой опасной темы разговора.

— А помните, с такими загибульками стряпали? — обращаюсь я и завиваю верёвочкой кромку кругом пельменя, похожую на кольцо Сатурна.

— Как же! — говорит тётка Липистина. — Вот Петька наш приедет, он мастер на это. Он такие пельмени «рифечёными» звал.

И тётка Липистина показывает, как делался «рифечёный» пельмень.

Руки у неё проворны, как у большинства крестьянских женщин. Мгновение — и по ободку пельменя пробежали, семена, узловатые пальцы, и он стал теперь как бы с кружевом.

— А помните, счастливые пельмени делали? — спрашивает дед Егор. — Один с углём стряпали, другой — с полтинником, третий — с тестом... И на каждый что-нибудь загадывали.

И вот уж завязался разговор о том, как прежде стряпали пельмени в нашем селе, кто был мастаком в этом деле и кто мог их больше всех съесть в один присест... Тётка уточнила, однако, что раньше пельмени делали только мясоедами — осенним и зимним. Может, потому и нажимали любители, не щадя живота, что новых долго ждать приходилось.

Я посматривал в окно на ясный высокий месяц, ставший сегодня совершенно круглым, полным, слушал, как закипает вода в чугуне на раскалённой плите, и не мог представить нашу сибирскую зиму без пельменей. Сама эта весёлая стряпня за столом, которой заняты все от мала до велика, тишина и уют тепло натопленной избы, потрескивание дров в печи, их сухой берёзовый запах — всё это располагает к неторопливому доверительному разговору, воспоминаниям, размышлениям...

Зимой пельменей стряпают помногу. Их можно заморозить и хранить сколько угодно. Удобное блюдо, что и говорить. Бросил горсть в кипяток — через десять минут готово. Тётка Липистина любит, чтобы в фарше было немного капустки.

— Люблю, чтоб с кислинкой и похрустывало, — говорит она.

Вот мы настряпали уже второй противень. Оба вынесли в сени на мороз.

— Ну, теперь осталось нагнуть на ужин, — говорит дед Егор, и в голосе его слышится радость, что близится конец стряпне, которую он считает унижительной для мужского достоинства.

Теста и впрямь осталось на одну раскатку. Тётка Липистина быстро откидывает в муку последние галушки, и вскоре дед, опередив меня, берёт последний сочень. Мы обижаем муку с рубах, убираем с колен рушники и идём мыть руки.

А на столе между тем уже появились тарелки с дымящимися, блестящими и словно улыбающимися пельменями. Дед Егор разливает перцовку. Хотя тётка Липистина не очень балует его настойками да наливками, но под пельмени можно.

Поют полозья

Теперь редко кто в деревне за дровами на лошади ездит, тем более — зимой. Дрова теперь возят на тракторах, в летнюю пору. Даже новое слово появилось — *волок*. Что за волок? А просто несколько лесин, хлыстов, очищенных от сучьев и связанных по вершинам в огромный пучок, или вязанку. Зацепляет трактор тросом такую вязанку и волочет по земле. Отсюда и — волок.

Но мы с дедом вынуждены ехать на лошади. У нас особое задание. Мы должны привезти дров именно сейчас, в январе, причём привезти их так немного, что о тракторе и заикаться стыдно. Тем более что у Егора лошадка на руках, «положенная» ему, сторожу общественного машинного двора, так сказать, по штату. А почему вдруг приспичило в лес за дровами средь зимы? Может, старикам топиться нечем? Нет, совсем не потому: три поленицы стоят вдоль забора — одна за другую заходит. И сухих, и сырых дровишек, слава Богу, вдосталь — берёзовые, гладкие, самые что ни на есть отличные...

Но всё дело в том, что тётка Липистина задумала на праздничек сделать домашнюю колбасу и подкоптить её.

— Люблю, чтоб с дымком колбаса была, — говорит она.

А для копчения, известно, берёзовые дрова не идут. Здесь обязательно нужны таловые, то есть из талины — дерева, прямо родственного иве. И желательно, чтобы талина та была сухой, валежной, тогда она больше дыму даёт, своего наилучшего запаха для копчения колбасы.

Наспех завтракаем, надеваем шапки, фуфайки, поверх фуфак длинные собачьи дохи, пёстрые и такие лохматые, что от одного их вида становится жарко. Тонкие вязаные варежки для работы в лесу кладём в карманы, а на руки в дорогу надеваем шубёнки — рукавицы из овчины ворсом внутрь. Шубёнки тёплые, как печки, но работать в них нельзя. От снега они размокнут, а когда высушишь, затвердеют и станут ломаться.

Вот теперь у нас «упаковка» надёжная. И сорокаградусный мороз нипочём.

Выходим во двор. Султан мечется на цепи как угорелый. Увидел, что лошадь стоит за воротами, и забеспокоился, как бы дед без него не уехал. Надоело Султану на привязи. Дед спустил его с цепи. Султан, благодарно повизгивая, стал прыгать вокруг него и даже изловчился лизнуть в бороду.

И вот мы едем на стареньких розвальнях. Дед Егор у козырька сидит, правит, а я сзади на охапку сена прилёт, поднял высокий воротник дохи — и сам чёрт мне не брат. Поют полозья по мёрзлому снегу. Напористой рысью идёт кобылица Гагара, заиндевевшая, чёрно-белая. Султан вприпрыжку бежит сбоку саней.

Дед Егор уже решил, куда ехать, — в Феофанов лог. Таловые дрова можно бы найти и в других местах, поближе — вниз по речке, в Гурином, Пашином или Поляковском логах. Но дед путь держит в Феофанов, потому что там у него копёшка сена осталась и он хочет её прихватить попутно.

Промелькнули переулочек, крайняя Зелёная улица, вальцовая мельница, машинный двор. Мы выехали за поскотину. Место тут ровное, безлесное. Белый снег кругом да омёты соломы по пашне — огромные песцовые шапки. Серебряной пылью сыплется изморозь.

Вот уже и черёмуховый колок проплыл с дощатым вагончиком. Весной и осенью здесь бывает полевой стан. Сейчас же — тишина, безлюдье.

— А где Кудрявая берёза? — спрашиваю деда Егора.

— Выкорчевали. Кому-то помешала пахать, — кричит он в ответ. — Видишь, корень на обочине остался?

Я поворачиваю голову и в самом деле вижу узловатые корневища, торчащие из снега. Вскинутые кверху, они похожи на вздетые к небу руки. Мне жаль Кудрявой берёзы. У неё летом была красивая, необыкновенно густая, почти непроницаемая крона, в тенишке под которой любили отдыхать путники. Сиживал и я, возвращаясь то с клубничных ягодников, то с озёрной рыбалки. Дерево служило и как бы маяком для таскинцев. Здешнее урочище называлось «У Кудрявой». «Где пахал?» — «У Кудрявой». — «Где ягоды брал?» — «У Кудрявой». А теперь как назвать эту местность? «У Обрубленных Корней»? Не думаю,

что берёза шибко мешала плугу. Она стояла почти на меже и занимала земли не больше квадрата...

В Феофанов лог мы заезжаем напрямки, по снежной целине. Долго кружим среди берёзин и осин по заветерью, пока дед не останавливает Гагару около кустов тальника.

— Рубить будем? — спрашиваю я.

— Зачем рубить? Ветер уж нарубил за нас. Давай валежины искать, — говорит дед, сбрасывая доху и вынимая из карманов вязанные варежки.

Я тоже освобождаюсь от тяжёлой дохи, беру топор — он был воткнут в головки саней — и направляюсь к валежнику, рогато выступающему из сугроба за кустами. Ударом обуха сбиваю с сучьев белую оторочку...

— Осина? — кричит дед.

— Не пойму пока.

— Срез красный?

Я всаживаю топор в потемневшую стволину — отстаёт щепка с изнанкой цвета охры.

— Красный! — радостно кричу деду.

— Значит, талина. Кряжуй её — и сюда, — командует он.

Когда на сани ложится десяток коряжистых валежин с оранжевыми пятнами на свежих срубках, дед Егор резко опускает руку:

— Шабаш!

Он увязывает воз, втыкает топор в головки саней, кладёт поверх кряжей дохи, лежавшие на снегу, и берёт в руки вожжи. Я отказываюсь сесть на дрова. Мне хочется пройти по лесу пешком.

Между деревьями — частые прошвы следов. Тут прошла стайка тонконогих косуль, там пугливые зайцы набили тропу, а вот просеменила чуткая лиса сбоку мышинной строчки. Наверное, той мыши уже нет на свете, одни следки остались на сугробе, да и те скоро засыплет снегом.

Гагара шумно дышит у меня за спиной. Я уступаю ей дорогу и на ходу присаживаюсь на отводину саней. Султан бежит позади с заснеженной мордой, точно муки наелся. Это оттого, что он тычется носом в каждый след, гадая, какой зверь и когда проходил Феофановым логом.

Вот и дедова копёшка в лощине. Сена совсем не видно, только небольшой холмик в сугробе. Снова дед сбрасывает дохи, берёт вилы...

Из лога дорога в гору. Лошадь с трудом тянет сани по топкому снегу, поэтому я опять иду пешком. У Гагары такой характер: чем тяжелее поклажа, тем быстрее она переставляет ноги. Я едва успеваю за возом. Из лога поднимаюсь взмокшим больше, чем Гагара. Наверху сечёт резкий хиус, и не миновать бы мне простуды, потному на ветру, если бы не матушка-дохка. Я снова надеваю её, взбираюсь на сенной воз. От него волнующе пахнет летом, лугом. Посаживаю себе как у Христа за пазухой.

Султан забегает то с правой, то с левой стороны саней, обнюхивая на снегу каждый след, потом возвращается на дорогу, торопливо обкусывает зубами ледульки, настывшие между «пальцами» лап, и снова продолжает охоту за запахами.

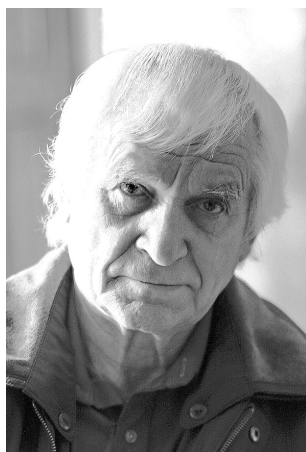
Дед закуривает, обдавая меня дымком забористого табака, и говорит наставительно:

— Чуешь, полозья поют? Это к морозу.

Как ещё «чую»! Кажется, не только в примолкшем зимнем лесу слышится этот чистый, «певучий» скрип саней, но и по всей заснеженной Руси-матушке...



ВЛАДИМИР ГУСЕНКОВ



Срослась и вновь слегла Держава

Сон

По лестнице спустившись с выси,
Явился ангел мне во сне.
— Внемли! — сказал. — В столбцы ты вписан,
Пока не ведомые мне.
Ты, может, и рукоположен
В фантомы или в сан иной.
Но помни: зря клинок из ножен
Во гневе рвал наставник твой.
Сойдёшь пока не в преисподню.
Обскуры есть и посветлей.
Ступай! Я о себе напомним
При дверях или у дверей.
И он растаял. Стал невидим.
Грозой пахнуло на меня.
Я город на холмах увидел.
Он с ночью слился среди дня.

Но я узнал тебя, Толедо!
Мятежной кистью передал
Твою непостижимость лета
Эль Греко — гений и вандал.
В мятущемся творенье этом
Дышали адом облака,
И в небо впившимся стилетом
Казался шпиль издалика.
А выше, будто из воскрылий,
Уже не тени и дымы,
Квадригой мрачной проступили
Четыре всадника из тьмы.
Запечатлеть сумел их Дюрер.
С его гравюр они сошли:
Посланцы, но не от лазури,
И мытари не от земли.

ГУСЕНКОВ Владимир Павлович, поэт, прозаик (род. в 1932 г. в г. Иркутске). Автор книг: *Корабли выходят на орбиты*: стихи (Иркутск, 1961); *Мой бедный Артаньян*: повести (Иркутск, 1987). Член Союза писателей России.

Се бич. И кара. И опала...
 Плеча коснулся ангел мой,
 Давая знать: звезда устала
 Стоять у нас над головой.
 Сюда — он пояснил — с Босфора
 Тайком свой ящик пронесла
 Гонимая людьми Пандора,
 Дарохранительница Зла.
 Тут Зверя чтут. И, кстати, Воланд
 Опять с компанией в пути.
 Созрел уже и хмель, и солод,
 Черту осталось подвести.
 Не впопыхах свиданье длилось.
 Но был я тут не ко двору.
 И ангел, гнев сменив на милость,
 Меня оставил поутру.
 Не зная, в чьей отныне воле,
 Один осилив реку вброд,
 Я, словно витязь в чистом поле,
 У каменных застыл ворот.
 Загадочная, как в полоне
 Двух неведомых границ,
 Гласила надпись на фронте:
 «Чистилище. Аустер-Лиц».
 Без торжищ людных и без брашен,
 В своей кирпичной епанче
 Открылся Кремль. Он был без башен,
 Но с петушком на каланче.

Его повергнутое Нечто
 Выходило вновь на берегу.
 У места Лобного овечка
 Паслась. Ярыга спал в стогу.
 Вдали, как сновиденье тлея,
 Присел под дубом Мавзолей.
 На конной тяге батарея
 Сменяла пеших егерей.
 Брусчатки не было. Для храма
 С лесов латали купола.
 Узрев лазутчика, охрана,
 Со стен попрыгав, подошла.
 Томясь в палате Грановитой,
 Недолго пробыл я один.
 За дверью чуть полуоткрытой
 Нечаянно всплакнул графин.
 И тотчас с трубкой, в сером френче,
 Дымя, с прищуром из-под век,
 Шагнул он как бы издалече,
 Не всем понятный человек.
 На свете, пусть уже не этом,
 Он юмор не утратил свой.
 — Антихриста пришёл проведать?
 Входи, товарищ дорогой.
 Продлить мой странный сон пытаюсь,
 Кивком он отослал конвой.
 Одни мы в полутьме остались —
 Потолковать между собой.

* * *

У августа в картах блефует погода.
 Уже распечатана третья колода.
 И в парке, где нет уже прежнего гама,
 Неслышно гуляет бубновая дама.
 А город, он знать ничего не желает,
 Плевелы свои и плоды пожинает.
 Он весь жизнелюбец на вывесках схожих.
 Но нет интереса на лицах прохожих.
 Латынь. Иероглифы. Адская кухня.
 Бриоши с утра и васаби с полудня.
 В аэропорту, развалиться готовом,
 Лазурь осыпается чадом и громом.
 С истомой борясь, терминалы вещают:
 — На выход с вещами! На выход с вещами!
 Привычен рефрен толчеи худосочной,

Но что-то не то в этой теме порочной.
 Реки не хватает из раннего лета,
 Излучины той, что никем не воспета.
 А может, кофейни, арбуза, лимона,
 Лозы виноградной, молитвы с Афона.
 Струны не хватает, порвавшейся вроде,
 Той самой, что длилась на тоненькой ноте,
 Той малости, что проносила над нами,
 Над колокольнями и тополями;
 Та музыка, та, что с рассвета витала,
 А нынче, как некое чудо, пропала.
 Её не хватает,
 как в сохнувшем теле
 Настроя былого.
 Стрижи улетели.

Кукушка

Апрельский сад, как побирушка,
В обносках прошлогодних гнёзд.
Зачем летаешь ты, кукушка,
Под колкий холод наших звёзд?
Что за любовь к лесам и долам,
Где хвои больше, чем листвы?
Здесь у костра на склоне голом
Бьют в бубны местные волхвы.
И грех в тебе, и святотатство
Как скорбь с бесстыдством — заодно.
Кого, как не тебя, чуждаться
Страдальцам местным суждено.
Нагул свой в хрупком одеяльце
Тайком проносишь за порог.
Катать в чужие гнёзда яйца
Поднаторел твой коготок.
И жаворонкам, и синицам
По недогляду довелось
С тобой, проклятой, породниться,
В любовь играющей, небось.

Природы зов переиначив,
Ты гнёзд не выёшь в глуши лесной,
Балуешь и блажишь, не прячась,
Весталкой падшей и чудной.
Ты, словно мать иных обличий,
Преобразясь, глядишь в окно.
Бела, стройна, язык не птичий —
Хоть в ателье, хоть в казино.
Но вдруг: капуста из ушата.
Закуска. Водка. Неглиже...
Летать учитесь, кукушата!
Всё в доме съедено уже.
Ни русская и никакая,
Не материнством изойдёшь,
Но, крылья снова воздевая,
К лесной опушке припадёшь.
Так оставайся лучше птицей.
Настанет осень — улетай.
И пусть опять тебе не снится
Надклёванный наш каравай.

* * *

Небесных демонов хороним.
Земных отвадить недосуг.
Который век с утра по коням,
А к сумеркам с ковшами в круг.
Соблазном тешится беспутство.
Не посему ли брату лечь.
Щиты трещат. Подпруги рвутся.
За упокой не хватит свеч.
В ярмо запав, три века кряду
Сморкались в Золотой Орде.
Каялу вспомни и Непрядву,
Свернув к таврической гряде.
Срослась и вновь слегла Держава.
Опять, брады свои задрав,
То слева рядимся, то справа,
Роды по пальцам перебрав.
Робеть боярам не пристало.
В заторных шубах отомлев,
Любое нонеча сусало
При фраке. Ежеле в Кремле.
В палате рындами на вахте
Псари. А может, егеря.

Не калачи уже, а вафли
Под кофе у государя.
Из пышных вылупясь поместий,
Резвятся в нетях золотых
Сыны нуворишей и бестий,
Умеющие бить под дых.
Блажен, кто может безвозмездно
Кормиться папертью опять.
У врат господних, как известно,
Дают. И будут подавать.
В глуши своей мы трезвы ныне.
С утра, газетку подостлав,
За банькой под родной рябиной
Садимся, ноги подобрав.
Не вовсе гнутые покуда,
Мы для народа образец.
Принять бы водочки не худо
Под малосольный огурец.
И разговор у нас не будний:
О царских, что ли, закромах,
Где шапку от детей беспутных
Подале прятал Мономах.

Иерусалимка

Старейшему кладбищу города

— Мне, а не паркам и куртинам
Был отдан холм.
В Элисий мой
Раб божий в день своих поминок
Под крест просился на покой.
Пастве моей не ведом Данте.
Земле предавшись, не снуют
Ни вои, ни комедианты,
Ни в бозе опочивший люд.
Я — кладбище.
Я — дед и прадед
Среди подобных ныне мне.
Острогом зачат (скорби ради)
От рвов и башен в стороне.
Давно не тот я, что вначале.
В окладах мерзких и чужих
Гнетёт меня ярмо печали
За пустошь верхних кладовых.
Почто повыкопаны плиты?
Содёрнут наземь Серафим?
В оградах мраморы побиты

Народом буйным и хмельным?
Не знали милости могилы
Во власти заступов и пил.
На них я, как слепец на вилы,
Проспав два века, наступил.
Бельмо ли на глазу я снова,
Веселий ли невоворот,
Но ждёт меня опять обнова
Из арок, лестниц и ворот.
Ни бабр, ни коршун, ни жар-птица
Не сберегли моё руно.
Шехеразодой нарядиться
В моей мне роще суждено.
Ты припозднился, архитектор.
Тут землю стригли до тебя
Ниспровергатели и те, кто
Забыл уроки Октября.
Качели будут и салазки.
Про косточки не вспомнит власть.
Пусть внуки бабушкины глазки
С подросших яблонь будут красть.

Перед грозой

Намаясь в царстве комарином,
Ночь уходила, как вдова,
От русл и пойм, пропавших тмином,
И звёзд, мерцающих едва.
Менялся обликом с восходом
Рассвет, ещё как бы хмельной.
Сойдя под берег крестным ходом,
Молились ивы над рекой.
Затворница лесной мечети,
Кукушка, свой покинув лаз,
Для певчей и пернатой черни
Готовилась свершить намаз.
С грибным царём играя в прятки,
Сквозь перепревший листопад
Выпрастывался без оглядки
Волнушек розовый отряд.

Роднясь одним репертуаром,
И пруд, и стрекоза над ним
Готовились в обличье старом
Продлить свой маленький интим.
Но, словно бы с больничной койки
Глядело солнце из-за гор,
Куда туман, как вор с попойки,
Пошатываясь, крался в бор.
Багрец всевидящего ока,
Ещё противился, но гас.
Неумолим был гость с Востока
Под бронью дождевых кирас.
Желтками стынувших глазуний,
Смыкаясь, гасли облака.
И гром, как выездной Везувий,
Уже покашливал слегка.

* * *

В отставку подал. И уволен
Февраль. Он слёг от передряг.
Один остался в поле воин —
В предместье вторгшийся овраг.
Под снегом талым, как и прежде,
Ручей на дне его ничком
Ночами в зимней стыл одежде,
С утра крошась под сапожком.
Он ждал большого половодья.
Не джинн в бутылке, но хитрец,

У Нептуна отнять поводья
Мечтал повадливый малец.
Пострел. А влага гулевая
В нём закипала не шутя.
Всё выше припадая к сваям,
Обрушить мост грозит дитя.
Ему бы в те потоки влиться,
Где вал катит почти морской...
Деревни сносит, словно листья.
В смятенье снова род людской.

* * *

Снег в розницу и оптом продан —
Коту под хвост. И детвора
По улицам и переходам
Всё радостней бежит с утра.
Давно оплавав старый флигель,
С собой покончила капель.
И под карниз (в свою обитель)
Опять вселился воробей.
Пока растут итоги за день.
Сдаёт экзамены трава.
Пора под общий знаменатель
Цветы подвесьте и дерева.
Вдоль улиц тополя остригли —
У них тут свой военкомат.

Они большими быть привыкли,
А их укоротить хотят.
Кровоточат развилки срезы,
Но нрав их и живуч, и крут.
Ни костыли и ни протезы
Им всё равно не подойдут.
Весна их вновь бесплатно лечит
С какой угодно стороны.
Их труд почти очеловечен,
Раз службу несть они должны.
В ботфортах белых новобранцы,
Недолгой наготой трубя,
Скворечен гнёзда, а не ранцы,
Готовы вскинуть на себя.

* * *

Томителен конец апреля.
Накрытый синью ледяной,
Он, выцветая и старея,
То летом бредит, то зимой.
Несносно в каменных хоромах.
Тоскливо в небе без стрижей.
Украдкой шепчутся о громах
Антенны сонных этажей.

В окне сухая ветошь клёна
Никак не может облететь.
За детской горкой оленёнок,
Он цел, но вылинял на треть.
А в луже лёд уже не дрогнет
Под чьим-то каблуком к утру.
Луна щенком новорождённым
Глядит в неё, как в конуру.

* * *

Как балерины в мизансцене,
Сады насквозь оголены.
Полуприкрытые колени
Ещё ознобом сведены.
Застыли рампами шпалеры.
По стойке «смирно!» спит редут.
Ни дамы и ни кавалеры
Со сцены этой не сойдут.
Минуя текст, спектакли длятся
Без колких реплик и вражды.
От зелени и до багрянца
В костюмах новых нет нужды.
Здесь в модельерах только почки,
Бутонов хрупких лепестки,

Медовые их заморочки,
Корзиночки и червячки.
Авось, в подсобке у апреля
Май выкупит из мёртвых душ
Царя лесного, Берендея,
Кикимор, леших и кликуш.
Их разместят на заднем плане,
В глухие дебри уведут,
Покуда добрые миряне
Посты великие блюдут.
Готовы к всенощной соборы.
Там ждут того, кто был гоним,
Чьи так недолго длились сборы
Под вербный день в Ершалаим.

В календаре

Лукавая, нырнув с карниза наземь,
На первый старт капель берёт патент.
Аншлаг без слов, но монолог прекрасен.
Куда ни глянь, у всех абонемент.
Прав календарь: пчела опять проснётся
И вылетит из кельи восковой.
Так отпирайте загодя оконце,
И праздно не качайте головой.
Трава на пустыре уже воскресла.
И ясно, что в квартире перегрев.
Пора за штору отодвинуть кресло.
Свежо с утра, но выглянуть не грех.
Сомкнулся дом своим пятиэтажем
В застёгнутое наглухо каре,
Где детский пятачок, как в стане враждем,
Прикинулся палестрой во дворе.
Тут новый век окантовал балконы
Чадрой решёток в окнах этажей,
И гонят прочь дверные домофоны
Порой ночной непрошенных гостей.
Но детвора боготворит качели.
В песочнице открыты гаражи.

И рвущейся струной виолончели
Исходят скрипом крепи и тяжи.
Готов апрель добро творить и сеять.
Он зелениям свою вручает власть.
Проспался шмель, сердясь на скудость зелий,
Ему бы к одуванчикам попасть.
А майский жук, он позже поторопит:
Чем яблоня прельстит крылатый род?
Пожалуют на бал с большой дороги
Семь ос, сто пчёл и трутень-сумаброд.
Тогда-то, словно свинчивая крылья,
Не дай-то бог, зависнет у лица
В мохнатых рожках голова кобылья —
В нектаре нос и на брюшке пыльца.
Не отстраняйся. Пусть поозорует.
А может, обойдётся без него.
Ещё на подоконнике воркует
Голубка из бывшего твоего.
И хорошо, что день с финальным актом
Пока далёк. И думать не с руки
О том, как завершающим антрактом
Здесь пыльный лист помянет лепестки.



АНАТОЛИЙ ЖИЛКИН



Август в Сибири

РАССКАЗЫ

Рябчики

Рябчиков в этом году как никогда, видимо-невидимо. Справный рябчик, весёлый. А всё потому, что ягода уродилась, лето тёплое, да и вообще, ни пожаров, ни наводнений, ни заразы никакой. Год на год не приходится, этот на удивление щедрым оказался, будто по заказу.

Снег вдоль дорог весь как есть их лапками притоптан. Вроде тюль накинули на сугробы — такие узоры наплели.

Собаки кружат, кружат, а потом плюнут, пометят территорию — и в тайгу. Мол, были мы тут, оценили ваши старания, но нам бы чего посерьёзней, или кого. А разгадывать ваши загадки на снегу, извиняйте, сплошное издевательство, честное слово. Белку погонять аль соболя закружить — это да, занятие для взрослых, а вот узорами любоваться — только время терять да ноги бить.

На Севере любой птице живётся вольготно. У нас утка, гусь, куропатка спокойно живут, без нервов. Кроме лисицы, по большому счёту, и опасаться-то некого. Да и боровая дичь, того же глухаря в тайге — что пчёл на лугу.

ЖИЛКИН Анатолий Михайлович. Родился в 1953 г. в г. Усолье-Сибирское. После окончания школы поступил в ИВАТУ им. 50-летия ВЛКСМ. Дальше — служба в рядах Советской Армии. Сейчас в отставке. Работаю.

Печатался в журналах и альманахах: «Сибирь», «Северо-Муйские огни», «Первоцвет», «Белая радуга», в городских и районной газетах. Издан сборник рассказов *«Будем живы — не помрём»*. В ближайшее время выйдет в свет книга под названием *«Другие времена»* (Москва).

Глухарь важный, любопытный, бесстрашный. А когда токует, тут уж совсем об осторожности забывает. Глаза закатит, пощёлкает крепким языком и рассыплется мелким бисером в песне призывной. Клокочет она у него в глотке, от избытка чувств не успевает в мелодию сложиться. Не то что стрелять, пошевелиться опасаться.

Хотя в этот самый момент у него уши закладывает от предвкушения встречи с невестой своей единственной. Зазывает её, родимую, к семейному очагу, готовится во всеоружии. Какое там об опасности думать, когда весна!.. Подснежники вон, и те не в силах удержаться. Так и норовят из сугробов выпрыгнуть, с солнышком тайком перемигиваются.

И день самый главный приближается, он уже у порога. В этот день все смыслы вселенские в одной точке пересекутся. Он так и называется — смыслом жизни для всего сущего на земле и на небе.

Хоть из пушки пали — не услышит глухарь. Страсть — вина всему. Что у них, что у нас — одна беда и радость одна. Солнышко весеннее жару добавляет. Оно после лютых морозов кровь в кипятке обращает. Вот и дурим от кипятка по жилам. И неважно — человек ты или ты свободен и за спиной у тебя крылья. По краю идём, пропасти не замечаем, будто и вправду летать научились.

Птицы, звери, да и рыбы не отстают, тоже продираются по диким речкам. На перекатах о камни острые брюхо себе вспарывают. На смерть не оглядываются. А смерть в эту пору интерес к нам теряет. Живите, мол, люди хорошие. Не моё это дело — чтобы к жизни жизнь прибавлять. Разбирайтесь тут сами. У меня забот и без вас... Круглый год кручусь как заведённая. Кто бы меня пожалел! Хоть сейчас отдохну, на солнышке косточки отогрею. Весной я руки умываю. Тут Матушка-Природа руководит. С ней и спрос.

...К глухарю надо подбираться осторожно, перебежками. И то, когда он поёт, задрать голову на зорьку. Шагов восемь-десять успеешь пробежать — и замри. Он шею вытянет, осмотрится по сторонам пристально так, все тени под кустами проверит — и по новой за песню. Невесту зазывает. Красиво ухаживает за своей копалушкой красавец таёжный. Любо-дорого наблюдать за ними. Есть чему поучиться. Так, чтобы на всю жизнь. Им любовь один раз отмеряют. Какие уж тут варианты! Нет у них и в помине вариантов этих.

...Я намерен дядьке Вите расхвастаться, как на рябчика в забайкальской тайге охотился. Мол, это целое дело: с манком, потом место надо удачное выбрать, со временем угадать. Рябчики на весёлый манок наперегонки чешут и такое представление устраивают, в пору шапкой от них отмахиваться, а иначе затопчут.

Травил, в общем, по полной. Эта способность у нас, у вокзальной шпаны, по наследству передаётся с молоком материнским. Видать, железная дорога влияет на фантазии наши, будь они неладны. Особым способом наши мозги к глазам подключены. События разные видим не так, как нормальные люди. Ну, те, к примеру, которые по панельным квартирам сидят и в тёплых туалетах книжки про любовь читают.

В день по сотне поездов пролетают в обе стороны. Едут люди... Куда? Зачем? Вот мы и придумываем за них разные истории и приключения. До сих пор не пойму: хорошо это или плохо?

Она и сейчас, железная дорога, не так далеко от меня пробегает. Продолжает влиять: и на глаза, и на мозги, и на мои фантазии.

Поговорить-то не с кем у костерка под звёздами — зима за окном. Сам себе сочиняю эти самые несладушки. Глаза прикрою и слышу — стучат колёса по рельсам, а в окнах вагонов лица из моего детства мелькают... Сочиняю свои истории, сочиняю... Или не свои?

...Слушал меня дядя Витя, слушал, а потом и говорит:

— Завтра надо на заимку скататься. Собирайся, Валерка. Часов в пять тронемся.

А чо там собираться? Я в свой «Патруль» соляры до горловины утоптал, цепи на колёса накинул, масло проверил, патроны перебрал, ружьё протёр насухо, чтоб на морозе не подвело — и готов.

Дядя Витя — якут по национальности, в годах мужик, мудрый и правильный охотник. Лишний раз к ружью не притронется. «Стреляем, Валерка, для того, чтобы жить, а не наоборот». И на рыбалку выходит, когда припасы заканчиваются. Берёт столько, сколько на пропитание надобно.

Выехали в 5 часов. На улице февраль. Зима в самой силе. В эту пору метели с ног сшибают, снег ледяной крупой глаза выщёлкивает. Света белого не разглядеть. Беда — если от зимовья отбился. Тут уж впору к мишке в берлогу проситься. А вдруг да повезёт — сжалится косолапый: обнимет, обогреет, даст лапу пососать.

Но сегодня, как по заказу: небо в звёздах, луна над головой, небосвод рукой достать можно. Красота! Летим по сказке, ангелов будим, а сами втихаря стихи про любовь сочиняем. Беда с нами, мужиками!.. Не хотим мириться с судьбой своей. Нам приключений подавай. Не желаем на печи валяться, стареть не желаем. Нам бы в старости да молодыми умереть! Глупые, наверно, потому и не жалеем себя. А как тут пожалеешь, когда портки на пятидесятиградусном морозе скидывать приходится. Север!

Это в тёплых туалетах про любовь читать вольготно. Мы ж тут про эту самую любовь поэмы за один присест сочиняем. На разных скоростях летим. Тут жизнь как пуля... «Есть только миг между прошлым и будущим...»

На Севере не заскучаешь. У нас, брат, как на передовой: замешкался — и прощай на веки вечные. С Севером только на «вы», и никак по-другому.

...Катим по вырубкам, вдоль просеки. Дизель у «Патруля» надёжный, мощный мотор. Работает ровно, густо. Молодцы японцы! Приучили русского мужика к настоящей радости. Не на пузе под машиной ползать по уши в мазуте с матюгами да нервами. Показали нам, как удовольствие можно получать от общения с настоящей техникой. К хорошему человек быстро привыкает, и навсегда. Мы привыкли. Хочется верить, и мы навсегда.

А дядя Витя мне по плечу хлопает:

— Притормози-ка, Валерка, я осматрюсь малость.

Торможу.

Он метров тридцать прошёл вперёд. Сначала правую сторону осмотрел, потом левую обследовал. Забрёл в ельник, покрутил головой — и назад, к машине. Вытащил солдатский термос, открыл крышку. А там кипяток. Я молчу, наблюдаю. Сам в себе ответов не нахожу: зачем дядьке вода горячая понадобилась? Чай, что ли, пить собрался?

А дядя Витя тем временем бутылку из-под шампанского из мешка достаёт. Я снова виду не подаю, а сам в догадках путаюсь: на кой она ему пустая?

Слышу подзывает:

— Подсобляй, Валерка, чо zenки таращишь!

Даёт мне воронку с ручкой — а сам кружкой солдатской в бутылку воду наливает. На меня косится, ухмыляется. Я молчу, посапываю, воронку держу.

Солнышко выглянуло. Оно такое яркое на тот день выпало, мы аж залюбовались. Оба об одном и том же подумали.

О чём? О рыбалке! О чём же ещё! В широком смысле, конечно. Это и разговоры по душам у костра, это и зорьки с сумасшедшим клёвом на таёжной речке. Да мало ли забот у настоящих мужиков по тайге припасено. Делать не переделывать. Тут не то что лета — жизни не хватит и с половиной тех дел управиться. На Севере не стареют. Молодыми умирают. И в семьдесят, и в восемьдесят, да и в девяносто с печки на свои ноги спрыгивают. Если доживёшь до таких годов. Всяко может случиться...

А дядька Витя бутылку пробкой заткнул и пошёл дырки в снегу прожигать сантиметров по сорок — пятьдесят глубиной. Руку вертикально с бутылкой в снег пропихнёт, а на обратном пути не спешит вытаскивать, бутылку-то, а аккуратно края оплавит на стенках. Они у него на трубы стеклянные похожие становятся.

Я залюбовался: как это у него ловко получается. Вода остынет, он её в колею — и снова кипяточку в бутылку. Таким манером штук двадцать насверлил тех дырок. Одна краше другой. Потом принёс туесок с мороженой брусникой и по пригоршни в каждую насыпал. Тут уж и я допёр, что к чему...

— И что, полезут в эту потеху рябчики? — спрашиваю дядьку.

— А ты посмотри, как они снег вокруг притоптали. Тут хошь не хошь, а в ней очутишься — в норе-то. Утром возвращаться — вот и проверим наши придумки...

Провели заимку. Печь протопили в зимовье, подправили ворота. Мишка наведывал-

ся недавно, видать, проснулся. Пошкодноичал малость. А так всё на месте, всё прибрано. Скучает усадьба без хозяйской руки. На лето сюда переберёмся. Это дальний кордон, он для зимы не годится. Переметёт дороги, кукуй потом до весны, да и зачем нам такая экзотика? Летом — другое дело. По реке, на лодке — день делов, и на месте. Тридцать вёрст от дома, по воде — все сорок наберётся. Красоты первозданные, дух захватывает. Тут уж точно понимаешь: не зря на свет появился. Такую красоту, где ещё встретишь? Да нигде. Она у нас поштучно хранится — для каждого в единственном экземпляре. Для нас, для детей наших, внуков и правнуков — одна-единственная, дубликатов не выдают.

Соображай, как с ней обходиться. А я скажу: трепетно и только у сердца хранить, чтобы, не дай Бог, не случилось что с ней, с красотой нашей. Что тогда внуку ответишь? Как объяснишь? Мол, не уберёг, родной, продал за долги или пропил сдуру? А он что скажет, внук-то? Страшно представить, ЧТО...

Вечерком потолковали у горячей печки, планы уточнили на весну, отвели душу, порадовали.

Утром назад. Добрались до того места, где ягодку в норки рассыпали, и пошли проверять. И вот ведь потеха какая — в каждой норе по рябчику.

Очумели бедные кверху хвостами торчать. Достанешь его на свет Божий, на снег опустишь, а он в ноги тебе головкой тычется. Крыльями невпопад машет и всё норовит на спину запрыгнуть.

Видать, страху натерпелся за ночь, а нас как есть за спасителей принял. Вот и спешит укрыться от кого пострашней.

Когда подошли к крайней ловушке, поняли, откуда такой страх у птичек. Снег разрыт, а вокруг перья кровавые разбросаны. Лиса навевдалась под утро. Рябчики от пережитой жути совсем сдурели. Мне не по себе стало.

— И чо с ними делать, дядька Витя? — интересуюсь.

А он на меня смотрит с прищуром и тоже спрашивает:

— А ты, как думаешь, Валерка? Чо из них сварганить можно, из бедолаг этих?

Рябчик — птица красивая, но больно наивная. Дурак дураком, между нами говоря. Если манком искусно орудовать, он на брови сядет, в рот заглянет, нос потеревит, макушку расклюёт. И так и эдак пристроится — будет искать, куда «певец» схоронился? Звук есть, а исполнителя нет! Не порядок, мол, это...

И тут же сам отвечает:

— Да куда их девать? Им надо жирку нагуливать да потомство на свет произвести. Пусть очухиваются да летят по своим делам. Надо только дырки эти засыпать, а то неровен час они снова в них заселятся. Глупые создания. Смех с ними и грех, честное слово. Рябчик, он больше снегирь, нежели рябчик. Его для красоты в тайгу жить определили.

С этими словами дядя Витя высыпал из теска остатки брусники под сосёнку.

— Поклюйте, отведите и вы душу, птахи Божьи...

А день всё ближе и ближе... Самый главный день. В этот день все смыслы вселенские в одной точке пересекутся...

Какое там об опасности? Клокочет песня в глотке, не успевает сложиться в мелодию. Одна беда у нас, и радость одна...

Дверь

Валерка заснул моментально. Прикрыл глаза и тут же провалился в тёплую, мягкую глубину. Картины одна за другой проплывали перед глазами. Знакомые картины — снилась дорогая сердцу тайга. Но не хватало терпения, не осталось никаких сил, чтобы любоваться этой красотой. Запомнить, чтобы когда-нибудь рассказывать и пересказывать.

Кому? Детям, внукам! Кому же ещё?

С вечера вымотался так, что рухнул будто подкошенный. Какие там сны!

Зимовьё дышало смоляным духом. Узкое оконце от края и до края заполнила голубоватая луна, в печке мерцали розовые угли, река тут же, у самого порога, постукивала на мелководье разноцветными камешками.

Всплески, звуки — и снова тишина. Таёжная тишина, какой нигде не услышишь. От неё звенит в ушах. Хочется петь и... плакать. А с непривычки и волосы на голове шевелятся. Жутковато с непривычки. Вроде совсем один остался — ты и эта самая тишина.

Валерка привык, он без неё не собирался жить. Повезло парню, что оказался здесь, в тишине, в тайге... в своей тайге.

После войны совсем захирел, сам себе был не рад. Казалось, всё — сломалось внутри детство, навсегда ушло. Переломил пополам радость, растерял покой. Как дальше жить, когда правда с неправдой перемешались?

А вот случилось такое — попал в края волшебные, в страну Якутию. Оживляет Север настоящих мужиков, возвращает их в детство, навсегда возвращает. Ожил и Валерка, радоваться снова научился. Потому и спит с улыбкой на лице, без кошмаров спит.

Да только не в этот раз!

Неделю тому назад они с дядей Витей закончили ремонт в зимовье на речке Мая. Перекатали, считай, заново избушку. Как начали от самого оклада, так под крышу и вывели.

Добрый домик получился. Стены из бревёшек, пол и потолок из лафета настелили, углы в «лапу» сцепили, крышу на две стороны и даже печку по новой технологии соорудили. Из железа рифлёного сварили с двойными стенками. Между стенок расстояние в самый раз — в полкирпича — отмерили. Потом кирпичи туда опустили, в карманы эти, и, как полагается, глиной скрепили. Получилась печечка на загляденье. Трубу тоже кирпичную сложили. Любо-дорого посмотреть! Да хоть и зимой живи — не замёрзнешь! Осталось дверь навесить.

Валерка настоял:

— Зимовьё новое, надо и дверь новую!

Как словом, так и делом. Вчера и дверь закончили мастерить. Ладная дверь получилась, крепкая.

Мужики смеялись:

— Об эту дверь мишке когти только точить. О том, чтобы изломать, и не мечтать ко-солапому!

Дядя Витя ещё предупредил:

— Ты, племян, только дверь навесь так, чтоб она вовнутрь отворялась. Понял, Валера?

— Понял я, понял! Чего ты, дядя Витя, вроде я двери никогда не цеплял, в самом-то деле.

Медведь, он толкаться не приучен, он под себя привык тащить. Опасаться-то ему некого в тайге. Хозяин, он и есть хозяин. Потому и двери крепят на такой манер, чтобы они вовнутрь отворялись — против его медвежьей логики, так сказать.

Погрузили мужики дверь в лодку, инструмент туда же. Ну, и снасти какие Валера с собой прихватил для рыбалки.

Барс тут как тут — запрыгнул в лодку и сразу вперёд проскочил, на любимую скамеечку. Весёлая лайка, смышленная — молодая ещё, правда. Третий сезон по тайге стажирется. Толк с неё будет, однозначно.

...К обеду добрались до зимовья.

Часа три провозился Валера с дверью. А может, и все четыре, зато примострячил её как надо. Вроде тут и была. Одна беда — в дверном проёме с обеих сторон четверти выбраны.

Север! Если на зимний промысел собрался — белку там, соболя добыть, к примеру, — можно и вторую дверь навесить. Не такую капитальную, а чтобы тепло в избушке удержать. Да и сквозняки не так донимают при двух-то дверях. На рамку деревянную оленью шкуру растянешь, как на пальцы, и готово.

Вот эти четверти и подвели Валеру. Он дверь эту, на первый взгляд, верно приладил. Но это только на первый...

Само собой, торопился душу отвести на зорьке вечерней. Речка-то — вот она, в десяти метрах от зимовья: хариуса столько, что дна не видеть.

Азарт! Руки так и пляшут от нетерпения. А может, руки-то и по другой причине плясали? Чуюли недоброе, вот и подрагивали, подсказать пытались хозяину, мол, перемудрил ты, дружок. Ох и аукнется нам твоя спешка!

Запарился Валера. Попробуй поработать с листвяком. Будто из железа дверь. И домик аж звенит от крепости.

«Завтра закончу, куда спешить?» — подумал парень. Наверняка так подумал. Хорошо хоть изнутри скобу железную привернул на сквозные болты, а снаружи берёзовую ручку толщиной в руку гвоздями прибил.

Если бы наоборот? И представить страшно...

Порыбачил, значит, отвёл душу, уху сварганил по всем правилам, стопарь опрокинул за благодать таёжную, покурил у костерка, чайку попил ароматного с листом брусничным и полез на нары.

Луна в окошко светит, тишина. Глаза без спроса под чуб убегают. Правда, ныло что-то в груди. Неприятно так дохнуло холодком изнутри. Но разве до этого, когда душа почти в раю?

Барс тоже набегался до метляков в глазах. Примостился у порога, в калачик свернулся и только ушками шевелит иногда, да глаз, нет-нет, да и блеснёт из темноты. Сторожит! Молодец!

И вот надо ж было такому приключиться! Часа в три ночи зарычал Барс. Шерсть на загривке дыбом, весь как струна перетянутая. Валерку тоже подбросило на нарах, будто пружина под ним распрямилась. Война приучила раньше смерти просыпаться, потому и живой вернулся с той войны.

Барс у двери мечется, рычит. Не скулит — это хорошо! Смелый пёс!

И тут Валеру вроде токомшибануло. Слова дяди Вити в ушах эхом отозвались: «Ты только дверь навесь так, чтобы она вовнутрь отворялась. Понял, Валера?..»

Избушка дрогнула... потом снова...

«Видать, косолапый пожаловал знакомиться. Не мог же он с полным брюхом по нашу душу заявиться», — успокаивал себя и собаку охотник.

Дело-то было по осени. И слава Богу, что не в голодную пору для медведя. Он, видать, от сытости решил размяться малость. Натура у него любопытная и шкодливая. Вот и соображай, чо у него на уме?

Как назло, весь инструмент снаружи остался. Ружьё в углу, но это на крайний случай. Ночью в косолапого палить — себе дороже. Не дай Бог зацепишь — пиши пропало. Садись тогда на первый попавшийся поезд и кати куда глаза глядят. Потому как Мишка тебя из-под земли достанет. Он такие обиды не прощает. От всех удовольствий откажется, пока обидчика не выследит и не накажет.

Валерке только и осталось — вцепиться мёртвой хваткой в скобу и упереться плечом в дверной косяк.

«Господи, помоги! Отведи беду от меня и моей собаки! Я исправлюсь, я...»

Луна погасла. Вместо неё в окошке появилась медвежья лапа. Медведь сорвал москитную сетку, ощупал стену с внутренней стороны, всадил чёрные когти в бревно и закричал от натуги. Но домик не поддался — старались-то на совесть.

Тогда он просунул страшную пасть в узкое оконце и рывкнул так, что похолодело всё внутри, а сердце упало к пяткам.

«Вот гад... перепугал-то как! — психанул Валерка и заорал что было духу: — Уйди, паскуда, что я тебе плохого сделал! Иди своей дорогой, не лезь ты к нам!..»

Медведь обошёл избушку и остановился напротив двери.

«Ах ты чёрт рогатый!..» — выдохнул Валера и напрягся, ожидая самого страшного.

Медведь цапнул железными когтями по двери... раз... потом ещё... ещё... и, наконец, захватил ручку с наружной стороны. Рванул так, что у Валерки от боли в мышцах потемнело в глазах. «Только бы не выпустить скобу! — пронеслось у него в голове. — Руку бы не оторвал, сука!»

А медведь, видать, сообразил, что Валера «напортачил» с дверью, и снова потянул на себя. Затрещали суставы, вылетая из привычных мест. Валера стонал, матерился и молил-ся одновременно.

Со второго или с... пятого раза косолапый выдернул все четыре гвоздя из листовен-ных досок двери. В глазах туман! Трещало всё, что только может трещать в молодом организме.

Валера висел на скобе по другую сторону двери, сжимая немymi руками железяку. Он боялся только одного, что вывихнутыми пальцами не сумеет управиться с патронами, не совладеет с ружьём. Рук он не чувствовал. Суставы горели огнём.

«Вывернул гад руки... Только бы пронесло в этот раз... Ну уйди, а! Будь другом...» — шептал Валера медведю через новую дверь.

Услышал медведь, проникся. Потоптался ещё малость, обследовал поляну перед зимовьём, прошёлся до лодки, попил из реки, потом отряхнулся, пофыркал от удовольствия и ушёл.

Так и есть — без злобы приходил, для знакомства. А когда понял, что это только домик новый, а люди свои, местные, успокоился и подался по своим делам.

Когда домой по реке возвращались, Барс от Валеры не отходил. В ногах сидел, при-жимался спиной. Родными стали за одну ночь. Проверили друг друга. Теперь вместе на веки вечные.

Спасло их то, что медведь сверху вниз лапой по двери бил. Если бы сообразил да на себя потянул — обнялись бы они с Валеркой у порога. Это как пить дать — вытащил бы парня наружу.

Такая силища! Он сохатому шутя, одним ударом лапы хребет пополам переламывает. Куда с ним руками тягаться? Людей только смешить...

Суставы Валерке вправлял якут — дядька Егор. Он родственником приходится дяде Вите.

Выл Валера на все голоса под Егором. Но зато потом будто заново родился. Распрямил его Егор так, что парень даже ростом сантиметров на пять длиннее стал.

А слова эти нет-нет да отзовутся эхом в Валеркиной голове: «Ты только дверь навесь так, чтобы она вовнутрь отворялась. Понял, Валера?»

Север! Тут, брат, ухо надо ох как остро держать! Каждое слово на вес золота!

Лабаз

Валерка чертыхался от досады: он представлял, как косолапый катается по мягкому моху, задрал лапы к небу, и похохатывает, подсматривая за ним из надёжного укрытия. Парень вертел головой во все стороны и никак не мог «зацепиться» глазом за какую-нибудь маломальскую подсказку, за «вешдок», так сказать, который вывел бы его на разгадку до-садного конфуза.

Это мягко сказано. Издевается над нами зверюга. Нашёл лазейку, змей подкольный! Надо отваживать, иначе не отстанет.

Валера был в больших претензиях к медведю, потому как тот наемдни изловчился и утянул самое дорогое из припасов. Мишка стащил любимую сгущёнку. И какую сгущён-ку: десять банок «Филимоновской» и пятнадцать «Назаровской»! Оставил раскуроченный горбовик, нетронутую тушёнку в количестве одиннадцати штук и расплющенные банки из-под сгущёнки.

Валера сидел на лабазе и соображал вслух:

— Ну и как косолапый умудрился сюда залезть? Это ж крепость неприступная, дядя Витя. Угораздило ж его самого себя превозмочь!

Парень грозил пудовым кулаком в сторону тёмной сопки и приговаривал:

— Ну ты и стервец, Потапыч! А ещё соседом называешься! В дверь по ночам ломишься, гостей пугаешь, шкодишь почём зря. Ни стыда у тебя ни совести! Я ведь без сгущёнки не жилец, если тебе легче от этого. Сlopал бы тушёнку, так нет — мою любимую сгущёночку оприходовал. Всё, я тебя после этого знать не знаю!

А медведь, и впрямь, ни одной банки с тушёнкой не тронул.

— Как он их различат? По весу, что ли? Или читать обучился? Газетки-то нет-нет да и попадутся в тайге. Кто под кустом забудет, а кто и нарочно выбросит. Вроде от веса лишнего избавился. А медведь, он отродясь любопытный, да и по рангу ему положено грамотку знать. Хозяин всё ж таки — статус, так сказать, обязывает...

И чо только в голову не залезет с досады! — удивлялся Валерка на свои мысли. — То ли я сам так рассуждаю, то ли это медведь мне свои идеи под кепку подбрасоват? Вот ведь хитрован... И чо тут скажешь? Заставлят уважать себя за такую смекалку.

Слабость у него, видите ли, к сладенькому... А я-то при чём тут? Мне тоже обидно с «бородой» остаться. Это ж кому сказать — какой раз обул нас на босу ногу...

А медведь разговелся на сыто брюхо, втихоря подтрунивает над мужичками и над собой:

— Не просто мне живётся... Ох, не просто при такой-то тяге к сладкому... Башку свою добровольно пчёлам отдаю на съеденье, лишь бы медком разжиться. Полакомиться вдоволь, а там — будь что будет. Не совладать мне с собой — ох, не совладать на этой почве. Надеюсь, поймёте меня и вы, люди добрые. Поймёте и простите. Соседи всё ж таки. Чай не первый год друг от дружки бегаем. А по большому счёту, привыкли — и вы ко мне, да и я без вас затоскую. Вместе-то веселей в северных широтах. К другим-то уж не привыкну. Сроднились мы с вами, крепко сроднились. Своими стали за столько-то лет взаимных уступок и обоюдного уважения. Почитай, с малых лет от беды вас стерегу. С понятием оказались — и вы с понятием, и я, слава Богу, с понятием. Всегда рад помочь дорогим соседушкам. Чем могу... — ухмылялся Мишка, с удовольствием облизывая «Филимоновскую» сгущёнку с волосатой лапищи. — Или это «Назаровская»? Точно «Назаровская». Она погуще будет «Филимоновской», да и на этикетке написано, вон... «Филимоновская»...

Медведь поглаживал «весёлое» брюхо и с лёгкой грустью припоминал былые времена:

— Виктор-то и сам в молодые годы любил почудить. У меня поначалу голова кругом шла от его придумок. Потом сообразил: не со зла куролесит соседушка. Это у него от натуры беспокойной и нрава весёлого «каблуки дымятся». Экология, опять же. Чистая она у нас, экология-то! Много кислорода, и природа живая. Сохранили тайгу кое-как, слава Богу!

Насмотрелся я на его представления. Бывало, уши огнём полыхали от нервов. В реку их кунал, чтоб не пыхнули, как лист прошлогодний берёзовый. Таки номера откалывал! Умом чуть не тронулся, пока по привычке к его повадкам... Привычкам ли, если на человеческий манер выражаться... Чудил Витёк в юности, да и в крепкие годы давал жару. Глаз да глаз за ним... Еле успевал приглядеть. Он, поди, думает, сны ему снились с моим участием? Ну и пушай себе думает. Что было, то было... мало ли. Так уж повелось промеж нас — удивляем друг дружку по очереди. Сегодня я веселюсь. Другой раз поглядим: кто кого опередит да что отчебучит. Так и живём бок о бок столь годов. Деды жили в мире, родители, да и детки уж подросли. Чего нам делить? Север большой! Места всем хватит, если чужих не пустим. Наши-то с понятием. И Виктор, и племянш его, Валерка, — хорошие люди, не злопамятные, отходчивые. С юмором, и выдумщики те ещё. Завтра с оглядкой буду ходить. Чо-нибудь удумают, чтоб повеселить себя и мне наkostenить понарошку.

Хорошо! Я тоже без злобы переживу ихнюю радость. Так и живём — без задних мыслей. Спокойно живём, надёжно. Когда в согласии, чего не жить-то? Без стрессов бы ещё научиться. Так нет же — сгущёнка эта меня с панталыку сбила. Пропади она пропадом. Ну да ладно, будет что вспомнить...

Рассуждал косолапый, икая и поглаживая урчащее брюхо. Он никак не мог уговорить себя и продолжал мысленно потешаться над Валеркой:

— Ничо, потерпишь. Нет, чтобы самому догадаться... Давно бы поделился своей «Филимоновской» и этой ... как её... ага, «Назаровская»! Тут же написано... А то «по весу, что ли, или читать научился?» А ты как думал? Конечно, знаем грамотку, да и соображаем не хуже вашего. Поживи-ка рядом с вами — и не тому обучишься...

Вы вот, догадайтесь, как я к вашему лабазу дорожку протоптал! Потеха с вами, соседи дорогие! По всему видать, сообразят в этот раз. Обозлил я молодого. Ох и рассердился он! Такой же сладкоежка, как и я, Валерка-то...

А лабаз — это простое и надёжное сооружение, как всё, что когда-то изобрели наши мудрые предки. Его главная цель-задача — уберечь припасы от любых посягательств со стороны ушлых соседей. Тут веками друг к дружке приспособлялись. Люди к зверю, зверь к человеку. К местному-то населению тот же медведь с уважением относится. Он видит: не прячет человек свои припасы по норам, не запирает на семь замков. Вот они, над головой. Метра на три подпрыгни выше ушей — и они твои. Но на то он и лабаз, чтобы Мишка уважал.

А делов-то... Всякий таёжник смастерит настил в виде палубы промеж трёх-четырёх сосёнок. Его только повыше надо задрать да закрепить понадёжней. Ну и сосёнки лучше подобрать потолще. Каркас собирают из крепких жердин. На него другие стелют, помельче, с вылетом поболее метра.

Мишка по стволу вверх легко карабкается, а тут на тебе — башкой в жерди и упрётся. Передними лапами тянется, тянется, чтобы за край настила ухватиться. И каждый раз срывается на землю с досадным кряком.

Жерди заострены книзу, когти скользят. За них и одной-то лапой не ухватиться, а двумя и подавно. Со стороны посмотреть на мишкины старания — умора да и только. Тут главное — мелочей не пропустить. Зверь — а это чаще медведь — обязательно найдёт слабинку — и всё, останешься без сладенького, как в этот раз.

А Валера продолжал ломать голову:

— Как он добрался до горбовика со сгущёнкой? Или стоял тот у края? Третий раз за месяц чистит лабаз. Издевается однозначно, дураками нас выставил на всю округу. Ну нет, я тебе устрою грустный финиш. В этот раз не сомневайся, сосед наш дорогой. Отольются тебе наши слёзы. Ох, отольются!

Валера понемногу успокоился и даже повеселел от знакомого чувства. Азарт!

— Косолапый от безнаказанности бдительность притупил. Внаглую прёт. Нам всё не с руки было. Дел накопилась по горло. Дела переделали — настал твой черёд, засранец плешивый! — хохотнул парень на сопку.

Сапёр и разведчик, он готовился к ответному ходу. Внимательно осматривался, изучал подходы и уже что-то заприметил подозрительное.

Дядя Витя тоже расхотелся не на шутку. Заело самолюбие у бывшего охотника:

— Утёр нам Мишка соплю лопатой. Эх ты, растуды твою туды, обнаглел басурман немый! Ну, гляди мне, попадётся под горячую руку, закатаю я тебе промеж ушей кругляк свинцовый. Ох, доведёшь ты меня до греха!

А сам покрикивал на парня:

— Ты сюда слухай, Валерка! Опять ведь кобенится. Или запомнил, как в прошлом годе дверь на зимовьё шиверни-навыверни примостырил, а ночью с Мишкой боролся по разные стороны баррикад? Он к тебе на чай просился, а ты чой-то не захотел сахарком поделиться. Руки-то он из тебя до полу повыдёргивал. Еле на место потом приладили. Забыл, чо ли?

Валерку аж передёрнуло от воспоминаний:

— Да помню я, помню, дядя Витя. Мне тот год за три зачтётся, а то и за все пять. Будь она неладна, дверь эта...

А дядя Витя настаивал на своём:

— Выноси край лабаза подале, тебе говорю, и жерди пуще книзу стещи. Чтоб зацепа для когтей не оставить. Пушай корячится под облаками, а потом летат оттель белым лебедем, пока бока не изжулькат. О пеньки рёбрами зыкать и ему, поди, не с руки.

Шумел дядя Витя, тыча ухватистым прокуренным пальцем на настил:

— Вот стока пригорода, слышь ты? — рубил он ребром ладони в изгиб локтя.

Валерка прыснул в усы:

— Знатный размерчик. Понял я, понял... Не надо мне сто раз повторять, дядя.

К медведю на воле отношение иное, нежели в цирке или в зверинце каком. Медведь совсем уж не стандартного поведения зверь. Не зря его хозяином тайги окрестили. Тут для него законов писать некому, он сам себе закон. Лишнего не возьмёт, но и территорию свою стережёт зорко. Наказывает редко, да и то, если непонятливый какой, настырный, или совсем тупой под грозну лапу попадётся.

Народ местный его привычки давно выучил, поэтому проблем промеж своих почти не бывает. Медведь своих за своих и принимает.

Валера приподнялся на лабазе и распрямился во весь рост. А росту парень был богатырского. Ни много ни мало под два метра. И если нарядить его, к примеру, в медвежью шкуру, то от Мишки сходу и не отличишь. Да и силушки ему за пятерых отмерили, а то и за всех шестерых. Кто её подсчитывал — его силушку? Хотя, нет, вру, в прошлом годе попытались подсчитать. Но это отдельная история...

Парень внимательно присматривался к кустам вокруг лабаза. Сантиметр за сантиметром изучал местность, потом обратил внимание на сам лабаз, и сразу бросилось в глаза подозрительное.

— А это ещё что за новости такие?! — воскликнул парень.

И правда, между жердями застряли обломанные ветки берёзы с пожухлыми листочками. Откуда они тут взялись?

— Ты, дядя, наверху веником берёзовым не шурудил случаем?

Дядя Витя глаза выпучил:

— Ты кого городишь, племяш? Какой веник? Нет, конечно. Делать мне больше нечего, как с веником по деревьям скакать.

Лабаз от зимовья метрах в тридцати схоронился — между рекой и сопкой. От реки не видать. Тут кусты черёмухи стеной стоят. А от сопки и подавно некому любоваться.

Это охотники так рассуждали, когда продукты целёхонькие были. Сегодня другое дело.

Валера внимательно осмотрел сопку, что напротив, и обратил внимание на неприемный выступ. Он вроде балкона, террасы ли из склона выпирал. На балконе том три берёзки примостились. Крайняя справа толстовата будет, средняя — в самый раз, которая слева — совсем жиденькая.

— Дядя Витя, если всё так, как я подозреваю, то Мишка наш просто профессор! Клянусь, я из трёх банок сгущёнки одну ему буду выделять в знак признания его высокого культурного уровня.

— Ты это о чём, племяш? — поинтересовался дядя, а сам быстрёхонько перебирал варианты.

— Не может быть... — прошептал он.

— А ты сам попробуй пригнуть среднее деревце в мою сторону.

Дядя Витя только крикнул:

— Да неужто додумался до такого поганец хитрожо...?

Ворча всякую всячину, охотник добрался по склону до берёзок. Он только руками развёл:

— О-о-о... ё-о-о...

На бересте виднелись следы от когтей, а мох вокруг был притоптан и разворочен.

— Старался, видать, упирался тут на славу, — усмехнулся дядя Витя.

Он поднатужился и потянул ствол берёзки на себя, но деревце не поддалось. Тогда внимательно осмотрел ветки, ствол, кору.

— А он ведь хитрован тот ещё. Допёр, что надо ближе к верху ухватиться. Глянь сюда. Когти-то почти на середке оставил. Тут она ему и поддалась. И как угадал-то, как раз в край выступа задними лапами упёрся. Ну и давай шурудить по нашему лабазу берёзовым

веничком, как ты говоришь. Горбовик-то одним махом смёл, а мешок с мелочёвкой за су-чок зацепился. Во чертяга ушлый... уважаю!

— Чо делать-то будем? Может, берёзу спилим? — спросил Валера.

— Не-е-е... мы ему тем же макарон нервы испортим. Мешок и горбовик к жердям накрепко примотаем. Пусть и он покопытит. Если прикормить, как ты мечташь, обнаглет однозначно. Придётся чо? Правильно, в конфликт вступать. А так, может, покряхтит да попустится. Уйдёт своей дорогой подобиру-поздорову. Вот тебе и зверь! Человек бы умней не придумал!

А косолапый послушал-послушал — и ушёл. Да и как не уйти, когда весь разговор, слово в слово... Хохотнул, потянулся с удовольствием и ушёл. Недалече, правда. Тут его земля. Ему и решать: куда идти, а где остановиться.

Подумал только про себя: «А ходить с оглядкой буду. Накостылять не наkostenяют, зато пакость какую сочинить — это они мастера... Факт! За ними не заржавеет. Особенно старший! Ухо надо остро держать. Валерку только жалко — ишь, как убивается без сгущёнки. Ладно, так и быть, выручу».

Медведь не спеша спустился к речке. Мучила жажда. «Видать, переел сладкого. Пить охота — мочи нет!»

...Утром дядя Витя распахал Валеру ещё до рассвета:

— Вставай, племяш, получи посылочку!

Когда Валера вышел из зимовья, он увидел дядю с двумя банками сгущёнки в руках. Тот ржал, как жеребец, и приговаривал, икая:

— Эт-т-то тебе передатка от кос-с-солапого! Одна банка «Филимоновской» и одна... охо-хо-хо... «Назаровской». Он их чуток поцарапал. Видать, когда читал, то когтём водил по буквам. Ну, примерно, как мы с тобой в своё время.

«Охо-хо-хо!..» — хохотали вместе и от души дядя Витя и Валерка. А из кустов черёмухи им вторил густым басом и тоже хохотал их весёлый сосед — Потопыч.

Хорошо, когда с понятием — и зверь с понятием, и человек тоже с понятием.

— Ты слышишь кого, дядя Витя?

— Да, слышу я, слышу... Мы, почитай, лет двадцать друг дружку слушаем. Хороший сосед, добрый, но больно шкодливый. Весь в нас с тобой.

И снова: «Охо-хо-хо!..» И в ответ: «Хо-хо... Охо-хо...» Из кустов черёмухи... басом...

Ефим

История эта по весне приключилась. В аккурат у нас картошку сажать собрались. И надо ж так угадать было — подвезли семенную с Большой земли. Особый сорт вывели для нашего Севера. Давно обещали. Не прошло и года, доставили. Народ радуется. Вся деревня, считай, собралась у магазина. Мужики покуривают, бабы языки точат, девки зыркают глазищами, парни подковами искры высекают, старики кряхтят, ребятишки шныряют туда-сюда — все тут. Кто с кулями, кто с корзинами, другие ведрами гремят. Шутки, смех, подковырки. Настроение хорошее, одним словом.

Тут эта оказия и вышла.

Живёт у нас на деревне мужик — его Ефимом кличут. Женат на якутке коренной. Расторопный мужичок во всех отношениях. И земли у него родовые имеются (жена-то якутка), и послабления для охоты и рыбалки у Ефима за милу душу. Он вроде и не якут, а с другой стороны, — да хоть с какой на него любуйся — самый натуральный якут и есть. Рыбак и охотник заядлый. Без тайги ни в какую. Тут большинство так рассуждают: всё, мол, стерпим, пока живёт тайга родимая...

И была у Ефима страсть такая — не страсть даже, а самый что ни есть натуральный талант. Мастак он был большой споры разные выигрывать. Да чего там «был» — он и сей-

час в порядке. Говорят же: знал бы прикуп, жил бы в Сочи... Ефимка знал! Правда, Сочи ему по барабану. Был он в тех Сочах в молодые годы пару раз — вспоминать, говорит, неохота. «Баня общественная — те Сочи ... — так и говорит, — вонь, пот, толкотня и народу вроде гнуса на нашем болоте — глазу негде передохнуть».

А задумал Ефим Валеру нашего «частым гребешком причесать». Имел он давний зуб на дядю Витю. Тот лет десять тому назад спор выиграл у Ефима. Об этом и не помнил уж никто, но только не сам Ефим. А спорили на ящик водки. Надо было с четырьмя мешками картошки на горбушке пройти десять шагов. Каждый шаг — литр водки. Дядя Витя прошёл в тот раз.

Эта «заноза» Ефиму покоя не давала. Зудила и зудила. А тут случай подвернулся. Подзадорил он мужичков — мол, за исход ручаюсь. Стопроцентный навар предвидится. А мужики по опыту знали: с Ефимкой спорить — себе дороже. Его на мякине не проведёшь, потому и приняли его сторону.

Спорили на ящик водки, как и десять лет назад. В магазин завезли «Столичную». На вкус водочка — аж сластит. Не катанина палёная — натуральный продукт, качественный. Лишились мужички всякого покоя и душевного равновесия. Такой водкой лет двадцать как нутро не радовали. Давно уж на самогонку перешли всей деревней, потому и мозги сберегли, да и здоровье, слава Богу, в порядке.

А водочки дармовой страсть как охота, а она денег стоит. А деньги в наших краях на вес золота. Порох, свинец, снасти для рыбалки — это кровь из носа, в лепёшку разбейся, а купи. Без этого пропадёшь с тоски. С голоду может и не того, а вот без тайги родимой загнёшься однозначно.

А тут и мотор на лодке пора менять, кому и лодку, тому снегоход, другому ружьё новое, да мало ли... Не до баловства, в общем. Грех — лишний рупь на водку тратить.

Хотя, чего душой кривить, и у нас бывает — уходит какой мужик в запой кромешный. Тут уж совсем другой жизненный отсчёт. Каждый поймёт — есть причина, образовалась ни с того ни с сего. Или наоборот — поджидала беда, крепла день ото дня, захлестнула, как петелька на шее. И нет никаких сил с ней по-трезвому ладить. Устали силы терпеть... кончились силы...

Валеру аккуратно к спору подвели. Охотники — они умеют капканы да петли расставлять. Так всё обустроют, что и волчара матёрый не успеет глазом моргнуть, как на берёзке повиснет. Обидно, когда в капкане или с петлёй на щиколотке. Под картечью — тут ещё надо поглядеть, кто кого. А так нечестно это, обидно до слёз...

Так и с Валерой: слово за слово — и ты вдруг по уши в «теме». И тоже, как тот волчара, до слёз... и никак, чтобы на попятную.

Дядя Витя только руками всплеснул: «Ну, племян, попали мы с тобой в переплёт».

А Валерка ухмыляется... как полоумный... Потеха с ним!

Мужики руки потирают, подбадривают — мол, молодец фронтовик, держит марку, — перемигиваются, слюну сглатывают, губы облизывают.

Соорудили для такого дела приспособление навроде коромысла. Подцепили к нему шесть кулей картошки. Не четыре, как в прошлый раз. Смотрят на Ефимку, ждут распоряжений.

А Ефим условия спора диктует: «Если ты, к примеру, восемь шагов шагнул с кулями на горбушке или шесть, то с тебя ящик водки причитается. Ну а если вдруг ты после десяти решил дальше идти, то дальше только десять! Иначе — с тебя опять же ящик водки и плюсом столько литров, сколь во второй десятке нашагал».

То есть надо только по десять шагов прибавлять — по ящику «Столички», одним словом.

Мужики приподняли «коромысло», Валера подсел...

Мешочки подобрали крапивные — по семь вёдер в каждом. Прикинули на вес — и дружно хохотнули. Были уверены: сковырнётся парень на первом же шаге. Куда с таким весом разгуливать!

И только один мужик в споре не участвовал — Володька! Ухмылялся тихонько и покуривал в сторонке. Он по зиме с Валерой на пилораме листовенничные баланы на доски

распускал. Рамщики под хмельком были. Мороз за пятьдесят. Тут без сугреву никак — за-дубеешь вмиг. И надо ж было случиться — соскользнуло бревно с двух тележек разом. Мужики и так и сая. Ни в какую!.. Бревно в обхват толщиной. Шестиметровые подобрали — один к одному бревёшки... Постав на раме до отказа раздвинули. Мат, нервы... сопли о землю...

Подходит Валера, подхватывает бревёшко с толстой стороны — со стороны комля. Мужикам на другой конец кивает. А их четверо, Володька пятым пристроился. Мужики глаза повыпучивали, когда Валера легонько так бревно назад на тележку погрузил. Они впятером никак, а он в полторы руки, будто мешок с опилками приподнял игрушечки. Потом отодвинул их в сторонку и другой конец тем же макаром на вторую тележку закинул...

Почему в полторы руки? А левая у Валеры осколками покалечена. На ней только три пальца и осталось. Со стороны недостатку совсем даже незаметно. Приноровился Валера. Ловко управляется с разными таёжными предметами, а с ружьём и подавно. Да чего там — мастерски управляется. Он и пятерым фору даст в любом деле, да и вшестером за ним не поспеть.

Он и тут — приподнял «коромысло», качнулся малость из стороны в сторону, поймал равновесие и зашагал, будто баба от колодца полны вёдра чистой водицы понесла. Спокойно пошёл, вразвалочку. Задницей только покручивает. Для форсу, что ли? Умора с ним — с Валерой этим...

Отмерил десять шагов, постоял и ещё десять шагнул...

Куда деваться? У мужиков слюна на губах повысыхала. Засосало под ложечкой. На Ефима глазами зыркают. Под чубами у мужиков предчувствия нехорошие. С каждым Валеркиным шагом кулаки всё пуще и пуще свинцом наливаются. Ох и накомстыляют они Ефиму — как пить дать накомстыляют!

Но спор — дело святое! Два ящика «Столичной» — вынь да положь! Царский подарок! Считай, на весь сезон запаслись друзья-товарищи-родственнички оканные качественным продуктом. Смех и грех с этим Валеркой, да и с дядькой его тоже не соскучишься. Умыли Ефима, и мужиков умыли. Вот вам и «задарма», «рупь на водку грех менять», «сластит водочка»!

А кто её пробовал? У этих и спросим как-нибудь. Будь они неладны, шулера закадычные!

А мы-то раскатали губу, «на халяву» позарились. Тьфу ты... растуды твою туды... Не запить бы с горя!

Дядька Витя в молодые годы и сам по десять шагов отмерял. В этот раз племянник подсобил. Здоров парняга!

Валера ведь ещё на десять шагов нацелился. И прошёл бы... Отговорили его мужики. Дружно отговаривали. Чуть было сами на «коромысле» не повисли. И повисли бы. Куда столько «Столички» в одни руки? Да и магазин осиротет без водки.

Этого быка трёхпалого не остановить, так он не один километр отшагал. Медведь столь не упрёт зараз, сколь Валерка на горбу везёт. Шулер! И старый — шулер, и молодой подстать старому уродился — натуральный шулер...

Эх, Ефимка, разминай бока — кулаки исчезались, никакой мочи нет!..

Август в Сибири

Светает. Серая полоска у горизонта незаметно меняет цвет на мутно-голубой.

И вот небеса, будто умывшись росой, на глазах превращаются в шёлковый шатёр, через прозрачную белизну которого на землю просвечивает бледная луна, не успевшая спрятаться в утреннем хороводе исчезающих звёзд. Слава Богу, у меня есть этот день. Пусть он будет не последним, так хочется увидеть себя и завтра, и после... по эту сторону луны.

Совсем рядом оранжевым всполохом ворохнулось долгожданное солнце. Оно по-кошачьи, мягко прокралось за сопкой, покрытой синим лесом. Ещё миг — и тёплые лучи

весело брызнут блестящей росой на луга и сады. Вспугнут в глухих распадах дремлющий туман, и он растечётся густым облаком, заглывая деревья, избы, бани, собак, коров, лошадей и не успевшего прокукарекать петуха. Туман скатится с берега и заскользит дальше, перегоняя реку. Он растёт, сливается с небом, закрывает солнце. В этот раз он обязательно проглотит нашу окаянную Сибирь... всю без остатка. Ему надо спешить, пока солнце не проснулось окончательно. Сегодня получится, сегодня Сибири не станет, он спрячет её от людей.

Ночи в августе такие короткие. Сытой ленью перекормлена природа. Жирный аромат трав, запоздалых цветов, грибов, ягод, пожухлой листвы, смоляной дух хвои, шишек, перемешанный с запахом сырого моха, прелой спелостью дурманит сознание и возвращает меня в детство.

Природа не успевает отдохнуть до рассвета. Она похожа на счастливую бабу, обессиленную за ночь от безумной ласки, разметавшуюся на постелях из душистых трав и не в силах пошевелиться, чтобы как-то прикрыть своё прекрасное тело.

Ничто не заканчивается — всё остаётся с нами от первой до последней минуты, и снова... к первой. В этом наше счастье и несчастье, радость и печаль тоже в этом.

Позади глубокая чернота ночного неба с яркими звёздами, тяжёлым ковшом и задумчивой луной. Августовские ночи томят и волнуют не только юные сердца.

Старики — они стоят по другую сторону молчаливой луны и тоже мечтают о любви.

Бессонные ночи залиты белым светом, холодным и молчаливым — пугающе спокойным и завораживающе таинственным. От него не укрыться, он пожирает наш сон. Мы смотрим друг на друга... они и мы. Мы никогда не расстанемся навсегда — мы знаем это наверняка...

Для луны нет секретов.

— А туман?

— Туман спешит.

— Успеет?

— Успеет, обязательно успеет.

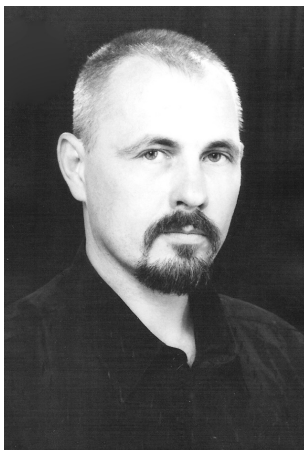
— Туман или солнце?

— Скоро узнаем.

Сегодня я молод, стою с привычной стороны луны. Завтра на моё место придут помолодевшие старики, а я вместо них окажусь по другую сторону и так же, как они, буду мечтать о любви, чтобы снова вернуться... испытать... и, не отрываясь, смотреть и смотреть на обессиленное от безумной ласки любимое тело...



АНДРЕЙ МИРОШНИКОВ



Осенних веток письма...

* * *

Между богом и Босхом,
в забытой любовью дыре,
Между верой и ветром,
крутящим опавшие листья,
Выгораешь дотла на осеннем
промозглом костре.
Умирают мечты.
Разбиваются волны о пристань.

Между морем и степью,
в излѣжанной сонной глуши,
Где полынь и песчаник
напитаны солью и йодом.
Почему-то с руки
пропадать и быльѣ ворошить,
Ожидая от ветра — ответа, у моря — погоды.

Между Вами и мной
притяжение близко к нулю.

МИРОШНИКОВ Андрей Георгиевич родился в 1963 г. в г. Змеиногорске Алтайского края. Жил в г. Шевченко (Казахстан) и в Москве. Печатался в журналах «Сельская молодежь», «Литературная учеба», «Юность», «Простор», в альманахе «Истоки». Автор двух поэтических сборников «Сны» (1998) и «Каменный ангел» (2002). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

Только дальняя боль,
 точно занавес тайного вздоха,
Только низкое солнце,
 как плотно задраенный люк.
Если выхода нет — это значит
 сменилась эпоха.

Между «здесь» и «тогда», раздираемый напополам,
Где всё чаще слышны голоса,
 поглощённые прошлым,
Где ещё не готов от себя получить по делам,
Но достойно принять поражение
 становится проще.

Между входом и выдохом —
 где-то в двух третях пути,
Уж не бросишь до завтра —
 сидишь над листом до рассвета.
И не жизненный смысл,
 а строчку пытаюсь найти,
И не ставишь вопросов —
 давно очевидны ответы.

Между болью и далью —
 натянутой нервной струной —
Ни покоя, ни сна — колебания,
 трепет длинноты.
Вот и голос высок.
 Но всё крутит с улыбкой дурной
Шестерёнки настройщик —
 он ищет предельную ноту...

* * *

К Игорю Михайлову

Я пропадаю пропадом. Давно
На улице и сыро, и темно.
Привычно затянувшаяся осень —
Как будто ничего ни до, ни после —
Сплошное чёрно-белое кино.

Я пропадаю пропадом давно.
Выбрасываю прошлое в окно,
А будущим закусываю водку.
Душа погоде отдана на откуп,
А парки суетят веретено...

От Северной Пальмиры далеко,
Но дух её течёт из облаков.
Но, несмотря на расстояние, всё же,
И эта грязь, и этот снег похожи —
Так перепутать в сумерках легко...

Я пропадаю пропадом давно.
С небытием играя в домино:
Едва к Аиду собираюсь в гости —
Мне выпадают выгодные кости...
А парки — вяжут нитки в полотно.

1

Как белый всадник чёрного коня,
Седлает снег нахохленные ветки.
И в пору крикнуть: «Поднимите веки!»
И впору в полдень требовать: «Огня!»
И плющить рост, и гнуть устало стан,
И опускаться тяжело на колени
Под грузом неба, пасмурной Вселенной.
А если нет — держаться как Титан.

Крыло циклона, город зацепив,
Теряло перьев ломкие алмазы.
Их красоту, невидимую глазом,
Никто не торопился оценить —
Настала ночь. И фонари зажглись.
Настало время горечи безмолвной.
Из темноты невидимые волны
Неслышный шелест бережно несли.

И сон не шёл. И тяготила явь.
И не хватало воздуха и чуда.
Манили сердце к северу отсюда
В её так долго зимние края.

А время шло и ускоряло ход,
И колесом стремительно катилось.
Ему вдогонку сердце колотилось
В предчувствии невиданных стихов.

И строки шли, и за окошком снег.
И гнулись ветки чёрные акаций,
И мёрзли в лед натруженные пальцы,
И было впору греть их на огне.
За словом слово, за строкой строка,
Штрихи сложились в полную картину.
Оформилась тоска — Екатерина,
Определилась горечь — далека.

Повинных вый железо не сечёт.
И жар фатальный не загнать под панцирь —
Её глаза увидеть, тронуть пальцы,
И ничего не принимать в расчёт:
Ни лет своих, ни трезвого ума,
Ни разочарований, ни болезней,
Но бес в ребро, и этот бес — последний,
Как некогда холера и чума...

2

Марали строки лист черновика,
Заполняя чистое пространство —
Бумага терпит, но не панибратство,
Но не прощает лишнего штриха,
Пустых затей, чернильной болтовни,
Неточных черт да около кружений,
Несовершенных строк нагроможденья —
Чем больше строк, тем меньше толка в них...

Не доиграть на лопнувшей струне —
Блокнот исписан. Кончились листочки.
Но ни единой настоящей строчки,
Достойной той, что в северной стране:
Её глаза и голос, и черты,
Как верный знак — она небесный ангел.
Моим словам недостаёт огранки,
Им явно не хватает высоты,

Свободы птичьей, теплоты лучей,
Ручьёв веселья, дерзости побегов...
А утончённость мертвенного снега
Давно Её не радует очей...
И на балконе, в мусорном ведре,
Я жёг листы, исписанные мелко.
Огнём топило зимнюю побелку,
Но не смело руки отогреть.

Пришёл рассвет. А с ним — собачий лай,
Мотора кашель, голоса соседей.
И было впору прочитать по следу,
Что им, бескрылым, нет давно числа.
Спугнуло снег с акаций вороньё,
И обновляло снежные покровы.
И я молчал, вынашивая Слово,
Достойное Величества Её.

* * *

Вот-вот опять начнутся холода —
Гудят мои натруженные руки.
Вагончик пьёт. Спасается от скуки,
И маты посылает в никуда.

Журнальная картинка из «Плейбой»
В огранке самодельного багета,
Над койкой безымянного аскета —
Красавица, входящая в прибор.

Рождённая в тропическом раю,
Принцесса пляжа, дочь природы дикой,
Беспечная, глаза, как голубика...
Вы оказались в северном краю.

Я потерял здесь дюжину зубов,
Я почернел от дыма и чифирия.

Я — просто бич. Увы. А вы — мисс Мира.
Выходит, воплощённая Любовь.

Вам нравятся полуденные сны,
Огни фиест, вечерние фасоны,
Загадочные важные персоны,
Предчувствие и привкус новизны.

Вы молоды. Вам нужен фейерверк,
Полночное вино, цветы и песни...
У вас в раю таким, как я, нет места —
Я слишком крупный и матёрый зверь.

Вас изжуют большие города,
Меня поглотит топкая глубинка,
Где ягода такая — голубика,
И золотонесущая руда.

Дом

Обездомлен — бездолен.
Бескровен без крова, ничей.
Вот и розы, как розги,
и слава не лавры, а свалка.
Ты не Мастер, маэстро,
когда не имеешь подвала.
А в подвалах,
пускай при свечах, — не ловчее бичей.

Ох, как тянет домой
и стерильной метельной зимой,
И в пыли тополей
високосного душного лета...
Только вертят кругами
безбожно попутные ветры —
От свободы до водки,
от золота к злу, на седьмой.

Вот окрест — благовест,
как крестовая месть —
За червивую веру,
за постук в шаманские бубны.
И набатом: ДОН! ДОМ! —
«Возвращаюсь!» — как взятка по крупной.
Отслужи не по лжи! —
только места не будет для месс.

Ах, как тянет домой.
В домовину ли? —
Только бы с толком —

* * *

Покидая Москву, от Казанского еду вокзала,
Поглощая глазами сырой заоконный пейзаж.
То ли я Вас любил, то ли мне это только казалось.
Еле тащит вагон расставания тяжкий багаж.

За окном всё быстрее мелькают кварталы окраин.
Вот и станция «Выхино» — долго здесь гостем я жил.
Мне не поздно сойти.

Рядом красная ручка стоп-крана...
Прочь, иллюзии, прочь!
Слишком правильный я пассажир.

...Поезд катит к Рязани, и полки застелены серым.
Перевалим за полночь —
к рассвету должно полегчать.
Угощаясь взаимно, попутчики тянут вечерю.
Собеседников много, но хочется только молчать

и смотреть за стекло
безучастной тропической рыбой,
растворясь в темноте,
вечной спутнице страхов и краж,
в перестуке колес, бормотании, храпе и хрипах,
и досматривать память, таможней копая багаж.

Я приеду домой,
оглушённый своим возвращеньем.
Между двух берегов
надо с выбором как-то кончать
и смиряться, как все.
Но, внимая своим ощущениям,
я, похоже, любил Вас.
Но буду об этом молчать.

* * *

Галине

Между нами океан
лет,
Только звёзды, словно сталь
брызг.
Между нами ничего
нет,
лишь нетронутый пером
лист...
Между нами проводов
звон
И навеки горизонт
чист.
Только накипь радио-
волн
И нетронутый пером
лист.

Между нами тишина
недр,
Бесконечная её
песнь
И на свете никого
нет,
Кто сказал бы: «Что-то тут
есть...»
Никому не посмотреть
вслед —
Так надёжно нет следов
нас.
Да и тот, кто мог смотреть, —
слеп,
И мы оба — разных два
сна.

Есть река, а берегов
нет,
Нет убежища и нет
лиц.

Лишь тончайший, словно он —
нерв —
Лист. Нетронутый пером
лист.

* * *

Даже если снег лавиной —
Будет всё не так, как прежде,
Будет всё наполовину,
А любовь утратит нежность,

Что нашла ты, отыскала
В муках, терниях и корчах...

В неизвестность зубы скалит
Чёрный пудель зимней ночи.

Белым зноем сон занает,
Заболит истомно-тонко,
И заплещет за стеною
Белый шут ночной позёмки...

Предчувствие

Так низко пролетает самолёт,
И кажется, что он сползает с крыши.
А небо, как материковый лёд —
Всё тяжелей, всё пасмурней, всё ниже.

И крошится на полочке фарфор
Под натиском чудовищного пресса,
И ужас вызывая, и восторг,
С желанием ещё разочек «врезать».

Разрушенные замки из песка —
Виденье, вызывающее ярость.
Похожая на реквием тоска,
Тоска и подступающая старость.

Жестокий и мучительный процесс,
Сравнимый только с медленным убийством,
Неблагодарный труд, тяжёлый крест —
Прожить неизлечимым реалистом.

Нет силы одиночества сильнее,
Когда святому не хватает места.
И горечь, растворённая в вине, —
Последнее, невыгодное средство.

Отрава, неспособная помочь,
Дарующая балаганный трепет...
А за окном — серебряная ночь,
Податливая, тёплая, как пепел.

* * *

Вот и осень. Холодно и сыро.
Жизнь с нуля — подарок или месть?
Я кочую по чужим квартирам,
Где пока хватает тёплых мест.

Ни семьи, ни Родины, ни флага.
Ни надежд, ни страхов, ни любви.
Все моё Отечество — бумага
Без печати с оттиском «Живи».

Только те, кому бывает тяжело,
Могут Бога за меня молить,
И отдать последнюю рубашку,
И ломать последний преломить...

Этот город сыт. Надменен. Мрачен.
С пятнами неона на лице.
Я дышу, как загнанная кляча,
На Садовом захромав кольцо.

Мутный дым Отечества не сладок.
Он ли над чужбиною витал?
И суровый основатель-всадник
Долгоруко посылает вдаль.

Улыбнувшись мёртвому свеченью,
Словно оглянувшись на угли,
Ухожу на новое кочевье,
Плавню отрываясь от Земли.

* * *

Разорённые окраины горят,
Нет конца победной маленькой войне.
И сидят под первым снегом января
Пацаны у бэтэра на броне.
Снег стыдливо укрывает почерк зла:
Кровь и копоть, грязь и пепел, смерть и дым.
И растерзанные мёртвые тела —
Молчаливые свидетельства беды.

Снег идёт. Он вышних сфер парламентёр,
Белым флагом опускается с небес.
И не выстрелить, прицелясь, с ближних гор,
И бессильны штурмовые ВВС.
Кто тут Авель, кто тут Каин — всё одно.
Кровь за кровь, да зуб за зуб, да глаз за глаз...
Смотрит страшное нелепое кино
Безразличный от усталости спецназ.

Сквозь провалы окон пристально глядит
Затаившийся безжалостный Кавказ.
Первый снег войны испуганный летит,
Но однажды он обрушится на вас —
Не минует, не забудет, не солжёт.
Он настигнет, точно пуля между глаз,
Он навалится, придавит, обожжёт,
Поломает, изувечит. Он воздаст

Всем, кто руки грел на адовом огне,
Поднимая ставки акций биржевых...
Тает снег на догорающей броне
И на лицах у пока ещё живых.
Бронетехника натуженно гудит,
И погоду хрипло матом кроет связь.
Но растёт ветхозаветное в груди:
«Кровь за кровь, и зуб за зуб, и глаз за глаз».

Кто-то свыше умоляет перестать,
Но никто не поднимает к небу лиц.
Занавесил воздух крошечный десант —
Снег-романтик, снег-толстовец, пацифист.
Но расчерчивают вечер трассера,
Оставляя след на рыхлом полотне.
Засыпает мёртвым снегом января
Пацанов на нескончаемой войне.

Он летит с необратимостью судьбы,
Всё, что будет, — неизменно, решено.
И кому-то показалось — Бог убит
Неизвестной пулей, выпущенной в ночь.
Снег летит из загустевшей темноты,
Слепит фары и глаза — твоя взяла!
Он пречист, как госпитальные бинты,
И тяжёл, как похоронная земля.

* * *

Ты всё смеялся, всё шутил,
Разыгрывал и балагурил.
И твёрдо верил: пуля дура,
А жизнь — как поле перейти.

Так просто всё и без затей —
Ни гибель не грозит, ни раны.
Там, за последним полем брани,
Томятся тысячи путей

И ждут живые города,
Любовь, друзья, семья, работа,
Вино и танцы по субботам,
Мотоциклетная езда.

Живи без края и без дна —
Весна! Вот-вот отступит холод...
...Нам надо было выйти к школе
И закрепиться дотемна.

Но точным оказался глаз
В прицеле снайперской винтовки.
Ты рухнул на спину неловко
В чужую мартовскую грязь.

...А по селу катился бой —
Мы шли, перебегая, к школе,
Мы перешли чужое поле,
Не перейдённое тобой...



ЮРИЙ БАРАНОВ



Чаша неба

РАССКАЗЫ

Сильва

Дмитрий Яковлевич пытался проснуться и не мог. Рассветное солнце тяжёлыми яркими бликами давило на веки, вытаскивая из забытья, но вязкая паутина сна не отпускала. Да и сам он не торопился вынырнуть из сонного морока с его видениями, раз за разом переживая минуты, мгновения того прощания и потери, которым не находил оправдания. Сколько лет прошло, а ничего не стерлось в памяти! Казалось, любая рана заживает, но заживление её сопровождается мучительно-сладким желанием потрогать, слегка почесать саднящую корочку подсохшей сукровицы. Вот Дмитрий Яковлевич во сне и теребил свою так и не зажившую, вечную рану, с той лишь разницей, что в зыбком мареве сна он мог всё изменить и направить в другое русло. Только проснувшись, в очередной раз ощущал, что ничего изменить уже нельзя — жизнь прожита, как прожита. Словно ветерок прошёлся по пшеничному полю, всколыхнул золотую волну и затих, опал, теряя силу, растворившись в прозрачной, солнечной пустоте.

БАРАНОВ Юрий Иванович, прозаик, поэт (род. в 1946 г. в г. Замостье, Польша). Автор книг: *Медвежий след*: рассказы (Иркутск, 2005); цикла детских сказочных историй об Иркутске; сб. стихов для детей *На улице Рябиновой* (Иркутск, 2011); *Гимна Дальней авиации России* (был принят официально в 2004 г.). Лауреат международной литературной премии им. П.П. Ершова (за книгу *Иркутский драгун Лёшка, или Тайна Наполеона*, 2013 г.). Член Союза писателей России.

Уже выходя из сна, понимая, что пробуждение неизбежно, он мучительно застонал, пытаясь вернуть тот счастливый, придуманный им финал. Но сон уже лопнул, и его осколки брызгами разлетелись в стороны, освобождая место реальности.

Пока Дмитрий Яковлевич умывался и брился, разглядывая себя в зеркале, он ещё раз, словно фрагмент кинофильма, прокрутил в памяти обрывки сна. Из зеркала на него глядел старик: пигментные пятна на висках, заметные залысины со лба, густая седая грива сзади, глубокие морщины от крыльев носа.

— Э-э-эх! Глаза б мои не глядели, — хмыкнул он.

Дмитрий Яковлевич перевёл взгляд в окно, из которого виднелось залитое солнцем заснеженное поле, далёкий лес и сопки, поросшие густой шерстью сосняка. Смотреть на эту картинку было приятнее, чем на себя в зеркале. Пейзаж за окном успокаивал в любую погоду. Поэтому, заваривая чай, Дмитрий Яковлевич нетерпеливо поглядывал в окно, как бы дожидаясь той минуты, когда можно будет исполнить ежеутренний ритуал. Эдакую чайно-пейзажную церемонию. Говорят, что японцы в доме вешают только одну картину, но меняют ее в зависимости от времени года. Для восстановления душевного равновесия, задержавшись на службе в какой-нибудь конторе, усаживаются они, подогнув ноги, на циновке перед картиной и подолгу смотрят на неё — медитируют. А тут и менять картину не приходится. Она сама меняется в зависимости от того, что за время года на дворе. Заснеженное поле зимой и ранней весной у подножья сопки завораживает не меньше, чем рваные клочья облаков над влажным осенним разноцветьем леса.

С наслаждением прихлебывая ароматный крепкий чай, Дмитрий Яковлевич открывал в себе невидимые шлюзы, впуская в душу потоки солнечных лучей, отражённых ещё не растаявшим ослепительным мартовским снегом. И это жаркое весеннее солнце, и горячий чай из любимого стакана с подстаканником, который жил в его доме с незапамятных времён, успокаивали.

После завтрака, тщательно одевшись, Дмитрий Яковлевич вышел из дома. Он ещё не успел открыть двери, как от калитки к нему бросился дворовый пес Гриня, радостно виляя хвостом, подпрыгивая, норовя в прыжке лизнуть хозяина в лицо.

— Ну не собака, а чисто кенгуру, — нарочито строго проворчал Дмитрий Яковлевич. Однако Гриню погладил, приговаривая: «Хороший, хороший пёс». Пять лет назад в лютую январскую стужу подобрал Дмитро замерзающего щенка, нарушив зарок, данный много лет назад самому себе, — не заводить собак. Щенок подрос и оказался не чистых, но весьма хороших кровей. Вероятно, помесь немецкой овчарки с лайкой. Сторож из приبلудного щена получился знатный. Чужих чуял за версту и начинал злобно лаять, подпрыгивая выше забора, чтобы увидеть того, кто приблизился к охраняемой территории. На улице Луговой, где жил отставной полковник Дейнеко, почти все держали собак. Народ позажиточней обзаводился кавказцами или среднеазиатскими овчарками, а прочий люд держал на цепи дворян простейшей породы «кабыздох». Так что удивить собакой необычной породы было некого. Но Гриня своими прыжками над забором и яростным лаем вызвал у соседей неподдельный интерес. Не раз у Дмитрия Яковлевича спрашивали: «Это что за порода такая прыгучая?» В ответ он вполне серьёзно говорил: «Бабушка у Грини кенгуру была». И молча удалялся. Среди жильцов этого небольшого дачного посёлка, проглоченного городом, Дмитрий Яковлевич слыл человеком нелюдимым. Его общение с соседями сводилось к пожеланиям здоровья при встрече и односложным фразам о погоде. Молча ковырялся полковник в своём огороде. Никогда ни у кого не просил помощи. Вероятно, эта его замкнутость, закрытость и вызывала особый интерес у дачниц. А лет тридцать назад, когда Дмитрий Яковлевич только поселился на улице Луговой, зачастили к перспективному жениху местные бабоньки. Кто молочка поднесёт, кто свежего творогу. Вдовый, по слухам, отставной полковник был бы завидной добычей, попади он в сети переспелой, намаявшейся без мужской ласки дамы. Мягко, но решительно Дейнеко отводил сладкоголовых бабочек от своего дома. Никто так и не узнал, что заставило Дмитрия Яковлевича, оставив квартиру дочери, жить в дачном посёлке, ставшем теперь окраиной старого сибирского города. Сегодня, для своего возраста, полковник был ещё вполне крепок. Правда,

как говорил Дмитрий Яковлевич, подводила шаровая опора — коленный сустав правой ноги. Поэтому зимой не рисковал он выходить из дому без трости. Направляясь в сберкассу, Дмитро прихватил пакетик с остатками еды для своих друзей. Всего-то один раз в месяц совершал он свой поход за пенсией, но каждый раз на перекрёстке встречали его бездомные собаки, которым приносил то кусочки хлеба, то косточки. Как они узнавали о приближении старого друга, оставалось загадкой. Ещё издалека увидел Дейнеко собачью стаю во главе с большим чёрным псом, которого за седые бакенбарды прозвал Дмитрий Яковлевич Адмиралом. Однажды, слушая по радио передачу о бардах, обрадовался он забавной песенке, слова из которой повторял каждый раз, встречаясь с Адмиралом:

*Мы дружим со слюнявым Адмиралом,
Он был и остаётся добрым малым...*

Компания во главе с Адмиралом была на месте и встретила полковника нетерпеливым повизгиванием.

— Э-э-эх... — произнёс Дмитрий Яковлевич, кряхтя, наклоняясь над талым ноздреватым сугробом у придорожной канавы, чтобы выложить перед дворнягами угощение. — Э-э-эх... — крякнул он ещё раз, разгибаясь и глядя, как собаки дружно набрасываются на еду. При этом наблюдающий за порядком Адмирал не даёт им драться и отталкивать слабых. Что означало «э-э-эх», Дмитрий Яковлевич и сам не смог бы объяснить. Скорее всего, это был не только глубокомысленный комментарий к физическим усилиям, которые приходится совершать, чтобы нагнуться и разогнуться, но и сожаление по поводу того состояния, до которого люди довели своих братьев меньших.

В сберкассе, против ожидания, народу было не много. Обозначив себя в очереди из четырёх человек, Дейнеко хотел было отойти в сторону и присесть. Но его внимание вдруг привлёк разговор. Стоявший у самого окошка моложавый, но уже в солидном возрасте мужичок с седым ёжиком, одетый в сине-красный яркий пуховик, повернувшись к соседу, видимо, в продолжение ранее начатого, заговорил, шлепая толстыми губами:

— А чего тут ловить? Те же комуняки у власти. Сами хапают, а нам не дают. Вот у меня дед старостой у немцев служил, а отец полицаем. И правильно, — он обернулся и, золотозубо улыбаясь, обшарил-оглядел стоящих за ним людей, как бы ожидая от них одобрения. — Я и сыну, когда в армию забирали, сказал, чтобы к душманам переходил, потом двигал на Запад. Война тогда была в Афгане, — добавил он.

Люди в очереди неловко молчали, словно отгородившись от золотозубого невидимой стеной, которая не спасала от гулко шлепающего комка грязи, в который превращались слова.

Жаркая, красная волна ярости вспыхнула и стала заливать мозг старого полковника, отдаваясь в кончиках пальцев острым покалыванием.

— Сволочь! — выдохнул Дмитрий Яковлевич, с трудом разлепив онемевшие губы. — Надо же, дожил до того, что ублюдок фашистский, не стесняясь, гордится ненавистью к стране, в которой живёт. Ну так катился бы в Штаты или в Германию! Нечего здесь воздух портить.

— А я и качусь. Вот счётик закрою и свалю за бугор, а вы, победители голозадые, живите, как знаете, — расписываясь на какой-то бумажке, буркнул мужичок и обиженным воробьём запрыгал к выходу.

Разговор этот так разволновал Дмитрия Яковлевича, что он с трудом дождался своей очереди и, сдерживая колотёв в груди, долго прицеливался, чтобы расписаться дрожащей рукой в квитанции. Потом сидел на стуле в тесной комнатухе сберкассы, зажав в правой руке рукоять трости, прикрыв глаза и уговаривая себя успокоиться. В минуты душевной сумятицы или гнева приучился Дейнеко закрывать глаза и слушать гул моторов. Пролетав всю войну штурманом на бомбардировщике Ил-4, почитал он ровный гул движков привычным рабочим звуком, как шум листвы или плеск реки. Гудит, значит, живёт. Тишина была признаком опасности.

— Вам плохо, дедушка? — услышал сквозь красную пелену, всё ещё застилающую сознание. Девичий голос прозвучал флейтой сквозь уходящие грозовые облака.

— Ничего-ничего. Спасибо, милая, — пробормотал он, неловко встал и, стараясь не хромать, зашагал к выходу. На крыльце сберкасы остановился, вдыхая влажный, едва уловимый запах весны. Послушал синичек, звонко распевающих вечную песню «синь-день, синь-день», и направился домой. Осторожно ступая по скользкой тропинке, Дмитрий Яковлевич ещё и ещё раз вспоминал золотозубого из сберкасы. «А ведь капля правды в его словах была. Сколько партийных вождей мигом перекрасились! А сейчас они снова правят нами... Но ведь не это главное, — спорил он сам с собой. — Главное в том, что эта сволочь может слова, пропитанные ненавистью к России, произносить вслух. И никто не останавливает его. А ты тоже, нашёлся русский! Чистокровный хохол! Потомок запорожских казаков. Дейнекой называли казака, вооружённого дубиной. Тебе-то чего рассуждать о любви к России! Да пусть нынешние политики рассуждают как хотят. Мы от одного корня. Росичи жили на реке Рось, от Киевской земли Русь пошла. И не в том дело, кто кого главнее, а в том, что нельзя нас было разделять. Мы же проросли друг в друга...»

И всё же... Помнится, на боевом курсе над Данцигом, когда нервы были натянуты до предела, осколок зенитного снаряда прошил штурманскую кабину и ранил в бедро. Боли он не почувствовал. Только после сброса бомб и маневрирования среди острых ножей-прожекторов пришла горячая, липкая слабость. А сегодня каждое слово этого недобитка занозой застряло в сердце.

Дмитрий Яковлевич, тяжело опираясь на трость, ковылял по оттаявшей, а от этого ещё более скользкой дорожке, разговаривая с собой, совершенно забыв, где он и куда идёт. Наткнувшись взглядом на сосну, у которой обычно останавливался передохнуть и которую называл характерным ориентиром, Дмитро остановился. Прижался спиной к тёплому телу дерева и подумал: «Что же это происходит с людьми? Почему в сберкасе никто не остановил подлеца?» Он постоял, как бы отогревая себя теплой, золотистой плотью дерева, и зашагал дальше.

Сам того не осознавая, этот человек раскровянил старую рану, так и не зажившую за десятилетия мирной жизни. Раной этой была Сильва.

В 1940 году окончил Дмитрий Яковлевич Харьковскую школу лётчиков-наблюдателей, так тогда называли штурманов, и получил направление в 315-й бомбардировочный полк под Житомир. Получил жильё, привёз жену, быстро сошёлся с такими же молодыми лётчиками и штурманами. Все складывалось отлично. В конце зимы сорок первого года отправил Дмитро жену к родным в Харьков. В конце июня она должна была родить. Летать и служить было спокойней, оттого что знаешь — жена под присмотром.

Полковник доковылял, наконец, до своего дома, вошёл во двор, приласкал Гриню, на всякий случай погрозил ему пальцем, когда тот, почуяв прохожего, стал подпрыгивать над забором, норовя в верхней точке прыжка зарычать и залаять. Дмитрий Яковлевич давно собирался сложить уже напиленные и нарубленные дрова, да всё не до них было. Раньше он саморучно и пилил, и колол их. Работа эта даже была в удовольствие, но теперь сил уже не доставало. Пришлось нанимать заезжих таджиков, коих в последнее время бродило много по городу в поисках заработка.

— Тоже люди, — вздохнул Дмитро. — Жили в единой стране, и всё у них было, а теперь скитаются по свету, за гроши соглашаются на самую чёрную работу.

Не торопясь, он переоделся и, покряхтывая, принялся мастырить поленницу. Однообразное это занятие вернуло к мыслям о начале войны.

Заскучав без жены, напросился лейтенант Дейнеко в гости к своему инструктору по штурманской части Николаю Свириденко. Был Свириденко старше лет на десять и казался в то время Дмитрию Яковлевичу совсем пожилым человеком. Впечатление это усиливалось от того, что носил Николай роскошные длинные усы, под Тараса Шевченко, который был его кумиром. Затрёпанный томик великого Кобзаря Коля носил всегда с собой и часто к месту и не к месту цитировал любимые строки. Например, после неудачного бомбометания он, став в позу, декламировал своим подопечным:

*О сестры, сестры, горе вам,
Мои голубки молодии...*

Жил Свириденко с женой Галей бездетно. Но была у них немецкая овчарка. Угольно чёрная красавица и умница, она, видимо, заменяла им детёныша, которого Галя не могла родить из-за какой-то женской хвори. Звали собаку Агата. Месяцев шесть назад принесла она щенков, которых уже давно разобрали. Однако, как выяснилось, не всех. Когда Дмитро и Свириденко вошли в дом, первыми встретили их Агата с дочерью.

— Вот, знакомься, земляче, — сказал Николай. — Покрупней Агата, а помельче Сильва.

Пока Галя накрывала на стол, он рассказывал:

— Уж не знаю почему, Сильву никто не взял. Смотри, статью и мастью вся в мать пошла. Имя, конечно же, новый хозяин должен давать, но не гоже собаке так долго без имени ходить. Помнишь, культпоход у нас был в Житомир? В театре давали «Сильву». Вот мы с Галей и решили нашу девочку Сильвой назвать. Бери брюнетку себе. Не пожалеешь.

— А как же ребёнок, когда жена родит? — заикнулся было Дмитро.

— Ничего ты, хлопче, не понимаешь. Хорошая собака всегда в помощь. И ребёнок добрым вырастет, если собака рядом. Сильва, правда, переросток, но тебя она примет и полюбит. У меня, брат, глаз намётанный.

В общем, вышел поздним вечером Дмитро от гостеприимных супругов с собакой Сильвой.

Похрустывал тонкий весенний ледок. Воздух был чист и свеж. И шагал лейтенант Дейнеко домой легко и радостно, представляя себе, как месяца через три выйдет он на прогулку с красавицей Сильвой. Скажет ей «Рядом!», и будет она ловить его взгляд преданными глазами, а прохожие будут восхищаться молодцеватым командиром и его вышколенной овчаркой. Такие вот мальчишеские мысли одолевали в тот вечер Дмитрия Яковлевича.

Но Сильва привыкала к новому хозяину медленно. Возможно, оттого, что взял он её не трёхмесячным щенком, а уже подростком. По ночам скулила, скребла дверь, не давая спать. Но больше всего она не любила оставаться одна. Стоило Дмитрию Яковлевичу выйти из квартиры по своим делам, Сильва устраивала настоящий погром. Она ведь не только разбрасывала вещи. «А то ведь до чего додумалась!» — даже сейчас, по прошествии стольких лет, Дмитро улыбнулся. Вернувшись однажды с полётов, он застал Сильву догрызающей учебник по астронавигации. Этажерка, на которой стояли книги, лежала на полу, а вокруг в беспорядке валялись изорванные карты, методички, учебники по штурманскому делу.

— Ах ты паршивка! — еле сдерживая гнев, заругался Дмитро, снимая ремень с портупеи. Сильва подняла смышлённую чёрную морду и, несмотря на грозный тон хозяина, радостно взвизгнула, подбежала к нему и, встав на задние лапы, попыталась лизнуть в лицо. При этом у неё был такой уморительный вид, словно Сильва хотела сказать: «Прости, я просто не знала, что делать пока тебя не было. А эти бумажки — такая чепуха. У тебя ведь их много».

Гнев прошёл, и Дмитро стал разговаривать с овчаркой, как с ребёнком. Вечерами он рассказывал Сильве, как пахнет степь на Харьковщине, где прошло его детство. Рассказывал о полётах, о премудростях навигации. Ему казалось, что Сильва всё понимает, только речи ей Бог не дал. Она стала спокойнее и на прогулках послушно шла рядом. По выходным они вместе ходили на почту, где Дмитрий Яковлевич по межгороду звонил матери и жене.

Как то незаметно бурное цветение весны перешло в лето. Бело-розовые лепестки цветущих яблонь развеял ветер, и нежный аромат вишнёвых садов сменил запах сочной зелёной травы с горьковатым привкусом полыни.

Боевая подготовка шла своим чередом. На аэродроме появились свежевырытые траншеи, установили спаренные зенитные пулемёты. В курилке и в классах всё чаще говорили о предстоящей войне, но в это как-то не хотелось верить. Свириденко отправил жену на лето в Крым, где у него были родственники. Лётчик Борис Авилов, в экипаже которого летал Дейнеко, говорил о близком отпуске. В Ленинграде его ждала невеста.

Вечером двадцать первого июня Дмитро с Авиловым возвращались домой из штаба полка. Ещё издали услышали они гулкие удары по мячу. На волейбольной площадке, скрытой деревьями, шла спортивная борьба. Борис тут же ускорил шаги.

— Сыграем? — он задорно взглянул на своего штурмана и уже на ходу стал снимать ремень с портупеи.

— Нет, друже, — ответил Дмитро. — Сильва ждёт. Она же как ребёнок, скучает.

Дмитрий Яковлевич хорошо помнил, как они с Сильвой гуляли в тот вечер. Бродили по перелескам на окраине военного городка дотемна. А когда появились первые звёзды и выпала вечерняя роса, направились домой. Дома он покормил Сильву, выпил чаю и сел писать письмо жене и матери. Макнул перо в чернильницу-непроливашку и вывел первые слова: «Здравствуйте, мамо и моя дорогая жена! Я здоров, чего и вам желаю!» Потом встал и распахнул окно. Лёгкий ветерок колыхнул занавеску и принёс в комнату запахи влажной земли и зелени. Где-то далеко на горизонте полыхали зарницы приближающейся грозы. Писать письмо расхотелось, и Дмитро, не раздеваясь, прилёг на кровать поверх одеяла. Всю ночь он толком не спал, то, забываясь в тревожном полусне, то просыпаясь. Время от времени к кровати подходила Сильва, проверяя, на месте ли хозяин. А утром, когда, казалось, уснул, послышался стук в дверь и голос посыльного: «Тревога! Товарищ лейтенант!» Схватил тревожный чемоданчик, где заранее было собрано всё необходимое, и выскочил на улицу.

Приехали на аэродром, каждый к своему самолёту и стали готовиться к вылету. У всех на уме было одно: неужели война? Хотя поначалу говорили о пропавшем выходном, о сорванной рыбалке. Но чем дальше тянулось время, тем больше томила неопределённость. Наконец приехал комиссар полка. Он и объявил о том, что началась война. Командир приказал отогнать самолёты за аэродромные постройку и тщательно замаскировать, а на стоянку вытянуть давно списанные Р-10 и СБ. Многие недоумевали: неужели немцы не поймут, что это фальшивка. Но, как выяснилось, недооценили замысел командира.

Дмитрий Яковлевич выронил полено и тяжело опустился на лавочку. Руки и ноги налились тяжестью.

— Перекур, — сам себе скомандовал он, хотя табаком никогда не баловался.

Эх! Как же тяжело было сидеть на земле в ожидании приказа, которого всё не было.

К вечеру на аэродроме приземлились два истребителя И-16. Лётчики рассказывали, что на западе идут ожесточенные бои.

— Мы уже трижды поднимались, трёх «юнкерсов» завалили, — рассказывал молодой черноглазый пилот.

Заправившись, они улетели.

А утром, после завтрака, когда народ расслабленно расходился по местам стоянки своих самолётов, над аэродромом появилась восьмёрка «юнкерсов». Они шли плотным строем так низко, что их заметили лишь, когда фашисты стали набирать высоту для бомбометания. Кто-то крикнул: «Воздух! В укрытие!» И тут же начали рваться бомбы. Кто успел, схоронился в заранее открытых щелях, кто просто упал в поле. Свириденко, спрятавшись в лесопосадке, пожалел новенькую гимнастёрку и не стал падать в мокрую от утренней росы траву. За что и поплатился. Острый маленький осколок прошёл ему плечо. Дмитрий Яковлевич не мог понять, как такой мудрый, опытный человек мог подставиться.

Немцев отогнали зенитчики. Оказалось, удар они нанесли по ложной стоянке. А через некоторое время лётный состав стали группами отпускать домой, собрать вещи, попрощаться и готовиться к перебазированию на другой аэродром.

Дмитро, дождавшись своей очереди, отправился в жилую зону. Семьи к этому времени уже эвакуировали. Ветер гонял между домами обрывки газет. Валялись игрушки, разбитая мебель. А дома к нему на грудь бросилась Сильва.

Намаявшись за день, Дмитрий Яковлевич готовил себе на ужин нехитрую снедь: яичницу с салом, ржаной хлеб, заваривал чай.

Он и сегодня помнил запах Сильвы, которая, обхватив его лапами, смотрела в глаза, словно спрашивала: «Ну где ты был так долго?» Потом, когда собирал вещи, она бегала по комнате, не зная, куда девать себя. На глаза попался листок бумаги с недописанным письмом. Дмитро схватил его и сунул в карман, не желая, чтобы к его словам любви прикосну-

лась чужая рука. Где-то далеко, в другом мире остались мать, жена с ещё не родившимся ребенком. Он улетит. А что будет с Сильвой?

Не глядя на овчарку, он выскочил на улицу. Уже на стоянке, надевая парашют, увидел несущийся к самолётам чёрный комок. Она успела и, подбежав к хозяину, прижалась к его ногам, заскулила. Дмитро присел, погладил замшевый нос, потрепал холку и вдруг подумал: «Была не была...»

Подхватил Сильву и понёс к своему люку.

— Стой! Ты что, рехнулся? — окликнул его Борис. — Мы же не знаем, что с нами будет. Как ты бомбить, стрелять будешь с ней в кабине?

Авилов положил руку на плечо своему штурману и сказал: «Я понимаю тебя, но опомнись. Это война. Сильву ты взять не можешь».

Дмитро прижался щекой к холодному мокрому носу Сильвы и, не оглядываясь, направился к самолёту. Последнее, что он видел из взлетающего бомбардировщика, это бегущая по краю взлётной полосы Сильва.

Сожжённый ярким весенним солнцем мартовский день догорал. Дмитрий Яковлевич сидел у окна, прихлёбывая чай, и смотрел на сопки, лес, проступающий сквозь пелену сумерек. Старые тени снов, бередящие душу весь этот день, успокаивались. После первых страшных дней войны, сколько ещё было потерь! Сын, родившийся и умерший в оккупации, которого он так и не увидел, Борис Авилов, сгоревший в самолёте над Курском. Но Сильва была первой потерей. Она была горем, о котором он стеснялся говорить даже самым близким людям. Дмитрий Яковлевич считал всю жизнь, что предал безгрешную собачью душу.

Он ещё долго сидел у окна и смотрел, как сгущается темнота и над горизонтом загораются первые звёзды, глядящие из мрака, как собачьи глаза из далёкого прошлого.

РЫЖИК

Рыжик помнил, как его трёхмесячным щенком привезли в посёлок Средний. Он ехал в корзине и время от времени попискивал оттого, что ему было одиноко и страшно. А ещё было немного холодно и неудобно. Где-то глубоко внизу брякало и стучало. Хлопала дверь, впуская в вагон электрички весенний, сырой ветер. Рядом не было мамы, братьев и пахло вокруг неприятно мокрой одеждой и кожей. Иногда в корзину заглядывал незнакомый человек в серой шинели и фуражке с голубым околышем. Козырёк фуражки тускло блестел в неверном свете вагона. Человек, наклоня время от времени к Рыжику лицо, легонько поглаживал его и приговаривал: «Не волнуйся, малыш, скоро приедем». Потом они долго шли по полю. Вернее, шёл человек, а Рыжик сидел в корзине. От покачивания корзины в такт шагам Рыжика стошнило. Он стал скрести лапами прутья корзины и заплакал, требуя к себе внимания. Но никто ему не ответил. Бухнула деревянная дверь, и запахло кошками. Конечно же, Рыжик не знал, что это кошачий запах, но пахло отвратительно и так враждебно, что щенок на минуточку забыл о своих горестях и зарычал. Что-то звякнуло, скрипнуло, и Рыжик зажмурился от яркого света, хлынувшего в корзину.

— Вот, принимай подарок, дочка, — сказал большой человек в шинели.

— Ой! Ой! — закричала девочка. — Какой он смешной и маленький!

Рыжика достали из корзины, и какие-то незнакомые люди стали по очереди тискать, кружить и гладить его.

— Ах! Какой миленький! Рыжий!

— А глаза-то какие умные!

— А челка, челка какая!

У Рыжика ещё больше закружилась голова. Он уже не видел лиц людей, передававших его из рук в руки. Это было многорукое, стоглазое чудовище, прикосновения и запахи

которого были неприятны, опасны. Пересилив страх и слабость, Рыжик сосредоточился и цапнул зубами чей-то палец, поглаживающий ему нос.

— Ай! Ах ты паршивец! Кусаешься? — взвизгнула толстая дама.

— Отдайте, отдайте! Рыжик мой! — закричала девочка.

Так Рыжик узнал своё имя. Нельзя сказать, чтобы он быстро освоился в новой семье. Но ему всё реже снились братья и мама. По утрам девочка выводила его гулять во двор. Рыжик бегал по зелёной траве, распутывая клубок незнакомых запахов, которые манили куда-то далеко. Казалось, что если пойти вслед за одним из них, то начнётся какая-то особенно интересная жизнь, но он боялся потерять из виду девочку. Поэтому, играя, бегал внутри большого круга, в центре которого находилась девочка, которую Рыжик уже любил своей первой собачей любовью.

Вечерами, когда вся семья собиралась за столом, Рыжику нравилось наблюдать за людьми, лежа на коврике. До него доносился смех, звяканье посуды, а он лежал, положив мордочку на лапы и сквозь густую чёлку смотрел, смотрел, пока глаза не начинали слипаться. Иногда вставал, подходил ближе и начинал вилять хвостом, чтобы обратить на себя внимание. Однажды он даже встал на задние лапы и, пытаясь сохранить равновесие, поднял переднюю правую, как бы отдавая честь. Хозяин и девочка пришли в восторг, а Рыжик в награду получил вкусную косточку. Он очень быстро понял, что нужно делать, чтобы развеселить людей. Когда к хозяину приходили гости, в разгар вечера он подходил к столу, вставал на задние лапы и поднимал переднюю правую, как бы отдавая честь. Все начинали смеяться, хвалить Рыжика и совать ему разную вкуснятину.

— Испорите нам собаку, — говорил хозяин.

После чего Рыжик медленно, с достоинством удалялся, повиливая хвостом.

Шло время. Рыжик рос и уже не боялся во время прогулок потерять из виду девочку. Пока она сидела на лавочке с книжкой, он успевал заглянуть в постоянно открытые двери подъездов соседнего дома. Однажды из темноты на него зашипел серый полосатый зверь с жёлтыми глазами. Потом зверь фыркнул и выпрыгнул навстречу. Чувствуя злой, раздражающий запах, Рыжик оскалил зубы и зарычал, в то же время почему-то сдвинувшись в сторону, пропуская зверя, который с истошным воплем пронёсся мимо и, держа хвост трубой, помчался к соседнему подъезду. Рыжик хотел было броситься вдогонку, но усилием воли подавил в себе это желание и, гордый, затрусил к девочке. Ему хотелось рассказать ей о происшествии, но он не знал, как это сделать. А девочка, не спрашивая ни о чём, погладила, а потом, взявши на руки, стала тискать, прижимая к себе и приговаривая: «Рыжук мой, хороший пёс». Смысла слов Рыжик не понимал, но, несмотря на обилие рычащих звуков, чувствовал, что его хвалят. Ему стало хорошо и спокойно, как после тарелки мясного супа. Он лизнул маленькую хозяйку в нос и почти забыл про кошку. Но каждый раз, на прогулке, проходя мимо памятного подъезда, Рыжик рычал в темноту, а потом метил дверь, чтобы показать всяким серым и полосатым, чья здесь территория.

По утрам, когда все начинали умываться и одеваться, Рыжик терпеливо ждал, сидя на коврике у двери. И только когда он видел в руках у девочки портфель, а на голове у хозяина шапку или фуражку, начинал прыгать и звонко лаять, пытаясь сказать, что он тоже хочет гулять. Вместе они выходили из дома. Большой хозяин держал девочку за руку, а Рыжик трусил рядом сосредоточенно-важный от сознания своей миссии — охранять любимых людей от разных неприятных встреч. Он даже мечтал о том, как снова из подъезда выскочит полосатый зверь с жёлтыми глазами, а Рыжик загрызёт его на глазах у девочки и хозяина. Иногда к ним подходили какие-то люди, и хозяин перебрасывался с ними непонятными словами: «плановая таблица», «полёты», «упражнения». Слова Рыжика не интересовали, людей этих он терпел, не чувствуя в них угрозы для хозяев.

Потом они подходили к школе, и девочка уходила на занятия. А Рыжик провожал хозяина к поляне, у которой возле автобусов в облаках странного удушливого дыма стояли люди. Они громко разговаривали, смеялись и ждали, когда кто-то большой и громкий крикнет: «По коням!» Тогда все, кашляя, бросали на землю дымящиеся, дурно пахнущие палочки и садились в автобусы. Люди были одинаково одеты в шинели или меховые курт-

ки. На всех были одинаковые шапки с кокардой, как у хозяина. Здесь, на поляне, Рыжик узнал, что у хозяина много имён. Дома его звали: папа, Саша и отец. А на поляне он отзывался на странное имя: товарищ майор или Сергеич. Но задумываться об этом было незачем. «Вероятно, у людей так принято», — думал Рыжик.

Однажды он вместе со всеми прыгнул в автобус и забился под сиденье среди ботинок и больших, знакомо пахнущих, мохнатых сапог. Рыжика быстро заметили, и кто-то крикнул:

— Сергеич! Похоже, твой питомец на аэродром собрался!

— Давай его сюда! — услышал Рыжик голос хозяина.

Чьи-то руки ухватили его и подняли вверх.

— Ха-ха!

— Ну и зверь!

— Какой породы зверюга?

— Мадагаскарская лайка. На крокодилов охотиться! — слышалось со всех сторон.

Рыжик зажмурился и зарычал, скорее на всякий случай, чем защищаясь. А потом он почувствовал запах руки большого хозяина и успокоился. Хозяин посадил Рыжика на колени, погладил и сказал:

— Нам бы поучиться у него. Этот пёс не присягал, а готов за мной хоть в огонь, хоть в небо. Такая душа собачья.

Все замолчали. А Рыжик, сидя на коленях у хозяина, пригрелся и, задремав, не заметил, как автобус остановился.

— Конец маршрута — «Северный»! — крикнул кто-то. Все стали выходить-выпрыгивать из автобуса.

— Мне тоже пора, а ты поедешь обратно домой на «Средний», — сказал хозяин. Потрепал Рыжика за уши и ушёл. Автобус рыкнул, заурчал и повёз Рыжика домой.

Подбежав к своей квартире, Рыжик встал на задние лапы и поскрёб дверь, тоненько взлаивая.

— Нагулялся? — спросила хозяйка. — Всех проводил? Ну, молодец! Пора завтракать.

Рыжик съел свою кашу и с чувством исполненного долга устроился на коврике спать. Теперь он провожал девочку и хозяина каждый день. В автобусе все привыкли к Рыжику и, как ему казалось, с уважением поглядывали на длинную шерсть, густую чёлку и хвост колечком. «Ещё бы, — думал Рыжик, — друзья хозяина понимают, что я не просто сижу у хозяина на коленях. Я охраняю его».

На этом же автобусе Рыжик возвращался домой, завтракал и дремал на коврике, ожидая девочку из школы. Иногда хозяин уходил вечером и возвращался утром, не разрешая Рыжику в таких случаях провожать себя. Первое время Рыжик возмущённо лаял, но потом смирился с таким распорядком. Ведь решают люди, а собаки должны подчиняться.

Однажды хозяин привёл в дом друзей, из тех, что ездили с ним по утрам в автобусе. Они были чем-то на хозяина похожи. Такие же большие, угластые. От них, казалось, пахло силой, простором. Рыжик вспомнил, как однажды вся семья — хозяин, женщина и девочка — вышли погулять в берёзовую рощу. Разумеется, он бежал впереди, обнюхивая деревья вдоль тропинки, изредка метил их. Было это осенью. Бежать было легко. Опавшие преющие листья пружинили. Плотный воздух, как бы раздвигал лепестки лёгких, заставляя дышать глубже. Внезапно берёзки расступились, и Рыжик выкатился на лужайку, которая заканчивалась крутым спуском к рельсам железной дороги. Вдали поблёскивала река. Справа и слева склоны сопки переливались желтизной и тёмной зеленью хвои. И над всем этим голубел купол неба, казавшийся до хруста твёрдым. Если бы хозяин не сказал Рыжику тихим, но твёрдым голосом: «Стоять!», то он бы вспорхнул над рельсами, рекой и рощей диковинной оранжевой бабочкой.

— Что делать? — сказал хозяин. — Собакам летать не дано. Но я тебя понимаю.

Запах того самого голубого купола почудился Рыжику при виде друзей хозяина. А ещё, запах их кожаных курток тоже был Рыжику знаком. Вероятно, так пахло ремесло, которым занимался хозяин. Хотя, чем он занимался в том месте, которое называлось то аэродром, то «Северный», Рыжик не знал.

Гости уселись с хозяином за стол. Женщина суежилась, то открывая, то закрывая дверцу холодильника, где хранилось всё самое вкусное. А друзья наперебой громко рассказывали хозяину, показывая что-то ладонями, словно плавали в воздухе. Рыжик наблюдал за ними, подрёмывая, ожидая той минуты, когда можно будет исполнить любимый трюк. Вдруг он услышал хорошо знакомое слово «Средний» и наострил уши.

— «Средний» и «Северный»... — говорил один из друзей. — Так и напрашивается «Южный», которого нет.

— Был он, — перебил хозяин. — «Средний» — жилая зона, «Северный» — служебная, включающая аэродром, с которого мы летаем. А когда-то был аэродром «Южный» для перегонщиков самолётов из Америки. После войны необходимость в нём отпала. Так что станция — Белая, аэродром — Северный, посёлок — Средний.

— Ясненько, — сказал один из гостей. — Приспел третий тост.

— Да... — протянул хозяин. — Это штатские люди третий поднимают за прекрасных дам, а у нас в авиации третью рюмаху пьют в память о погибших товарищах.

Хозяин и его друзья встали, но лица их были так сосредоточенно хмуры, что Рыжик решил развеселить их. Он подошёл к столу, встал на задние лапы и поднял переднюю правую, как бы отдавая честь.

— Даже Рыжий салютует им, — сказал хозяин.

И никто не рассмеялся, хотя косточку свою он заработал.

Прошла зима, а вслед за ней короткая незаметная весна, когда почти до конца апреля снег то вытает без остатка, то выпадает снова, покрывая белым одеялом проклюнувшуюся листву берёз и зацветающий по берегам реки Белой багульник. Только в первой декаде мая выстреливают листьями тополя, клёны и начинается бег солнечных лучей к лету.

Рыжик, конечно же, не умел считать дни и месяцы. Но это ему было не нужно. Он прожил на Среднем больше года и был счастлив, как может быть счастлив пёс, у которого есть служба и любимая всем собачьим сердцем семья. За этот год Рыжик заматерел. Оставаясь по-прежнему небольшого роста, он оброс густой шерстью, которая, от холки до хвоста разделяясь ровным пробором, свисала до самой земли. Задние лапы были словно одеты в ярко рыжие штанишки. Задорно колечком торчал пышный хвост. А под густой чёлкой поблескивали чёрные бусинки глаз.

Хозяин частенько, поглаживая Рыжика, говорил: «Несомненно, бабушка твоя согрешила с каким-то принцем. Королевскую природу не спрячешь». А девочка, прижимая Рыжика к себе, приговаривала: «Какой ты у меня красивый, Рыжуля!» От этих слов Рыжик млел. Не понимая их смысла, но догадываясь, что его хвалят, он на мгновение замирал, а потом начинал бегать и лаять, выражая таким способом восторг любви и желания сию минуту доказать людям свою преданность.

По выходным дням вся семья привычно ходила гулять в берёзовую рощу. Хозяин с женщиной сидели на поваленной сосне, а Рыжик с девочкой бегали между деревьями. Девочка делала вид, что убегает и прячется от Рыжика, а он находил и догонял её. Набегавшись, они сидели у костра, которого Рыжик немного побаивался. Но, доверяя людям, как и они, смотрел на красное загораживающее пламя.

В июле хозяин улетел. Это называлось командировка, или учения. Такое случалось и прежде. Рыжик вместе с женщиной и девочкой скучал и ждал возвращения хозяина. Время тянулось медленно, но пришёл день, который Рыжик хорошо запомнил. Следом наступила совсем другая жизнь.

В дверь ещё не позвонили, когда Рыжик как обычно почувствовал приближение чужих, выскочил в коридор и стал залиисто лаять. Потом раздался звонок и в квартиру вошли люди в форме. Рыжик видел, как, охнув, женщина обняла девочку, словно пытаясь защитить её. Первый из вошедших, сняв фуражку, сказал: «Простите нас, но мы должны сообщить, что ваш муж майор Иванов Александр Сергеевич погиб, выполняя воинский долг». Повисла такая тишина, что Рыжик раздумал лаять, и сам, не понимая отчего, прижался к ногам девочки и заскулил.

В доме началась какая-то странная суега. Входили и выходили чужие люди. Каждый

из них приносил свой запах. Были запахи хорошие и злые, вкусные и невкусные, и даже обманные. Это когда человек, словно покрывал себя защитной оболочкой из смеси запахов, чтобы скрыть истинный, свой. Иногда приходили люди, от которых несло нетерпением и страхом. Они, видимо, боялись войти и окунуться в атмосферу отчаяния и горя, витающую в квартире. Несколько раз приходили люди в белых халатах. От них несло резкими запахами лекарств и боли. О Рыжике все забыли. Он забился в угол между диваном и стенкой и с трудом сдерживал желание завывать. Сколько времени это длилось, Рыжик не знал. Он умел отличить день от ночи, но сейчас время потеряло обычные ориентиры и превратилось в один большой тягучий ком. Забываясь ненадолго во сне, Рыжик ждал, когда же вернётся хозяин, а эти странные чужие люди перестанут снова по комнатам. Подходила девочка, брала Рыжика на руки, гладила его, прижимая к себе так, что ему хотелось с лаем наброситься на чужих людей, в которых он видел виновников горестной суеты.

Потом девочку и женщину куда-то увели. Пришли люди в сапогах. Рыжик знал, что их называют «солдаты». Солдаты стали выносить вещи. Вынесли диван, за которым он прятался. Нужно было что-то делать. И Рыжик с рычанием стал бросаться на солдат, заранее возненавидев их грубо пахнущие сапоги. Вместе с солдатами он оказался на лестнице. Пока они тащили диван, изловчился пару раз схватить зубами какой-то чёрный сапог. Но сапог больно ударил Рыжика, заставив кубарем выкатиться на улицу. Возвращаться в квартиру он не стал, вдруг решив, что может встретить хозяина на поляне, откуда тот уезжал на аэродром и куда возвращался.

На поляне никого не было. Но дальше у знакомого здания Рыжик увидел много людей в форме. Дом офицеров — так называлось это место. С трудом он стал пробираться через толпу, уворачиваясь от ботинок, сапог и туфелек. Вместе с людьми он вошёл в большой зал и сразу же увидел четыре больших ящика, обшитых красной материей. У каждого ящика в цветах стояли большие фотографии. С одной из них на Рыжика смотрел хозяин. Рядом, обнявшись, сидели женщина и девочка. Рыжик хотел подбежать ближе, напомнить о себе, показать, как он их любит, но люди шли по залу сплошным потоком.

Вдруг совсем рядом кто-то громко не сказал, а прошипел: «Уберите собаку!» Снова появились ненавистные сапоги, окружая Рыжика и тесня его к выходу. Рыжик бросился вправо, влево, выскочил на улицу и неожиданно для себя успокоился. Ведь если женщина, девочка и хозяин здесь, то беспокоиться не о чем. Нужно только дожидаться их. Рыжик устроился под ближайшим кустом и стал ждать. Ждать пришлось долго. Послышалась музыка, но никто и не думал танцевать. Да и музыка была какая-то странная. Рыдали трубы, а барабан бухал так, что внутри всё обрывалось и хотелось выть. Внезапно Рыжик увидел, как над толпой поплыли красные ящики, стоявшие в зале. Их погрузили в автобусы, которые, запыхтев сизым дымом, минув поляну, поехали в сторону аэродрома.

«Ничего, — подумал Рыжик, — автобусы всегда возвращаются». И отправился на поляну ждать. Он пробыл на поляне всю ночь, изредка забываясь в коротком полусне. Утром стали подходить лётчики и техники, но хозяина среди них не было. Когда автобусы, фыркнув, уехали, Рыжик побежал домой. Он поскрёб дверь, потявкал, но она не открылась. Тогда, чувствуя холодок внутри и нарастающий страх от того, что, кажется, произошло непоправимое, Рыжик побежал к школе. «Не может быть, чтобы все исчезли, — думал он. — Просто, я проспал, не увидел, как они прошли мимо».

У школы было тихо. Шли занятия. Рыжик лёг у забора в густой траве, чтобы ждать. Когда прозвенел звонок и на школьный двор высыпала весёлая, шумная детвора, никто не заметил маленькую рыжую собачонку, внимательно глядящую в лица ребят. Школьный двор опустел. А Рыжик всё сидел, глядя на высокое крыльцо, ступеньки, и ждал. Затем он отряхнулся и медленно, поминутно оглядываясь, побрёл домой. На его тявканье и поскрёбывание двери открылась соседняя, вышла чужая женщина. «Ах ты, бедняга! Подожди немного», — сказала она и вынесла кусок колбасы. Рыжик хотел было гордо отвернуться, но голод был сильнее. Он быстро проглотил колбасу и хлеб, прошёлся по лестничной площадке, обнюхивая каждую дверь, улёгся на коврик у своей квартиры и замер. От усталости ему не хотелось даже думать. Свернулся калачиком, уснул и сразу же

во сне увидел свою семью на прогулке в берёзовой роще. «Роща! Роща! Вот где я ещё не искал», — подумал Рыжик.

Вскочил и помчался в рощу. Остаток дня он бродил среди берёз, разыскивая следы любимых им людей. А к вечеру, когда уже стало темнеть, он выбежал на ту самую аллею. Деревья расступились перед ним, и с кручи было видно, как далёкая река вытолкнула в небо большую жёлтую луну. Чёрный купол неба и холодный взгляд луны подсказали Рыжику то, что никак нельзя было осознать — он остался один. Пёс поднял острую мордочку к луне и завыл-заплакал, рассказывая берёзам, луне, далёкой реке, электричкам, пробегающим внизу, о своём горе.

В жизни каждого живого существа должна быть опора, которая позволяет пережить любые беды. Такой опорой для Рыжика, несмотря на пережитое, стала вера в чудесное возвращение любимой им семьи. Сколько прошло времени, он не знал и не хотел знать. «Считать дни, месяцы, годы — это людской удел, — думал он. — А собака должна любить, верить и ждать».

Каждый день Рыжик начинал с обхода знакомых ему маршрутов: поляна с автобусами, школа, клуб, роща. В родной квартире теперь жили чужие люди. Но на лестничной площадке ещё сохранились знакомые запахи. Рыжику очень важно было хранить и обновлять их в своей памяти. Да и соседка изредка, жалея, подкармливала его. На поляне Рыжика помнили. По утрам кое-кто из людей даже приносил ему еду. Несмотря на голод, маленький рыжий пёс брал пищу, словно делая одолжение, и никому не позволял себя гладить. Однажды он запрыгнул вместе со всеми в автобус, забился под сидение и уехал на аэродром. Вместо того чтобы вернуться, как это было раньше, выскочил наружу и побежал куда глаза глядят. С первых же минут Рыжик услышал тяжёлый гул, идущий из-под земли. Чем дальше он бежал, тем ощутимей становилось дрожание земли и слышнее гул. Маленький пёс остановился. Ему стало страшно и захотелось вернуться. «А вдруг хозяин рядом и ему нужна моя помощь?» — подумал Рыжик и побежал быстрее.

Дорожка, по которой он бежал, привела его к высокой застеклённой вверх башне. Обежав башню, он едва не упал от грохота. Мимо него, совсем рядом пробежал громадный серебристый зверь, изрыгающий огонь. Зверь присел, подпрыгнул и рванул к облакам. Очень скоро гул стал тише. В небе осталась лишь светящаяся точка, а на земле — запах гари. Только Рыжик стал приходить в себя, как с грохотом пробежал такой же крылатый зверь. Рыжик сидел, закрыв глаза. Ему очень хотелось упасть на землю и спрятаться, закрыв лапами уши. В это время из башни вышли два человека в кожаных куртках.

— Гляди, — сказал один из них, — какой забавный пес.

— Это же Рыжик Сергеича! Как он, бедолага, сюда попал?

— Сколько времени прошло, а он всё по гарнизону бродит, хозяина ищет.

— А что, жена не взяла его с собой при отъезде?

— А куда возмёшь? На съёмную квартиру? Да и не в себе она была всё время.

— И то правда.

Оба они замолчали. В это время мимо пробежал ещё один зверь, и Рыжик, не зная, куда деваться от ужаса, бросился к людям и прижался к ногам одного из них.

— Всё, не могу больше смотреть, как животное мается, — сказал первый. Сильными руками он поднял Рыжика, расстегнул застёжку-молнию и сунул псёнка за пазуху.

Дома Рыжика вымыли, остригли колтуны, расчесали поблекшую шерсть. Оказалось, что у нового хозяина тоже есть женщина и маленькая девочка. Пока хозяин ужинал, они сидели рядом, улыбались и о чём-то переговаривались, указывая на Рыжика. Пёс понял, от него чего-то ждут. Он подошёл к столу, встал на задние лапы и поднял переднюю правую, как бы отдавая честь. Потом лёг на коврик, положил морду на лапы и спокойно уснул.

Чаша неба

Я иду по лесной тропинке к роднику и сочиняю рассказ. Утренний туман стелется в низине между деревьями. На ветках повисла паутина, сверкающая изумрудами и бриллиантами. Какое заезженное сравнение! Но как ещё можно назвать капельки росы, повисшие в паутине? Как можно выразить словами ощущение счастья от того, что тебе открылись волшебные кружева слов? Я люблю эти суффиксы и приставки, причастные и деепричастные обороты. Я чувствую их вкус и запах. Ковыряюсь в бездонном сундуке с сокровищами. Вытаскиваю на свет слово «степь» и изумляюсь тому, как оно точно передаёт собственное содержание.

Свист ветра, очерчивающий горизонт и ставящий точку в центре мироздания, которым являюсь я. Потому что каждый из нас для себя — центр мироздания.

Скажите медленно слово «с-с-степь», и вы поймёте, что я сказал правду.

Глядя на облака, вспоминаю, как впервые понял выражение «Чаша неба».

Мы взлетели вскоре после рассвета, в 6.00. Это называлось — с разлёта. Пошли в зону для отработки каких-то виражей. И вдруг я увидел над горизонтом серебристую полосу, которая опоясывала небо. Да! Она опоясывала небо. Но как странно! На востоке небо от горизонта до этой полосы было тёплого золотисто-розового цвета.

Позже у лётчиков, вернувшихся из Египта, я видел чашки из очень тонкого фарфора такого же тёплого цвета. Эту чашку было страшно брать в руки. Она казалась живым существом. Очень нежным и хрупким.

Ближе к востоку, с юга и севера, сизые облака лёгким покрывалом тянулись от горизонта к серебристому краю чаши. И разница в цвете не раздражала. Просто золотисто-розовый плавно перетекал в сизый.

Мы летели в центре этой гигантской чаши, и мгновения полёта уходили в вечность моей памяти, моей души, чтобы когда-нибудь стать словами на бумаге и разбудить чью-то душу.

— Ку-ку! — говорит кукушка. — Ку-ку.

В простых междометиях её песни вся поэзия лета.

— Бух! — говорит чья-то дверь в дачном посёлке.

Бух! Какое ёмкое слово!

Всё вокруг наполнено звуками и словами. Это музыка жизни.

Сегодня я смотрю на облака снизу. Видимо, всему свой черёд. Когда-нибудь все мы улетим тёмным туннелем вниз, чтобы потом смотреть на вечные облака и землю сверху, как улетели, ушли многие из моих друзей, служивших этой стране.

Они вымирают, как мамонты, а может быть, как древние ископаемые медведи. Других таких больше не будет. Но они оставили свой медвежий след, и я пишу, чтобы кто-нибудь пошёл по этому следу учиться верности и чести.



СЕРГЕЙ ПОГОДАЕВ



Я доверяю своему чутью...

Двуликий Янус

Немного поскуучнел я к тридцати,
мытарствуя на избранном пути,
и чуть не вразумлён был против правил,
когда... ну да, лирически скорбя,
я — молодой, вдруг старого себя,
у водопада явственно представил.

Тот, мудрый, он кричал сквозь толщу лет,
отчаянно хотел подать совет,
необходимый здесь мне, молодому.
Но ирреальный грохотал поток
и заглушал запретный эпилог
того, кто прорывался по-иному.

«Конечный я» или «возможный я»
таранил криком сферу бытия?
Раздвоенно страдая, точно спьяну,
я запер умозрительный кристалл —
опоминаться, упираться стал.
...И дико хохотал Двуликий Янус!

Старик — один, и терпеливо ждёт,
а я не склонен забегать вперёд.
Знать сроки и подробности — не надо!
Я доверяю своему чутью
и собственных фантомов создаю —
я сам уже стою у водопада!

ПОГОДАЕВ Сергей Егорович. Родился в Братске в 1959 г. Окончил геологоразведочный факультет Иркутского политехнического института и международный факультет ИрГТУ по специальности «Реклама». Работал токарем, геологом, машинистом котельной, строителем. Стихи публиковались в газете «Мои года» и в «Литературной газете». Живёт в Иркутске.

...Настойчивей троллейбусный двойник,
он к стёклам отражением приник.
Снаружи смотрит, тускло вопрошая:
«Чего добился и какой ценой?»
И этот призрак не доволен мной.
Мечтать и сделать — разница большая.

С оглядкой жил, с оглядкой и уйду,
подверженный пристрастному суду,
всего, что мнимо на судьбу влияло.
Я тоже мифы оставляю тут,
пусть не вполне потомки их поймут,
поверьте, объясняться — толку мало.

* * *

Если это дань судьбе,
то пиши,
муки творчества себе
разреш.

Всё написано уже
обо всём,
вот и плачется душе
о своём!

Просто думай и живи
среди людей,
просто мудрость нам яви
лучших дней.

Всё написано давно —
не пиши!
Сокровенное — оно
для души.

...Изречённое есть ложь.
Значит, что?
Сочиняя, воду льёшь
в решето.

Слушай музыку снегов
и расти.
И без внешних можно слов
мир спасти.

Садовник Мюллер

Трудовую лямку я тяну, тяну,
продолжая слышать тишину-струну.
Ломкий шлейф прощанья холодком у лба:
что должно случиться — то и есть судьба.

Рановато сдался, на ветру остыв.
Энтропия съела звёздный мой порыв.
Не вернувший лугу васильки души,
я — садовник Мюллер, я копил... гроши

Смысл жизни — в жизни, смысл в ней самой.
Целый день работай и назад — домой.
Сплав рутины будней и карьерных драм:
о Москве мечталось креативным нам.

Коротка кольчужка — вот и все дела!
Жизнь была обманной — никакой была.
Разгоралось утро — и уже финал!
Жил и словно тоже сон я вспоминал!

Годы, годы, годы — череда невзгод.
Возраст — это плохо. Ты почти банкрот.
И прозрачен сердцу журавлиный крик:
отмени, попробуй, ледяной тупик.

Дочитал я пьесу, немоту кляня:
про меня вещница, да не для меня.
Поднимаясь в небо, подведу итог:
не досталось роли, а сыграть я мог!

* * *

Мир жесток. Темна водица
канувшего дня.
Дали брату бы родиться —
не было б меня.

Мой сын — вот, и всё же, всё же
я держу ответ
перед тем, кого, похоже,
не пушу на свет.

* * *

Уже темнело, я спустился вниз
по жёлобу от санного кочевья,
и... — копыта лиственниц, упавших ниц,
а дальше вид: везде лежат деревья.

Обыденное зрелище вполне:
бульдозером продавленные шатко
лежат деревья. Но открылось мне
побоище на этом дне распада.

Быть злым пришельцем, быть контактом сред,
быть соучастником всех преступлений.
Так вот какой мы оставляем след,
исполненные мужества и лени!

...Иные приподнялись деревца:
подранки-дети меж команд расстрела.

Не зная человечеству конца
природа на меня в упор смотрела!

Стою и принимаю этот суд
и даже обвинений слышу стоны.
Барьеры отчуждения растут
и холодно под небом однотонным.

Отринь людей, амфитеатр суда!
Гони назад нас в каменные склепы!
Пригрохотавшие из городов сюда
мы суетны, разнузданы и слепы.

Мы золото возьмём любой ценой —
Традиция особого закала.
...Я уходил, и тусклость за спиной
матёрое безмолвие смыкала.

* * *

Жизнь не обманешь: последнее слово за ней.
Значимый вклад уже стал максимально возможным.
Стихнут баталии, сабельки всунутся в ножны.
Ты не уверен, достоин ли сада камней!

Лгать себе глупо, сие ничего не даёт.
Самообман обернётся потом пустотою:
целая вечность предстанет зазря прожитою —
чем ты гордишься, чем кормишься, ушлый койот?

Битву зачтут нам, и трубы сыграют отбой.
Холим потомство и скоро привыкнем к почтению.
Жизнь — не обманешь, но бьёшься-то с собственной тенью!
Именно это и названо будет судьбой.



6 июня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина

«Во мне бузит великоросс...»

...Во мне бузит великоросс.
И всякой выходке навстречу,
Как на шести шагах — всерьёз,
Вполне существенно отвечу.

Да, русский, русский я навек!
А кто не понял, растолкую:
В значенье Русский Человек
Я в этом мире существую!..

Леонид Корнилов

Говорить о Пушкине сегодня, после трудов армады известных и неизвестных пушкинистов, пишущих о нём, питающихся именем и биографией великого поэта, «Солнца русской поэзии», — то же самое, что воду в ступе толочь. Уж кого-кого, а Пушкина в той или иной степени помнят почти все приличные люди. Подойди на улице к прохожему, попроси процитировать строчки из любого произведения поэта — или «Я памятник себе воздвиг...», или «У лукоморья дуб зеленый...», — точно продекламируют.

Такая память не может быть случайной или насаждённой школьной программой. Это следствие лёгкости и невероятной точности поэзии Александра Сергеевича, которая становится твоей сразу же после прочтения любого стихотворения, любой повести. Не говоря уже об эпиграмме... Это, действительно, народный поэт.

Пушкин, пожалуй, единственный солнечный поэт во всей российской литературе. После него — кого ни возьми, даже его ближайшего последователя и трагического наследника Михаила Юрьевича Лермонтова, — сплошь лунные, грустные, драматические фигуры. И удивляешься, сколько в нём силы, сколько любви к друзьям, женщинам, жизни самой. Как бы там ни спекулировали нынешние пушкинисты, копающиеся в каких-то одним им известных слухах и плесневелых домыслах о его личной жизни, он был и будет выше всей этой своры, как и положено по-настоящему великому человеку.

Великий русский поэт... Никто не будет спорить, что это так — что великий, что русский. Помню, сколько пришлось поспорить на тему национальности того или иного автора. Странно, но пятая графа сегодня всё ещё в силе. Хотя, чему удивляться, после развала СССР вопрос национальной принадлежности так разбух, как будто мы вновь откатились в первобытнообщинный строй. То там, то здесь бывшие писатели-интернационалисты стали растаскивать по национальным углам поэтов и писателей с мировым именем. Да и в народе нет-нет да и проскочит мыслишка о той самой пятой графе. Арийской теорией отдаёт, а не литературой. А если всех писателей проверить на инородство? Брюсова, с его шотландскими корнями, украинца Гоголя, еврея Бродского, да простучать родовые древа

Боратынского, Ахматовой, Берггольц, Кюхельбекера, Пастернака, Мандельштама, Тарковского-старшего, Эфрона, Лермонтова, там такие переплетения родов и народов можно найти, что в порыве, упаси Боже! расовой чистки можно, как и в фашистской Германии, спалить в кострах больше половины русской по языку и духу литературы. А там и до других деятелей культуры недалеко... По мне, так пусть поэты с писателями остаются гражданами мира, выразителями ценностей общечеловеческих, а не узконациональных. Пусть русская культура будет тем самым тиглем, где так гармонично переплавляются, соединяются, становятся единым целым творческие порывы всех, кто пишет на великом и могучем, слыша голос времени, совести, чести, голос народа своего, голос Человека. Никогда не задумывался о корнях, об инородстве авторском, читая Думбадзе, Айтматова, Межелайтиса, Кулиева, Сулейменова, да и многих других, ибо проблемы, горести, радости, переданные с листов книг читателям, — общие, мировые, будь то оригинал или перевод.

Стоит вспомнить, что Пушкина когда-то переводил поэт степей, казах Абай Кунанбаев, будучи очарованным его образами и духом его героев...

Читая друг друга, перенимая добрые и вечные идеи, мы становимся только лучше, богаче, сильнее. Сама русская поэзия обрела многие свои черты благодаря подражаниям и заимствованиям у французских и английских поэтов. И в этом нет трагедии — к литературе русской, богатой авторами разными, подчас противоречащими друг другу, но и дополняющими, потому и интересными, слава Богу, есть в мире огромный интерес.

Не приходилось задумываться, почему сказки народов мира так похожи? Потому что идеи-то в них общие, ценности тоже. И не важно, кто, где их первый рассказал. Мудрость, как и талант, не имеет национальности, графа номер пять в литературе значения не имеет. Ибо, радетели национальной идеи от литературы, надо вспомнить в связи с этим, что сам великий русский Пушкин, создавший наш современный язык, корнями был — африканец!

Сегодня, в годовщину его рождения, уйдём от всего глупого и мелкого, пусть о нём скажут поэты. Ибо им равняться, им нести дальше язык и честь его, да не ронять.

С днём рождения, Александр Сергеевич!

Андрей Мирошников



«...И рядом Пушкин сел
с державою в руке»

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

Русский ангел

Хотя нет правды на земле и в небесах,
Кипят разнузданные тёмные стихии,
Москва слезам не верит, а сама в слезах, —
Мы верим в Пушкина как в ангела России.

А солнце Пушкина сияет в небесах,
На этом солнце мы, как пятна роковые.
А слово Пушкина горит у нас в сердцах,
А мы, сердечные... мы только дым России.

Не верим мы, что в глубине иных времён
На слово Пушкина потомок отзовётся,
И улыбнётся, и в толпе иных времён
Его душа блеснёт, как зеркало на солнце.
Всё отразит она: и небеса святые,
И солнце истины, и ангела России.

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

Мчатся тучи...

А. Пушкин

«Натали, Наталья, Ната»...
Что такое, господа?
Это, милые, чревато
Волей Божьего суда.

Для того ли русский гений
В поле голову сложил,
Чтобы сонм стихотворений
Той же
Надобе
служил?

Есть прямое указанье,
Чтоб её нетленный свет
Защищал стихом и дланью
Божьей милостью Поэт.

РОМАН СОЛНЦЕВ

г. Красноярск

Имена

Автограф на стене рейхстага...	И это на стене явление —
под Ивановым — ближе к флагу —	как лучшее стихотворенье
какой-то Пушкин черкнул...	во славу родины!.. а вот
А может, то великий Пушкин	здесь и Суворов — буквиц петли!..
через столетье был пропущен	Однофамильцы? Или нет ли?
сквозь пламя и военный гул?	Не знаю. Но один народ.

ВЛАДИМИР ШЕМШУЧЕНКО

г. Санкт-Петербург

К Пушкину

Я вернусь сюда во что бы то ни стало	Пропущу свой скорый поезд на Анапу.
Всем делам и обстоятельствам назло.	Пушкин — гений, но и он от нас устал...
В муравейнике Казанского вокзала	Подниму с земли свалившуюся шляпу
Растворюсь среди баулов и узлов.	И ромашки положу на пьедестал.

ИГОРЬ ТЮЛЕНЕВ

г. Пермь

Юбилейная Пушкинская медаль

Наградили медалью поэта,	«Милость к падшим» — завет нарушу,
Звякнет рядышком с сердцем она.	Но медаль ярче бляхи натру.
Люди слепнут от горнего света,	Я люблю твою русскую душу
Но читают его письма.	И твой профиль нерусский люблю.

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

г. Тосно Ленинградской обл.

А в Болдине клён разноцветный кудрявится,	Ей мнится: в тумане коляска проехала.
Пылает рябины рубиновой прядь.	Мелькнул узнаваемый плащ средь берёз.
А в Болдине осень — такая красавица,	Звенит колокольчик, поёт в отдалении,
Как будто Поэта выходит встречать.	И в церкви Успенской распахнута дверь...
Вся в бусах и лентах, с грибами, с орехами,	...Он в Болдине, здесь! Он вернулся в деревню.
В сиянии яблок и утренних рос.	И он никуда не уедет теперь.

АНДРЕЙ РЕБРОВ

г. Санкт-Петербург

Пред могилой Пушкина

Просветлел небосвод на востоке,
Истончилась луна над жнивьем.
У горы, пред могилой высокой
Постою — между ночью и днём.

В этот час сокровенный, эфирный,
Схожий с тонкой реальностью сна,
В чутком сердце — по-ангельски мирно
Совмещаются времена.

И тогда сердцу слышится где-то
В горной рощице стук посошка,
И смиренная поступь поэта,
И её вольный отзвук в веках.

И парят над стернёю осенней,
И зовут в ночедневной тиши
Светлокрылые строфы — к спасенью,
А не к грешной свободе души.

ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ

г. Белгород

У Пушкинского перевала

Я всё безбожно переврал —
Луга, опушки.
Я поднимусь на перевал,
Где в камне Пушкин,
Туда, где кругом голова
Идёт так явно,
Туда, где боль свою трава
Рифмует ямбом,
Я поднимусь, где синева
Восходит рано,
Чтобы запомнить те слова,
Что скажет мрамор.

Я всё безбожно переврал —
Любовь и беды.
Я поднимусь на перевал,
Где Грибоедов,
Туда, где иней и туман
Прилёт на горы,
Туда, где «Горе от ума»
Сжимает горло,

Где тучи с гордостью большой
Застыли сонно,
Туда, где пахнет лавашом
Шальное солнце.

Я всё безбожно переврал —
С меня довольно.
Я поднимусь на перевал,
Взойду достойно.
И пусть мне кажется порой —
Не хватит силы
С его тягаться высотой
Моей низине.
Мечте не стану изменять!
И будь что будет!
Пусть град насмешек на меня
Обрушат люди.
Пусть неудача, пусть провал,
Я верить должен,
Что каждый новый перевал
Растёт с подножья!..

НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО

г. Сыктывкар

Спасибо, Пушкин, что у нас Вы есть.
Что третий век нам славой Ваша честь,
Что за бессмертье прятаться не стали.
Что неуютно Вам на пьедестале.

Спасибо, Пушкин, что любить умели,
Что за Нее погибли на дуэли.
Неважно нынче, кто там виноват.
Ему — забвеньё! Пушкину — виват!

Спасибо, Пушкин, за былые лета,
Когда на троне слушали Поэта,
И в назиданье нынешним векам
Приравнивали стих его к полкам.

И кто на чём сегодня ни летает,
Мне Вашего полёта не хватает.
И сколько их по вашу душу было,
А вот про них Отечество забыло.

ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ

г. Алматы

Ну, вот и нам пора настала

*Уж небо осенью дышало,
Короче становился день,
И звёзд таинственная сень
Незримо в жилах замерцала,
И жизнь, что лишь недавно всклень
Как солнце поверху бокала
Златым вином своим вскипала,
Теперь куда-то запропала,
И сколько там её на дне,
На самой-самой глубине?
Глоток? Другой?
Ах, Пушкин, мало!..*

*Блажен, кто не допил до дна
Бокала полного вина.
Блажен и тот, кому достало
Допить до самого до дна
Того усталого вина,
Что горьким напоследок стало,
Но всё-таки темно и ало
Блистало в жилах
и мерцало,
Прощальный свой роняя цвет
На чёрный день...
на белый свет...*

ВЛАДИМИР СКИФ

г. Иркутск

Сон

Мне кажется — придумали Дантеса,
И Чёрной речки не было и нет!
В пустом лесу остался пистолет,
И пуля умирает среди леса.

А Пушкин жив! Вон Болдино вдали
Ему открыло потайные дверцы.
Не убиенным остаётся сердце,
В котором — ясный образ Натали.

Владимир Скиф

«Баллада об Александре Пушкине», 1967 г.

Пушкин — просвещённый монарх.

Михаил Вишняков

«Перо краевое» (Судьбы писем в Сибири), 2004 г.

Мне снился странный сон,
где Пушкин — Император
Всея Руси и тем вполне доволен он.
Предерзостный поэт, рискующий оратор
Монархом на Святой Руси — произведён.

Во сне — забытый век,
как будто ждал реванша,
Он показал расцвет деяний всеблагих...
Во сне ли, наяву я видел это раньше
И многих уверял, что Пушкин не погиб.

И вот примчался сон не тройкой запоздалой,
А в залах зазвучал мазуркою, стихом.
И Пушкин проходил по этим шумным залам,
А утром уезжал охотиться верхом.

Он — Император, он — в вопросах и ответах...
У Пушкина в гостях — поэты, короли:
Он спорит о стихах; с министрами о сметах,
А вечером стремглав сбегает к Натали.

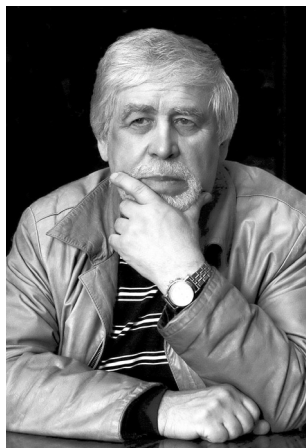
Холёный, томный двор никак его не ранит,
Не бросит в тронный зал подмётное письмо.
Служители казны, привратники, дворяне
Учтивы и скромны — сиялище само.

А Пушкин вдалеке по зимним рощам рыщет,
Косого стережёт, охотится на лис.
И Геккерену он ещё петлю подыщет,
В которой бы скорей коварный лис повис.

В привратники Дантес
на днях направлен будет:
На Невском — подавать одежду в кабаке.
...И вдруг проснулся я, тоскующий о чуде,
И рядом Пушкин сел с державою в руке.



ВЛАДИМИР СКИФ



Байкальское Переделкино

Главы из книги

Сергей Иоффе

Серёжа Иоффе купил дом в пади Чайка с уютным, ухоженным двором напротив родительского дома фольклориста и преподавателя Иркутского госуниверситета Валерия Зиновьева. В то давнее, воистину незабываемое, наполненное искренними отношениями время, все писатели и художники, кто поселился в Порту Байкал, встречались и плотно общались друг с другом и в Иркутске, и здесь, у Байкала.

Общались где угодно и когда угодно: на причалах и на теплоходе «Бабушкин», который ходил по расписанию, перевоза нас то в одну, то в другую сторону, на байкальском пляже и в грибных лесах, на горных улочках и в деревенских домах. Мы, раньше не имевшие никаких дач, постепенно привыкали к ним, обживались и незаметно для себя стали называть свои загородные дома дачами. Художники рисовали натюрморты, пейзажи и портреты, создавали скульптуры, устраивали вернисажи, прозаики говорили о новых рукописях, писали рассказы и повести. Поэты сочиняли свои новые произведения, читали и посвящали друг другу стихи.

СКИФ Владимир (Смирнов Владимир Петрович), поэт (род. в 1945 г. в пос. Куйтун Иркутской обл.). Автор многих книг, в т. ч.: *Зимняя мозаика* (Иркутск, 1970); *Журавлиная азбука* (Иркутск, 1979); *Бой на рапирах*: литер. пародии (Иркутск, 1982); *Грибной дождь* (М., 1983); *Живу печалью и надеждой* (Иркутск, 1989); *К сопернику имею интерес*: литер. пародии (Иркутск, 1993); *Над русским перепутьем* (Иркутск, 1996); *Золотая пора листопада* (Иркутск, 2005); *Письма современникам* (Иркутск, 2005); *На срезе времени зелёном* (2006); *Новые стихи* (М., 2007); *Русский крест* (М., 2008); *Молчаливая воля небес* (Иркутск, 2012); *Все боли века я в себе ношу* (Иркутск, 2013); книг детских стихов: *Зайчик* (М., 2007); *Шла по улице корова* (Иркутск, 2007) и др. Член Союза писателей России. Секретарь Правления Союза писателей России.

Есть такие стихи и у меня, посвящённые всем тем, кто стремился жить на Байкале или живёт до сих пор, как в Култуке, Байкальске, Слюдянке, так в Порту Байкал и Листвянке, кто создавал наше байкальское братство: Валентину Распутину и Александру Вампилову, Глебу Пакулову и Сергею Иоффе, Елене Жилкиной и Ростиславу Филиппову, Валентине Сидоренко и Анатолию Байбородину, Петру Реутскому и Василию Забелло, Геннадия Гайде и Василию Козлову, Владимиру Максиму и моему другу детства, поэту Владиславу Панкину, к сожалению, рано ушедшему из жизни; художникам Анатолию Аносову, Льву Гимову, Галине Новиковой, Николаю Житкову, Александру Шелтунову, Александру Москвитину — почти всем, с кем свела меня судьба на Байкале. Вот стихи, которые я посвятил Сергею Иоффе:

*Падь Чайка крыльев не имеет,
Но кажется — она летит
К Байкалу синему и смеет
В него глядеться...
И глядит
На снежный верх Хамар-Дабана,
На кручи солнечных высот.
Падь Чайка реет неустанно
Среди невиданных красот.
В волнах летит
мальчишек стайка,
И мне мальчишек не догнать.
Их, быстрых, нагоняет Чайка,
Летящая к Байкалу — падь.
Здесь дом уютный расположен,
В черёмуховом затишке,
Серёжей куплен, обихожен,
Чтоб петь и думать налегке
Под ясным,
круглым небосводом,
Среди черёмух и рябин,
Чтоб ты, Серёжа, был свободен
И — сродником — Байкалу был.*

В разные годы на побережьях Байкала находили пристанища для вдохновения, благих творческих трудов, путешествий и, конечно же, непрямого отдыха многие иркутяне и даже братчане и усть-илимцы. Такими оказались мои сваты Галина и Валерий Николаевы, которые начинали свою жизнь и учёбу в Иркутске, потом волею судьбы оказались в Братске и, в конце-концов, вернулись на круги своя — в родной Иркутск и по подсказке Валентина Распутин купили добротный, хороший дом на улице Горной у местного жителя Анатолия Кирилловича Шевчука.

К открытию сезона на Байкале

Галине и Валерию Николаевым

*Тарзаном весело облаянный,
Сижу за праздничным столом
В байкальском доме Николаевых
И Чудотворцу бью челом

За то, что наш Байкал —
единственный!
За неизбывную любовь
К воде студёной и таинственной,
Что так ограничивает кровь.*

*И за байкальца крепкоскулого,
За этот солнечный каскад
На всех увалах, скалах, уловах,
За трав июльский водопад.*

*Мои сваты не дали промаха:
Здесь в окнах облако сквозит
И ожерельями черёмуха
На горной улочке висит.*

*О, этот мир, всегда желаемый,
Где кедр, черёмуха и тмин...
В «высотном доме» Николаевых
Уже затеплился камин.*

*И снова здесь стихи читаются
И наполняется бокал...
А под горой вершится таинство:
Святится Господом Байкал.*

А по подсказке Глеба Пакулова купил дом и Сергей Иоффе, поскольку встречались они часто, общались в Писательском доме на улице 5-й Армии, 36, делились писательскими новостями.

Это была одна из самых лучших и самых талантливых писательских организаций страны. Никто никуда из неё уходить не собирался, как это случилось в перестроечные девяностые годы, когда часть либерально настроенных литераторов, поддержавших временщика и разрушителя великой державы СССР Ельцина, отмежевалась от основного ядра иркутских писателей и увела за собой двух талантливых и работоспособных поэтов Сергея Айзиковича Иоффе и Марка Давидовича Сергеева (Гантваргера). И тот и другой очень близко принимали к сердцу происходящее в стране и в писательском мире. Несомненно, что это повлияло на довольно ранний уход из жизни Сергея Иоффе.

Задолго до всех расколов Сергей Иоффе и Валентин Распутин работали на Иркутском телевидении. Валентин закончил Иркутский госуниверситет, а Серёжа — Иркутский пединститут. Это были годы хрущёвской оттепели. Но не такая уж она была «тёплой» эта «оттепель», если за передачу о репрессированном писателе и партизане Петре Поликарповиче Петрове двух журналистов уволили с Иркутского телевидения.



На даче В. Распутина: (слева направо) композитор Валерий Стуков, журналист Виктор Ермаков (Красноярск), Сергей Иоффе, Валентин Распутин, поэт Владимир Соколов (Москва)

В то время в Москве, да и в других городах уже объявлялись первые реабилитации невинно репрессированных. Чуть медленнее это шло в Иркутске. И, тем не менее, со дня на день ждала реабилитации своего мужа Петра Поликарповича Петрова его вдова Александра Антоновна, и она в одну из встреч передала журналистам Иоффе и Распутину окровавленную рубашку своего мужа и адресованные ей стихи, написанные Петровым в застенках Дальлага:

*Надежды и мечты рассыпались, как зёрна,
Счастливых дней нам больше не видать.
Ах, Саша, Саша, если жить позорно,
То тяжелей безвинно умирать.
Дышать и жить я скоро перестану,
Забуду мир в спокойном вечном сне.
Что делать, Саша? Сбереги Светлану,
Как нашу кровь, как память обо мне.*

*Светлана-крошка, чистый лебедёнок,
В большую жизнь отправится одна.
И чащу бед, почти что из пелёнок,
Бедняжка выпьет, горькую, до дна.
На плечи хрупкие грозой падут невзгоды.
Но есть всему начало и конец.
Внуши ты ей, что не врагом народа,
А лучшим другом был её отец.*

Эти стихи были прочитаны в прямом эфире на Иркутском телевидении и показана та самая окровавленная рубашка, за что и поплатились снятием с работы два смельчака Иоффе и Распутин, хотя впоследствии Петрова реабилитировали, а его имя, к радости Александры Антоновны, было присвоено Иркутскому Дому литераторов. Но, как говорится, «в столице стригут ногти, а в провинции рубят пальцы», так и здесь местное начальство ТВ было напугано и применило свои партийные санкции.

О начальстве, которое возглавляло местное радио и телевидение, я вспомнил довольно интересную историю. Долгое время информативное областное подразделение называлось Комитетом по радиовещанию и телевидению. Так вот, радио курировал Килессо, а телевидение Арбатский. В то время на радио работал диктор Вадим Вронский. Он был замечательным диктором и писал талантливые стихи. Кстати, первые живые поэты, с кем я встретился на вечере поэзии в Тулунском педагогическом училище, оказались иркутяне Ленид Ханбеков и Вадим Вронский. Сравнительно молодой Лёня Ханбеков уже тогда был редактором газеты «Советская молодёжь» и тоже писал стихи. Он и опубликовал мои первые опыты в своей газете в 1961 году. И тогда же одно из моих стихотворений впервые прозвучало на иркутском радио. Из него я помню только начало:

*Мама, бабушка, вы помните,
Как озябшая луна
Приютилась в нашей комнате,
Спит под звук веретена.*

Ханбеков опубликовал стихотворение «На Байкале я сроду не был...» (а впоследствии уже и не одно). За эти публикации и за прозвучавшие на радио стихи, я искренне благодарен журналистам и поэтам Ханбекову и Вронскому. Позже я услышал эпigramму, написанную Вадимом Вронским, за которую его уволили с иркутского радио:

*В Комитете два балбеса,
Что Арбатский, что Килессо.
Всё решает ум дурацкий,
Что Килессо, что Арбатский.*

Серёжа Иоффе был рассудительным, начитанным, приятным в общении, бескорыстным и очень порядочным человеком. Знаток русской поэзии, он написал ряд книг об известных и даже мало известных русских поэтах, которых называют поэтами второго и третьего ряда, но оставивших свой неизгладимый след в русской литературе. Эти книги уже изначально, в самих названиях несли понятный искущённому читателю поэтический дух — «Живут стихи» (1979), «Стихов мелодия живая» (1983), «Дыша, как воздухом, стихами» (1989).

Многие свои книги Сергей писал на Байкале. А вот это стихотворение он посвятил Валентину Распутину, рассказав о доме стрелочника, в котором впоследствии жил и работал Валентин Григорьевич:

В. Распутину

*Добротный, навеки поставленный дом
на взгорке, у самой железной дороги.
В нём стрелочник жил. Выходил с фонарём,
цигарку курил в темноте на пороге.*

*Он знал своё дело — встречал поезда
и стрелку старательно чистил от снега.
Он думал: не сдержит ничто никогда
ни гула, ни свиста, ни стука, ни бега.*

*Ах, много на свете бессменных вещей,
да, видно, не всё неизменно на свете...
Растут между шпал лебеда и пырей,
играют на рельсах беспечные дети.*

*Теперь эти рельсы ведут в никуда,
в тупик упираются на козогоре.
А дальше — ангарская плещет вода:
Андрея Ефимыча Бочкина море.*

*В горах скоростная легла магистраль,
а эта дорога — уже не дорога.*

*Июнь отцветает, метелит февраль —
Забот у старушки не очень-то много.*

*Лишь в полночь, от мрачных тоннелей устав,
приходит не знающий шумных перронов
печального вида кургузый состав
из двух или трёх допотопных вагонов.*

*И стрелочник в том не виновен ничуть,
что вдруг его должность сочли за безделку:
оставлен отныне единственный путь
и нету нужды перекидывать стрелку.*

Как-то на даче у Серёжи Иоффе я встретился с питерскими, а в то время ленинградскими актёрами. Мы, многие творческие люди, кто жил и работал в советское время, часто подрабатывали на радио и телевидении, выступали с лекциями по линии общества «Знание», с творческими отчётами по линии Бюро пропаганды художественной литературы и ещё по линии недавно созданного «Общества книголюбов». Артисты Ленинградского Театра им. Ленсовета вместе с нами выступали в иркутских аудиториях и получали за это скромные гонорары. Зато сколько было удивительных встреч и посиделок! Вместе с нами работали известные всей стране актёры Леонид Дьячков и Ефим Каменецкий, Ирина Терешенкова и Юрий Хохликов, Лариса Леонова и Олег Зорин, два Жени — Филатов и Ганелин. Женя Ганелин тогда был совсем молод, а через годы стал сниматься в кино и, особенно, — в большом цикле из шести фильмов о милиции «Убойная сила», куда его в 1999 году на роль сотрудника милиции Жоры Любимова пригласил режиссёр Виктор Иванович Бутурлин.

Хотелось бы вспомнить, что в те яркие дни наших встреч и выступлений очень близко сошлись в своих воззрениях на литературу, искусство и театр поэт Геннадий Гайда и удивительный, необыкновенно талантливый артист Ефим Каменецкий. Они говорили и спорили о русском космизме, о стихах Ахматовой, Цветаевой, Пастернака и Арсения Тарковского, о футуристах и акмеистах, об авангарде и постимпрессионизме. Споры и душевные беседы переходили в стихи. Геннадий Гайда посвятил Каменецкому своё стихотворение:

*Если б ты мне братом был,
был бы старшим братом.
Как отца б тебя любил,
ждал, как в 45-м.*

*Жить бы нам семьёй одной
до скончанья дней,
мой далёкий, неродной,
что родных родней.*

1983

На даче у Сергея и Лины Викторовны Иоффе актёр Юра Хохликов услышал Серёжины стихи о Байкале «Пригляделся к байкальским красотам...» и тут же исполнил их под гитару. Стихи оказались чистыми, сердечными, сильными по внутреннему чувству и удивительно напевными, легко ложились на музыку. Серёжа растрогался и сказал, что он посвящает эти стихи исполнителю:

*Пригляделся к байкальским красотам.
Попривык. Перестал замечать.
Что там горы в багульнике, что там
Предосенней тайги позолота —
Всё поблекло и стало мельчать.*

*Но пожаловал в гости однажды
Человек из далёких краёв.
Словно путник, томящийся жаждой,
И к цветку, и к травиночке каждой
Жадным взглядом прикинуть готов.*

*Ну, скалы нависает громада.
След медведя. Следы камнепада.
Ну, тропа сквозь кедрач пролегла.
Эка невидаль! Так, мол, и надо.
Заурядные, в общем, дела.*

*Языка поначалу лишился —
Онемело качал головой...
Уезжая, обнял, прослезился
И тирадой в сердцах разразился
Умилительной: «Боже ты мой!*

*Понимаете ли, где живёте?
Чем владеете, цените ли?...»
Теплоход, как и должно на флоте,
Дал четыре гудка при отходе
И неспешно растаял вдали.*

*Я остался стоять на причале.
Как обычно, тугая волна
Была в брёвна. И чайки кричали.
Но — о, чудо, — глаза не скучали,
Будто разом сошла пелена.*

*И опять я увидел впервые —
И неслучайных птиц в вышине,
И Дабана гольцы снеговые,
И в воде облака кучевые —
В неживой, ниже дна, глубине.*

*На единой, на благостной ноте
Пели травы, стрижи и имели.
И донёс ветерок на подлёте:
«Понимаете ли, где живёте?
Чем владеете, цените ли?...»*

В восьмидесятые далёкие годы мы все были молоды и дружны, готовы к испытаниям на прочность, жаждали не очень-то спешившей к нам признательности. Но это нас особенно и не печалило. Мы шли в аудитории и на подмостки, учились жить, получать свои, пусть невеликие зарплаты и гонорары, влюбляться и страдать, веселиться и пировать, загораться новыми идеями, спектаклями и стихами. А в аудиториях нас любили, к тому же все три конторы, от которых можно было выступать, исправно платили нам наше вознаграждение.

Теперь даже не верится, что существовали такие замечательные организации, которые, действительно, выполняли грандиозную работу по воспитанию молодого поколения, поскольку мы проводили огромное количество встреч в школах и студенческих аудиториях. Да и не только среди молодёжи.

Не стеснялись расширять свой кругозор научные работники и юристы, учителя и врачи, да и чиновники тоже старались быть рядом с писателями. Не то, что их нынешние прототипы, которые за последние годы, где бы то ни было — в Москве или в Иркутске — низвели имя писателя и художника до самой последней черты и до нищенского положения в обществе.



*Автор памятника Вампилову в Кутулике
скульптор Болот Цыжилов*

получился по сути живой Вампилов. У меня ещё в 2002 году было написано стихотворение на открытие памятника Вампилову в Иркутске, хотя иркутский памятник, исполненный Михаилом Переяславцем, мне показался очень далёким по сходству с Вампиловым. Да и божжистым, каким он изображён, в кургузом помятом костюме, Вампилов никогда не был. Александр Валентинович — интеллигент в высшей степени! Это родовая черта, поскольку его предками были интеллигенты в пяти поколениях.

У памятника Вампилову журналист Татьяна Ковальская (Черемхово), депутат Законодательного Собрания Илья Алексеевич Сумароков, Владимир Скиф



Так вот, на открытии памятника в Кутулике выступали только высокопоставленные чиновники. Никаких писателей и одноклассников, чему возмутился за обеденным столом улан-удэнский монах и писатель, заместитель главного настоятеля буддистов России и председатель Улан-Удэнского отделения Союза писателей России Матвей Рабданович Чойбонов. В его застольном слове звучало истинное возмущение, когда он говорил:

— Дорогие друзья, мне показалось очень странным, что на открытии памятника не прозвучало ни одного слова писателей, знавших Вампилова, друживших с ним, писавших о нём. А ведь Вампилов — прежде всего — писатель!



Председатель правления Союза писателей Республики Бурятия, лама Матвей Рабданович Чойбонов (слева)

Добавлю от себя, что Вампилов не любил чиновников всех рангов. Уж они-то ему попортили кровь, запрещая его пьесы и вымарывая из книг и журналов целые страницы. Любить их Вампилову было не за что. Ну что ж, их преемники теперь присвоили имя Вампилова и, даже особенно не зная его пьес, статей и рассказов, достают имя Вампилова из кармана как собственный золотой портсигар.

Возвращаясь к Сергею Иоффе, скажу, что он оставил заметный след в памяти сибирских читателей, в сердцах многих и многих поклонников его скромной и сердечной музыки. Помнят его и в Порту Байкал, где он жил в летние месяцы и очень любил свой дом, свой письменный стол и деревенских жителей, с которыми мог беседовать о самых обыкновенных делах. Человек он был честный, общительный с приметливой, ясною душой, в меру ироничный и очень добрый. Жаль, очень жаль, что Господь отпустил ему невеликий срок жизни.

Мой одногодок, читинец по рождению, известный русский поэт Михаил Вишняков посвятил ему своё яркое, с неподдельным пророческим видением стихотворение, в котором мистическая российская бездна так и сквозит над судьбами русских писателей, среди которых числится имя верного русскому слову поэта Сергея Иоффе.

Давнее воспоминание

Памяти Сергея Иоффе

*Как сладостны вешние думы!
Как весел уключины скрип.
Никто ещё рано не умер.
Нелепо никто не погиб.
Байкал накрепился на север
и тянет, дышущий, резвей,
и зернь серебристую сеет
на смуглые плечи друзей.
Один, словно ветер, порывист.
Другой, словно ношу несёт.
Их судьбы вразнос да навыхлест
российская бездна пошлёт.
Душа, возвышаясь, мятётся
и ранним прозреньем горчит.*

*Вампилов гребёт и смеётся.
Распутин гребёт и молчит.
А небо пестрит от волненья,
пьянящи от солнца гудки.
И слава, и волны забвенья
ещё далеки-далеки.
Имеющий крепкие нервы,
глядит, не сужая зрачки,
на то, как спокойно и мерно
работают гробовщики.
Сосновая свежая стружка,
кудрявясь, летит с верстака.
И тянет, как будто из выюшки,
откуда-то издалека.*

Александр Вампилов

Ныне признанный не только в нашем Отечестве, но и во всём мире и названный воистину великим, иркутский, сибирский драматург Александр Вампилов на веки вечные связал своё имя с Байкалом. Здесь, неподалёку от Лимнологического института на высоком берегу Байкала установлен памятный знак — мраморная глыба с его портретом. Этот скорбный памятник обозначает место гибели Вампилова в холодных волнах Байкала в августе 1972 года. Вампилов истово любил Байкал, стремился как можно чаще бывать на его берегах и очень хотел поселиться на Байкале рядом со своими близкими друзьями — Валентином Распутиным и Глебом Пакуловым.

Снято немало документальных кинолент о жизни Вампилова, в некоторых из них часто повторяют перевёрнутые кадры сидящего в лодке драматурга, и авторы фильмов делают тем самым акцент на неотвратимости его гибели в Байкале. И, действительно, шуточные эксперименты оператора несут в себе это жуткое пророчество. Мне, как и многим, знавшим Вампилова, не хочется верить в это роковое предначертание судьбы, но странного, мистического в нашей жизни предостаточно. И ощущение того, что эти кадры не случайны, меня не покидает долгие годы.

Да, много снималось фильмов, но ни в одном из них не был снят дом Глеба Пакулова на Байкале, откуда ясным августовским полднем, не подозревая, что уходит навсегда, ушёл в самом расцвете своих творческих сил уже состоявший великий драматург Александр Вампилов — и обратно не вернулся.



Дачный дом Глеба Пакулова в Порту Байкал

Близился день рождения Вампилова (19 августа), и они с Глебом Пакуловым накануне говорили о покупке дома в Молчановской пади. Подходящий дом, вроде бы, отыскался, только надо было провести последние переговоры и обусловиться в цене. Вампилов пребывал в прекрасном настроении, пел, играл на гитаре. К тому же Саша собирался отпраздновать на Байкале

свой 35-летний юбилей. Никаких чёрных предвестий не ожидалось. На календаре обозначилось число 17.

Я не премину рассказать в этой главе о своей последней встрече с Александром Вампиловым, которая случилась в Иркутске 17 июня 1972 года за два месяца до его гибели.

Меня в моей жизни всегда сопровождает число семнадцать: 17 февраля 1945 года я родился, 17 мая 1946 года родилась моя первая любовь — Люба Кельчик, 17 июня 1964 года меня призвали в армию, 17 ноября 1968 года я демобилизовался из армии, 17 января 1981 года родилась моя младшая дочь Саша, 17 июня 1972 года я в последний раз встретился с Александром Вампиловым, 17 сентября 1996 года умерла наша общая с Валентином Распутиным теща Молчанова Виктория Станиславовна, жена известного сибирского поэта Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского — и таких примеров, связанных с числом 17, очень много.

В Иркутске есть знаменитый старинный дом «Коммерческое подворье», который долгое время принадлежал Иркутскому академическому драматическому театру им. Н.П. Охлопкова. Хотя это было общежитие драмтеатра, в нём, кроме артистов и режиссёров, костюмеров и бутафоров, жили художники, работники Иркутского радио и телевидения и какие-то древние старушки-пенсионерки.

В 1972 году я учился на втором курсе отделения журналистики Иркутского государственного университета. А годом раньше я женился и у меня появился сын Игорь. Семья наша у мамы с отцом огромная — восемь детей. На то время старшие из сестёр Клава с Валентиной и брат Виталий уже отпочковались от большой семьи и жили отдельно, но нас всё ещё оставалось с родителями пятеро. Я порывался жить отдельно, хотя нам с моей бывшей женой Татьяной и сыном Игорем родители выделили комнату в трёхкомнатной квартире.

В одной из своих творческих командировок я познакомился с театральным режиссёром Жорой Гавриловым, который посоветовал мне поселиться в «Коммерческом подворье».

— А как? — спросил я.

— А так, сходи к Саше Вампилову. Он сегодня в фаворе. Его ценят и режиссёр Симоновский, и директор театра Юра Пархоменко. Саша с ними поговорит, и, я надеюсь, тебе дадут комнату в нашем общежитии.

И я решился на разговор с Вампиловым. Позвонил ему утром 17 июня 1972 года, и он, несмотря на занятость, пригласил меня к себе домой. Уже тогда Саша получил хорошую трёх-

комнатную квартиру на улице Дальневосточной, 57а, кв. 45 с окнами на Ангару и во двор дома.

Накрапывал дождь. Я надел плащ и отправился по адресу, продиктованному мне Сашей по телефону. Поднялся на площадку второго этажа, позвонил. Открыл Саша:

— Проходи, старик. Ты в плаще, дождь идёт? А я и не смотрю в окно.

— Да, крапает...

— Плащ определим на вешалку, — Саша сдёрнул с меня плащ и повесил в прихожей, — проходи, посидим в кабинете.

Из соседней комнаты раздавался стрекот пишущей машинки.

— Оля печатает первые сцены моей новой пьесы, не будем ей мешать. Она хорошо разбирает мой почерк, да и пора мужу помогать, тащить литературное тягло, — Вампилов пропускает меня вперёд: — Садись на диван.

Комната, в которой работает Вампилов, небольшая, в ней стоят шкаф, стол с лежащей на нём рукописью, чистыми листами бумаги и книгами, стул, диван-кровать, которая днём превращается в диван. Над диваном прибито несколько афиш, среди которых две самые любопытные: «Прощание в июне» — первый спектакль, поставленный в Иркутском драматическом театре режиссёром Владимиром Симоновским в ноябре 1969 года, и афиша «Двух анекдотов» (в будущем «Провинциальные анекдоты»), поставленных 30 марта 1972 года Георгием Товстоноговым в БДТ. На афишах автографы и восторженные слова артистов в адрес автора пьес: «Саша, мы тебя любим!», «Ты — наш лучший драматург!» и ещё много добрых слов и пожеланий.

— Саша, можно спросить? — осторожно говорю я, оглядев кабинет. — А как называется твоя новая пьеса?

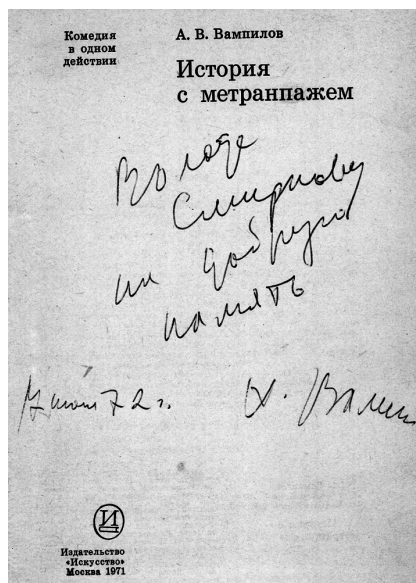
— «Несравненный Наконечников». Эта пьеса почти про меня, про молодого драматурга. Чувствую в себе необыкновенные силы, думаю, что через два-три месяца закончу. Надеюсь, что получится что-то неожиданное, вкусное... А теперь излагай, что тебя привело ко мне.

— Саша, если сможешь, поговори с Юрой Пархоменко насчёт комнаты в «Подворье». У меня сын родился. Мы с Татьяной оба учимся. Трудно без своего угла, а в «Подворье» иногда селят не только актёров, — говорю я правдиво и убедительно, — может быть, там найдётся свободная комната.



Мемориальная доска на доме, где жил А. Вампилов

— Свободное жильё там вряд ли есть, но я слышал, что кто-то из наших артистов переводится в Хабаровский театр. Такие перемещения часто в театрах случаются. Актёры то в Москву на биржу катаются, то сами договариваются с режиссёрами и снуют туда-сюда по стране. Верю, старик, что тебе повезёт, — улыбается Вампилов своей удивительной, незабываемой улыбкой, — я поговорю с Юрой Пархоменко непременно. По телефону не люблю говорить, а завтра буду в театре и твой вопрос возможно решим. А сейчас я хочу подарить тебе свою книжицу, выпущенную издательством «Искусство». Вампилов достал из стола небольшую книгу «История с метранпажем», подписал «Володе Смирнову на добрую память. А. Вампилов. 17 июня 72 г.»



Автограф Александра Вампилова на книге «История с метранпажем»

— Спасибо, Саша! И за книгу спасибо, и за хлопоты, — растроганно сказал я и принял такой редкостный подарок.

— Не стоит благодарности. Читай на здоровье.

— Да я и так всё твоё читаю везде, где только увижу, и в театр на все премьеры стараюсь попасть. А, вообще-то, я больше люблю читать твои пьесы, чем смотреть в театре. Читать интереснее.

— Ты смотри! — удивился Вампилов. — Я тоже больше люблю читать, чем смотреть. Но я уже отравился сценой. И теперь я сам проигрываю свои вещи, как режиссёр. Многие постановщики трактуют моих героев не так, как я вижу их и чувствую сам. Но с режиссёрами спорить трудно, хотя я уже учусь отвоёвывать у них свои позиции.

— Саша, — вдруг вспомнил я, — а ведь у меня сохранились твои письма с тех времён, когда ты работал в «Молодёжке». Я посылал свои первые стихи в редакцию, и мне от тебя как от литконсультанта приходили нахлобучки.

— Ну и что же? Серьёзные нахлобучки?

— Кое-где ты меня хвалил, но чаще ругал.

— И как? Тебе это помогло? — Вампилов лукаво засмеялся.

— Ещё бы, такой профессиональный взгляд на поэзию не часто приходится видеть.

— Да я же не поэт. В ранней юности пробовал что-то писать в рифму. Сейчас и не помню что. Но стихи очень люблю. В нашей семье всегда ценили поэзию, — взгляд Вампилова затуманился, он замолчал, видимо, вспоминая что-то родное, сердечное. — А я, кстати, тоже слежу за тобой. Ты растёшь, развиваешься. В Ангарске на конференции неплохие стихи читал. У нас ещё есть время, прочитай что-нибудь своё, — Вампилов поддержал меня ласковой улыбкой.

— Можно, я три стихотворения прочитаю?

— Валий, старик, я слушаю.

Я очень сильно волновался, самым первым прочитал стихотворение о деревне, о маме:

*Весенний сок забился в почках
И, как малютки-воробы,
Рассада мамина в горшочках
Раскрыла клювики свои.*

*На нашей улице — скворечник
Скворец-красавец заселил.
Я снова дома.*

*И, как прежде,
Я Зорьке пойло посолил.*

*Чтоб вкусно ей, духмяно елось,
Доставил сена косогор.
А петуха —*

*чтоб лучше пелось —
Пустил с хохлатками во двор.*

*Температура нулевая.
Весною дышит вольней.
Рассаду мама поливает
И разговаривает с ней.*

— Когда ты это написал? — заинтересованно спросил Вампилов.

— В 1964 году, в армии. Я тогда очень скучал по дому.

— Хорошие стихи, настоящие, без дураков, — серьёзно сказал Саша.

— А второе я написал о Лермонтове. Очень люблю Пушкина и Лермонтова.

— Я тоже люблю! Читай, — боднул пространство Вампилов и, кажется, проник своим взглядом в самую глубину моей души. Я на всю жизнь запомнил этот всепоглощающий, внимательный взгляд, это напряжённое смутное лицо и не широкие, какими их изображают в памятниках, а заметно-округлые, славянские скулы с широко открытыми русскими глазами.

Я стал читать стихи о Лермонтове:

*Кто чашу горя накренил
Над Маиуком тем смертным летом?
Кто дождь тяжёлый обронил
Над умирающим поэтом?*

*О этот гром над головой!
О сердце, принявшее выстрел!
Гремит Кавказ, а под Москвой
С деревьев — раненые листья.*

*А ветер бился и кричал,
И тело травами окутал,
Чинары древние качал
И гибель с колыбелью путал.*

*Сплетались волосы с травой,
Со смертью жизнь переплеталась.
Природа смыть позор людской
Грозой полночною пыталась.*

*Но ей убийства не избыть,
Как не избыть молвы в народе,
Что кровь Мартынову не смыть
И супостату Нессельроде.*

*Их тени бродят у черты,
Где навзничь тело распростёрто,
Где чёрный демон высоты
Сам на убийц накликал чёрта.*

— Зримая картина. Есть напряжение, тревога, состояние природы угадано. Хотя эти стихи больше от знания и ума, чем от сердца. Мне всё-таки больше нравятся стихи предыдущего плана, пережитые тобой конкретно. Читай!

— А это опять о деревне:

*На елях снег лилово-розовый,
Рассвет похож на снегиря.
В деревне ровный свет берёзовый
И крепкий запах января.*

*И пряжа инея покажется
Нам золотисто-голубой.*

*Ещё секунда — и покатится
По небу солнечный клубок,*

*Пойдём с тобой поля расписывать
И пряжу тонкую тянуть.
Свяжи мне солнечными спицами
Из этой пряжи что-нибудь.*

— Какое славное, образное стихотворение! — воскликнул Вампилов. — И рифмы интересные «спицами»-«расписывать», «покатится»-«покажется».

— А мне твердят, что это евтушенковская рифма. Хотя корневые рифмы встречаются у многих других поэтов, и даже в русских частушках.

— Да, у Евтушенко много корневой рифмы. И он иногда уж слишком этими рифмами жонглирует, рифмует, например «страхи — старухи», «цирк — циркуль». Это уже никуда не годится, — заключил Саша.

Из разбора стихов Евтушенко было ясно, что Вампилов — большой знаток поэзии. В то время многие упивались стихами Евтушенко, Вознесенского, Роберта Рождественского и Беллы Ахмадулиной. Поэтическая четвёрка считала себя этакой «могучей кучкой», кастой, и Вознесенский запечатлел её в экстравагантных стихах, посвящённых Ахмадулиной:

*Нас много. Нас может быть четверо,
Несёмся в машине, как черти.
Оранжево-волоса шофёриша.
И куртка по локоть — для форса.*

*Ах, Белка, лихач катастрофный,
нездешняя — ангел на вид,
хорош твой фарфоровый профиль,
как белая лампа горит!*

Вампилов относился к эстрадным поэтам ровно, без особого восторга, выделяя из этого ряда только Беллу Ахатовну. И то, может быть, потому, что был с ней хорошо знаком во время

учёбы на Высших литературных курсах. Но более всего к тому времени Вампилов не просто прикоснулся, а зачитывался, согревался лучшими образцами русской современной поэзии, так называемой «тихой лирики», к которой относил, прежде всего, Николая Рубцова, Анатолия Передреева, Алексея Прасолова, Василия Казанцева и Николая Тряпкина, но не поэтов-эстрадников, хотя их тоже знал. Знал он и любил выдающегося русского поэта Павла Васильева, расстрелянного совсем молодым, в 28-летнем возрасте. Более того, в начале семидесятых Александр познакомился и подружился с самим Николаем Рубцовым, и Рубцов с нежным чувством относился к Вампилову, верил в него и даже посвятил Саше два стихотворения. Первое шутовское, всего шесть строк, но со значительной припиской-посвящением:

*Саше Вампилову, по-настоящему
дорогому человеку на земле,
без слов о твоём творчестве,
которое будет судить
классическая критика*

*Я улыву на парохде,
Потом поеду на подводе,
Потом ещё на чём-то, вроде...
Потом верхом, потом пешком
Пройду по улице с мешком —
И буду жить в своём народе!*

И второе стихотворение, тоже короткое, но очень сердечное и по-рубцовски неожиданное, глубокое:

Саше
*Ужас в душе небывалый,
Светлого не было дня,
Саша Вампилов усталый
Молча смотрел на меня.*
*Брошу я эти кошмары,
Выстрою дом на холме.
Саша, прости мне пожары
Те, что пылали во тьме...*

От Саши я ушёл счастливый и окрылённый. Выскочил на улицу и вдруг услышал голос Вампилова из форточки:

— Ты забыл свой плащ!

Я повернулся к нему, махнул на прощанье рукой и не стал возвращаться.

Через три дня я уже поселился в «Коммерческом подворье» на втором этаже в комнате № 16. В этой истории опять с помощью Саши Вампилова и Юры Пархоменко я оказался рядом с моим мистическим числом — цифрой 17. Поблагодарить Сашу я так и не успел. У него этот год был очень насыщенным:

С начала года он находился в Москве. Работал с Товстоноговым над спектаклем «Прощание в июне» для театра им. К.С. Станиславского. В театре им. М.Н. Ермоловой начались репетиции пьесы «Старший сын», которую решил поставить московский режиссёр Геннадий Косюков. 30 марта в Ленинграде на Малой сцене БДТ состоялась премьера спектакля «Два анекдота». В эти же дни был подписан договор с «Ленфильмом» на оригинальный сценарий. Из Ленинграда Вампилов снова возвратился в Москву, чтобы договориться с Иллирией Сергеевной Граковой, московским редактором и другом о том, что осенью они начнут подготовку первого сборника пьес. Саша поведал ей о своём желании возвратиться к прозе, писать роман, многое в своём творчестве начать по-новому... После майских праздников уехал в Иркутск с тем, чтобы в сентябре вернуться в Москву. Возобновил работу над пьесой «Несравненный Наконечников», обдумывал пьесу «Квартирант». В этом же году вышла в

свет первая монографическая статья поэта и критика Николая Котенко «Испытание на самостоятельность», посвященная творчеству Вампилова. Пьесы иркутского драматурга рассматриваются в обзоре Людмилы Булгак «Время в пьесах молодых» (журнал «Театр», 1972, № 5). Были и неприятности. Весной пьесу «Прошлым летом в Чулимске» цензура изъяла из сверстанного номера альманаха «Сибирь». В июне, уже после нашей с ним встречи, Саша поехал в Красноярск, где присутствовал на сдаче спектакля «Прощание в июне».

Это был такой взлёт! И не просто везение, а настоящие, серьёзные победы на его тернистом, изнурительном пути. Это было достойное, добытое гениальным вампиловским талантом признание, истинное признание драматурга, прошедшего через многие испытания и трудности.

И вдруг всё оборвалось. Нелепая, трагическая гибель Александра Вампилова взорвала театры. Его оплакивал весь творческий мир, вся страна. Уход драматурга такой величины — это страшная, невосполнимая потеря для всего Отечества.

Как было горько жить на свете особенно первые дни после его смерти. В душе зияла такая дыра, такая безысходность, что хотелось завить в тёмном безлюдном углу. Первое время он мне часто снился живым. Причём, это было настолько реально, что я просыпался то в четыре, то в пять часов утра и думал: а может, и вправду он жив? Ведь мы только что общались, говорили о Наконечникове, и я снова читал ему свои новые стихи. Часто повторялся сон, похожий на явь, как я выхожу из подъезда, на котором написано **17 июня**, и Вампилов мне кричит, что я забыл свой плащ. Я понимаю, что надо вернуться, сказать что-то недосказанное, повернуть время вспять, заставить часы идти наоборот. Но кто-то глухо стонет во мне:

— Ты с ним попрощался в июне...

Александру Вампилову

драматургу, автору пьес «Валентина» и «Утиная охота»

*Откуда твой опыт? Из детства?
Из песен в родимом краю?
Наверно, Господь пригляделся
И высветил душу твою.*

*Ума вековое наследство
Ты принял и тайну постиг.
С Этерпою жил по соседству
В сибирском селе Кутулик.*

*Поэзия русская билась,
Как пульс на запястье, точь-в-точь.*

*Потом Мельпомена явилась
Из памяти древней, как ночь.*

*С какою невиданной силой
Ты выразил жизни раскол.
Ты сам — Валентина и Зилов,
Ты — сцены звучащий глагол.*

*Как верно, как больно, как точно
Увидел ты жизнь и любовь.
Не зря в тебе с кровью восточной
Слилась святорусская кровь.*

1971

День скорби

*И руки в пепле, и лица наши...
Не надо песен! Не стало Саши!*

*Друзья, о чём вы? Стихи, зачем вы?
Россия — в чёрном, а не в вечернем.*

*И Оля скажет, и мама скажет:
— Куда ты, Саша? Не надо, Саша!*

*Деревья — в саже, и горы — в саже.
Не стало Саши... Не стало Саши!*

*Ни лжи, ни фальши. Чёрны асфальты.
И в катафалке — чёрны фиалки.*

*Но сквозь бессилье, сквозь чьи-то лики
По всей России — красны звёздики.*

*И небо — синее, и звёзды — сини...
Скорби, Россия, о верном сыне!*

*Скорби в театрах тень Арлекина
И Сарафанов, и Валентина.*

*Спасти не в силах — Гомыра, Зилов...
Погиб Вампилов... Погиб Вампилов!*

*Седая пена... Волна литая...
О Мельпомена, и ты — седая!*



*Композитор Валерий Стуков и мама А. Вампилова Анастасия Прокопьевна
(десятая годовщина со дня гибели Вампилова)*

Саня

*Играется жизни последняя драма,
Судьба или лодка зависла над бездной
И рухнула в тёмную вечность... А мама?
А маме в той драме и больно, и тесно.*

*Сжимается сердце от чёрного горя,
И кажется — нет и не будет дыхания.
Качаются волны бессмертья... А море?
А море байкальское предало Саню.*

*Как молнии, мысли мелькнули о чуде:
Ведь дома ещё не окончена пьеса!
Неужто Господь отвернулся... А люди?
А люди спешили вдоль тёмного леса.*

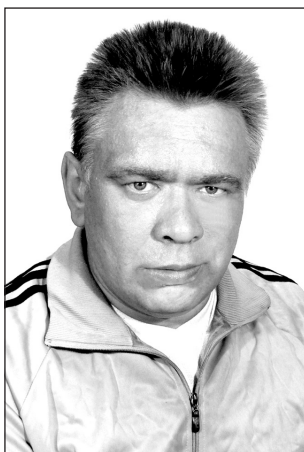
*О, где ты, спасенье? О братья-славяне,
Не скоро мы все осознаем потерю.
Утопую лодку достали... А Саню?
А Саню мальчишки подняли на берег.*

*Заря поднебесная катится слепо,
Стезя прерывается в сумрачной рани,
И звёзды колючие смотрят... А небо?
А небо Господнее приняло Саню.*

1996



ВАДИМ ЯРЦЕВ



Зачем-то мы жили
на этой земле...

* * *

Столетия летели, кружились во мгле.
Зачем-то мы жили на этой земле —
Влюблялись, чуждились, грешили.
Зачем-то мы всё-таки жили.

Зачем-то мы были заброшены в мир —
На этот большой беспорядочный пир,
Где встретили нас без оркестра,
Но всё же расчистили место.

Пусть мы неудачники с меткой на лбу —
Мы сами свою выбирали судьбу,
Платили за выбор, и сами
Садись в шикарные сани.

И если хоть в чём-то ошибка была,
И если судьба не туда нас вела —

Мы сами додумаем, где мы.
И это — не ваши проблемы.

А если кого-то обидели зря,
Прощения просим, но мы — не со зла.
Вы только к нам в души не лезьте.
Сидите, как прежде, на месте.

И, сидя за праздничным этим столом,
Мы как-то забыли о том, что умрём,
Что нам уходить на рассвете,
Что сменят нас наши же дети.

Зачем-то мы жили. Не просто же так.
Мы вышли из мрака — уходим во мрак.
Мы чаши до дна осушили...
Но всё же зачем-то мы жили?

ЯРЦЕВ Вадим Аркадьевич (1967–2012). Родился в Новосибирске, с пяти лет проживал в Усть-Куте. Служил в армии, заочно окончил исторический факультет Иркутского госуниверситета, работал грузчиком, диспетчером, мастером по отгрузке леса, учителем истории. Автор двух книг *«И всё же несколько минут я был свободен»* (2011), *«Марш славянки»* (2013).

* * *

На шумном праздничном пиру,
на затянувшемся застолье
Я — гость. Исчезну поутру,
и вспоминать меня не стоит.

Очнувшись в кухонном чаду,
фонарик слабенький нашарю.
Я потихонечку уйду.
Я никому не помешаю.

Уйду, не хлопая дверьми
и половицами не скрипнув.
Господь, к Себе меня прими.
Иду к Тебе без слёз и всхлипов.

К чему теперь ломать комедь?
Давай без выкриков и стонов.
Уж если вышло умереть,
то нужно выглядеть достойно.

Мы все в Твоей большой горсти —
и стар и мал, и плюс и минус.
Поступки скверные прости.
Убогих разумом, прими нас.

Когда-то мы явились в мир —
и незаметно разбежались.
Прошу Тебя, к Себе прими
и дай Свою любовь и жалость...

Смута (1612 год)

Окончено страшное действо.
Настала пора оглядеться.
Участники длительной драмы,
Сняв шапки, мы входим во храмы.

Молебен отслужим во имя
Побед над врагами своими.
Закончена страшная Смута.
Невесело нам почему-то.

И в самом-то деле, на тысячи вёрст
Одна лишь пустыня, разор и погост.
Ни градов, ни весей, ни пашен —
И лик человеческий страшен.

И только гуляет разбойничий люд,
И кровь православную весело пьют,
Покинув поганые норы,
Бандиты, жиганы да воры.

Им Смута не Смута, война — не война.
Им сладко живётся во все времена.
Вино и людская кровища
Их самая главная пища.

От голода, холода и нищеты
Народ отупел. Мы дошли до черты,
За коей — гниенье распада.
И нечисть гниению рада.

И всё-таки так наступает предел
Людскому страданию. Народ оскудел,
Но, выжав последние силы,
Поляков изгнал из России.

Довольно хозяйничать шляхте в Кремле,
Довольно гулять по российской земле.
Всех тех, что бежать не успели,
Поглотят снега да метели.

А нам выбирать молодого царя,
Чтоб русская кровь не лилась больше зря.
А нам к ремеслу возвращаться,
С которым пришлось распрощаться.

Менялись эпохи, слетали цари,
Снаружи нас грызли, терзали внутри,
А Русь, будто Феникс из пепла,
Опять оживала и крепла...

* * *

Какое мне дело до ваших проблем?
Решайте их сами, а мне-то зачем?
Я в ваши дела и заботы
Вникать не имею охоты.

Не то, чтоб обида терзала и жгла.
Я всё понимаю. Другие дела
У вас и другие задачи.
Всем сердцем желаю удачи.

Когда я с войны возвратился больным,
Оглушим, контуженным, полуживым
(Точнее сказать, полумёртвым),
Задетый огнём пулемётным —

И всё-таки странная дружба порой
Случается в жизни. Пусть я не герой,
Но долг до конца свой исполнил.
Никто из друзей и не вспомнил.

Я что-то не видел восторга в глазах
И радости в ваших хмельных голосах.
И туш в мою честь не играли,
Когда я сидел на вокзале.

Так что ж вы теперь-то вцепились в меня?
Мне ваши проблемы — до светлого дня.
С чего это вы порешили,
Что вы для меня не чужие?..

Национальная особенность

Всё было на соплях, на нитках, на «авосе».
Всё было тяп да ляп, и будет вкривь да вкось.
Я говорю себе: не нервничай, не бойся.
Тебе не привыкать. Проскочим на авось.

«Авось» не в первый раз. И, видно,
не в последний.
Авось переживём и вырастим птенцов.
И если с Богом есть у нации посредник,
Так это лишь оно, чудесное словцо.

Сам чёрт не разберёт, не то что Нострадамус,
Российских наших дел. До Бога — далеко.
Ему и невдомёк, как все мы настрадались.
Ему вдали от нас вольготно и легко.

Ещё не так давно нам с Богом было тесно.
Теперь, когда прижгло, назад Его зовём.
По всем проектам мы
давно должны исчезнуть,
Но говорим «авось!» и всё-таки живём...

* * *

Всё шло, как обычно. Глаза б не глядели.
Низы не могли, а верхи не хотели.

С утра нахлебавшись господской текилы,
Крестьяне дворян подымали на вилы.

Без злобы, а просто чтоб было потише,
В болоте топили господских детишек.

Прирезав павлинов, сжигали усадьбы.
Любили гульнуть на крестинах и свадьбах.

Всё шло, как всегда, без особых новаций.
Дворяне ничуть не желали сдаваться.

Каратели в сёла под утро входили —
И тоже, хлебнув самогонки, чудили.

Артисты играли привычные роли:
Зачинщиков вешали, прочих — пороли.

Всё шло, как всегда. Залечив свои раны,
Кто выжил — снимались и шли в партизаны.

Сгущались над Родиной тёмные тучи...
А впрочем, и в Англии было не лучше.

Сожаление

С каждым годом жизнь невыносимей.
Припекает хуже, чем в аду...
Братка, для чего мы взяли Зимний
В девятьсот семнадцатом году?!

Ах, какими были мы ослами!
Я себя ругаю и кляню.
Нас на фронт и так бы не послали —
Р-р-революционную шпану.

Да уж, и поели и попили,
Хрустала старинного побили.
И для нас забрезжил в жизни свет...
Всё у нас водилось в изобилье —
Девочки, винишко, марафет.

Ну, чего, скажи, нам не хватало?!
Восстановить какой нам был резон?!
Нет, пошёл зачем-то за Картавым
Наш на грудь принявший гарнизон.

Спьяну саданули залп с «Авроры».
И легко из Зимнего дворца
Выгнали буржуйскую контору...
Ликованью не было конца.

Выпили. Попели, поплясали.
А когда развеялся туман —
«Мать твою, — вполголоса сказали, —
Или мы совсем сошли с ума?!»

Дальше, знаешь сам, что получилось.
Вспомню — до сих пор бросает в дрожь...
Да, браток, слегка погорячились.
И обратно ты не повернёшь.

Как бараны, жалобно мы блеем.
Мрачные настали времена.
Мы имеем то,
что мы имеем —
То есть не имеем ни хрена...

Однажды

Слетев с житейской карусели,
В угаре пьяном захлебнись.
В чужой замызанной постели
Однажды вечером очнись.

Холодной вечностью однажды
Заломит потные виски.
Очнись от ясности, от жажды
И от пронзительной тоски.

Чуть приотпустит лихорадка.
Взгляну в разбитое окно,

И мне не горько, и не сладко,
И не светло, и не темно.

Уткнусь в подушку, волком взвою.
Одни мечты, а толку — шиш.
Мне в вечность хочется, на волю,
Да от себя не убежишь.

Иду по жизни, как по трапу.
Рыдай же, скрипка, Бог с тобой,
Когда ко мне на мягких лапах
Приходит вкрадчивый запой...

Разговорчивый

То, что смог он вернуться оттуда,
Я согласен, похоже на чудо.

За три слова впихнут в «воронок»,
Отобьют ему почки и пальцы,
Чтоб не смел издеваться, щенок,
Чтоб отвык навсегда трепыхаться,

Чтобы эта визжащая мразь
Уважала законную власть.

Да и в лагере бьют до кровí.
Принимай как награду окурок,
До рассвета баланду травы,
Будь шутом для влиятельных урок.

Так что если ножом не пырнут —
Повезло тебе, сволочь, и тут.

Отмотав от звонка до звонка,
По Указу получит свободу.
Он — седой, хоть и нет сорока.
Глушит спирт как холодную воду.

Ни жены, ни детей, ни родни —
Только голые стены одни.
...Он запил. Ничего, не сгорит.
Он теперь лишь во сне говорит...

* * *

Меж нами нет чёткой границы.
Бог весть, что мы завтра найдём.
Мы, как перелётные птицы,
Кочуем и ночью и днём.

Свобода! И мы замираем
На этом лихом вираже.
И то, что нам кажется раем,
Назавтра приестся уже.

Спасибо за то, что любила,
Что так малодушно лгала,
За то, что меня отпустила,
За то, что обратно ждала.

Ах, как задыхалось и пело,
Чужое отринув враньё,
Шальное бездумное тело,
Весёлое тело моё.

Мелодией бредя весенней,
Мы пели всю ночь напролёт.
И нам улыбалось везенье.
Никто уже так не споёт.

За вечные эти минуты,
Уйдя в предрассветную тьму,
Кивну благодарно кому-то,
Да так и не вспомню — кому...

Ведьма

Не скажу, что был сильно привязан
К этой ведьме, хозяйке угла,
Что косила единственным глазом,
Не краснея, нахально врал.

Сигареты таскала втихушку,
Обещала мне срок и тюрьму,
И соседке шептала на ушко
То, что знать той совсем ни к чему.

Нет у ведьмы ни веры, ни цели.
Ей бы с лешим встречаться в лесу,

А она прозябает в райцентре,
Пропивает былую красу.

От неё воробыною стаей
Разлетелись и дочки, и сын.
Лишь с портрета, прищурившись, Сталин
Иногда усмехнётся в усы.

В этой комнате тускло и сыро,
А под сталинским ликом в стекле —
Фотография младшего сына,
Что погиб на афганской земле..

* * *

Красавчик, бывший юниор,
Отличник, гордость школы —
Теперь известный сутенёр,
Хозяин местной кодлы.

К заветной цели напролом
Он шёл почти что с детства.
Комсоргом был у нас, орлом —
Хоть мог и отвертеться.

Всю правду он рубил сплеча,
Потратил уйму нервов.
Читал на память Ильича,
Переживал за негров.

Колонизаторов громил:
— Пускай не скалят зубы!..

Кричал про дружбу, братство, мир
И солидарность с Кубой.

А я на митинги не лез
И выступал не шибко.
Политиканство — тёмный лес,
Для дураков наживка.

Прошли былые времена,
Да изменились песни.
И больше он не вспоминал
Героев Красной Пресни.

Без суеты и громких слов,
Без лишнего надрыва
Они нагрели нас, ослов,
И это справедливо.

Одиночка

Мы видим впервые друг друга.
Метель меня сбила с пути.
Из этого чёртова круга
Почти невозможно уйти.

Пацан осмотрел мои лыжи.
Хозяйка — с испугом — меня.
— Не бойтесь, я вас не обижу,
Погреюсь часок у огня.

Сегодня особенно зябко,
И хочется выпить с тоски.
Заштопай мне куртку, хозяйка,
И дай потеплее носки...

Хозяйка бутылку достанет,
Закуску поставит на стол

И рюмки из шкафа расставит,
Чтоб я, не дай Бог, не ушёл.

Пораньше сынишку уложит.
Когда тот закроет глаза,
Она себя взглядом предложит —
И я не смогу отказать.

Не то, чтобы очень в охотку —
Но рядом никто не живёт,
И тянет четвёртую ходку
Весёлый её муженёк.

Мне жалко её, одиночку.
Я знаю, как холодно ей.
Пусть этой завьюженной ночью
Ей будет немного теплей...

Вспоминая октябрь 93-го

Меня, как гайку, завернули.
Отсживаясь у родни,
Я не пошёл под ваши пули
В те знаменательные дни.

Я — не статист в плохом спектакле.
Мне дела нет до остальных,
Наивно веривших не в танки,
А в Конституцию страны.

Уж эти мне идеалисты —
Лишь им и верить сгоряча
Красивым, выпреним и чистым
Демократическим речам.

Когда вся ваша камарилья
За власть боролась без стыда,
Вы многого наговорили —
И вам поверили тогда.

Меня, по счастью, не задело
Победы вашей торжество.
Я за словами видел дело
И исполнителей его.

Ни новоявленных купчишек,
Ни доморощенную шваль —
Сметённых залпами мальчишек
По-человечески мне жаль.

ОМОН расстреливал и грабил
Под чьё-то бодрое «Даёшь!»
В игру без выхода и правил
Ввязалась эта молодёжь.

Мальчишки, глупые, куда вы?
Какие бесы вас зовут?
Вас демократы-волкодавы
Без сожаленья разорвут!

Но закрутилась ахинея —
Не повернуть назад уже.
И что с того, что я хитрее?
Горчит осадок на душе.

Сплетённый властью крепкий узел
Я в эти дни не разрубил.
Я отсиделся. Сдался. Струсил.
Я сам себя перехитрил...

Пробуждение

С трудом в сознание приходя,
Глаза открою в темнотище.
Не помню, кто я сам, хотя
Как будто принц. А может, нищий?

А может, гость иных миров,
Посланец из небесной сини?
Вчера набрались, будь здоров!
Теперь лишь так и пьют в России.

Какой там гость — простая пьянь,
Как за окошком ветер, стонет.
Похмельному в такую рань
Идти к ларьку? Да нет, не стоит.

Я знал, что будет пыль столбом,
Друзья-приятели упыются,

И кто слабее — под столом.
А кто покрепче — мордой в блюде.

И чья беда? И чья вина?
Нас била в зубы жизнь и гнула,
И та, что мне была верна,
Давным-давно рукой махнула.

А впрочем, что тут говорить?
Мы все идём к заветной цели.
Чертовски хочется курить,
Да только спички отсырели.

Сгорай от мутного стыда
И про себя тверди почаще:
«Оставь надежду всяк сюда
Входящий...»

Стукач

Этот юноша, умный и хитрый,
Залетел на чужой огонёк...
Ты вязался в опасные игры.
Уходи подобру, паренёк.

Выдаёт тебя взгляд вороватый,
Смех наигранный, грубая лесть.
Что ты высмотрел здесь, соглядатай?
Что ты вынюхал, гадина, здесь?

Я таких, как ты, чувствую кожей.
Я полжизни с такими прожил.
Ты же, сволочь, нас завтра заложишь,
А кого-то уже заложил.

Стукачей здесь не очень-то любят.
Режут их, как овец, по ночам.
Богу свечку поставь, коль не срубят
Твой удачно созревший кочан.

Я и сам тебе двери открою,
И пинком от души провожу.
Уходи. Мне не хочется крови.
Я пока никому не скажу...

Жажда реванша

Война проиграна. Почти.
Народ поставлен на колени.
Ещё иные дурачки
Его зовут к сопротивлению,

Но всё давно predetermined.
Жизнь продолжается. На рынке
Торгуют водкой и пшеном
Неугомонные барыги.

Вокзал отмыт до белизны,
Садятся школьники за парты,
И щедро хлебом привозным
Нас наделяют оккупанты.

Хотя незримая беда
Не отошла, а где-то рядом,
Но входит в наши города
Забытый ранее порядок.

Пушай в оборванных бомжей
Патруль стреляет, словно в стадо.
Зато не стало крыс и вшей,
Зато гораздо чище стало.

Зато по улицам ночным
Не бродят юноши с ножами.

С таким народом сволочным
Нельзя иначе. Горожане

Повеселели. Пьют коньяк.
Гуляют в парках. Ходят в бары...
Лишь в опустевших деревнях
По убиенным стонут бабы.

По не вернувшимся с войны.
По сыновьям, мужьям и братьям.
Обрезы прячут пацаны,
Чтоб было из чего стрелять им.

Деревне нужен хлыст и кнут.
Они добра не понимают.
Они пока что спины гнут
И шапки грязные снимают.

Но не извечный рабский страх,
А настороженная, злая
Таится ненависть в глазах,
Себя особо не скрывая.

Нет, здесь не будет мировой.
От оккупантов пахнет псиной.
Ещё посмотрим — кто кого.
Ещё померяемся силой.

Наёмники

Как он шёл... Вспоминаю порой,
Как в дыму, подорвавшись, растаял.
Мой порядковый номер — второй.
Даже в смерти меня он обставил.

Мы учились с ним в школе одной,
В одинаковых жили бараках.
Он был больше, чем я, заводной.
Он был первым — и в играх, и в драках.

Одноклассницы липли к нему,
Как на сладкое, роем пчелиным.
Так навечно и сгинул в дыму,
Напорвшись на ржавую мину.

Даже здесь он был первым, чудак.
Все мы в землю когда-нибудь ляжем,
Но обидно погибнуть вот так,
Что не быть земле пухом лебяжьим.

Мой порядковый номер — второй.
Я-то выжил. Я, к счастью, не первый.
Сам себе я и кум, и король.
Сплю в обнимку с накрашенной стервой.

Я — второй. Я права не качал.
Я на смерть не вышагивал гордо...
Но приходит тоска по ночам,
Мёртвой хваткой вгрызается в горло...

Прощание славянки

Ритка, Рита, Маргарита Переехала в Чуну. Не нужна тебе Флорида И Гавайи ни к чему.	(Не понять, по чьей вине) Младший брат погиб в Чечне. Мать заходится от горя. Сник отец и постарел. Младший брат Бориска, Боря, В танке заживо сгорел.
Твой жених погиб в Афгане. Пуля там его нашла. Ты была тогда на грани. Ничего. Пережила.	«Люди мы или мишени? Чем мой брат тебе был плох? За какие прегрешенья Ты семью караешь, Бог?!»
Помнишь, как кричала звонко, Как включила сладкий газ? Родила ему ребёнка. Ходит парень в первый класс.	Бог десятку выбивает. Щёлк — и нету паренька. Ритка нынче выпивает С алкашами у ларька.
Успокоилась. Притихла. Всё бывает на веку, Лишь нередко нервным тиком Сводит правую щеку.	То ли горе, то ли праздник, То ли хохот, то ли вой. И мальчишка-первоклассник Плачет: «Мам, пойдём домой...»
Сына в школу провожаешь. Он сопит: «Я сам дойду». Через полчаса узнаешь — Поседеешь на ходу.	Ни просвета, ни спасенья. Водка булькает в стакан. Эх, несчастная Рассея, Неподвижный истукан...
Молодой, красивый, русый И совсем ещё безусый	

Отчаянный

Отчаянным он слыл по всей округе,
Пошёл служить, чтоб не попасть в тюрьму.
Теперь он без руки и без супруги.
Прилипло это прозвище к нему.

Он был в Чечне. Он там гонял «уазик»,
И даже там чуть не влетел под суд.
Теперь из ресторана не вылезит,
Надеется — а вдруг да поднесут?

Жена сбежала от него — привет, культяпый!
Коль водки нет, он пьёт одеколон.
«Налейте, парни, стопочку хотя бы» —
Он говорит сидящим за столом.

«А ну, давай, Отчаянный,
За столик наш подчаливай.
Ну что, братва, своих не узнаём?
Герой, за эту соточку
Ты сбациаешь чечёточку,
А мы тебе потом ещё нальём».

Пропита гордость, совесть позабыта.
Кто этим хламом нынче дорожит?
Хохочет и подначивает быдло,
В глазах твоих прищуренных дрожит.

«А ну давай, Отчаянный,
спляши-ка, однорукий,
А ну давай, Отчаянный, начни...»
И не было ни водки, ни супруги,
Ни этой трижды проклятой Чечни...

Плясуны

Не для славы, не для денег,
И ещё не пьяный в дым,
Паренёк гармонь наденет,
Улыбнётся молодым.

«Беломорину» докурит
И под чьё-то «жги, Ванёк!»
Гармонист глаза прищурит
И цыганочку рванёт.

Всё! И нет привычной злости.
Пляшут все — и стар, и мал,
И хозяева, и гости,
И жених пиджак сорвал.

Даже скромница-невеста
Тоже встала на носки...
Хватит всем для пляски места —
И своим, и городским.

Кто пришел похулиганить,
Спрячьте, сволочи, ножи.

Пусть под нашими ногами
Пол надраенный дрожит.

Пусть летит к чертям посуда
Со сколоченных столов!
Мы живём, и нам покуда
Не сносить шальных голов.

Пусть нас душит это время,
Пусть вся жизнь пошла на слом!
Пляшет русская деревня
Всем начальникам назло.

— Что ты, что ты, что ты, что ты,
Я — солдат девятой роты
Тридцать первого полка...
Ничего. Живём пока.

Мы — народ простой, но хваткий.
Мы и спляшем, и споём.
Пусть знобит, как в лихорадке.
Ничего. Переживём...

Плясуны мы, плясуны.
Никому мы не нужны...



ТАМАРА БУСАРГИНА

Кое-что о Зилове, и не только...

Совершенно неожиданно, просмотрев по телевизору какой-то отрывок из «Утиной охоты» с рыдающим под дверью Зиловым–Хабенским, я поняла, насколько «восторженное непонимание Вампилова» может стать обычным, очень удобным объяснением всех сценических неудач «Утиной охоты». Мне стало не по себе. С такими актёрами — а скучища! Прямо-таки какая-то «баба Ёшка», которую любила поминать Леночка Вампилова в дошкольном детстве, старательно нагоняет дрёму и туману, запутывает следы, ведущие к «разгадке» Вампилова, а заодно Зилова и (словечко Павла Забелина) «зиловщины».

Распутать эти хитросплетения я не берусь, просто меня рыдающий Хабенский спровоцировал на эти заметки.

Признаюсь, творческая сторона вампиловского естества меня заинтересовала только после посмертного бума по поводу его пьес, хотя и в те годы (1970–1972) я уже пыталась понять, отчего он выбрал такое сложное литературное ремесло — драматургию, где ни спрятаться за обширными описаниями быта, природы, за авторскими пояснениями причин тех или иных поступков и душевных переживаний своих героев, да мало ли чего есть в запасе у прозаика. Это тем более интересно, что уже тогда, особенно после успеха «Старшего сына», Вампилов не считал себя начинающим драматургом и вполне определился в своём призвании.

Я во всех деталях помню прищур его глаз, жесты рук и манеру произносить любимую фразу из А. Островского: «Рассуждать может тот, кто курс кончил!» При этом особенно нажимал на слово «курс», растягивая «с» до невероятия. Театрального курса я не кончала. Но кто запретит любителю драматургии и театра «сметь своё суждение иметь» о том, а кто же он этот самый вампиловский Зилов? То, что я предлагаю читателям, скорее сегодняшние мои раздумья о нас, молодых в шестидесятые годы, и о Зилове, «типичном представителе», как написали бы в советских учебниках по литературе, «шестидесятников».

Задача не из лёгких, скажем прямо.

Сдержанный, немногословный, скорее прислушивающийся к себе, к своим мыслям, Вампилов не спешил высказываться по поводу своих пьес (ему, конечно, поневоле приходилось это делать с редакторами и режиссёрами). Но иногда для приятелей, в компании, вполне непреднамеренно и почти всегда в стиле излюбленных им ремарок, Вампилов говорил-таки кое-что. Из слышанного мне представляется сейчас весьма интересным и многое в его творчестве проясняющим один разговор у костра на берегу острова Ольхон, а потому я считаю вполне уместным предварить свой рассказ когда-то уже опубликованным в воспоминаниях сюжетом.

В посёлок Хужир, что на байкальском острове Ольхон, мы плавали на своей «Казанке» дважды летом 1972 года. Одна из бесед у вечернего костра мне особенно запомнилась, возможно, потому, что имела непосредственное отношение к вампиловскому пониманию театра,

БУСАРГИНА Тамара Георгиевна. Родилась в Иркутске. Окончила исторический факультет Иркутского государственного университета и факультет теории и истории искусств имени Репина в Ленинграде. Автор более сорока публикаций по истории искусства Восточной Сибири, детскому художественному творчеству. В настоящее время — доцент кафедры искусствоведения Иркутского государственного технического университета. Кандидат искусствоведения. Живёт в Иркутске.

спектакля. Мы, как оказалось, смотрели в Ленинграде мольеровского «Тартюфа» в один и тот же вечер, театр «Комеди франсез» давал лишь одно представление. Наши впечатления от спектакля вполне совпали, игру актёров, особенно Женеьевы Паж, нашли блестящей. Это была феерия, праздник, сам подход режиссёра к пьесе был необычен для тогдашнего советского театра. Помню, Вампилов говорил, что беда большинства наших режиссёров заключается в том, что они, действуя якобы «по Станиславскому», не удосужились толком понять природу и принципы его «театральности», не умеют смотреть на предлагаемую автором ситуацию без «идейного» нажима, часто выуживают из пьесы «мораль» такого свойства, которая автору и не снилась. Да и вообще — зачем всё разжевывать зрителю, как ведь полезно хоть что-то оставить и для него самого. Французы понравились Вампилову тем ещё, что сумели взглянуть на мольеровские коллизии несколько отстранённо, как бы со стороны и даже снисходительно, а потому вся парадоксальность, нелепость и авантюристичность ситуаций и положений остались правдой и на сегодня. «Парадокс — сущность обычного», — вычитала я где-то у Вампилова. В его суждениях уже тогда явно чувствовался вкус к иронии, карнавалу, к яркой театральной зрелищности без нарочитого комикования и площадного юмора, с полуулыбкой, что была так свойственна ему в жизни. Совсем не случайно первое название пьесы «Прощание в июне» — «Ярмарка».

Вампилов думал о сценической судьбе своих пьес, мечтал о режиссёре, который сумел бы найти верный, без истерики и суёты, тон и верную мелодию. В хорошей пьесе, говорил он, всегда есть цельная мелодия, но в сценическом воплощении она часто пропадает. Уловить и сохранить её — это самое трудное. Вот ведь чеховская мелодия в пьесах ясно слышима, а в спектаклях она почти никому не даётся. Вообще русские драматурги, уверял он, все хорошие музыканты, вот и у Сухова-Кобылина есть мелодия, почитайте-ка его. (Вспоминаю, как это неожиданно тогда для всех нас, сидевших у костра, прозвучало: Сухово-Кобылина мы, похоже, так не читали.)

Воспроизвожу Сашины суждения приблизительно, но за дух и суть их ручаюсь.

Вампилов не скрывал того, что его понимание театра существенно обогатилось и всего удачнее воплотилось в сотворчестве с режиссёрами Владимиром Симоновским во время работы над «Старшим сыном» и Александром Товстоноговым в процессе постановки «Провинциальных анекдотов» в Большом драматическом театре в Ленинграде. Молодой драматург настолько доверял В. Симоновскому, его знанию природы театра, законов сценического восприятия, что, как известно, Вампилов переписал по его совету кое-что в «Прощании в июне» и даже дописал в «Старшем сыне» целую сцену с Соседом. Позднее Вампилов в письме редактору издательства «Искусство» Иллирии Граковой посчитал эти советы «весьма существенными по смыслу». Работа над текстом «Старшего сына» продолжалась во время репетиций пьесы в театре имени М. Ермоловой.

Современным молодым драматургам подобного соработничества с театром и режиссёрами можно только пожелать, а нам бы почаще радоваться результатам этой работы: ведь что бы там ни говорили и ни писали об «Утиной охоте», но — чудны дела Твои, Господи! — ставят-то чаще и удачнее «Старшего сына». В чём причина? Может быть, пьеса-то совсем не о том, что пытаются ставить на театре? А может, правы те, кто считает «Утиную охоту» пьесой для чтения, а не для театра (см.: *Шайтанов И. Четыре варианта одной проблемы // Сибирские огни. 1974. № 7*), так как «в ней играть-то нечего», как объявил в недавней телепередаче «Игра в бисер» на канале «Культура» редактор столичного журнала «Театр».

Вампилов, как утверждают иные, считал «Утиную охоту» лучшей своей пьесой, что, честно говоря, сомнительно, — пишущие люди (пушкинский «сукин сын» не в счёт) полагают лучшим то, что ещё не написано либо пишется. «Кажется, получилось», — обычно говорил он, ставя последнюю точку в очередной пьесе. Ну даже если и считал, так что же? Драматург тоже человек. Не одна я, есть и другие, которые не считают «Утиную охоту» лучшей вампиловской вещью. И не потому вовсе, что по определению В. Лакшина «Утиная охота» — «самая горькая, самая безотрадная пьеса Вампилова». Мало ли прекрасных, но при этом безотрадных и горьких пьес на Руси? Я, например, не считаю её лучшей потому, что именно в «Утиной охоте», в отличие, допустим, от «Старшего сына», не слышна так ценная Вампиловым «цельная мелодия». Не считаю «Утиную охоту» лучшей, так как не приемлю у авторов эту тотальную, не свойственную русской драматургии, да и вообще русской литературе, неприязнь к своим персонажам, черту, пышно расцветшую в так называемой «поствампиловской» драматургии.

Виктор Зилов, главный персонаж пьесы, мне понятен и даже знаком. У Вампилова он являет собой все «лучшие» качества новой для советского времени породы людей, людей бездумия,

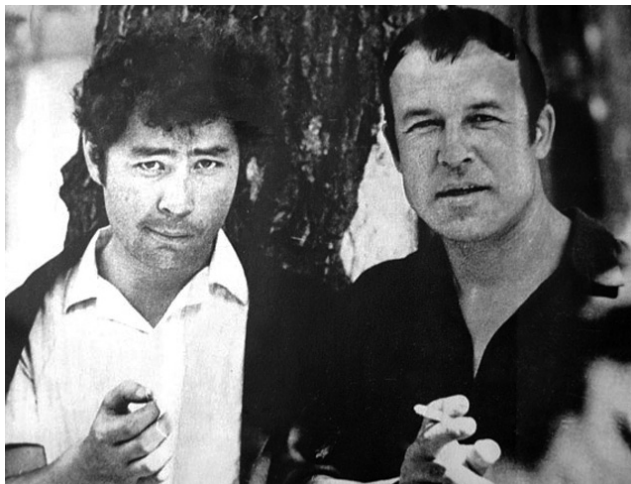
бесчувствия и безответственности, вследствие чего мы в скором времени оказались голенькими, безоружными перед сворой торгашей всех мастей. По моему глубокому убеждению, это главное достоинство «Утиной охоты». Даже если и не входило в планы Вампилова написать пьесу-предчувствие, пьесу-предупреждение, мы имеем право сегодня её так воспринимать: атмосфера всеобщего бесчувствия позволила «шутникам» преподнести Зилову в подарок похоронный венок: дружки и сослуживцы (не без основания, конечно) думать не думали, что Зилов, этот «алик из аликов», способен к глубоким переживаниям. Мне показалось, что в разговорах об «Утиной охоте» (а они были) Вампилов не настаивал на том, что в пьесе есть главный герой в общепринятом привычном значении этого понятия. Там нет вовсе героя, там есть антигерой — что-то вроде «коллективного пофигиста» и циника, частичкой чего, правда, на авансцене, выступает и сам Зилов. А главный-то герой «Утиной охоты» — духовная пустота, душевная неряшливость, когда уже никто не в состоянии, да и не хочет, отличать подлость от невинной шуточки. Зилов, хоть и нутром чуть почище и уж точно ранимее всех этих «подонков и аликов», всё равно лишь «мелкий школьник», а потому и нельзя, как часто теперь делают на театре с лёгкой руки Олега Даля, навязавшего Зилову собственную русскую рефлексию и самоедство, взваливать на этот персонаж непосильную ношу страдальца и плательщика за «мировое зло». Зилов не той структуры. Освободите его от этой ноши, и Зилов предстанет перед нами более человечным, простым и понятным, а потому более многозначным, вызывающим после всех его мерзостей, действительно «несовместимых с жизнью» (особенно в третьем акте пьесы), если и не сочувствие, то хотя бы искреннее желание вслед за Кузачковым понять — отчего это Зилов так разнесло, что, собственно, случилось? Шуточка-то из разряда ординарных. Зилов и сам подшутить не дурак, то над женой, то над доверчивой девочкой, то над своим начальником, который будет отдуваться за статью, где вместо серьёзных сведений о «модернизации и поточном методе» обыкновенная «тутфта». Да он сам на этот венок и напросился — ему всё безразлично. «Брось, старик, — говорит он Саяпину, — ничего из нас уже не будет». Тишину леса на предстоящей утиной охоте этот тридцатилетний мальчик представляет так: «И ничего нет. И не было. И не будет».

Многие пытались ставить «Утиную охоту», иные и теперь ставят, даст Бог, будут ставить и в будущем. Вот и О. Ефремов, не очень-то жаловавший Вампилова-драматурга при жизни, после его смерти поставил пьесу и даже соблазнился сыграть Зилова. И что? Поскольку автор, в сущности, не даёт никаких расшифровок — отчего это Зилов смертельно обозлился на весь белый свет, О. Ефремов, как режиссёр и актёр, решил, что Зилов непременно должен страдать от какой-то неведомой нам, читателям и зрителям, тайной вины. Да не страдает он вовсе! Он просто так живёт: отсиживает без толку положенные часы в конторе, интеллигентски вяло рассуждает — то ли жизнь ему надоела, то ли он ей (с чего бы, казалось?), отложив поездку к умирающему отцу, быстро успокаивается — «старик ежегодно умирает». Зилов пьёт водку, обманывает всех и вся, уходящей от него жене Галине, а потом (какая разница, он в экстазе!) Ирине самозабвенно, как глухарь, токует о том, что совместная охота на уток непременно и чудесно преобразит их нескладную земную любовь в небесную. «О, это как в церкви!» (Откуда знает? Заходил однажды, да и то по пьянке.)

Вампилов попытался нарисовать портрет своего современника, и пусть ещё эскизный, в лучшем случае в подмалёвке, как говорят живописцы, проявить уже тогда хорошо знакомый автору из собственного окружения. «Зилов — это я, да и все мы Зиловы», — в сердцах уверял Вампилов издателей, которые отказывали Зилову в достоверности. Виктор Зилов — тип актёрствующего человека, нередкий в атмосфере «духовного бомжатника» тех «оттепельных» шестидесятых, когда всё старое развенчали, а будущее оказалось «темно во облаках воздушных». В такие времена принято ёрничать, вальяжно произносить пошлости (Кузачков: «Жизнь, в сущности, проиграна...»), юродствовать. Ведь когда темно, то не всякий способен разглядеть тот алтарь, на который приносят жертвы во имя чего-нибудь высокого: страны ли, семьи ли, своего призвания... (Ах, до чего же ладная отговорочка для «плодей без мировоззрения», которых, судя по «Записным книжкам» Вампилова, «надо сажать в тюрьму».)

Создателям спектакля по «Утиной охоте» не позавидуешь. Наша критика упорно заставляет их балансировать, в основном, между двумя версиями Зилова. Других нет. Первая — да, вот такое я дерьмо, дак и вокруг людишки не лучше. Не Бог ведь как это интересно, играть, в сущности, нечего, зрителю думать не о чем — каким он был, этот Зилов, таким и остался. Вторая версия посложнее: Зилов — протестант, радетель за что-нибудь умное, доброе, вечное,

но для такой трактовки образа автор явно не додал Зилову духовных оснований, хотя сама коллизия с венком, не редкая в жизни, да и в литературе, могла бы дать автору возможность раскрыть в Зилове человека, способного не только изливать мелочную злобу на своих обидчиков, которые якобы всё это сотворили, чтоб заполучить его девочку или его квартиру, но и способного размышлять и мучиться какими-нибудь «мефистофелевскими» вопросами. Наконец, автор, когда бы того захотел, мог подвигнуть Зилова на желание что-то пересмотреть в своей жизни. Но чего нет, того нет. Не ясно даже: Зилов действительно решил покончить с собой, или весь этот балаган — ответная «шуточка», которая, впрочем, вполне могла закончиться трагически — актёрствующие в жизни люди частенько «заигрываются». Известно, что на вопрос Иллирии Граковой: «Как ты, как автор, считаешь, меняется Зилов в конце пьесы или остаётся прежним?» Вампилов ответил: «Я считаю, меняется», а вот Глеб Пакулов вспоминал, что на его вопрос, почему ты Зилова не застрелил, ведь собирался же, Вампилов ответил: «Я оставил его жить, что пострашнее». А чего страшного, если Зилов «похорошеет», как обещал автор И. Граковой? Неявность авторского выбора подметил и Игорь Шайтанов в статье о Вампилове.



А. Вампилов и Г. Пакулов

Может быть, Вампилов сознательно оставил этот вопрос на усмотрение читателей, режиссёров и зрителей, что вполне прилично автору, который пишет трагикомедию (именно так он определил жанр «Утиной охоты» в письме к Е. Якушкиной). Или, как полагают иные исследователи (например, П. Забелин), дело в трагической незавершённости последних вампиловских пьес, которые он так и не увидел на сцене при жизни и не довёл текст до возможного для него совершенства с умным режиссёром, как это было со «Старшим сыном», самой конструктивно ясной и «непревзой-

дённой» (согласусь с П. Забелиным) пьесой Вампилова? И самой доброй, добавим от себя.

Наши режиссёры «Утиной охоты», по своей извечной русской привычке всё усложнять, ищут в тексте пьесы всякие подтексты, двойное дно, символику и ещё что-то, иные «вампиловеды» тянут ниточку его творчества к «мэтрам психоанализа» Сартру и Ибсену. Я вполне понимаю устремления критиков и режиссёров придать «Утиной охоте» некую философскую значительность, да что-то сценических успехов на этом пути не густо. Уж лучше попроще, как на Западе решили. Вспоминается разговор с поляком, доктором наук, летом гостившим у нас на Байкале. Я его спросила: отчего из всех пьес Вампилова чаще всего выбирают «Утиную охоту»? (она уже прошла в Варшаве, Праге, Германии, Америке), и получила, кажется, исчерпывающий и очень обидный для меня ответ. Во-первых, потому, что на смену подъёмному крану, вокруг которого вертится весь сюжет (поляк имел в виду арбузовскую «Иркутскую историю»), с драматургией Вампилова пришли живые люди со своим занятым для европейца провинциальным бытом, а во-вторых, «Утиная охота» подтвердила обычное на Западе мнение о Советском Союзе как о «империи зла». Там же никто никого не любит. Вот и русский драматург из самой что ни на есть сибирской глубинки об этом же говорит. Чего ж вам боле? Перед вами типические «русские дикари». «Я часто за вас заступаюсь», — добавил поляк снисходительно.

Причины такого злобного опрощения вампиловского текста нам ясны, конечно, да что поделаешь, о том, «как наше слово отзовётся» на Западе, многие, с сожалением скажем теперь, и думать не думали. Вот и Вампилов просто писал и надеялся быть понятым прежде всего у себя дома. Ну и что же дома?

Выступая на фестивале в честь семидесятилетия со дня рождения Александра Вампилова, московский театральный критик Вера Максимова задалась вопросом: «Почему сегодня не су-

ществует театра Вампилова, бывают только отдельные вспышки, отдельные удаchi?» «Почему спектакли примитивнее пьес, в лучшем случае проще?» — вопрошал Виктор Розов когда-то, и это вопрошание можно и сегодня повторить. Действительно, почему? Московский искусствовед Е. Грушанская наблюдает с конца семидесятых годов «спад вампиловского театрального бума, который обернулся жестоким театральным разочарованием». «Восторженное непонимание Вампилова» продолжается.

Понятно, не может существовать универсального, а тем более какого-то эталонного прочтения и сценического решения вампиловских пьес. Никакая интерпретация не может считаться канонической. Пьесы Вампилова, при всей их художественной неравноценности, всё-таки дают простор режиссёрам проявить свою изобретательность и смекалку. И чем дальше уходит и меняется время, тем эта самая изобретательность в сценическом решении вампиловской драматургии будет нужнее. Совсем немного прошло времени, когда была написана пьеса «Прошлым летом в Чулимске», а уже приходится примерять её к современной житейской и всякой прочей ситуации. (Западный зритель воспринимает маету Валентины с калиткой как туземную причуду, а сегодняшние прагматичные студенты удивляются: неужели во времена Вампилова ещё не знали, что все дорожки строители обязаны делать там, где их протопчут жители?)

И всё-таки, смею предположить: одна из возможных разгадок «Утиной охоты» Вампилова лежит на путях всегда нового бессмертного опыта русского и мирового театра-зрелища, на основе опыта русского народного театра, игры-импровизации, где ПАРАДОКС движет действие (вспомним, как ложь поневоле Бусыгина в «Старшем сыне» пружиной стягивает всё действие воедино и заставляет нас, зрителей, с удовольствием следить за тем, как интрига на наших глазах раскручивается). Конечно, музыка «Старшего сына» отлична от прерывистого, нервного ритма «Утиной охоты», что, на мой непросвещённый взгляд, должно давать режиссёру большую возможность импровизации и свободу в выборе сценических ходов.

На практике же оказалось, что необычайная композиция «Утиной охоты» поставила в тупик даже умудрённый всяческим опытом Московский МХАТ, иначе не понятно, как на основе такой музыкальной какофонии он умудрился сделать нудную «психологическую драму», да ещё при этом выказать неуважение к автору. По признанию О. Ефремова, ему пришлось «переакцентировать и даже опустить некоторые моменты пьесы, чтобы жизненно обосновать сюжет» (см.: О. Ефремов. *Воспоминания // Дом окнами в поле. Иркутск, 1982, с. 625*).

Может, ничего этого и не потребовалось, если бы режиссёр вовремя вспомнил, что сам автор определил «Утиную охоту» как трагикомедию. Трагикомедия и психологическая драма, как хотите, всё-таки разные вещи, хотя «психология» в трагикомедии не отменяется, а выявляется другими способами. Драматизм жизни, философскую суть пьесы (если таковая в наличии) можно раскрыть и не заставляя зрителей зевать.

Зилов вполне может стать персонажем театра-абсурда, персонажем парадокса, фарса, возможно, более злого, чем это могло быть в мольеровские времена. Приняв условия трагифарса, зрителю станет занятнее разгадывать многие моменты пьесы, не всегда ясно выявленные автором, уяснять мотивы поступков Зилова и, втянувшись в игру, додумывать то, что обозначено лишь в вампиловской ремарке: «плакал он или смеялся — по лицу его мы не поймём». А может, и не надо вовсе над этим мудрить, ведь у Зилова это всё-равно не надолго.

Вампилов — умный наблюдатель жизни, он пытался поймать эпоху в слове (кто не почувствует в его диалогах отзвуки «телефонного стиля» тогдашнего литературного кумира «Хэма»). Всё же самое важное слово он взял из жизни. Он любил и умел подмечать необычность, абсурдность ситуаций, обстоятельств и суждений, и в его пьесах, как и в жизни, они оставались реальными и узнаваемыми. В доказательство я приведу ещё кое-что из своих воспоминаний о Вампилове.

Помнится, в хужирском магазине, где мы обычно отоваривались, живя на острове Ольхон, Саша несколько раз, протягивая деньги, просил у продавца дяди Васи Копылова: «Две пачки спичек, пожалуйста!» Никакой реакции. Саша терпеливо повторял свою просьбу, наконец, продавец, вволю насладившись своим положением, смиловившись, принял значительную позу и изрёк: «Это, покамест, у нас карабкам называются», и с жестом, полным достоинства, протянул Вампилову две пачки спичек. Всю дорогу до нашей стоянки Саша, меняя интонации, акценты с одного слова на другое, но неизменно сохраняя важность и значительность всей тирады,

цитировал дядю Васю. Мне показалось, что Вампилов примеряет этот диалог для какой-либо пьесы, он на все лады разбавлял его собственной иронией, и на наших глазах простой разговор у прилавка приобрёл какой-то фантазмагорический оттенок.

Память на парадоксы у Вампилова была отменная. Иные из словосочетаний, похоже, его долго не отпускали. Один раз у костра Саша на какую-то реплику Пакулова исподлобья глянул на Глеба и почти грозно произнёс: «Ваше мнение как советского человека...» Господи, думаю, что так серьёзно? А Пакулов расхохотался. Оказалось, когда-то группа иркутских писателей, в том числе и Вампилов, во время командировки по области имели дело с местным идеологическим начальником. Что-то, видать, ему не понравилось в речах этой приезжей братии. Он долго держал паузу и, стараясь выражаться «культурно», — писатели всё ж таки, назидательно произнёс что-то вроде этакго: «В рассуждении сегодняшнего момента ваши действия и мнения как советского человека с достаточной полнотой не соотнобразуются». Я запомнила эту сентенцию только потому, что Вампилов, да и Пакулов, её частенько воспроизводили с различными вариациями. Возможно, эту колоритную фразу драматург в будущем куда-нибудь пристроил.

Уловить нужные звуки в многоголосье тех уже далёких и незабвенных шестидесятых Вампилов пытался, как видим, везде, и ничего удивительного нет в том, что кое-что он действительно подслушал у своих друзей-приятелей, а одному из них он прямо говорил: «За тобой надо ходить с записной книжкой, всё равно ты, лентяй, всё расфугуешь». Недаром многим в его пьесах «что-то слышится родное», а В. Шугаев был убеждён, что написан Зилов с него, с целью «пригвоздить» его, Шугаева. По крайней мере в «Утиной охоте» он насчитал не то двенадцать, не то четырнадцать словечек и даже фраз, которые ему принадлежат. То же пишет и Б. Лапин (см.: *Вампиловские страницы: воспоминания / Б. Лапин. Иркутск, 2002. С. 65*). Ну и что? Слушать и слышать слово, суметь встроить в ткань своих произведений всякие там разговорчики, выражения, словечки, хохмочки таким образом, чтобы они приобрели новые смыслы, — ценное свойство литератора. Как говорила умница мадам де Сталь, «взять чужое не зорно, важно прибавить к этому свои проценты».

Сейчас, когда интерес к Вампилову вроде бы оживает, очень важно при сценическом воплощении его пьес не наступить на старые идеологические и «психологические» грабли, а попытаться донести до зрителя вампиловское время во всех его «запахах и звуках», наше часто не-суразное житьё-бытьё, которое всё никак не может превратиться в осмысленное бытие — «внутри планетарий, а снаружи всё-таки церковь». Вот и Владимир Андреев (театр им. М. Ермоловой, Москва) впредь обещал ставить Вампилова «как человеческий документ», а режиссёр Валерий Фокин решил, что «со временем самым важным у Вампилова окажутся не темы, а среда, которую он изображает» (*Сибирь. 2012. № 4. С. 201*). Это очень дельное наблюдение. О важности быта, среды ещё в самом начале своего творчества Вампилов не уставал напоминать своим пишущим приятелям. Об этом же вопрошает он в очерке «Прогулка по Кутулику»: «Разве не среда — каждый из нас, в отдельности?»

Кто может наверняка знать, что в вампиловских пьесах окажется важным завтра? Вот уже и сейчас раздаются голоса: довольно «горького лекарства», сколько можно сыпать соль на наши раны и т. д. Может быть, театры, ставя Вампилова, отыщут, наконец, приёмы и способы, как «развлекая, поучать», тем более что его драматургия чуждается всяких жанровых регламентаций, не озабочена чистотой стиля, у него почти везде (что вполне в русской традиции) драма, комедия, фарс и водеvil в одном флаконе.

Побольше дерзости, господа режиссёры и постановщики! А мы подождём...

РУСЛАНА ЛЯШЕВА

Ответ подскажет история

В редакцию поступила статья известного московского критика Русланы Ляшевой с анализом номеров «Сибири» за 2008, 2012 годы. Материал любопытный, но был отклонён по причине того, что его публикация уже состоялась в сетевом литературном журнале «Русское поле» (№ 8, август 2013 г.). Однако в этой статье осуществлён в связке интересный анализ двух материалов — записок дочери П.А. Столыпина Марии Бок «Воспоминания о моём отце П.А. Столыпине. К 130-летию со дня рождения» и очерка «Что ждёт тебя, село родное?» старейшего сибирского писателя Василия Владимировича Гинкулова (1929 г. р.). По согласованию с Русланой Ляшевой приводим этот отрывок, но отметим, что редакция согласна не со всеми выводами автора касательно земельного вопроса, исторических судеб русской деревни. Возможно, читателям «Сибири» захочется высказаться по затронутым проблемам.

Отдел критики и публицистики

«...Первое массовое заселение Сибири русскими принадлежало, как известно, северянам — вологодцам и архангелогородцам, которые через Северный Урал вошли в Сибирь (за Камень) и по ее северной кромке дошли до Тихого океана. Второе массовое русское заселение осуществили казаки через Сибирь («На диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой...» поется в народной песне), Ермак утонул в Иртыше, казаки проследовали дальше, создавая по пути следования Забайкальское казачество, Амурское казачество и т. д., и на Тихом океане свой закончили поход, как поется в популярной песне, по другому, правда, поводу. Третье массовое заселение пришлось на долю крестьян, которые в начале XX века под воздействием земельной реформы П.А. Столыпина лавиной потекли в Сибирь, где поселенцев наделяли землей.

Сибирякам, естественно, любопытно узнать, что же замышлял Столыпин своим, как говорят сегодня, «проектом»?

Часть третья, глава XV из «Воспоминаний» лаконично излагает суть 2-й крестьянской реформы в России (1-ю осуществил Александр II, отменив крепостное право в 1861 году): «...Мой отец, — пишет Мария Петровна, — провел по 87 статье Земельный закон, опубликованный 9 ноября 1906 года. Уничтожение общинного землевладения и переселение крестьян на хутора было мечтой моего отца с юношеских лет. В этом он видел главный залог будущего счастья России. Сделать каждого крестьянина собственником и дать ему возможность спокойно работать на своей земле, для себя, это должно было обогатить крестьянство... Проведением хуторской реформы, где каждый крестьянин становился сам маленьким помещиком, уничтожалась партия социал-революционеров. Поэтому понятно их стремление остановить реформу. Работа этой партии выражалась не только в агитации среди крестьян, часто благодаря этому противодействовавших проведению реформы, но и вообще в искусной агитации против моего отца и устройстве постоянных на него покушений...»

Полнее замысел представлен в двух речах П.А. Столыпина, произнесённых им в Государственной Думе 10 мая 1907 года (её финал — знаменитый афоризм: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!») и 5-го декабря 1908 года (её финал — призыв: «...Мы призваны освободить народ от нищенства, от невежества, от несправия». Это актуально и сегодня. — Р.Л.).

Очередное покушение, совершённое Багровым в Киеве, закончилось трагически — смертью П.А. Столыпина.

ЛЯШЕВА Руслана Петровна. Родилась в г. Петропавловске в Казахстане. Литературный критик, журналист, прозаик, публицист. Закончила факультет журналистики МГУ и аспирантуру Литературного института. Кандидат филологических наук. Работала журналистом и редактором. Живёт в Москве. Член Союза писателей России.

Дочь реформатора завершает воспоминания мудрым обобщением: «Знали враги величия России, что они делают, убивая моего отца именно тогда. Сделай они это позже, убивая его, не убили бы они его идеи. Она восторжествовала бы и после его смерти. В 1911 году, когда мой отец пробыл у власти всего пять с половиной лет, идеалы его не успели еще пустить корни достаточно глубоко, не вошли они еще в плоть и кровь русского народа, и, когда не стало его, все здание, им построенное, рухнуло».

О судьбе сибирской деревни в «нонешнее» время размышляет Василий Гинкулов в рубрике «Малая Родина» и вопрошает в заголовке своего очерка: «Что ждет тебя, село родное?» (Сибирь. 2008. № 1.). Вот как прозаик Гинкулов высказывается о малой Родине: «...Сердце мое навсегда прикипело к солнечно-голубым безмятежным плесам Лены-красавицы, ее роскошным долинам, ее каменистым раскатам, бурым скалам и зелено-хвойным крутым склонам ее гористых берегов». Он признается читателю: «Чем ближе придвигается закат жизни, тем чаще снятся мне окрестности села Петропавловского: черничные и брусничные ущелья, где мы, бывало, всей семьей долгими летними днями собирали ягоду; колхозные поля и луга, где я в далекие военные годы работал на сенокосе и жатве (три сезона жал с матерью хлеб серпом); груздевые укромины в осиннике и рыжечные поляны в сосняках Смольного урочища...» И сожалеет: «...Но посетить родную глубину я все откладывал, и вот настал момент, когда откладывать дальше стало уже невозможно: на 12 июля 2003 года назначили торжества по поводу 350-летия возникновения села Петропавловского».

Более чем через полвека отправился писатель в дорогие для сердца места, плывет по реке на теплоходе «Заря» и видит, что малые деревни все пустые стоят, что «обезлюдивание ленских берегов», как объяснили ему, началось давно. В деревне Кондрашино, расположенной между Киренском и Петропавловском, осталось не больше пяти домов.

«На подходе к Петропавловскому я должен был увидеть Лыхино и Беренгиловку, — сообщает автор, — но они давно исчезли с лица земли, как Сукнево и Березовка, расположенные в пяти и семи километрах ниже по реке».

Юбилей состоялся 12 июля у совхозной конторы, собралось всё сельское общество, прибыла вся районная «командирская» рать, продолжился концерт на стадионе. «Сердце щемило от радости и горести и думалось: «Как хорошо, что приехал и увидел все это!» Это же настроение не оставляло Василия Гинкулова и в поездке по реке на лодке с мотором «Ветерок» в дружеской компании, когда высадились на самой стрелке острова, часто напоминавшем о себе во снах, где и витала его душа и плакала словно чайка. «О чем плакала?.. О бренности и быстротечности жизни, о невыразимой красоте таежных и речных просторов, о неугасимой любви человеческого сердца к вскормившей его родной природе...»

Радость от встречи подпортил лесной пожар, который никто не собирался тушить, как было в прежние годы. Гость с «прискорбием убедился, что безвозвратно исчезло общинное, сердечное чувство хозяина к родной земле, к окружающей природе, которым был силен крестьянский мир».

«Деревенский мир русской крестьянской общины — образец справедливого устройства человеческого общежития, в том числе и на государственном уровне, — Гинкулов как бы оспаривает Столыпина, — где ни одна хата не стоит на краю, где один за всех и все за одного!..»

К сожалению, в споре о форме землевладения не оказалось победителя. Уезжая после юбилея из Петропавловска, Гинкулов смотрит на зарастающие кипреем и сосенками поля и думает, что отвоеванная у тайги 300 лет назад пашня зарастает лесом, и это наводит на леденящий сердце вопрос: «Не ждет ли благодатный край новых, нерусских завоевателей?!»

Через год писатель прочитал в областной газете «Родная земля» о банкротстве Петропавловского совхоза. Друг Холин писал ему о «продолжающейся деградации села: об уехавших в город семьях, о пьянстве, хулиганстве и даже убийствах».

Две публикации журнала — воспоминания о П.А. Столыпине дочери Марии Бок и очерк о сибирском селе писателя В. Гинкулова — позволили читателям взглянуть на земельный вопрос с двух точек зрения, общины или крестьянина-частника. Какой уклад больше соответствует России? Столыпинские хутора или сталинские колхозы? Пока оба проекта рухнули. Вопрос остаётся открытым. Такую позицию редакции журнала «Сибирь» надо признать мудрей. Ответ подскажет история...»

*Мастерская художественного очерка
«Судьбы российские»*



АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН



Сокровище
О купечестве нынешнем и былом,
о капитале добром и злом

*Аркадию Елфимову, председателю Общественного
благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», и
всем благотворителям сибирским, радением коих мужало
и процветало государство Российское...*

Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше
(Мф. 12:33)

Моя идея была, с самых юных лет, наживать для того,
чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу
(народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не
покидала меня никогда во всю мою жизнь.

П.М. Третьяков

БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич. Родился 24 марта 1950 г. в забайкальском селе Сосновоозерск в большой крестьянской семье. После окончания филологического факультета (отделение журналистики) Иркутского государственного университета работал в областных газетах, преподавал русскую литературу в средних учебных заведениях, в Иркутском госуниверситете. Автор книг: «Поздний сын» (М., 1988), «Боже мой...» (предисловие В. Распутина. М., 1996), «Диво» (Иркутск, 2001), «Утоли мои печали» (Иркутск, 2006), «Не родит сокола сова» (М., 2011), «Озерное чудо» (М., 2012), «Косопят — борода до пят»: сказка для детей (на рус. и англ. яз.) (Иркутск, 2013). Живёт в Иркутске.

Купеческая судьба

«Доброе слово и злых делает добрыми, а злое и добрых делает злыми», — учил преподобный Макарий, дабы брат и сестра во Христе, поминая ближнего, не судили, — «не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37). Словом, дай, Боже, любви, чтобы мы, не осуждая ближнего за грехи, кроме хулы на Святую Троицу, видели бы в живой душе на поле брани добра и зла лишь свет божественной любви к Вышнему и ближнему, пусть и тусклый, светящий сквозь сумрак грехов и немочей; и, говоря о ближнем в очи или позаочь, поминали бы лишь добрые дела. А посему, в согласии со святоотеческим любомудрием, скажу доброе слово лишь о добрых делах иркутского благотворителя, не пытаясь создать психологически верный, правдивый образ героя. А коль некоторые добрые дела его реальны, но мистические мотивы благотворительности воображены, как воображен житейский, душевный, духовный мир предпринимателя, то повеличаю его, ну, скажем, Петром Ильичом Калашниковым. Я не поминаю в очерке имени благодетеля иркутского по двум мотивам. Мотив первый: благодетель, вообразим сие, верит, что истинная милостыня в согласии с заповедью Христа творится втайне, и Господь воздаст вявее, в ином случае — торг, когда за деньги покупают суетную мирскую славу; о сем Слово Господне, запечатленное у святых апостолов Матфея и Луки (Мф. 6:2-3; Лк. 21:1-4). Мотив второй: очерк посвящен купечеству — нынешнему и былому, капиталу — доброму и злomu, а прежде — обобщенному и осмысленному купеческому милосердию, яко деянию божественному, а воображенный благодетель Калашников поминается лишь для изобразительности. Хотя, напомним, за вымышленным купцом Петром Ильичом — реальный предприниматель, для коего Пётр Ильич, полагаю, идеал, образец для подражания, как и для иных русских купцов, промышленников и банкиров.

Далее вообразим... Потомок крестьян-христиан и благочестивого старорусского купечества, душой и разумом постигающий Священное Писание и Священное Предание, Пётр Ильич, боголюбец и богомолец, любит и прощает врагов своих, но люто ненавидит и обличает врагов веры православной. От крестьянского рода, вообразим и сие, Пётр Ильич унаследовал добрейшую русскую душу и христолюбивый дух — черты характера столь редкие в деловом мире.

Купеческая судьба Петра Ильича Калашникова рождалась на сумрачной заре российской перестройки. В студенческой юности бессменный командир строительных отрядов, после аспирантуры — ученый-экономист, а потом возглавляющий отдел снабжения на крупном заводе, процветающий Пётр Ильич даже в причудливом, сказочном сне не смог бы провидеть грядущую предпринимательскую судьбу. Но, может, и не без купеческих грехов, Пётр Ильич всё же смог пройти сквозь чужебесие дикого капитализма, не утратив из души любви к Вышнему и ближнему, к Отечеству и соотечественнику. А когда крепко встал на ноги, избрал путь русского купечества, радением коего по России-матушке, да и в родной Сибири, открывались и содержались храмы, богадельни, странноприимные дома, сиропитательные приюты, семинарии, издательства, музеи, картинные галереи, парки и даже погосты. Ступив на купеческую стезю, Пётр Ильич, от природы кряжистый, стал похож на старорусских купцов: долгополый костюм, похожий на кафтан, русая, изрыжа и с проседью борода лопатой, да и ума палата; лишь сивую гриву не чесал на прямой пробор и не смазывал для блеска лампадным маслом. Попервости Пётр Ильич, напоминающий былого купца и дородного попа, казался мне ряженым, вроде иных самодельных казаков, кои не ведают, как на коня забраться. Но после долгой беседы я понял: купеческий облик Петра Ильича вызрел постепенно и лишь из воинственной неприязни к затянутым в чёрные смокинги лукавым менеджерам, похожим на вертлявых мелких бесов, да из любви ко всему русскому, и особо, к народному домострою. Обликом Пётр Ильич напомнил мне знаменитого исторического писателя Дмитрия Балашова, что вечно, даже на писательских съездах в Москве, красовался в мягких хромовых сапогах и русской рубаше навывпуск, расшитой по косому вороту малиновыми обережными крестами, препоясанной по чреслам витым пояском.

О православном купечестве

Пётр Ильич Калашников — представитель крупного сибирского капитала. А капитал — возможность и добрых деяний во славу Божью, во благо ближних, и — недобрых, во зло ближним; к сему, капитал — вольно отпахнутые ворота в роскошный и дикий сад любострастных утех и потех, кои нищему не по карману. Отчего нищий, без Бога и царя в голове, люто страдает от зависти, свирепо ненавидит богачей — тоже охота услаждаться пороками, да нечем платить за пороки, в кармане блоха на аркане.

Грехи любезны, доводят до бездны... Некий даровитый, но бедный художник — увы, чадо разбитной богемы, склонный к пьянству и любострастию, — ликовал, что Господь не дал ему славы и денег, ибо при славе и тугой мощне не устоял бы перед «сладострастием земного бытия», и, махнув рукой на творчество, пустился во все тяжкие. В пламени страстей спалив душу доглом, обратился бы в обугленного мертвеца уже до Страшного Судилица.

Богатство и нищета... Есть нищета духа — «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3), — когда душа чиста и ясна, словно синее небо в солнечный день, когда книга души дочерна не исписана демонской мудростью мира сего, когда страницы души чисты, уготовлены для начертания в них глаголов Божиих. Но мы нынче ведём речь о житейском богатстве и житейской нищете, которая, если то христиански осознанное бытие, счастливо сливается с нищетой духа, чем прославился сонм святых от первохристиан, проповедующих аскезу, и до православных, святостью в земле российской просиявших.

Историческая миссия российского купечества в становлении и развитии России в либеральной историографии, литературе и журналистике XIX века, а потом и в советской XX века либо замалчивалась, либо окрашивалась мрачными тонами. Роль купечества в промышленном и гражданском строительстве, в социальном обустройстве России сводилась к жестокой эксплуатации трудящихся ради личного обогащения. А нравственно-психологический и социальный образ купечества за два века властителями умов подвергся такой демонизации, что и по сей день образ русского купца сливается со зловещим обликом мироеда, создавшего начальный капитал либо разбоем, либо мошенничеством, преумножившего богатство за счет рабского труда наёмных рабочих, утопающего в роскоши, погрязшего в корыстолюбии, сребролюбии, разврате, диком самодурстве, мелочной скупости, при этом прикрываясь фарисейской набожностью и семейным домостроем. Зловещий образ русского купечества глубоко внедрился в сознание российского обывателя, несмотря на нынешнее историческое переосмысление образа, отчего и неслучайно то, что современные российские предприниматели, бизнесмены чужаются величания «купец». Впрочем, причина, и, может, основная, ещё и в том, что нынешняя правительственная идеология не выработала истинного и реального отношения к роли купечества в истории России дореволюционной и современной.

Историографическое искажение, а вернее, уничижение роли купечества в дореволюционной России и демонизация образа купца в общественном сознании происходили «благодаря» всеохватной либерально-демократической пропаганде, хотя и вопреки политике царского правительства, высоко оценивавшего роль купечества в духовно православном, хозяйственном, социальном развитии Российской империи и достойно, в отличие от нынешних времен, морально вознаграждающего купечество за труды во благо и славу Отечества. Правительство не шло на поводу либерально-демократического мнения, заведомо ложного и разрушительного для державного сознания общества, поскольку воспринимало купечество как единственную действенную силу в экономическом и социальном развитии государства, самый надежный оплот державного и духовно-нравственного состояния. Историк П.А. Бурый писал: «Если бы торговое сословие и в прежней Московии, и в недавней России, было бы на самом деле сборищем плутов и мошенников, не имеющих ни чести, ни совести, то как объяснить те огромные успехи, которые сопровождали развитие русского народного хозяйства и поднятие производительных сил страны. Русская промышленность создавалась не казенными усилиями и, за редкими исключениями, не руками лиц дворянского сословия. Русские фабрики были построены и оборудованы русским купечеством. Промышленность в России вышла из торговли. Нельзя строить здоровое дело на нездоровом основании. И если результаты говорят сами за себя, торговое сословие было в своей массе здоровым, а не таким порочным». Традиции русского купечества, сословно окрепшего после Крещения Руси, имели твердую православно-державную

основу, а к девятнадцатому веку обрели завершённую идеологию, выраженную в знаменитом триединстве: «Православие. Самодержавие. Народность».

Иркутское купечество народилось в средневековье. В конце XVII века Иркутск становится бойким торгово-ремесленным центром Сибири. Из разных земель России и Сибири стекались в Иркутск люди, если и без гроша в кармане, то с богатым купеческим воображением, крепкой хозяйской ухваткой, рассчитывающие на Божию волю и по трудам и молитвам — на промысловый, торговый фарт. Уже до градопризнания Иркутска к стенам Иркутского острога приходили бухарские караваны. Самый большой, состоящий из 172 верблюдов, привёз в 1686 году товаров китайских и бухарских на две тысячи рублей. К их прибытию в город съехалось столь торгового люда, что все складские помещения были забиты товарами. К началу XVIII века в самом Иркутске появляются русские торговые люди, чаще переселенцы с северо-востока России: с Устюга Великого, Яренска, Пинеги, Вологды, Тотьмы и других городов Поморья. Русскому Северу обязан Иркутск зарождением славных купеческих династий: Сибиряковы, Трапезниковы, Саватеевы, Баснины. Богатейший купец Михайло Сибиряков был первый иркутский градской голова. «Иркутск — город очень богатый, — писал в жунале «Русская старина» Эразм Стогов, чиновник при губернаторе, — и имел средства разбогатеть: восток и северо-восток свозил всех сортов дорогие меха, юго-восток доставлял чай и шелки Китая. Отпускал Иркутск в те же страны произведения фабрик и товаров Москвы и заграничные, и не имел конкурента. Но зато в Иркутске считалось много миллионеров: Медведников, Трапезников, Баснины, Сибиряковы и прочие... Церквей много в Иркутске».

Иркутское крещеное купечество, кроме храмостроения, поддержки церковной жизни в Прибайкалье, исполняло и великую миссию православного просвещения языческих народов и освоения диких земель, отправляясь в путешествия к неведомым островам и странам, преодолевая огромные расстояния на лошадях, оленях, собаках, под парусами и на веслах, мужественно и смиренно переживая смертельные опасности, лишения, голод и холод. Гнал купеческий азарт, но спасала молитва и дела во славу Божию, во благо родного народа. Не случайно, со второй половины восемнадцатого столетия Иркутск — город сухопутный, далёкий от морей и океанов — превращается в мощную базу промыслового освоения островов Тихого океана и Русской Америки; неслучайно Иркутск становится и центром изучения Северо-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Грех идеализировать российское, в том числе иркутское, купечество — баснословные богатства наживались и неправедными путями: иные сибирские богатеи, яко тати придорожные, начальный капитал добывали с разбойным кистенем на торговом тракте либо с ружьишком на «золотой» тропе; встречались купцы-миroeды, по дешёвке и «огненной водой» скупающие меха у промысловых охотников, особо у инородцев, наживающие капитал за счёт непосильного и надсадного труда наёмных рабочих, загнавшие в могилу и обездолившие уйму бедных семей. Попадались и ухари-купцы, и жестоковейные самодуры. А уж скупены, не приведи Бог: капитала, нажитого всеми правдами и неправдами, хватит на пять поколений жить не тужить, купаться в дикой роскоши, а бедный в Крещение снега не выпросит. Но даже и православные благодетели прижимисты, лишнюю копейку на ветер не кинут: копейка рубль бережёт.

Помнится, подрядился красноярскому купцу сочинить предисловие для альбома живописи — предприниматель, славный церковными благодеяниями, собрал галерею картин. Снизосёл, позвонил, и я, нищесброд, растерялся, лишился дара речи от эдакой чести, но потом одыбал: разговор зашёл о расчёте. Назвал достойную оплату, и купец глубоко задумался, может, полагал, что нашего брата, нищего и хмельного сочинителя, можно и за бутылку подрядить. «А сколько текста?» — «Печатный лист, страниц двадцать пять...» — «А строчки через какой интервал?» — «Через полуторный...» В трубке — гнетущая тишина, тяжкое раздумье, потом вздох: «У тебя же нету денег...» — «Да, в кармане блоха на аркане». — «Ладно, договорились. Но через полуторный интервал, не через двойной...» Когда из уст владельца магазинов и ресторанов услышал я про полуторный интервал, так развеялся, что весь вечер, как вспомню, смех одолевает. Бережливый, копейку из рук не выпустит, потому и нажил капитал.

А то случай был на Алтае... На православном погосте поминали писателя, зажившего за восемьдесят и почившего в Бозе. Вдова по внушению хозяина кладбища — богатого купца — выговорила и себе могилку подле мужа. А накануне хозяин, друживший с покойным писателем, занял у вдовы около трёхсот тысяч... В ранешней деревне говаривали: займи мне, возьмёшь на пне; так оно и вышло: полгода горемычная старушка выхаживала долг и, нако-

нец, обреченно сообразила: плакали её денежки горячими слезьми. Но чтобы деньги и вовсе не пропали даром, решила на могиле мужа возвести затейливое капище с мостиком между могилами. Хозяин согласился: не выпускать же из руку живые деньги... А когда поминали покойного на могилках, мой приятель-писатель, он и поведал потешный случай, вслух поразмыслил: «Не роскошные памятники нужны покойному, а молитвы искренние, дабы Господь со святыми упокоил грешную душу раба Божия...» Хозяин кладбища возмутился: де, красивые и богатые памятники — благолепие погоста, отрада сродникам. «А если я оставлю после себя лишь чиненные кальсоны, и семья перебивается с хлеба на квас?» — «Копи, Ваня...» Хоть и на погосте беседа, но приятель так развеселился, что долго потом на все лады повторял: «Копи, Ваня...» Во-во, делать мне больше нечего, буду я копить на свой надгробный памятник... Вот, и смерть, и вера иным ловким, оборотистым могут мошну набить.

Но помянем легендарного киевского разбойника Кудеяра, за полвека покаянного отшельничества, молитвенного служения Богу и людям ставшего святым Питиримом... Купец купцу рознь, да лишь Бог без греха: многие купцы, будучи людьми православными, в зрелые лета либо на закате жизни исповедально каялись в грехах и, замаливая грехи, жертвовали баснословные капиталы на храмы, больницы, сиропитательные, странноприимные, ночлежные дома.

В отличие от нынешних времен, когда государственная политика морально не поощряет народных благодетелей из деловых людей, в России с начала восемнадцатого века до начала двадцатого столетия сословие купцов за великие заслуги перед Отечеством на государственном уровне обретает многочисленные привилегии, выделяется в привилегированное сословие.

Творение блага

Благотворительность испокон веку жила в обычаях русского купечества, но в Сибири благотворительность обрела диковинный размах. Шиком у богатого сибирского купечества при открытии подписного листа для строительства храма, приюта, богадельни было неожиданно проставить в нём такую сумму, кою не смогли бы превзойти другие.

Но не похвальба лишь подвигала купцов на щедрое милосердие... Русский мужик-древотелец, срубив дом-пятистенник из сосняка, что до звона выстоялся на корню, уложив в нижние венцы лиственничные кряжи, умудрив карнизы и наличники кружевной лепотой, не о том лишь гадал, что ладно, угревно и чадородно заживут домочадцы в хоромной избе, но и небесной блажью сладко томил сердце: продюжит изба века два, и добрым словом, искренней молитвой помянут внуки и правнуки его, строителя хоромины, и станет легче, отраднее на небесах его крестьянской древодельной душе, согретой сестринской и братчиной любовью во Христе. Подобно домостроителям, и православные купцы в делах милосердия помышляли о благодарственных молитвах — во здравие и за упокой.

Благо творили православные купцы потому, что верили в Бога и страстно, до самоотречения, любили родной русский народ, Святую Русь, и могли воскликнуть вслед за поэтом:

*Россия, Русь, — куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!*

К сему стародавний купец, народный благодетель, верующий в бессмертие души, свято чтит евангельскую заповедь: «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою» (Мф. 6:2). И хотя понимал благодетель: де, твори милостыню

втайне, воздастся вьяве, но и, помышляя духом о мире горнем, обитая душой в дольном мире, утешен бывал и похвальным словом от благодарных соотечественников.

Помянем заупокойной молитвой иркутского купца-золотопромышленника Иннокентия Сибирякова, принявшего ангельский чин — святую схиму — в скиту на Святой горе Афон, накануне передавшего все наличные средства духовному отцу иеромонаху Петербургского подворья Свято-Андреевского скита Давиду (Мухранову) для Русской православной церкви, а на Афоне выделившего на возведение собора во имя Андрея Первозванного два миллиона рублей в исчислении того времени, то есть конца девятнадцатого века, а также отпустившего средства на строительство трехэтажного больничного корпуса с церковью в честь Святителя Иннокентия Иркутского, на постройку малой церкви во имя Благовещения Пресвятой Богородицы.

Иные нынешние сребролюбцы жертвуют на храмы, покупают в церковной лавке толстые свечи и с кротким, ангельским смирением возжигают пред святым алтарём, и даже исповедуются и причащаются, а веры нет, есть лишь языческое суеверие, ибо не молятся Христу Богу о спасении души в Царствии Божьем, а ждут по денежным жертвам, по благочестию и молитве лишь благ земных и тленных, ибо слишком любят дольный мир, где суета сует и томление духа, и смутно воображают горний мир — жизнь после смерти.

Ведал я крещеного богача, который жертвовал на православные храмы, но — от избытка и, палимый честолюбием, ждал великих почестей от Церкви Православной, а в глубине души — и посмертный рай, похожий на барскую усадьбу, с дубовыми аллеями, тихими прудами, где плещутся нагие нимфы. Ишь, и на земле нужды не ведал, яко сыр в масле катался, и рай купить охота, огороженный от нищего и вороватого простолюдыя каменной оградой.

Помнится, святейший Патриарх Кирилл, беседуя с иркутской деловой элитой, поведал церковную притчу про богача, удумавшего купить райское блаженство, словно загородную хоромину... Жертвовал благодетель на храмы, принародно тряс мошной и, упокоившись, рванул в рай. Святой апостол Пётр, коему вверены ключи от рая, преградил путь: «Вам, дядя, не сюда. Вам, дядя, туда...» — и указывает перстом на ад крошечный, где огонь, сера и скрежет зубовый. «Да ты что... мужик?! Я такие деньжищи отвалил на строительство храма!..» Вздохнул святой Пётр: «Не переживайте, дядя, деньги мы вам вернём...» О ту пору убогий дворник, что мёл улицу супротив его барских хоромов, не бредёт, а плывёт в рай, да не в заплатной телогрейчишке, а в светящемся белом покрове; Петр-ключник с поклоном отпахивает ему врата рая, ибо поведал Спас: «Тако будут последние первы, и первии последнии: мнози бо звани, мало же избранных» (Мф. 20:16).

Мир нынешних предпринимателей не без добрых людей, унаследовавших традиции православного русского купечества; и если в России нечто доброе создается, то благодаря и частному капиталу. Хотя купеческие традиции, не возрождаясь в исконной славе, и проявляются лишь всплесками участия предпринимателей в делах благотворительности и меценатства.

Маловедома мне даже внешняя, видимая жизнь реального предпринимателя, коего утаил за спиной воображенного купца Петра Ильича, а тем паче, неведома сокровенная — душевная и духовная, но вклад благотворителя в судьбу родного города столь зрим, что имя предпринимателя уже запечатлелось в городской летописи и памяти горожан. Но вернёмся к Петру Ильичу. Он крупные капиталы вложил в благотворительные проекты: храмостроение, реставрацию церквей, строительство и содержание странноприимных домов и богаделен, издание православной святоотеческой литературы, подобной творению митрополита Илариона «Слово о Законе и Благодати».

Воображаю, — сам, бедолажный, подпирал стены в приёмной, — сколь просителей с жалобными письмами, заманчивыми проектами толкуются у парадного подъезда Петра Ильича. Вот батюшка в линиялом подряснике — похоже, из бедного сельского прихода; вот опухший от запоя, гривастый живописец с этюдами в холщовой суме; вот нахрапистый поэт, уже сочинивший оду купцу; вот хитромудрый издатель, гадающий, как искутить купца честолюбием, издать пышную книгу о его купеческом величии; вот долгоногая краля, похожая на цаплю, победившая на конкурсе красоты, повторяющая, чтобы не забыть: «Красота спасёт мир»; вот библиотекарша, от волнения исходящая красными пятнами; вот неказистый и нищий сочинитель повестей, дрожащими руками застёгивающий и расстёгивающий верхнюю пуговку на рубаше, поправляя некогда белый, ныне вышарканный, пожелтевший воротник; вот... и-и-и бесконечная вереница прошаков. Но се птицы мелкого помёта и низкого полёта; крупные и хищные буром прут через приёмную мимо ошалевшей от народа, нервной секретарши. Просителям, их тьма тьмущая,

нужны деньги, а казна торговой компании не бездонна. Живущий строгим русским домостро-ем, Пётр Ильич на безделицу не раскошелится; благодетель чует, кому перво-наперво надо помочь, исходя лишь из истинной нужды просящего либо исходя из значимости для народа социального или культурного проекта, а не из своего честолюбивого, своекорыстного расчёта — в сем случае не милосердие, а купля и продажа, ибо речено Спасителем: «...если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают» (Лк. 6:33). «Истинно говорю вам, они уже получают награду свою» (Мф. 6:2).

Занимаясь благотворительностью, Пётр Ильич особое значение придаёт Православию, где спасение души пред Вечностью, потом — искусству, «где русский дух, где Русью пахнет», где утешены добрым словом униженные и оскорблённые. Благодаря и Петру Ильичу вышли в свет книги талантливых иркутских писателей; и на средства его торговой компании писатели и художники получали годовые подписки на журнал «Наш современник».

В черед просителей, выше помянуто, мелькал и бойкий издатель; и не случайно: Пётр Ильич, как он покаянно выражался, грешил стихописанием. Стихи не печатал, но, случалось, по вдохновению читал в дружеских застольях; и так волновался, читая, и так извинялся, прочтя. Проведав о пристрастии купца к стихосложению, издатель долго кружил вокруг скромного поэта — не бедная птица-синица, богатый журавль в руки летит, долго склонял к изданию поэтического сборника, и — выходил книгу. Издав пышный сборник стихов — в слове немудрёных, откровенно назидательных, изложенных по мотивам Нагорной проповеди Христа, — Пётр Ильич полистал пахнущую типографской краской, роскошно обряженную книгу и поначалу впал в телячий восторг; но уже через месяц схватился за голову и проклял день, когда согласился на издание, ибо, донёсся слух, прослыл рифмоплётом среди здешних стихотворцев. Несчастный Пётр Ильич, ведающий и любящий русскую народную поэзию, долго сокрушался, что не устоял перед честолюбивым соблазном, издал книгу стихов: «Русская поэзия... Пушкин, Есенин, Клюев, Васильев, Рубцов, Кузнецов... а я-то, дурак, куда полез со своими виршами?! Со свиным рылом да в калашный ряд!» Но добрые поэты, пишущие добротные стихи, утешили страдальца: «Всякое дарование — и малое, и великое — копь от Бога, то и во благо народа».

Купец Пётр Ильич искренно переживает о грядущей судьбе России и русского народа, будучи русским националистом, в смысле, любящим отеческую нацию. О судьбе России и русского народа мы и беседовали в его загородном доме — в светлом кабинете с высокими книжными шкафами, с русскими пейзажами, с таинственно мерцающей в лампадном свете, резной божницей в красном углу, откуда жалостливо взирали на нас Спас Вседержитель, Царица Небесная, святые угодники и чудотворцы. Бедная деревенщина, испуганно и подобострастно гнуший выю перед сильными мира сего, оробел я в купеческих хоромах, путано и сбивчиво затеял беседу, но, утешенный ласковым, почтительным взглядом, осмелел. Беседу, запечатленную на бумаге, придиричиво правленную Петром Ильичом, изрядно усечённую, ныне и ввожу в очерк.

— Пётр Ильич, среди крупных российских предпринимателей, чиновников и политиков с либерально-космополитическим сознанием, для коих Россия-родина — «страна дураков», среди дельцов, разжившихся на спекуляциях, на «прихваченной» народной собственности, неистребимо мнение о том, что Советскому Союзу нечем хвалиться, а тем паче, гордиться, что социалистическая Россия — голодная, холодная, населённая рабами, что в пьяном застолье мечтают о капиталистическом рае, о «свободе» по образу и подобию Западной Европы и Америки. Пётр Ильич, а как вы, процветающий предприниматель, относитесь к советскому прошлому, когда наши деды и отцы даже в крамольном сне не могли увидеть грядущий российский капитализм?

— Великий грех взял бы на душу, если бы охал советское время, благодаря которому вышел в люди, как говаривали о ту пору. Копеечные цены за пропитание, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное жильё, когда миллионы простых бедных людей получали прекрасные квартиры, попутно обзаводясь и дачами. А какие пенсии получали рабочие и служащие, выходя на заслуженный отдых?! Скажем, пенсия в сто двадцать рублей в ту пору равнялась 70–80 процентам средней заработной платы. Это не 17–18 процентов как ныне. До ста процентов средней заработной платы пенсия выросла в сталинские годы. Кстати, либеральные историки умалчивают, что Сталин писал добротные стихи на родном грузинском языке и, в отличие от последующих кремлёвских невежд, лично просматривал художественные фильмы, читал литературные произведения. Но вернёмся в Советский Союз... Двадцать лет назад депутаты отчитывались не «лежачими полицейскими» на дорогах и пешеходными переходами,

а построенными микрорайонами и тысячами бесплатных квартир. Хотя нефть тогда стоила не 120, а 12 долларов за баррель... Можно, конечно, винить российскую власть во всех смертных грехах, сваливая на власть и свои грехи. Валентин Распутин прекрасной повестью «Дочь Ивана, мать Ивана» пытался пробудить народное сознание, утверждая, что мы, соборно слившись воедино, сами должны защищать своих детей от насильников и наркоторговцев, коль не можем достучаться до власти. Ради денег дома поджигают, киоски палят, но боятся ради собственных детей сообща побеспокоить наркоторговцев палками по рёбрам или ночным окнам. Только и стонут: куда милиция глядит?! А она глядит то же, что и мы, — потехи в «голубом ящике»... Если нам, потомкам преподобного Сергия Радонежского и святого правоверного князя Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Пушкина и Достоевского, не удастся вырваться из увлёкшего нас стремительного и мутного водоворота, то мы не оставим внукам даже и природы, годной для обитания на той земле, где сейчас Россия; не оставим и некогда мощного генофонда русского народа и даже памяти о загадочной русской душе. Но никогда не поздно ударить в набат по поводу массового растления юных душ; сообща мы сможем достучаться до власти, остановить поток телевизионной нечисти, спасти наших детей! И слава Богу, в народе ещё не иссякло нравственное здоровье, не избылась любовь к Вышнему и ближнему, к священной Русской земле...

Любовь к Божественной красоте

Пётр Ильич — коллекционер произведений изобразительного искусства, а с недавних пор и владелец картинной галереи, где собраны картины талантливых сибирских художников.

Солнечным полуднем, когда небо по-вешнему вольно отпахнулось, засинело, и зеленоватой, сиреновой дымкой притуманились в скверах березняки и осинники, заглянул я на выставку иркутских художников, живописно запечатлевших сибирскую природу и жизнь сибиряков. В большом и старинном зале художественного музея и случилась памятная встреча с Петром Ильичом. На такие выставки — себя показать, на людей поглазеть — стекается весь здешний свет, бомонд, говоря понынешне: губернские и городские чиновники, предприниматели, а перво-наперво — расхристанный творческий народец. Начинаются охи, вздохи, объятья друзей-товарищей, кои годами не видятся, — такова нынешняя жизнь, бешено скачущая, когда, абы выжить, вертишься, как несчастная белка в колесе, бьёшься, как уловленная муха в паучьих силках, крутишься, не видя белого света, и годом да родом, лишь на творческих сходках и обнимешься с братьями и сестрами во Христе, с боевыми друзьями и подругами. Волнуешься, потеешь, краснеешь, вдруг охота спину почесать меж лопаток, и кажется, весь свет на тебя глядит. Рассеянно пожимаешь руки и целуешь ручки, заискивающе кланяешься чиновникам и купцам, бегло пробегаешь по картинам суетным незрячим оком.

Пётр Ильич не суетясь, вдумчиво и пристально, отрешенно вглядывался в картины, а уж потом обменивался впечатлениями с именитым художником, с которым купца, похоже, связывала давнишняя дружба. Впрочем, отвлекаясь от картин, Пётр Ильич иногда с добродушной улыбкой, по-русски неспешно и троекратно челомкался с друзьями и кланялся дамам. Я любовался, издали глядя на него, дородного, степенно оглаживающего тронутую сединой бороду; и чудилось, хоть крестись, словно дивом одолев путь в два века, старорусский купец вдруг нагрянул в нынешний музей, прикатил из купеческих хоромин или завернул после заутрени в храме, воздвигнутом на его капиталы. Даже внешне столь чужд он был гладко выбритым, отутюженным братьям-предпринимателям, кои либо с барским высокомерием в остекленевших глазах взирали на человеческий рой — холопы! — либо с приклеенной к лицу лукавой менеджерской улыбкой и свинцовым холодом во взгляде.

Похоже, иные пейзажи впечатлили Петра Ильича; не случайно, избранные живописные холсты той выставки вскоре пополнили его коллекцию, позже представленную в альбоме реалистической живописи.

Его домашняя галерея разрасталась не по дням, а по часам, словно сад азартного и щедрого садовника. И пополняли коллекцию, за малым исключением, произведения реалистических художников, чьё творчество уже обрело или ныне обретает признание в мире сибирского, российского искусства.

В нашем приятельском общении на фоне живописи рождался образ будущего альбома, куда я подрядился сочинить очерк; очерк вылился в очерковую книгу о сибирской живописи и скульптуре «Избранные», кою Пётр Ильич замыслил издать особо. О ту пору у иркутского купца зрела и мысль о создании частной картинной галереи, куда бы, памятуя о всесветно славном купце Третьякове, он вложил часть нажитого капитала. Но пока картины размещались в загородном особняке, снежно белеющем среди солноликих сосен и разлапистых кедров.

Минуя высокие залы, меблированные на старокупеческий лад, переходя из лета в осень, из осени в зиму, вглядывался я в живописные полотна, в скульптурные композиции, воплощённые в древе и бронзе, и чувал, что избирал Пётр Ильич произведения не случайно, но по восхитительной и сострадательной любви к родному русскому народу, к Русской земле, словно по глаголам святого апостола Павла: «Ныне пребывают вера, надежда, но любовь из них больше» (Кор. 8:1). Произведения избирались без лукавой «широты взглядов», когда в живописи — якобы! — мирно уживаются божественное и демоническое; когда в единой выставочной экспозиции — якобы! — могут соседствовать живописные произведения, где воспеваются человек — Образ Божий, природа — Творение Божие, с картинами, где рушатся и корёжятся Образ и Творение, где живописуются и романтизируются человеческие грехи и пороки.

Познакомившись с коллекцией живописи купца Калашникова, я подумал: коллекционер коллекционеру рознь. Иные лихие собиратели картин, что коллекционеры спичечных этикеток, пустодушные, глуховатые, подслеповатые, не способны учуять истинное произведение — не дано от Бога, народа и природы, а посему берут картинки художников, угодливо рисующих на потребу покупателя. Хотя Лев Толстой и упреждал эдаких притких искусников: «Искусство, поставившее себе целью поставку потех для богатых классов, не только похоже на проституцию, но есть не что иное, как проституция». Ученик Платона, древнегреческий философ Аристотель писал: «Цель искусства не в занимательности и удовольствии, а в нравственном совершенствовании человека».

Видывал я на своем веку частные живописные коллекции: и малые, что пятнали стены контор да жилищ, и большие, подобные галерее; но в отличие от прочих собраний живописи — либо прикладных к богатому жилищу, либо художественно пёстрых, духовно смутных, — картинная галерея Петра Ильича дает полное и ясное представление о современной русской живописи, рождает цельное нравственное впечатление.

Тайное становится явным, и когда слетают с тайных помыслов пышные словесные покровы, во всяком деянии видится изначальная цель, за какими бы выпрєнными глаголами ни пряталась. А посему у картинной галереи, у творчества, у человеческой души, есть два пути: праведный — от Бога, народа, природы, и порочный — от лукавого беса, и невозможно избрать третий путь, ибо речено Спасом: «не можете служить Богу и мамоне...» (Мф. 6:24). Порочный путь, когда картины художников — а мастер может быть от Бога и от лукавого — покупаются, словно любовницы, изысканно крашенные, манерные и «загадочные», в сути, мертвотушные и корыстолюбивые; когда на открытиях выставок звенят пустые словеса для утешения больного и порочного честолюбия галерейщика, отчего художественные мероприятия похожи на остроумно-пошлые телешоу и пустые светские рауты со «свадебными генералами»; когда у хозяев салона, спаливших душу в азарте наживы, лишь одна цель — от приобретения и продажи картин получить предельный доход, пусть даже и лукавый.

Праведный путь: когда произведения искусства обретаются в согласии с духовным понятием красоты человека, как нерушимого подобия Божия, в согласии с понятием красоты природы, как великого и нерушимого Творения Божия, когда на галерейных выставках звучат сокровенные и покаянные, пророческие слова о судьбе и духовной сути человека, народа, мира, когда картинная галерея для владельца становится не столь коммерческим, сколь духовным, национально-державным делом; когда устройением галереи занимаются не мимоходом-мимоходом, но в полную боголюбивую и человеколюбивую душу, полагающую, что истинное, искреннее, талантливое искусство способно пробудить душу, способно указать ближнему узкую тропу к храму, где душа спасается в преддверии Вечности. Сей светлый путь и выбрал покровитель живописи купец Калашников.

19.02.2012

Печатается в сокращении



ВЛАДИМИР ПОПОВ

Свет Розова

ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ

Инна Вишневская

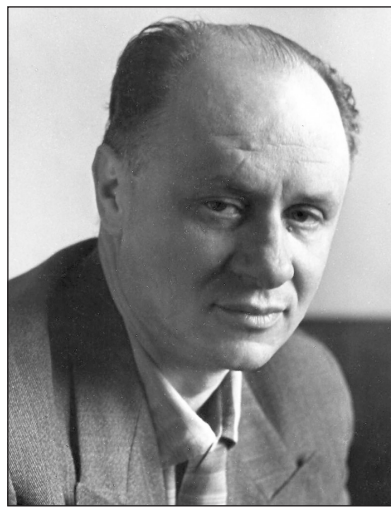
Благодаря Виктору Сергеевичу мы узнали, что у драматургии есть и должен быть нравственный подтекст. Что кроме единства места, времени и действия должно быть духовное единство.

Галина Волчек

Олег Ефремов заразил нас личностью Виктора Розова и его драматургией. Мы впервые соприкоснулись с совершенно другой интонацией рассказа.

Олег Табаков

Виктор Сергеевич Розов — это человек, давший кусок хлеба трём поколениям актёров русских. Розов — человек, во многом способствовавший рождению «Современника» и поддерживавший «Современник» на его пути — жизненном и творческом. Просто я очень любил его и люблю.



В. Розов

Пьеса «Обыкновенная история», написанная по произведению Гончарова, была создана им специально для нас, для «Современника»... Это был спектакль, который во многом, во многом повернул представление о возможностях актёров этого театра. Дальше Виктор Сергеевич в моей жизни занимал значительное место. Я играл и в пьесе «В день свадьбы», и в пьесе «С вечера до полудня», и за границей я ставил в нескольких странах «Обыкновенную историю». Нет, он редкий человек и редкого дарования писатель. По сути, по нему тоже, как по Островскому, будут изучать срезы развития общества, того общества, который назывался Советский Союз, что не мешало и в том обществе жить нормальным, порядочным людям.

* * *

Старшему поколению не надо объяснять, кто такой Розов. Среднему — через одного. По моим самодеятельным опросам среди нетеатральной молодёжи имя драматурга Виктора Розова знает, возможно, каждый десятый. В лучшем случае — пятый. Правда, когда начинаешь перечислять: рождение театра «Современник», фильм «Летят журавли», спектакли «В добрый час», «В поисках радости», «Гнездо глухаря»... Называешь имена «розовских мальчиков» — Олег Ефремов, Олег Табаков, Сергей Юрский, Юрий Соломин, Геннадий Бортников, Юрий

ПОПОВ Владимир Сергеевич родился 3 августа 1946 г. в г. Балеи Читинской области. Окончил мехмат МГУ им. М.В. Ломоносова (1969) и Литературный институт им. А.М. Горького (1981) — семинар драматургии В.С. Розова и И.Л. Вишневской. Член Союза писателей СССР (Москвы) с 1989 г. Пьесы печатались в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Молодёжная эстрада». В театрах России и стран СНГ поставлены: «Третий голос», «Предки», «Пропуск Стаса Захарова», «Красавица Снежана», «Гномик», «Идеальная пара (О, Марианна!)», «Дорогой подарок», «Русская невеста (Завидный жених)», «Семейный сюрприз» и др. Повести и рассказы публиковались в журналах «Сибирь» (Иркутск), «День и ночь» (Красноярск), «Слово Забайкалья» (Чита). Издано несколько сборников пьес и прозы. Живёт в Москве.

Васильев... Практически у всех лица светлеют, в глазах появляется и узнавание, и понимание, и добрый свет. Отраженный розовский свет, который светил миллионам кинозрителей, театралов, читателей, слушателей в Советском Союзе, продолжает светить сегодня и способен светить очень долго. Особенно разгораясь в юбилейные годы — в 2013 году Виктору Сергеевичу Розову исполнилось бы 100 лет! Эта книга кому-то напомнит, а для кого-то проявит выдающуюся роль Розова в русском театре, в отечественной культуре, во всей нашей истории.

Виктор Сергеевич Розов родился 21 августа 1913 года, умер в сентябре 2004-го. То есть появился на свет при царизме, ушел из жизни через дюжину лет после развала СССР и вместил пропущенный через незаурядный ум, большое сердце и щедрую творческую душу весь советский период. Был, что называется, плоть от плоти советским человеком, честным патриотом Советского Союза. Чего не скрывал до последних дней жизни. Даже подружился в последнее десятилетие жизни с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым. Первый президент СССР присутствовал на похоронах Виктора Сергеевича в Центральном детском театре (теперь это Молодёжный академический... но Розов к новому названию так и не привык, называл театр, в котором родился как драматург, ещё в 1949 году, всегда по старинке) как обычный гражданин, даже без видимой охраны. Но о политике в этой книге говорить не будем. Не за политическую деятельность знали, ценили и любили Виктора Сергеевича сотни спутников, знавших его лично, а драматурга Розова — миллионы советских людей.

А за что ценили? Почему любили? Ответить на эти вопросы и должна, по моему разумению, эта книга. Человеческий и творческий свет Розова отразился на нескольких поколениях нашей страны, живших «от Москвы до самых до окраин». И этот свет продолжает облагораживать души и спустя годы после ухода мастера. И, уверен, будет светить ещё много десятилетий.

К 90-летию В.С. Розова «Литературная газета» опубликовала о нём большую подборку материалов. Горжусь, что моя статья «Старейшина» заняла в номере № 34 (20–26 августа 2003 года) заметное место, рядом со статьёй Олега Ефремова (от 1983 года), заметками Геннадия Печникова и Светланы Коркошко. Виктор Сергеевич ещё был жив, хотя временами находился в хосписе, близ метро Фрунзенская, там его поддерживали врачи, заботливый персонал, преданная жена Надежда Варфоломеевна, дочка Таня и сын Сергей. Юбилейное чествование прошло в Центральном детском театре, где все начиналось ещё в 1949 году, а в 2003-м главный автор ЦДТ появился на той же сцене в предпоследний раз. Долгие месяцы Виктор Сергеевич почти не вставал, но до конца земного пути был в ясном сознании и не роптал на судьбу. При одной из наших встреч в хосписе я услышал от учителя: «Когда это кончится, Володя, не знаю... Это не от нас зависит. Может быть, через неделю или через месяц уйду, а может, и через десять лет...»

Примерно через полгода после этих слов мастера не стало. Панихида проходила, конечно же, в Центральном детском — РАМТе, принимавшем своего драматурга теперь уж точно в последний раз. Когда я вышел на сцену положить в гроб учителя прощальные бордовые розы, а затем подошёл обнять вдову, Надежда Варфоломеевна повела себя без обычной приветливой живости. Сначала смотрела на меня странным, отчуждённым взглядом, потом в глазах мелькнули искорки узнавания, вдова тяжело поднялась навстречу, с трудом, нечётко выговорила два слова: «Верный ученик» и медленно, с моей помощью, опустилась на стул. Позже я спросил у Тани Розовой, почему так невнятно прозвучали слова мамы, и услышал поразительный ответ. «Какие слова? Она вообще не говорит сейчас после инсульта».

Жена Виктора Сергеевича, актриса Надежда Козлова, ушедшая рано со сцены Московского театра им. М.Н. Ермоловой, была музой мастера с середины тридцатых и военных сороковых годов до последнего его вздоха. Это она бежала за народным ополчением, когда молодой актёр Театра Революции Витя Розов, влетевший навсегда в душу и сердце благополучной 16-летней московской девочки с первого взгляда, шёл в нестройной колонне добровольцев народного ополчения на смертельный подмосковный фронт осенью 41-го. Потом Татьяна Самойлова покажет подобное прощание в пронзительной сцене лучшего фильма XX века «Летят журавли» по сценарию Виктора Розова. Несомненно, Надежда Варфоломеевна входит в очень короткий список истинных писательских жён, считающих главным делом жизни — помогать мужьям создавать повести, романы, пьесы. Вдова пережила мужа менее чем на два года. При нём Надя всегда, сколько могла, держалась исключительно бодро и мажорно, пока не сразил инсульт. После ухода своего Вити жить ей оказалось невозможно.

О своем учителе я начал писать давно. В 1983 году привлёк однокашников по Литинституту, и к 70-летию мастера свои слова о Викторе Сергеевиче мы сказали в журнале «Театральная жизнь», напомним о них ниже. Осенью того же года на юбилейном вечере Розова в ЦДРИ я выступил со сцены с поздравлением от себя и нашего семинара драматургии. В зале сидел весь московский театральный бомонд. Выступать на такой аудитории было сложно. Сказал срывающимся голосом, что сумел, в адрес юбиляра и быстренько достал из кармана листочки с весёлой, спасительной сценкой из жизни нашего семинара драматургии, написанной к этой дате. Помню смеющееся лицо А.В. Эфроса, сидевшего в первом ряду. К следующим юбилеям писал поздравительные статьи в журналы «Юность», «Партнер-Регион», «Элита России».

Когда Виктор Сергеевич ушёл из жизни, возникла мысль о необходимости большой книги о выдающемся драматурге, незаурядном человеке и духовном наставнике для миллионов читателей, зрителей и слушателей. Написал письма многим известным и знаменитым людям театра с просьбой дать свои воспоминания. Так или иначе, идею поддержали Олег Табаков, Галина Волчек, Марк Захаров, Юрий Соломин, Михаил Шатров, Михаил Рошин, Лилия Толмачёва, Игорь Кваша, Геннадий Печников, Анатолий Смелянский, Борис Любимов, Михаил Швыдкой... Однако от идеи до тиража — дистанция длинная и многоступенчатая. Нужны тексты, литературная обработка, фотографии, верстка, типография... С каждым из названных и неназванных потенциальных авторов встретиться и записать их рассказы оказалось непросто. Работа, болезни, графики... Кое-что всё же происходило. Первыми откликнулись и дали материалы Марк Захаров и Геннадий Печников. Позже, после моих звонков, сразу согласились встретиться Виктор Сергачёв, Юрий Васильев, Борис Любимов, Павел Хомский, Юрий Соломин... Увы, не успели рассказать мне о «своём» Розове — Михаил Шатров, Михаил Рошин, Игорь Кваша... В книгу вошли статьи или фрагменты многих авторов из старых публикаций в центральной прессе. Не со всеми удалось согласовать, но, надеюсь, авторы не обидятся. Они ведь хотели сказать своё слово о Розове, и в книге оно снова прозвучит. Предстанет в книге и розовская фотолетопись. Архивными фотографиями из спектаклей по пьесам Виктора Розова с 50-х до 90-х годов щедро поделились музеи «Современника», Центрального детского театра — РАМТа, МХТ им. А.П. Чехова, БДТ им. А.Г. Товстоногова, театров Сатиры, Моссовета, Малого, Саратовского ТЮЗа...

Время бежит быстро и неумолимо. В год 100-летнего юбилея учителя «верный ученик» решил сделать всё, что сможет, чтобы книга «Свет Розова» вышла в реальный свет. И тогда тысячи читателей и зрителей, знавших мастера лично или по его творчеству, смогут ностальгически вспомнить интереснейшие десятилетия Розовской эпохи. А новые поколения постсоветской России, хочется верить, откроют для себя имя одного из самых больших художников и светлых людей XX века.

Свет Розова — безупречного человека и великого драматурга — необходим людям, как библейские заповеди, по которым Виктор Сергеевич всегда жил и творил.

Из главы первой. Семинар драматургии

В русской драматургии с 50-х годов утвердилось понятие «розовские мальчики». В пьесах «Её друзья», «Страница жизни», «В поисках радости», «С вечера до полудня», «В добрый час», «Неравный бой», «Гнездо глухаря» и других Виктор Розов вывел на сцену чистых, горячих, равнодушных ребят, задающихся вопросами: «Какой я? Как жить? За что бороться?» И это только одна линия драматургии старейшины нашего цеха. Творчество писателя глубоко пропахало и другие важнейшие темы российского бытия второй половины XX века. Виктор Сергеевич оказал мощное духовное влияние на несколько поколений зрителей, читателей, слушателей. И конечно, на своих учеников по Литературному институту им. А.М. Горького, где вместе с блистательной Инной Люциановной Вишневецкой несколько десятилетий вёл семинар драматургии.

Мне повезло быть участником этого семинара в его зенитной поре. Шесть лет (1975–1981) по вторникам я видел и слушал Виктора Сергеевича в 17-й аудитории Литинститута, много раз бывал у него дома, заглядывал и в служебный кабинет, когда на рубеже 80–90-х годов Виктор Сергеевич был рабочим секретарём по драматургии Союза писателей СССР. И всегда убеждал-

ся в абсолютной демократичности мэтра. Простота и естественность в общении были органичны этому большому художнику, как белые стволы берёзкам, а зелёные ветки соснам да елям. Одевался профессор Розов всегда чрезвычайно просто. Галстук и строгий костюм носил редко. Обычно приходил в институт в удобной клетчатой рубашке. Никакой официальности и парадности в нём и под микроскопом не просматривалось. Встретится такой человек на улице, вполне сойдёт за скромного служащего или педагога. И только, пожалуй, глаза выдают неординарность, талант, всемирную известность. Небольшие, пытливые, скорее колючие, чем добрые. Глаза человека много повидавшего, пережившего, хорошо знающего, что почём в этом мире.

С первой встречи и все 29 лет нашего постоянного и достаточно близкого знакомства Виктор Сергеевич поражал меня сочетанием домашней простоты и эпохальной значимости. Впрочем, это, видимо, органичное качество личности многих больших художников. «В пьесе должна быть крупная проблема», — сказал при знакомстве в скверике Литинститута в 1975 году мастер. В его пьесах серьёзная нравственная проблема была всегда. Московские премьеры по новым пьесам В. Розова неизменно становились крупными общественными событиями, оставляли долгую память в умах и сердцах.

Немногие крупные драматурги соединяют в себе литературный и педагогический талант. В Советском Союзе за последние тридцать лет его существования можно назвать лишь три имени. В Ленинграде в 70–80-е годы успешно работала мастерская Игнатия Дворецкого. Из неё вышли Александр Галин, Алла Соколова, Владимир Арро, Людмила Разумовская, Сергей Коковкин... В Москве, в Центральном Доме литераторов, благословил на служение драматической литературе десятка полтора учеников своей студии Алексей Арбузов. В студии занимались Виктор Славкин, Людмила Петрушевская, Аркадий Ставицкий, Анна Родионова, Марк Розовский, Ольга Кучкина, Алексей Казанцев, Вениамин Балясный, Александр Розанов, Александр Ремез, Лев Корсунский... Многим начинающим авторам помогал встать на крыло драматургический семинар Литинститута Виктора Розова и Инны Вишневской. Между педагогами-мастерами не было ни глухой стены, ни ревнивого соперничества. Два наших семинариста разных поколений — Анна Родионова и Саша Ремез — совмещали учёбу в Литинституте у Розова с занятиями в студии Арбузова. Действовал и обратный вектор. Аркадий Ставицкий, Лев Корсунский и другие «арбузовцы», наоборот, читали свои пьесы на семинаре Розова–Вишневской. Мастера творчески дружили и никакого недовольства совмещением своих воспитанников не выказывали. Где-то даже поощряли и рекомендовали каждому своему ученику полезные похождения «налево».

К талантливым студентам Виктор Сергеевич был особенно чуток и внимателен. Как-то однажды мастер пришёл на семинар по-особенному возбуждённый. Причиной радостного оживления, как вскоре выяснилось, была пьеса второкурсника Олега Перекалина «Вдоль дорог серебрятся озёра». Вишневская попыталась Розова охладить: есть ли, мол, повод для ликования? Позвонил ей среди ночи поделиться и до сих пор остановиться не может. Ну, допустим, незаурядная учебная пьеса, она согласна, но разве это повод для столь бурной реакции?

— Повод, голубушка, повод! — не пожелал сбавить тон Розов. — Мне столько макулатуры приходится читать, что когда попадаете стоящая пьеса, чувствую в душе настоящий праздник.

С рекомендацией мастера Олег Перекалин попал на знаменитый семинар молодых драматургов в Рузе, вскоре его пьесы начали ставить театры и печатать в журнале «Театр». В молодом Олеге — высоком, широкоплечем русском богатыре — сочетались скромность, деликатность, даже, пожалуй, застенчивость с совсем противоположными качествами. Самостоятельностью



О. Перекалин и В. Попов. 1978 г.

и независимостью суждений, а порой и достаточно жёсткой оценкой той или иной ситуации, пьесы, спектакля, человека. Он всегда был предельно честен и правдив по большому счёту, что не мешало молодому таланту любить



весёлые розыгрыши и шутки. Пьеса Олега Перекалина «Горячая точка», написанная в конце учёбы, имела десятки постановок, в Москве шла в театре Киноактёра, в Ленинграде в Пушкинском театре у Игоря Горбачёва. Удачной была постановка в Иркутском театре им. Н.П. Охлопкова, где молодого драматурга оценила завлит Вера Филиппова. Две пьесы шли в театре Ермоловой, где завлит Елена Якушкина, много сделавшая в своё время для «московской прописки» Александра Вампилова, энергично поддержала и Олега.

С рекомендацией Розова и других мастеров драматургии Олег был принят в Союз писателей СССР весьма рано, не достигнув и возраста Христа...

И ещё приведу пример серьёзной, творческой полемики наших милых учителей, в которой они очень по-разному, но с равным блеском высказываются на тему самого жанра и авторства в драматургии.

Записал этот диалог по ходу семинара где-то в 1980 году.

РОЗОВ. К нашему жанру относятся очень плохо. И в министерствах, и в издательствах, и в журналах. Явная дискриминация по сравнению с другими литературными жанрами. Недавно мы проводили Совет по драматургии, а затем ходили на встречу к министру культуры. Арбузов, Штейн, Михалков, Салынский, Алёшин, Зорин, Рошин, Радзинский, Шатров, Чичков — выступили единым фронтом. Говорили, что слишком сложен путь пьесы от стола автора к сцене. По дороге пьесу редактируют, а, по сути, уродуют. Не доверяют ни драматургу, ни художественному совету театра. Да и театры не часто помогают авторам, не хотят рисковать, бороться за трудные пьесы. Порой откровенно предают. Очень трудно пробиться на сцену молодым, даже самым талантливым.

ВИШНЕВСКАЯ. У меня есть несколько возражений. Я тоже сидела на том совете, подмывало выступить, но сдерживалась. Потому как все были в таком возбуждении, что вряд ли могли внимать здравым речам. Говорила не раз и повторяю: чем прекрасен наш Виктор Сергеевич? Тем, что он не меняется. Его сокровенные мысли и идеи я слышу уже сорок лет. Действительно, на этот раз, как, может быть, никогда раньше, все драматурги были единодушны. Каждый имеет претензии, все чем-то недовольны. Но если бы я вышла на трибуну, то сказала: вы все прекрасно излагаете разные, но, в общем, похожие сюжеты. Умеете говорить — умно, заинтересованно, аргументированно. Но главный аргумент, по-моему, отсутствует. За что вы бьётесь? Где пьесы, за которые надо драться? Назовите. Дайте мне такие пьесы. Ничего похожего я не вижу у многих милых и маститых авторов. Так о чём говорить? Есть единственное сегодня «Гнездо глухаря», может быть, ещё одна-две пьесы. Всё! А шумят и бьют себя в грудь все подряд.

РОЗОВ. Миленькая, вы говорите как критик...

ВИШНЕВСКАЯ. А кто ж я есть?

РОЗОВ. Как посторонний нашему жанру профессионал. Беда в том, что критики не бросаются в защиту пьесы или молодого автора. А лишь чего-то объясняют. Пытаются научно разобраться.

ВИШНЕВСКАЯ. Вы слишком много от нас хотите. Дело не в сегодняшнем положении. Трудно с драматургией было всегда. Не появлялось практически ни одной стоящей пьесы, которую бы не запрещали, а автора как-то не угнетали. Из всего Пушкина запрещали только «Бориса Годунова» — пьесу. Революционная «Капитанская дочка» про бунт Пуга-



И. Вишневская и В. Розов. Семинар драматургии

чёва спокойно печаталась. Мордовали Сухово-Кобылина. Никогда не увидел своего творения Грибоедов. Сложно было с «Маскарадом» Лермонтова. Так что это в природе жанра.

РОЗОВ. Может быть, так и было всегда. Но, значит, было ненормально. А наша задача — изменить всё к лучшему. Условия труда драматурга должны меняться — к лучшему.

И здесь профессор уступил место актёру, коим Виктор Розов был изначально и оставался всегда. Учитель поддержал паузу, снимая накал разговора, добродушно уже усмехнулся и резюмировал:

— А насчёт пьес, вы, голубушка, конечно, правы. Прежде всего, качество пьесы. Тут и тема, и «как» сделано, и язык. Это всем надо помнить в первую очередь. Хотя бы одну хорошую пьесу за годы учёбы надо обязательно постараться написать.

Семинары-спектакли, семинары-диалоги, семинары-читки, семинары-обсуждения... Они оставались у всех учеников блистательного друга педагогов в самом заветном месте благодарной памяти. Через семинар драматургии Розова–Вишневской прошло множество студентов и слушателей ВЛК (Высших литературных курсов Литинститута, где 2 года учились писатели, уже с «корочками» члена Союза писателей СССР), в том числе и оставившие заметный след в драматической литературе и театрах страны. Тот же уникам Вампилов, о котором скажу ниже.

Из главы второй. На Олимпе

Первая громкая премьера по пьесе Виктора Розова «Её друзья» состоялась в 1949 году. Как рассказывал нам на семинарах сам Виктор Сергеевич, успех был неожиданный и громкий. Он называл свою пьесу «слабенькой» и сразу, и через тридцать лет, и полвека спустя, но когда пьеса появилась, театры набросились на неё сворой голодных (на правду, на чистые человеческие отношения) творческих «собак». Преодолевая пространство и время, цепной творческой реакцией постановки посыпались по всему Советскому Союзу. В процессе «копания» материалов по этой книге, я узнал, например, что великий наш Иннокентий Михайлович Смоктуновский тоже «розовский мальчик»! — в 1952 году играл роль школьника в пьесе «Её друзья» в Махачкале, в Дагестанском драматическом театре. В начале пятидесятых одна за другой грянули новые премьеры: «Страница жизни», «В добрый час»... В театральное пространство, да и вообще в мощный культурный слой Советского Союза в начале второй половины XX века стремительно вошло новое, короткое, с лету запоминающееся имя: Виктор Розов. Помню, как во время домашней встречи известный тогда драматург, редактор, многолетний председатель профсоюзного Комитета московских драматургов и преподаватель ВЛК Литинститута Алексей Дмитриевич Симуков (формально учивший и Александра Вампилова) показал мне книгу, где в одной из эпиграмм звучал яркий тургеневский парафраз: «Как хороши, как свежи были Розов!» На высоком театральном небосклоне яркая звезда драматурга Розова сияла сорок лет. Параллельно с ним звёздами разной величины расположились на театральном олимпе 50–80-х годов драматурги Алексей Арбузов, Александр Штейн, Александр Володин, Сергей Михалков, Афанасий Салынский, Игнатий Дворецкий, Леонид Зорин, Эдвард Радзинский, Михаил Рошин, Михаил Шатров...

Пьесы названных мастеров ставили в эти десятилетия Анатолий Эфрос, Георгий Товстоногов, Марк Захаров, Андрей Гончаров, Олег Ефремов, Галина Волчек, Юрий Завадский, Валентин Плучек. В журналах «Театр», «Театральная жизнь», в главных центральных газетах на все премьеры откликались Инна Соловьёва, Наталья Крымова, Константин Рудницкий, Инна Вишневская, Аркадий Анастасьев, Александр Свободин, Борис Поюровский, Анатолий Смелянский, Борис Любимов, Вера Максимова, Михаил Швыдкой и другие ведущие критики страны. О Розове, о каждой его новой пьесе, писали и говорили многие. Сам Виктор Сергеевич, разумеется, знал весь театальный цвет. Но тусоваться не любил. Не зря советовал воздержаться «от мелькания» кипучей, светской натуре и соведущей семинара драматургии Инне Люциановне Вишневской, впрочем, безрезультатно.

О всех соратниках и собеседниках Розова на творческом Олимпе, разумеется, говорить не берусь. Но наиболее значимые фигуры, театральные орбиты которых наиболее близко соприкасались с розовской, попытаюсь обозначить. В московской режиссуре и вообще театальной жизни советских времён мощно звучали два главных «розовских» режиссера — Эфрос и Еф-

ремов. Среди актеров — «розовских мальчиков» — пальму первенства более полувека держит Олег Табаков. Начну с фигуры, возможно, самой объёмной, мощной и цельной в русской театральной истории XX века по имени Олег Николаевич Ефремов.

Вечная связка

Речь об Олеге Ефремове заходила на семинарах Розова множество раз. И поводов было предостаточно. Прежде всего, творческое знакомство нашего учителя и молодого актёра Ефремова. Произошло оно еще в сталинские времена, в 1949 году. Для каждого драматурга едва ли не главный день в жизни — день самой первой премьеры. Вчера ещё никому неизвестный литератор, автор рукописей становится именем в верхнем правом углу театральной афиши! Появляются рецензии, о постановке спорят, имя автора звучит в откликах режиссёров, актёров, зрителей. Но это вообще. Изредка случаются первые премьеры-события! Они сразу приносят не просто временную известность, но рожают имя на десятилетия, свидетельствуют о приходе нового драматурга-классика, которых можно за век пересчитать по пальцам. Так было с «Городом на заре» и «Таней» Алексея Арбузова в конце 30-х годов. Именно это произошло и со спектаклями «Её друзья», «Страница жизни» и «В добрый час!» в Центральном детском театре. О самой первой премьере «Её друзей», так или иначе, мы ещё вспомним не раз в этой книге, а пока отмечу, что одну из главных ролей — одноклассника героини по имени Володя — сыграл 22-летний Олег Ефремов, недавно принятый в ЦДТ после Школы-студии МХАТ. Ставили пьесу очень известные режиссеры тех лет Ольга Пыжова и Борис Бибииков. И пошло-поехало. Связка драматург Виктор Розов — актёр и режиссёр Олег Ефремов существовала несколько десятилетий. А реальные совместные работы выглядят следующим образом: 1949 год — ЦДТ, «Её друзья», 1953 год — в ЦДТ премьера пьесы В. Розова «Страница жизни»; Олег Ефремов играет Костю Полетаева, ставит спектакль легендарная женщина, прямая ученица К.С. Станиславского, режиссёр и педагог Мария Осиповна Кнебель. В этом же году Олег Ефремов в пьесе «Её друзья» играет другого персонажа — Петю. 1954 год продолжает классическую хроннику постановок пьес В. Розова в ЦДТ, самая, наверное, громкая премьера этого театра за всю его советскую историю. Пьесу «В добрый час» ставит Анатолий Эфрос, роль Алексея играет вполне ещё молодой, но уже прогремевший на всю Москву актёр и педагог Школы-студии МХАТ Олег Ефремов. Кстати, в Школе-студии со своими студентами, будущими создателями «Современника», Ефремов чуть раньше, опережая ЦДТ, тоже ставит «В добрый час». Не случайно кто-то из участников спектакля в Детском театре вспоминал, что на репетициях «Доброго часа» Эфрос и Ефремов спорили часами. Что не удивительно, иначе и быть не могло при разнице художественных стилей, социального и человеческого опыта и равновеликости характеров двух театральных корифеев. Потом они долго будут «наперегонки» ставить пьесы Розова: Ефремов — в «Современнике», Эфрос — в ЦДТ, театрах Ленинского комсомола и на Малой Бронной.

Конечно, самое главное совместное детище Ефремова и Розова — двух обитателей московского театрального Олимпа 50-х годов — спектакль «Вечно живые». Где-то я прочёл фразу, что когда создавался «Современник», прозвучал вопрос: «А кто будет нашим Чеховым и даст нам новую «Чайку?» И Ефремов дал чёткий ответ: «Виктор Розов и его пьеса «Вечно живые». Кто-то может не соглашаться, говорить о разнице в масштабах драматургов и пьес, но факт остается фактом. Военная пьеса Розова стала визитной карточкой нового театра на десятилетия. Это была первая премьера «Современника». Именно она принесла театру первый громкий успех. Олег Николаевич возобновлял «Вечно живые» в 1964 году и в 1975-м, когда уже пять лет не работал в «Современнике». В первой постановке сам Олег Ефремов играл молодого персонажа Бориса, во второй редакции вышел на сцену отцом семейства Бороздиным — замечательным доктором, человеком большой души и великим гражданином СССР.

В «Современнике» поставлено ещё несколько пьес Розова. Вскоре после «Вечно живых» возникает спектакль «В поисках радости» (режиссёры Олег Ефремов и Виктор Сергачёв). В нём в главной роли выступил Олег Табаков, ставший сразу одним из ведущих актёров театра, а после фильма «Шумный день» по этой пьесе (режиссеры Г. Натансон и А. Эфрос) — любимцем публики всего Советского Союза.

1964 год — «В день свадьбы» (режиссеры О. Ефремов, Г. Волчек). 1967 год — «Традиционный сбор» (О. Ефремов, В. Салюк). 1969 год — «С вечера до полудня», где Олег Ефремов был и режиссёром, и исполнителем роли Андрея Жаркова. Но это сухая цифирь совместного творчества. А были и личные встречи, разговоры, творческие ссоры, укрепляющие взаимоотношение, взаимную поддержку, взаимопонимание. Скажем, оба обитателя театрального Олимпа навсегда запомнили удивительную, случайную встречу летом 1952 года. О ней Виктор Сергеевич говорил нам на семинаре, о ней писал в своей главной статье об Олеге Ефремове, с чётким, говорящим названием: «Лидер». Впервые она напечатана в книге «Путешествие в разные стороны. Автобиографическая проза» (М.: Сов. писатель, 1987). Храню экземпляр, подаренный мне учителем с автографом от 6 августа 1987 года. Несколько расширенный вариант «Лидера» от 1997 года (к 70-летию Олега Николаевича) последний раз опубликован в книге «Олег Ефремов. Настоящий строитель театра», изданной в 2011 году. Начинается статья Розова как раз летней картинкой 1952 года.

«Вместе с женой мы валяемся на тёплых камушках пляжа в местечке Лазаревское, недалеко от Сочи. Пляж пустынен... Однако, вон какие-то две фигуры шагают по гальке в нашу сторону. Приближаются.

— Здравствуйте, Виктор Сергеевич!

— Батюшки, Олег, Геша! Здравствуйте! Куда вы?

— Решили исследовать Кавказское побережье. Идём от Новороссийска до турецкой границы, — шутит Печников.

— Как вы здесь поживаете? Бросили писать ту пьесу или продолжаете? — спрашивает Ефремов.

— Пытаюсь доделать.

— Давайте! Мы за неё готовы бороться, нам она нравится... Ну, счастливо отдыхать! Мы топчем дальше».

Вот такая поразительная, говоря молодёжным сленгом, «прикольная» гримаса теории вероятностей! Розов с женой просто отдыхают под Сочи. Ефремов с Печниковым, молодые актёры ЦДТ, просто решили в летний отпуск методом Максима Горького идти в «люди» от Москвы, вдоль Волги и аж до самого Чёрного моря! Неутомимые, жизнерадостные, длинноногие оба. По дороге подрабатывали творческими встречами. И, вроде бы, совершенно случайно пересеклись автор и исполнители пьесы «Её друзья» в одной точке пространства и времени на необъятных просторах СССР, вовсе не договариваясь о такой встрече. Но в каждой случайности, видимо, есть своя закономерность...

Виктор Сергеевич ставил актёрскую игру Ефремова на один уровень со штучными великими русскими актёрами, как последних десятилетий, так и вековой истории русского театра со времен Гоголя, Островского, Тургенева, Чехова. Высоко оценивал Розов и историческую роль Ефремова для российского театра. Вот последние фразы из поздней редакции статьи «Лидер». «...И всё оттого, что Ефремов думает не о себе, а о деле. Пробует, ищет, отыскивает. Он — строитель нашего театра, всего театра! Конечно, Товстоногов, Захаров, Эфрос, Плучек — тоже строители. Но сегодня во главу всего нашего театрального дела я бы поставил именно Олега Николаевича Ефремова. И Олег, несомненно, войдёт в его историю».

Так написал Виктор Сергеевич в 1997 году. Ефремову оставалось жить три года, Розову — семь.

А вот выдержки из статьи Олега Ефремова о Викторе Розове, опубликованной в 2003 году к 90-летию автора «Вечно живых» в «Литературной газете». Написал её создатель «Современника» в 1983 году, скорее всего, к 70-летию Виктора Сергеевича. «Сейчас трудно вспомнить, почему «Вечно живые» лежали долго в столе у Розова. Видимо, для каждой серьёзной пьесы приходит своё время. Время для розовских пьес и для всех нас наступило в 1956 году. Пьеса тогда привлекала главным — Розов писал о том, что есть в России истинная интеллигентность, порядочность. Он писал о том, что такое честный человек и как он сохраняет честь в самых трудных обстоятельствах. Пьеса давала возможность, как теперь видно, собрать коллектив, объединить студию на основе какой-то общей идеи, лежащей не только в области эстетики, хотя и эстетики тоже. Мы воспринимали пьесу как художественный манифест, если хотите... Розов обладает самым важным писательским даром: он сначала видит человека, а потом проблему, он любую проблему решает только через человеческий характер.

Говорят, что Розов сентиментален. Говорят ещё, что он моралист. Это правда. Только эти

его свойства проистекают не из равнодушия, а из страсти, из желания, чтобы театр был не пустячным делом, чтобы он заставлял людей думать, плакать, смеяться.

Виктор Сергеевич остается тем же порядочным человеком, каким был всегда, каким был в годы войны, когда пошёл на фронт добровольцем и получил ранение. Он остаётся порядочным человеком — поэтому он остаётся писателем, которому можно верить.

«Если ты честный человек, ты должен» — так говорит доктор Бороздин из «Вечно живых». Это формула розовской жизни в искусстве, обращённая ко всем нам».

В той статье Олег Николаевич лаконично, просто и точно сформулировал и писательское кредо Розова, и значение «Вечно живых» для рождающегося «Современника», и свой подход к драматургии: «Идея не только в области эстетики, хотя и эстетики тоже».

Для Ефремова всегда была важна и нужна социальная проблема, решаемая через человеческий характер. В этом они с Розовым были единомышленниками все десятилетия творческого содружества.

Однажды я вдруг понял и осознал, что не случайно Ефремов много ставил Розова и совсем не ставил Арбузова. С последним великим мастером у них всё же были разные группы социальной «крови». С Розовым они совпадали стопроцентно.

И последний штрих для любознательных, особенно молодых читателей, интересующихся театральной историей и её корифеями. Многие театралы Олега Николаевича Ефремова полушутя-полусерьёзно называли иногда «Станиславский сегодня» или «наш Станиславский». Константин Сергеевич служил МХАТу более 30 лет в первой половине XX века, Олег Николаевич стоял «у руля» свою тридцатку — во второй, так что сермяга в этой кличке-переключке была.

А главное подтверждение неразрывной связи имён я нашёл однажды, забредя в очередной раз на «мхатовскую» территорию Новодевичьего кладбища. Постоял, как всегда, у Чехова, потом у Булгакова. Прошёл ряд великих основоположников МХТ: В.И. Немирович-Данченко, В.И. Качалов, О.Л. Книппер-Чехова. Подошёл к просторной могиле Станиславского и вдруг увидел, что справа к ней вплотную примыкает могила Ефремова. Не знаю, на каком уровне решался вопрос о захоронении Олега Николаевича, но, думаю, место выбрано точно и справедливо — на века!

Разумеется, судьба любого драматурга связана не только с конкретным театром и режиссёром, пусть самой высшей пробы, но не в меньшей степени зависит от актёров. Среди всех «розовских мальчиков», взбравшихся на театральный Олимп, пальма первенства, несомненно, принадлежит одному из лучших актёров советского, российского и мирового театра О.П. Табакову.

Две мизансцены

Несколько десятилетий, начиная с создания «Современника», на театральном Олимпе душевно соседствовали и творчески сотрудничали Виктор Розов и Олег Табаков. Актёрский талант Олега Павловича рос, укреплялся и расцветал в молодом «Современнике». О роли Олега Савина в спектакле «В поисках радости» и других его «розовских» работах мы ещё не раз вспомним в этой книге. Сам Олег Павлович исключительное место и в своей актёрской биографии, и в театральной летописи «Современника» отводит «Обыкновенной истории». О значительной роли Розова в своей жизни Олег Павлович много раз говорил в самых разных аудиториях. Особенно мне запомнился его яркий и проникновенный спич во время празднования своего юбилея в переполненном зале МХТ, если не ошибаюсь, в 2000 году, когда Виктор Сергеевич уже редко выезжал на публичные мероприятия. За синхронность сказанных слов не ручаюсь, но мизансцену и смысл передаю точно.

Выслушав множество поздравлений и дифирамбов от официальных лиц, коллег и учеников в свой адрес, в какой-то момент седой, обаятельный, обожаемый собравшейся тысячной аудиторией артист подошёл к рампе, поднял руку, требуя тишины. И когда она установилась, сказал:

— Дорогие друзья! Коллеги! Я особенно рад и счастлив присутствию в этом зале одного человека. Вот здесь, в первом ряду сидит дядя Витя Розов, которому я бесконечно обязан. И не только за Государственную премию, полученную в 30 лет, на которую купил первую свою

машину. Я не просто играл в «Обыкновенной истории» много лет сначала племянника, потом и дядюшку Адуева. Как режиссёр я ставил эту пьесу Розова по мотивам гениального романа Гончарова множество раз в разных странах. С неизменным успехом. Получал хорошие гонорары в твёрдой валюте. А представляете: сколько актёров играли и росли на его ролях и в этой пьесе, и во многих других, написанных выдающимся драматургом нашего времени. Прошу поприветствовать — Виктор Сергеевич Розов!

Разумеется, после этих слов величественные люстры большого зала МХТ задрожали от шквала аплодисментов. А мой дорогой учитель поднялся и раскланялся.

Написал эти строки и, видимо, по ассоциативной памяти вспомнился ещё один театральный зал с зажигательным участием Олега Павловича. Город Иркутск. Девяностые годы, скорее всего, 1992-й или 1997-й — юбилейные вехи Александра Вампилова, родившегося недалеко от Иркутска в посёлке Кутулик в 1937-м и утонувшего в Байкале в 1972-м. В Иркутск, где жили мои родители, я летаю из Москвы ежегодно почти полвека. Посчастливилось «совпасть» с Олегом Табаковым и его «Табакеркой» в Иркутске и в тот августовский день. Уютный, многоярусный, классический зал академического драмтеатра им. Н.П. Охлопкова. В этом театре Вампилов знал всех и каждого. И все знали Александра Валентиновича, тогда ещё Сашу или Саню, как звали его друзья и близкие люди. Здесь он успел увидеть своё «Прощание в июне» и помогал режиссёру Симановскому ставить «Старшего сына». Отлично помню эти динамичные, брызжущие молодой энергией автора и земляков-актеров прекрасные спектакли. До рокового дня 17 августа 1972 года выдающиеся иркутские мастера — Виталий Венгер, Александр Тишин, Виктор Егунов, Виктор Мерецкий и совсем молодые актёры — Таня Хрулева, Лена Мазуренко, Борис Деркач, Валера Алексеев, Юра Ицков, Валера Жуков, Эмма Алексеева запросто дружили со своим совсем не бронзовым, а очень даже компанейским Саней. С 1987 года, с 50-летия уроженца Кутулика, в Иркутске проводится драматургический фестиваль имени Вампилова. У руля этого масштабного российского, а теперь и международного театрального праздника неизменно стоит Анатолий Стрельцов — директор Иркутского театра, деятель замечательный и неутомимый. Начинаявший, кстати, когда-то актёром, в том числе, в ролях по пьесам Розова. Театр под руководством Табакова приезжал в Иркутск не единожды. Вот и в тот раз они играли, кажется, весёлую комедию Саймона, зал был в восторге. А после занавеса Табаков вышел на сцену, долго и увлечённо рассказывал о своих творческо-дружеских отношениях с иркутским талантом. Вскоре после трагической гибели Вампилова в «Современнике» пошли «Провинциальные анекдоты», где сорокалетний Табаков блистал в роли обаятельного пьянчужки Анчугина. Потом «Анекдоты» долго шли и в «Табакерке», через роли в них худрук пропустил многих своих учеников. Помню уникальный спектакль «Провинциальные анекдоты», приуроченный к юбилею Вампилова уже в конце XX века, когда 60-летний Олег Табаков с прежним задором исполнял похмелье Анчугина, а его ученик, уже зрелый мастер Владимир Машков блистал в роли друга-собутельника Угарова. Зрители буквально угорали.

Но вернёмся в Иркутск того августовского вечера 90-х. В отношениях Табакова и Вампилова есть особый, можно сказать, ирреальный флёр. Они почти ровесники. Вечер в охлопковском театре состоялся как раз в день рождения... а вот чей? Кого-то из них точно, разница у Олега и Александра в появлении на свет — два августовских дня и два года. Оба львы! Семнадцатого августа родился Табаков, девятнадцатого — Вампилов. До своего 35-летия автор «Утиной охоты» не дожил двух дней. По трагическому «стечению обстоятельств» как раз 17 августа — в день рождения Табакова! — Александр утонул в Байкале. Злая гримаса судьбы. Два мощных театральных таланта — автор и лицедей — оказались необратимо обречены на вечную мистическую связку. Но, конечно, не только по «львиной» близости дней рождения и трагедии на Байкале вошёл в тройственный памятник во дворе «Табакерки», в компанию старейшин и вершин драматургического цеха, вечно молодой Вампилов. Четыре многоактных пьесы и несколько одноактных обеспечили ему равноправное звание классика, как и собратьям по памятнику. Итак, Олег Павлович сказал своё сердечное слово о «сибирском Чехове», попрощался с иркутянами, ушёл за кулисы. Народ начал вставать, выходить из зала, и тут произошла опять же уникальная мизансцена. Неожиданно Табаков вернулся, энергично вышел к рампе и зычно попросил зал задержаться ещё на несколько минут. Время было позднее, всех дома ждали дети или внуки, но... народ хорошо услышал московского гостя. Быстро расселись на свои места, на мой свидетельский взгляд, практически все зрители. Буквально

через пару минут любимый столичный актёр в полной тишине сказал землякам Вампилова следующее. Опять же ручаюсь за точность если не слов, то смысла.

— Вы простите... Заговорился о Вампилове, увлёкся и забыл... а меня ведь хотел поздравить с днём рождения ваш замечательный артист, председатель вашей театральной организации и Дома актёра, мой старый добрый друг Виталий Венгер. Виля, выйди, пожалуйста.

Под аплодисменты зала вышел, что называется, «первач» Иркутска, соученик Михаила Ульянова по «Щуке», добровольный «декабрист XX века» — коренной москвич, поехавший в Иркутский театр на пожизненное служение сибирякам — Виталий Константинович Венгер. Народные артисты крепко обнялись, а потом, приняв от Венгера цветы и подарок, Табаков продолжил покорять и просвещать иркутян.

— Мы с Вилей, как его зовёт театральный мир и здесь, и в Москве, крепко связаны и повязаны общей ролью Адуева из пьесы Виктора Розова «Обыкновенная история». Многие, наверное, знают это. Я играю так, он этак. Замечательно играет. Показывался когда-то к нам в «Современник» с этой ролью. Но что-то не срослось, прости Виля. Все знают, и я знаю, какой ты мастер. Правильно я говорю? — обратился Олег Павлович к залу, и теперь уже люстры охлопковского театра закачались от грохота аплодисментов.

Из главы седьмой. Личная мозаика

Многие наблюдения и впечатления из копилки моей памяти за 29 лет общения с мастером уже вылились на бумагу в предыдущих главах. Но кое-что осталось. Это и наши разговоры с учителем во время неформальных встреч. И наблюдения за его выступлениями, поведением в той или иной ситуации, участием в литературных собраниях. И впечатления от спектаклей. И так далее. Никакой стройной композиции, похоже, тут быть не может. Разве что фрагменты мозаики получают временные координаты соответственно жизненным реалиям.

Широкие подтяжки

19 июня 1985 года. Позвонил Розову утром домой, попросил разрешения на минутку сегодня зайти, подарить книгу.

— Буду очень рад. Позвоните предварительно, — радушно откликнулся учитель.

Перезвонил в час, получил «добро» и без четверти два вошёл в подъезд писательского дома по ул. Черняховского, близ метро «Аэропорт». Виктор Сергеевич встречает, как всегда, у приоткрытой входной двери в прихожей. Идём в кабинет, просторную прямоугольную комнату: метра три с половиной в ширину и метров шесть в длину. По дальней от входа длинной стене от пола до потолка незыблемо стоят стеллажи с книгами, фотографиями, статуэтками — множеством подарков и сувениров, накопленных за десятилетия. Слева у окна удобно вписан средних размеров письменный стол, за которым мастер сидит ежедневно по несколько часов. Слева от стола — просторное кресло для гостей. В нем сживали Штейн, Алёшин, Ефремов, Эфрос, множество других писателей, режиссёров, актёров и критиков. Виктор Сергеевич в своей обычной домашней фланелевой рубашке, брюки держатся на широких подтяжках с американской символикой. На моё шутовское замечание о «неблагонадежности» с улыбкой отмахивается: «Люблю широкие, а у нас все узкие режут». Широкие подтяжки очень любил и один мой старый друг по комитету московских драматургов, потрясающе солнечный человек Давид Медведенко. Автор популярной в 70-х пьесы «Камень на дороге». Жил он, кстати, неподалёку в кооперативном доме. В их гостеприимной квартире на двоих с миниатюрной женой Лелей, похожей и в 70 лет на шуструю девочку-отличницу, я бывал частенько и любил дружески щёлкнуть широкой подтяжкой по округлой фигуре. Давид не обижался. Давно подмывало меня щёлкнуть и Розова, но как-то всё не решался.

Только что в издательстве «Молодая гвардия» обычным по тем временам сотысячным тиражом вышла моя первая прозаическая книжка «Тропинка из одиночества». С ней я и напро-

сил ся заглянуть к учителю. Виктор Сергеевич просмотрел обложку, выходные данные, обратил внимание на фамилии редактора и художников, пообещал обязательно прочесть. Пригласил посидеть в гостевом кресле, чем я не преминул воспользоваться.

— Как двигаются ваши «путешествия»? — спросил учителя о книге «Путешествия в разные стороны», которую он давно писал, и какие-то готовые кусочки публиковались в разных журналах. Виктор Сергеевич ответил, что буквально вчера встречался с художником и редактором и сдал рукопись в издательство. Договор заключён на 27 печатных листов. Надеется, что к концу следующего года книга появится. Проверю 4 февраля 2012 года по своему экземпляру с автографом автора. Книга сдана в набор 18.03.86 г., подписана к печати 09.10.86 г. В выходных данных: Москва, «Советский писатель», 1987 г.

Интересная деталь. При вручении мне книги Виктор Сергеевич зачеркнул несколько слов из коротенькой аннотации: *«Один из самых известных наших драматургов — Виктор Розов рассказывает «о времени и о себе». Великая Отечественная война, которую он прошёл от начала до конца, театр, ставший делом и душой всей жизни, — главные темы этой книги. Она написана взволнованно, лирично и светло»*. Зачеркнул автор выделенные слова. Воевал московский ополченец, как известно, совсем недолго, о чём в книге говорится и приписывать ему всю войну «от начала до конца» было просто грубой ошибкой редакторов. Деликатный автор наверняка вычеркивал эту фразу во всех «дарительных» экземплярах.

В начале третьего хозяин поднялся, передел рубашку, надел пиджак, сказал, что надо ехать по делам, выйдем вместе. Маршрут намечался большой: сначала Моссовет (хлопотать за кого-то по квартирному вопросу), затем в Литинститут и потом в Министерство культуры СССР.

— Машины вот нет, — вздохнул учитель.

Новая «Волга» оказалась некачественной, и он сдал её на рекламу. Пока приходится ездить на такси. Едва вышли из ворот ограды, отделяющей двор от улицы, Розов остановился.

— Подождите, Володя, меня что-то крутит, постоим.

Стоим. Розов в своей неизменной кепочке в клетку, опирается на зонтичность. Я предложил посидеть на лавочке, вернулись в их двор. Сели. Учитель предположил, что отравился утром, хотя ел только гречневую кашу с молоком.

— Едим только свежие, доброкачественные продукты, но обязательно



раза два в год чем-то отравляюсь, — посетовал творческий инвалид войны.

— Где теперь дети, Виктор Сергеевич?

— Серёжка в Ярославле, а Танька с театром поехала в Сибирь, — охотно меняет тему учитель. — На 40 дней оставила нам Настю, первый раз, переживает там. Внучка на даче с бабушкой. Я вечером к ним собираюсь. Поправляет меня. Я иногда называю Надю — мать. Она тут же: «Не мать, а бабушка». Говорит очень бегло в свои 2 года 4 месяца.

Поговорили о Сибири, где я родился и вырос, а Розов ни разу не был, о чём жалеет.

— Наверное, давление прыгнуло, — предположил Виктор Сергеевич, прислушиваясь к себе.

Решили вернуться домой. Пришли. Он принял таблетки от желудка и давления. Смерил удобным иностранным прибором давление: верхнее — чуть не 190, перемерял — около 180. Многовато. Сел в кресло минут на десять расслабиться. Я поговорил с тещей, ей 93 года, на хозяйстве. Совершенно здравомыслящая бабуля, готовит обеды, любит стряпать, особенно старается на Пасху.

В начале четвертого опять вышли. Моссовет уже не вписывался. Поймали такси, поехали в Литинститут. По дороге спросил о бывшем ректоре Пименове.

— Он, в общем, неплохой мужик, — определил Виктор Сергеевич. — В худые времена делался хуже, но до подлости никогда не доходил. В хорошие — держался совсем хорошо. Продукт времени.

В институт Виктор Сергеевич зашёл минут на десять. Я ждал в скверике у памятника Герцену. Таксист ожидал у ворот, поехали в министерство. Там Розов пробыл с полчаса у начальника управления театров Жарова, говорили о «Кабанчике». На обратном пути Виктор Сергеевич рассказал о поправках, о вариантах названия новой пьесы. В 17 часов вернулись домой, зашли в кабинет, он снял пиджак, посидел в кресле. Я попрощался, пошёл к выходу. Розов встал проводить меня за дверь. В прихожей обменялись последними репликами.

— Пожалуй, на дачу сегодня не поеду, надо прилечь, — протянул мне учитель на прощанье руку. И тут я не удержался. После рукопожатия легонько щёлкнул его широкой американской подтяжкой, при этом посоветовал «лежать и не дергаться». Учитель засмеялся, на том и растались.

Над политикой

Осень 1993 года. Зал заседаний бывшего Союза писателей СССР, теперь — Международного Союза писателей. В зале присутствуют Сергей Михалков, Тимур Пулатов (тогда председатель Международного Союза писателей), Ион Друцэ, Эдвард Радзинский, Александр Мишарин, Вадим Коростылёв, Яков Костюковский, Александр Свободин, Леонид Жуховицкий, Виктор Славкин, Ольга Кучкина, Борис Можаяев, Георгий Полонский... Этот весьма пёстрый список можно долго продолжать. Трудно придумать повод, способный заставить столь разных по политической ориентации и организационной принадлежности писателей сесть за общий стол и провести два часа в дружеских разговорах. Без всяких выпадов, оскорблений и разоблачений, которыми бурлила литературная общественность после распада СССР и его общего Союза писателей. Объединил всех Розов. Именно он продиктовал список гостей, собравшихся на 80-летний юбилей мастера в конференц-зале писательского дома. Подозреваю, что второй такой объединяющей фигуры в драматургическом цехе страны уже не было. Алексей Николаевич Арбузов семь лет как ушёл в мир иной, слава Богу, не дожив до «лихих девяностых». Как всегда ярко выступил Радзинский.



— Мне довелось вести юбилейный вечер Розова в Доме Союзов на его 70-летие... — сказал в начале Эдвард Станиславович.

После этих слов мне сразу вспомнился тот вечер в Колонном зале — великолепном торжественном зале с уникальными люстрами и колоннами. Что ни говори, а в Советском Союзе умели поздравлять своих кумиров. Виктор Сергеевич принимал поздравления коллег, театров Москвы, актёров и режиссёров вперемежку с концертными номерами лучших музыкантов и певцов СССР. А управлял юбилейным калейдоскопом легко и весело блистательный Эдвард Радзинский.

— С тех пор все мы постарели на десять лет, — продолжил автор «104 страниц про любовь», «Снимается кино» и других драматургических хитов 60-х. — А Виктор Сергеевич, думаю, на столько же помолодел. Всегда, на памяти нашего поколения было два имени, два драматурга, определяющих творческую и нравственную планку в нашем цехе. Арбузов и Розов. Алексея Николаевича давно нет, Виктор Сергеевич, слава Богу, с нами.

Зал заплодировал. Эту мысль — о лидерской планке двоих, а теперь одного драматурга — все дружно поддерживали и так или иначе развили все ораторы. А энергичный, улыбчивый, «помолодевший» юбиляр после каждого монолога-тоста вставлял короткие, неформальные, остроумные реплики, снимая всякий пафос и славословие в свой адрес.

Впрочем, совсем уж без политики и классовой борьбы осенью 93-го обойтись не могло. После очередной реплики виновника торжества, призвавшего коллег быть выше распри, мелких укулов политизированных критиков и разных печатных органов, послышалась колючая реплика: «А в «День»-то вы зачем пишете?»

Напомню, что «День» тогда был прокоммунистической газетой, довольно жёсткой, революционной ориентации. Потом её создатель Александр Проханов переименовал своё детище в «Завтра». Признаюсь, что тоже сначала недоумевал, видя и слыша об авторстве Виктора Сергеевича в этом органе. Надо сказать, что практически все московские драматурги при расколе Союза писателей СССР вступили в 1992 году в только что появившийся Союз писателей Москвы. Секцию драматургов возглавлял до начала 90-х Самуил Алёшин, потом Вадим Коростылёв. С подачи Геннадия Мамлина меня ещё в 1990 году избрали заместителем председателя бюро секции драматургов тогда ещё московского отделения Союза писателей СССР. Стойкий государственный Виктор Сергеевич Розов остался в Международном Союзе, ставшем преемником СП СССР.

Насчёт своего выступления в газете «День» Виктор Сергеевич тут же пояснил вполне вразумительно и аргументированно. Старейшина цеха заявил, что не желает примиряться с расколами. В стране, в писательской организации, в прессе... Художнику важно честно высказаться, призвать к объединению, гуманности, спокойствию, а не к войне. И не так важно, с каких страниц звучат слова мира и добра. Пожалуй, от этой реплики повеяло бессмертной строчкой Пастернака: «Какое, милые, тысячелетие на дворе». И никакой дискуссии не последовало. Все поняли высокую позицию юбиляра. Для Розова всегда важнее суть, а не форма. Ему в любом издании есть что сказать. Живо, убедительно, остроумно. А политика для художника — дело десятое.

Вторая премьера «Её друзей»

1998 год. Мастеру 85 лет, он вполне ещё энергичен и деятелен. Как-то перед обедом звоню ему домой, без конкретного, в общем, повода. Так, проведать, услышать голос. Трубку взяла супруга.

— Алло, добрый день, Надежда Варфоломеевна! Как там мой учитель? Может взять трубку?

— Здравствуйте, Володя, рада слышать. Нет дома, к сожалению, вашего учителя. Опять где-то выступает. С утра уехал.

— Ну, значит, здоровье, позволяет, и слава Богу.

Супруга замечает, что здоровье изрядно пошаливает, давление скачет, сон плохой, но разве удержишь его дома? Выступления на людях, особенно в молодёжных аудиториях для него лучшее лекарство. Слово за слово, по-актёрски увлеченно рассказывает собеседница о недавней премьере во МХАТе им. А.М. Горького (под руководством Татьяны Васильевны Дорониной) по старой пьесе «Её друзья».

— Вы знаете, Володя, зал полон старшеклассников, и так хорошо принимают, просто удивительно. Мы с Виктором Сергеевичем так и не могли понять, почему такой успех.

Кладу трубку, вспоминаю, что знаю о пьесе. Учитель не раз говорил о ней на семинарах: первая премьера, как первая любовь, врезается в память навсегда. Написаны «Друзья» полвека назад. В 1949-м состоялась громкая премьера в Центральном Детском театре. В конце семидесятых Виктор Сергеевич вспоминал об этом факте как о неожиданном подарке судьбы. Говорил, мол, пьеса совсем «слабенькая»... и вдруг! И в книге своей «Путешествие в разные стороны» на 244 странице Розов пишет: *«Заранее должен оговориться, что моя пьеса «Её друзья» — весьма жиденькое произведение...»*

Лукавил ли мастер в 1987 году? Не думаю. Разве что самую малость. Ведь почти сорок лет между первой премьерой и итоговой книгой были насыщены множеством триумфальных премьер по его, теперь уж без всяких сомнений, классическим произведениям. Вроде бы совсем канула в Лету «жиденькая пьеска», но почему-то Доронина выбрала именно её, и вторая премьера совсем не потерялась. *(Из сегодняшнего 2013 года отметим, что пьеса идёт до сих пор — 15 сезонов!)*

Что было и есть в «Её друзьях»? Почему она жива спустя полвека, совсем в другой стране?

Для тех, кто не читал и не видел, перескажу в нескольких фразах сюжет. Миловидная выпускница школы Люся Шарова перестает являться на репетиции драмкружка, где репетирует роль Ульяны Громовой по самому популярному тогда роману Александра Фадеева «Молодая гвардия». Другие участники спектакля, одноклассники-«молодогвардейцы», сильно возмущены: «На носу премьера, а эта примадонна... зазналась... игнорирует... отстранить!» Правда, отстранить непросто. Ни у кого в классе больше нет таких огромных, выразительных чёрных глаз. Подружка Оля делает последнюю попытку оторвать зубрилу от книжек и... узнаёт причину «зазнайства». Чудесные глаза уже почти не видят, и с каждым днем зрение всё хуже. Вот-вот наступит полная темнота-слепота. «Молодогвардейцы», узнав подоплеку прогулов, сразу меняют гнев на всеобщее сострадание. Подключают педагогов. Билеты к выпускным экзаменам Люся учит по чтению вслух. Аттестат получен, конкурс в «Тимирязевку» успешно преодолен. А главное — удачная операция возвращает зрение. Все ликуют. Занавес.

К слабостям пьесы можно отнести и чрезмерное количество действующих лиц, и весьма схематично написанные некоторые взрослые роли, и отсутствие хотя бы одного отрицательного персонажа. Люсю окружают только хорошие и очень хорошие люди. И вот загадка-вопрос: может ли такая, в общем, милая и наивная мелодрама, написанная Розовым по реальному газетному факту тех времен, увлечь сегодняшнюю компьютерную, прагматичную, чрезмерно раскрепощённую, а по мнению многих пожилых ворчунов, и вовсе циничную и жестокую молодёжь? Нынешние выпускники не изучают и не ставят в драмкружках «Молодую гвардию». Вряд ли увлекаются партийными поэмами Маяковского, строки которого декламируют наизусть друзья Люси. Может быть, милейшая Надежда Варфоломеевна погорячилась в своей оценке спектакля и степени его успеха у молодёжного зала конца XX века?

Для ответа на вопрос я отправился на спектакль. Огромный многоярусный зал МХАТа на Тверском бульваре вмещает больше тысячи зрителей. В основном от 14 до 17 лет. Взрослых всего процентов пять-десять. Очень трудная для актёров публика. Подростковый зал любит громкую музыку, криминально-детективные истории, легкомысленные комедии. Ничего этого в пьесе нет. Мысленно благодаря администратора, посадившего «ученика Розова», как я представился в окошечке, в литерный зал перед сценой. Потому как, думалось, что даже из десятого ряда текст, при такой публике, слышать будет невозможно. Спектакль начинается, минута-другая... и тут я лично стал свидетелем феномена «жиденькой» пьесы Розова. Тысячный зал чутко слушал и слышал все слова, точно реагировал на короткие реплики, внимательно оценивал длинные монологи, звучащие из далёких, вроде бы совсем абстрактных для зрителей бабушкиных времён. Учителям не было нужды делать замечания классным клоунам, а строгим контролёрам не приходилось превращаться в охранников искусства, как это, увы, нередко случается на массовых школьных культпоходах. Почти трёхчасовой спектакль в четырёх действиях с одним антрактом не нуждался в помощи и защите. Он был понятен, увлекателен, нужен и интересен всей тысяче современных юношей и девушек.

Разумеется, успех спектакля определялся не только драматургией. Помогала изобретательная режиссура В. Ускова, отличные работы совсем молоденьких актёров и зрелых мастеров МХАТа им. А.М. Горького. Ветераны-мхатовцы исполняли свои небольшие роли удивительно серьёзно и трепетно. Они-то жили полвека назад и хорошо знали о тех временах. Удача спектакля и в редкой ансамблевости двух таких разных актёрских поколений. И всё же, уверен, важнее всего для тинейджеров конца XX века оказалось звучащее авторское слово.

И не только слово. Тут ещё есть, думаю, тонкие энергетические материи. Драматургия всегда круто замешана на личности автора. «Её друзья» Виктор Сергеевич написал в 36 лет. Позади счастливое детство и юность в Костроме, учёба в театральной школе, короткое актёрство в театре Революции рядом с великой Бабановой, уход добровольцем на фронт и — теоретически смертельное ранение. Бог и могучая воля к жизни помогли выжить, близкие выходили, любимая девушка Надя стала женой. Жить бы и радоваться. Но радоваться не очень получалось. Операции укоротили ногу, возврат на сцену стал невозможен, жить молодой семье практически было не на что.

Первая выстраданная пьеса «Вечно живые» с 1943 года пылилась на чердаке. О чём ещё писать, пока не придумал. Однажды тёща дала газетную статью о слепнущей девочке. Это оказалось творческой искрой. Три недели Розов писал как одержимый, почти не спал и не ел. И на бумаге появилась «жиденькая драматургия», отображающая не просто душещипательную житейскую историю, а нечто такое, что увлекло больших актёров ЦДТ, а следом ещё добрую сотню театров страны.

Продолжим цитату из автобиографической книги «Путешествия...» Вот что пишет дальше Розов об «Её друзьях»: «...*Единственное достоинство её в том, что она была о простых человеческих чувствах, чем слегка выделялась на фоне «больших полотен» того времени.*» Вот, собственно, и ключ к разгадке успеха. «Слегка» выделяется старая пьеса и из сегодняшнего времени боевиков, триллеров, наркотических забав и прочей эротики. Поэтому и идёт столько сезонов. Как выяснилось, и сегодняшним «продвинутым» школьникам «простые человеческие чувства» вовсе не чужды. Напротив, столь же необходимы, как их мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

Меняется антураж: мебель, костюмы, машины... А человеческие чувства со времен Шекспира, да и с более древних, изменяются мало. Об этом тоже не раз говорил нам Виктор Сергеевич на семинарах. На этом и стоит вся классика искусства, в том числе драматургия.

Розов о Вампилове

В книге «Свет Розова» вампиловская тема так или иначе возникает много раз. Виктор Сергеевич высоко ставил драматургию «сибирского Чехова», как называли Вампилова многие критики. Вот несколько фрагментов из прямой речи Розова о Вампилове.

Из статьи «Колдовство его таланта», написанной к 50-летию со дня рождения Александра Вампилова и опубликованной в «Литературной газете» 19 августа 1987 года: «Одна из особенностей дарования Вампилова — сюжетное и в результате особое смысловое построение его пьес. Возьмём, к примеру, две из них: «Двадцать минут с ангелом» и «Старший сын». Обе начинаются самыми что ни на есть бытовыми, низменными и даже пошлыми завязками. В первой пьесе двое проснувшихся в тяжком похмелье командированных, грязных, глупых, находящихся на последней ступени человеческого падения, почти в скотском состоянии, лихорадочно и алчно ищут возможность опохмелиться. Мысли их только об одном: где бы раздобыть денег хотя бы на бутылку пива. Ломают свои замутнённые головы, предпринимают самые нелепые попытки, чтобы эти деньги раздобыть.

Казалось бы, вот уж чернуха так чернуха, как совсем недавно окрестили чистоплюйные критики и даже собраты-литераторы авторов пьес, да и прозы, посмеявшихся прикоснуться к теневым сторонам нашей действительности. И вот чудом своего таланта, которое только одно и руководит писателем в работе, Вампилов поднимает всю пьесу на высочайшую духовную ступень.

В пьесе «Старший сын» двое весьма непрезентабельных молодых людей, возвращаясь с танцулек, потерпев неудачу в атаке на двух девиц, опоздали на последнюю электричку и трясутся от холода, не зная, где бы найти тёплое пристанище. Тоже ничтожная и пошлейшая ситуация. И опять же Вампилов преображает с виду пустого и даже наглого парня Бусыгина в человека с проснувшейся добротой, совестью, состраданием... В последний раз я видел эту пьесу под названием «Предместье» в гастролировавшем в Москве Иркутском театре юного зрителя имени Александра Вампилова. И именно

это преображение главного персонажа в тебе самом, в зрителях производит главную работу, которую совершает искусство... К сожалению, пьесы Вампилова чаще всего ставят как бытовые. А они не бытовые. Они поэтические, то есть с загадкой, с тайной, я бы даже сказал, с инфернальностью, если бы это слово не истолковывали мистически. Впрочем, всякое истинное творчество — колдовство».

И ещё небольшое добавление к теме «Розов о Вампилове». В мае 2013 года, копаясь в архивных папках библиотеки СТД, автор этих заметок обнаружил интервью Розова, напечатанное в «Книжном обозрении» № 3, 17 января 2000 года. Беседу вёл Карим Садыков. Вот только один вопрос и ответ из обширного интервью.



В. Попов и Е. Суворов у памятника А. Вампилову

«— А как вам творчество Александра Вампилова?

— Считаю, что он лучший драматург современности, — ответил Виктор Сергеевич. — Он был на семинаре в начале 70-х, когда учился на Высших литературных курсах (здесь Виктор Сергеевич за давностью лет немного ошибся. Вампилов был семинаристом в Дубултах в 1968 году. — *В.П.*). Там были Штейн, Арбузов и я. И когда он прочёл нам «20 минут с ангелом», мы были потрясены. Мы созвали всех студентов, семинаристов и прочли его пьесу как образец настоящего искусства. Вампилов до сих пор не открыт. Его все подгоняют под Островского, а он, скорее, близок к Гоголю».

Проходят года и десятилетия, и всё больше земляки чтят Александра Вампилова. Прекрасный вампиловский музей давно принимает гостей со всего мира в селе Кутулик. Иркутский областной театр юного зрителя носит имя Александра Вампилова. Весьма разнообразна деятельность Иркутского областного фонда А. Вампилова. На здании Иркутского университета висит именная вампиловская мемориальная доска в честь студента филологического факультета. Десять лет назад на центральной улице им. Карла Маркса в ста метрах от театра установлен очень удачный памятник вечно молодому Сане. Около этого памятника через год проходят торжественные открытия Вампиловских фестивалей современной драматургии. После столетия В.С. Розова (21 августа 2013 года) ровно через двадцать дней здесь откроется очередной Вампиловский фестиваль. Прекрасная переключка двух обладателей настоящего, редкого драматургического таланта!

Замечу, что в программу Вампиловского фестиваля 2013 года органично вписалась и презентация книги «Свет Розова».

Из эпистолярного наследия

Демьяну Петровичу Пруткову, статскому советнику,
кавалеру и лиры кандалянику

Дражайший друг мой!

Уж много зим и весен поглотила медленная Лета с тех пор, как разошлись пути наши. Но все эти годы теплились во мне воспоминания о нашем сибирском городке, его купеческом уюте, не истребленном вихрями революций, неповторимой архитектурной ауре. Как часто вспоминал я наш Дом со львами, где мы коротали дни в спорах о литературных стежках-дорожках, шахматных баталиях, чаепитиях, одобренных вкусом рифмы. Были мы тогда единомышленниками-братьями, и тепло сердца и рук твоих, друже, накопленные в те давние зимы, согревали меня все эти годы. Даже сложные отношения с людьми власть предержащими, которые одной рукой давали, а другой отнимали, вспоминаются сейчас туманно-благожелательно, ибо так устроен человек, что он чаще вспоминает доброе, чем злое.

Движимый чувствами неизбежными, замыслил я посетить городишко наш. А приехавши, сподобился прикоснуться к мостовым и домам его, как выяснилось, кое-где порушенным и огню преданным. Не преминул я напиться и новостями на литературной ниве, коей живу и поныне. Не слишком задела меня городские афишки да щиты рекламные. То, что пишутся они не кириллицей, а латиницей, всего лишь поветрие модное. Ибо верю, рано или поздно русский человек в ум войдет. Было поветрие немецкое, было французское, пройдет и аглицкое. Гораздо более задела меня афишки грамотеев нынешних: закуп авто, розлив пива и тому подобные. Детки наши, к интернетовскому языку приучаемые, подрастая, перестают русское слово чувствовать. Говорят и пишут они на языке «албанском». То бишь: «афтар жжот, цалую, карова». Подрастают и входят в мир начальниками, депутатами, менеджерами, вне языка своих предков живущими. Но что особо меня огорчило, так то, что волна эта захлестнула и литературную нашу братию. Намедни, попала мне в руки книжонка с хорошим и добрым названием «Предчувствие». Автор даже снабдил титульную страницу надписью: «Лучшие рассказы».

Первая же страница сего сборника повергла меня в состояние близкое к потере чувств. Цитирую: «Мотор зашумел сильнее, и в его работе начались перебои. Самолет резко накренился вперед. Прогремел раскатистый гром, и в салон ворвался свист. Погас свет. Шум не прекращался. Он витиевато начинался с едва различимого звука, переходя в морской прибой, и перерастал в грозное рычание зверя, заполняющего все пространство. Шум иногда стихал и вновь возвращался без всякого ритма, меняя свои очертания и тембры. Картина была жуткая».

Действительно, картина жуткая. Прочитав эти строки, я подумал: неужто мир перевернулся, и небо упало на землю. Возможно, я не заметил то мгновение, когда люди в нашем городе стали ходить по потолкам на манер мух. Вероятно, так и случилось, если автора, написавшего такое, стали называть высоким именем русского писателя.

По прошествии некоторого времени я обнаружил стихи предводителя этого кружка любителей изящной словесности:

*Мы внукам охотней, чем детям, читаем,
Старая, все больше души в них не чаем,
И землю обжитую наспех вручаем,
Пригладить их души напрасно мечтаем.
Вот так же и листья, когда увядают,
Весь свет, что узрели, навек возвращают.*

Боже праведный! «Не чаем, читаем, мечтаем, вручаем». Надобно иметь особую одаренность, чтобы придумать подобный набор глагольных рифм. Конечно же, всем известен по-

этический прием, называемый звукописью. Но он применяется, дабы усилить звучание стихотворения.

Однако, как ни прискорбно, здесь мы наблюдаем случайный набор рифм, который лишь автору кажется мастерским. Более того, этот «шедевр» я встретил в подборке, куда сей пиит поместил наиболее удачные свои вирши. Тут уж любопытно мне стало узнать, откуда и каким образом появилась третья организация уездных литераторов (не путать с уездными команчами).

Оказывается, в N... году действительно талантливый, народный и заслуженный поэт (не будем оскорблять его имени), обиженный тем, что не был он избран в четвертый раз руководителем местных писателей, при попустительстве московского центра, основал еще одну литературную организацию и уговорил уйти в нее нескольких уважаемых, но слабохарактерных литераторов. Через некоторое время решил наш герой обосноваться в столице, а бразды правления передал известному меценату и радетелю о культуре нашего города, называющему себя еще и поэтом.

Не скрою, друг мой, этот способный коммерсант быстро понял, как приобрести благорасположение московских руководителей и помочь вверенной ему организации занять приличное место в жизни нашего городка. Навыки в совершении операций купли–продажи и завидное честолюбие сделали свое дело. Появились публикации в одном из центральных журналов словно бы в знак признательности за финансовую поддержку. А в организации был взят курс на увеличение поголовья паствы.

Подобное всегда плодит подобных. Истинный талант, он всегда пребывает в сомнениях: хорошо ли пишет, верной ли дорогой идет, хорошо ли отточены его перья? Бездарность же ломится всюду, не зная ни страха, ни сомнений.

Так и хочется воскликнуть: «О времена! О нравы!...»

Засим остаюсь верный идеалам юности нашей, любящий тебя

Иван Простолаткин

P.S. Прости, если обидел кого ненароком по простоте своей. Надеюсь, что еще отпишу тебе о житье нашего городка. С великим удовольствием представляю себе в мечтаньях, как ты, любезный друг Демьян Петрович, сидишь в шлафроке и, прихлебывая кофий, читаешь мое письмо. Но еще большее удовольствие буду иметь, когда получу ответ.

*Ивану Ивановичу Простолаткину,
коллежскому асессору, кавалеру и литератору*

Любезный друг Иван Иванович!

Напрасно мечешь ты молнии в людей, кои не смогут понять благородного твоего негодования. Напрасно сотрясаешь воздух раздирающими сердце криками. Увы! Так устроен мир. Помнишь ли, как мы ненавидели цензуру, как проклинали строгое редакторское племя, способное враз вымарать добрую половину рассказа, над которым, слезами обливаясь, корпели не одну ночь.

Где она, та цензура и те редакторы? Нет их. Сегодня, если хочешь быть писателем, будь им. Как не вспомнить бессмертный афоризм братца моего единоутробного: «Если хочешь быть счастливым, будь им». А если имеешь деньги, то издавай книжонки. И будут тебе рукоплескать такие же эпигоны. Не могу не вспомнить еще одну великую фразу братца моего: «Если прочитаешь на клетке слона надпись «буйвол» — не верь глазам своим». Ведь не всяк, называющий себя писателем, писатель и есть.

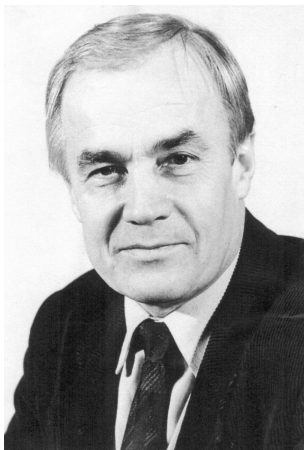
Раз уж посетил ты городок наш, то настоятельно рекомендую зайти в ресторацию «Русь», что на Баснинской улице. Отменные там подают щи.

А что касаясь усердия, с которым взращивается стадо эпигонское, то рекомендую вспомнить слова великого братца моего: «Бывает, что усердие и рассудок превозмогает».

*За сим остаюсь друг твой навеки
Демьян Петрович Прутков*



ВИТАЛИЙ СИДОРЧЕНКО



Время Осипа Волина

В конце 1965 года, как раз в середине театрального сезона, среди иркутских актёров вдруг стали распространяться слухи о том, что будто бы партийные органы снимают с должности одного из старейших и весьма авторитетных театральных руководителей — директора областного драматического театра Осипа Александровича Волина. Этому никто не верил. Считали, что некие злопыхатели или просто обиженные некогда строгим и даже властным управленцем люди распространяют небылицы о заслуженном человеке. А потом просочились и вовсе невероятные подробности этой загадочной истории. Якобы группа ведущих актёров ходила в областной комитет партии и там настоятельно просила убрать из театра «зарвавшегося» и уже плохо управляющего театральным делом старого руководителя. К сожалению, вскоре всё подтвердилось.

В начале 1966 года областное управление культуры представило коллективу театра нового директора — Н.П. Скрыльникова, незадолго до этого окончившего Улан-Удэнский институт культуры и какое-то время поработавшего заведующим областной библиотекой.

С тех пор минуло более сорока лет. Ушли из жизни старые актеры. Умер и сам Осип Александрович. Постепенно уходят и их поклонники. Правда, нет-нет да появляются иногда в местной печати редкие статьи к юбилейным датам известного когда-то директора. Но, как правило, они грешат неточностью его биографических, трудовых и должностных данных, особенно в начальный период его театральной деятельности. Авторы не утруждают себя работой в архивах, поисками подлинных документов, программ и афиш тех далёких и почти забытых лет. Большие полагаются на актёрские рассказы, воспоминания сослуживцев, семейные предания, а то и просто ни к чему не обязывающие полубытые пересказы бывших друзей и товарищей.

СИДОРЧЕНКО Виталий Петрович род. в 1938 г в с. Порог Нижнеудинского р-на Иркутской области). Окончил Иркутское театральное училище, отделение журналистики ИГУ. Актёр Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Заслуженный артист России; член СП России. Автор книг и статей о театре, истории сибирского театра. Живёт в Иркутске.

Родился Ося Гехтман больше века назад, 31 января 1906 года в Москве, как он сам писал, в семье мещанина. Семья была большая — три брата и три сестры. Отец — банковский служащий, затем долго работал в системе «Плодовощи». Мать — Рахиль Ароновна — занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Вскоре Гехтманы переехали в Киев. Здесь, как сообщал Осип Александрович в автобиографии, он «прожил всю свою сознательную жизнь». Получал образование в Киевской трудовой школе, переформированной сначала в социально-экономическую, а затем в социально-экономический техникум. Учёба в этом учебном заведении не понравилась Осипу, и в 1925 году он ушёл со второго курса прямо в театральную студию (театральные курсы) при Русском драматическом театре. Во время обучения на театральных курсах ещё и подрабатывал в Киевской гоминии, но не сыщиком, а деловодом (была такая профессия), как он писал, — «для приработка». После окончания двух курсов обучения был послан на стажировку в Киевский государственный театр для детей, главным режиссёром и художественным руководителем которого была И.С. Деева, работавшая позднее, перед войной, в Архангельском ТЮЗе.

Осип Александрович был маленького роста и, конечно, больше подходил по актёрской индивидуальности для ТЮЗа. Но он решил попробовать себя «во взрослых» театрах и через восемь с небольшим месяцев стажировки отправился прямиком в Днепропетровский театр русской драмы. Там молодой начинающий артист, прослужив всего полгода, устраивается в Курортный театр города Славянска и играет там аккурат три месяца — до осени 1928 года. В начале нового театрального сезона, с конца сентября 1928-го, он перебирается в г. Николаев и служит в местном государственном театре драмы, а затем в так называемом «трудовом коллективе драмы». В Николаеве его призывают на военную службу в Красную Армию, но тут же освобождают от неё по статье 137 пункт «А», со снятием вообще с воинского учёта.

На следующий сезон 1929/30 годов он перебирается в Сибирь, думая найти здесь лучшую актёрскую долю. Работает в Омске, Новосибирске под руководством режиссёра Б. Артакова. К сожалению, мы не располагаем ни афишами, ни программками тех театров, где трудился в конце 1920-х годов актёр Осип Волин, неизвестны нам и сыгранные им в этот период роли.

Судя по кратковременному пребыванию в перечисленных театрах, Осип Александрович не был обременён ни большими ролями, ни положением ведущего артиста. И вот, наконец, он оказывается в 1930 году в Красноярске, в только что организованном новом театральном коллективе с громким, даже вызывающим названием «Сибирский экспериментальный театр» под художественным руководством Н.Н. Буторина. Вот с этого-то времени мы попробуем проследить дальнейший творческий путь молодого, 24-летнего артиста Осипа Волина.

С какого времени взял он себе этот псевдоним, знает только он сам. Как известно, и до революции и после неё, а особенно в 1920–1930-х годах, когда формировалось новое советское государство, граждане его могли легко поменять фамилию или взять себе любой псевдоним. С особым удовольствием это делали «профессиональные революционеры» и люди творческого труда — писатели, артисты, художники. Многие не имели даже паспортов, а только справки, частью написанные от руки, с какой-нибудь размытой печатью.

Псевдоним «Волин» затем постепенно трансформировался в официальную фамилию, хотя в некоторых документах, например, в личном деле члена партии, он указывал в скобках свою настоящую: Волин (Гехтман).

7 января 1930 года вышло Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об улучшении театрального дела». Исходя из этого постановления, крайкомы партии и горсоветы проводят детальный анализ работы театров и решают создать в Сибири постоянные театральные коллективы. Весной 1930 года Сибирское краевое управление зрелищными предприятиями по рекомендации Сибкрайкома партии принимает решение о формировании драматических и оперных трупп. В Восточной Сибири к началу сезона 1930/31 годов было образовано несколько таких коллективов: «Сибирский театр актерского мастерства», позднее переименованный в 1-й Сибгостеатр драмы, под управлением вахтанговца Н.С. Комаровского (база в Иркутске), Сибирский экспериментальный театр (СЭТ) под руководством мейерхольдовца Н.Н. Буторина (база в Красноярске) и 2-й Сибгостеатр драмы под управлением В. Торского (база в Томске). Вот в один из этих перечисленных выше театров, а именно, в Сибирский экспериментальный, открывшийся в Красноярске, и был принят 1 сентября 1930 года на работу в качестве актёра Осип Волин.

До приезда в Красноярск Николай Николаевич Буторин трудился в Москве, в театре Мейерхольда, и даже был одним из постановщиков нашумевшего в то время спектакля «Рычи, Ки-

тай!» по пьесе С. Третьякова, однако, поссорившись со своим знаменитым мэтром, вынужден был уехать сначала в курский театр «Красный факел», а затем — в Днепропетровский театр для детей и юношества. Став руководителем СЭТа, он всё-таки невольно исповедовал «мейерхольдовскую» театральную школу. В первые годы в театре шли только пьесы советских авторов: «Страх» А. Афиногенова, «Хлеб» В. Киршона, «Ярость» Е. Яновского, «Рычи, Китай!» С. Третьякова. А когда позднее он обратился к классике («Лес» А.Н. Островского), то взял всё от метода Мейерхольда — от деления пьесы на эпизоды до трактовки характеров. И даже для разъяснения зрителям писал в программке, что «Лес» — «очень яркая иллюстрация разложения феодально-крепостнического хозяйства...» Молодой Осип Волин начинал свою работу в новом театре с небольших эпизодических ролей. В силу своей актёрской индивидуальности он занимал место в труппе как актёр — исполнитель «характерных и острохарактерных ролей». К примеру, в спектакле «Рычи, Китай!» он играл роль Компрадора — китайского посредника, в постановке «Дело чести» И. Микитенко — комсомольца Красносевку, «В городе ветров» В. Киршона — Керима, тартальщика, в «Целине» А. Горбенко и А. Львова — счетовода Жоржа Плясова, в «Хлебе» В. Киршона — кулака Зубова, в «1 000 000 Антониев» Г. Глебова и В. Орлова — кардинала Руамского, в «Чужом ребёнке» В. Шиваркина — зубного техника Сенечку Перчаткина и др.

С годами приходили мастерство и уверенность. Опыт позволял играть роли посolidнее. В гоголевском «Ревизоре» он уже исполнял роль Бобчинского и, наконец, в знаменитом «Лесе» Островского — одну из главных своих ролей — Аркадия Счастливецца. Однако в самом начале его службы в СЭТе руководство театра обратило внимание на организаторские способности Осипа Александровича. Волину стали поручать выполнение административно-хозяйственных дел, которых в театре всегда предостаточно. Находясь на должности актёра, он скоро стал выполнять обязанности помощника директора, а потом и возглавлять группы выездных спектаклей, которые для театра стали основной работой.

В 1931 году театр впервые отправился на гастроли по необъятным просторам Восточно-Сибирского края, обслуживать посевную, а затем и уборочную кампании. Актёрский коллектив делили на две, а порой и на три группы. Каждая делала или небольшой спектакль, или композицию. Газета «Красноярский рабочий» в номере за 6 марта 1931 года опубликовала небольшую заметку о том, что «общее собрание работников Сибирского экспериментального театра считает вполне своевременным бросить лучшие силы работников искусств на художественное обслуживание деревенского сектора». Агитбригады театра выезжали в Красноярский, Канский, Рыбинский, а затем в Тайшетский, Нижнеудинский, Зиминский, Заларинский и другие районы Восточной Сибири. Одной из таких бригад руководили актёр и начинающий театральный администратор Осип Волин и политрук Потапов.

После двухмесячной поездки по западным и восточным районам газета «Красноярский рабочий» отмечала в своей корреспонденции, что, несмотря на отсутствие соответствующих условий, бригады смогли донести до крестьянского зрителя «всю художественно-политическую ценность и целеустремленность показываемых постановок». К примеру, в селе Новониколаевка Уярского района после показа спектакля «Целина» пять крестьянских хозяйств подали заявления о принятии их в колхоз. «Бригады развертывали агитационную работу вокруг постановок, обычно задерживаясь в селе на два-три дня. «Красными сватами» совместно с местным активом завербовано в колхоз 149 единоличных хозяйств. 1320 колхозников после постановок, бесед, докладов и митингов объявили себя ударниками» (*Красноярский рабочий. 1931. № 47*).

Любопытно, что эта же информация, но уже в сжатой форме, под заголовком «1300 ударников — результаты работы бригады» была опубликована в одном из центральных журналов. Под ней стояли две подписи: Потапов, Волин. Значит, уже тогда, в далёких тридцатых годах прошлого века, Волин не только организовывал работу театральных коллективов, но и начинал писать о театре, обо всех значимых событиях, происходящих в нём. В будущем он возьмёт на себя обязанность практически ежегодно в конце театрального сезона выступать в печати с творческим отчетом о проделанной в театре работе, о его достижениях и недостатках, приезде новых актёров, поддержке молодых дарований и о многих других насущных проблемах сложного театрального хозяйства.

Но это уже будет в 1940–1950-х годах, когда Осип Александрович Волин станет известным в театральных кругах, успешным директором. А в 1930-х годах он только-только начинал себя пробовать на нелёгкой стезе театрального администрирования. Сибирский эксперимен-

тальный театр в основном был гастрوليрующим театром на территории Восточно-Сибирского края. Как мы уже упоминали, базой был город Красноярск, где СЭТ репетировал и ставил новые спектакли, а затем уже Управление зрелищными предприятиями «Востсибкрая» определяло города и сёла, где коллектив их показывал.

Директором театра в сезоне 1930/31 годов был С.Н. Семенов. Он обычно оставался на базе, в Красноярске, а руководителями гастрوليрующих групп назначали людей «с административной жилкой», способных организовать коллектив творческих людей (что непросто), преодолевать все трудности предстоящей поездки, то есть практически руководить маленьким гастрوليрующим театром на колёсах. И вот, видимо, директор Семенов подметил эти способности у молодого артиста Осипа Волина. В архиве музея Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова имеется копия документа, подтверждающего полномочия молодого руководителя гастрوليрующей группы СЭТ.

«РСФСР

Восточно-Сибирское краевое управление зрелищными предприятиями «Востсибкрай УЗП»

13 июня 1931 г.

Удостоверение.

Настоящее дано тов. Волину Осипу Александровичу в том, что он является Директором Передвижного Драматического Театра по обслуживанию транспортников Заб[айкальской] и Томской линии жел[езной] дор[оги]. Удостоверение действительно по 10 июля. И.о. Управляющего Востсибкрай УЗП Василевский.

Заметим, что это удостоверение выдано всего на один месяц гастролей, причём при официально работающем директоре театра С.Н. Семенове.

Обычно СЭТ для летних гастролей формировал две группы актёров. Одна работала на западе огромного края (Красноярск и прилегающие к нему районы), другая гастролеровала на востоке (Чита и её окрестности). Естественно, каждая группа имела своего руководителя, и краевое управление УЗП им обоим на месяц гастролей выдавало удостоверение с правами и полномочиями директора театра. Делалось это, видимо, для того, чтобы руководители групп, находясь за сотни километров от базы театра, имели бы право подписи на договорных и финансовых документах.

В архиве музея сохранилась ещё одна копия удостоверения, выданного «Востсибкрай УЗП» О.А. Волину 8 июня 1934 года, когда группа актёров, которыми он руководил, гастролеровала в Чите. В нём говорится, что О.А. Волин состоит на службе в Краевом управлении УЗП в должности директора СЭТ. На самом деле СЭТом руководил в 1933/34 годах С.Г. Летников. Его фамилия вместе с фамилией художественного руководителя театра Н.Н. Буторина стоит на афише, выпущенной к премьере спектакля «Хозяйка гостиницы» как раз в указанном сезоне. Но уже через два месяца, в августе 1934-го, когда в Иркутске откроется краевой драматический театр, директором театра станет А.Д. Верман.

Ещё в середине мая 1934 года Восточно-Сибирский крайком партии принял решение о создании в крае театра драмы. «Востсибкрай УЗП» дал соответствующие указания Краевому отделу народного образования, Крайсовпрофу и другим организациям о подготовке к зимнему театральному сезону и об укомплектовании театра первоклассными актёрскими силами.

К этому времени на территории Восточно-Сибирского края действовали несколько театров: Краснозаводской театр, прибывший в Иркутск после гастролей в Приморье в 1930 году, Сибирский драматический театр под руководством известного иркутянам режиссера К.Т. Бережного (1931/32). Два сезона 1932–1933 годов на сцене драматического театра работали оперные коллективы. В Черемхово в 1931 году организовался «Первый рабочий театр им. Черембаса», руководителем и главным режиссёром которого был Д.А. Хадков, а в труппу входила Г.А. Крамова. Этот театр играл спектакли не только в крае, но выезжал даже на восемь месяцев на гастролы в Якутию. В Иркутске творчески мужал и креп Театр рабочей молодёжи (ТРАМ). Проводил свои сезоны театр оперетты под управлением Л.Ю. Сагайдачного.

А в городе Красноярске, как нам известно, с 1930 года работал Сибирский экспериментальный театр под управлением Н.Н. Буторина. Летом обычно труппа разделялась на две актёрские бригады и показывала свои спектакли по всему обширному Восточно-Сибирскому краю — от Красноярска до Читы. В Иркутске с момента его организации (1930) до 1934 года СЭТ был на гастролях только один раз — в июне 1933-го. По разным причинам он здесь сыграл только два

спектакля: «Егор Булычов и другие» М. Горького (10 спектаклей подряд) и «Лес» А.Н. Островского (три спектакля). Зрители с этим коллективом были почти незнакомы, хотя театр состоял в подчинении Восточно-Сибирского краевого управления зрелищными предприятиями. И вот, когда партийные руководители края, краевой отдел народного образования, краевое управление зрелищными предприятиями приняли решение организовать в Иркутске постоянный драматический театр, оказалось, что сделать это не так просто. Нужно было из всех работавших на территории края артистических коллективов выбрать какой-то один и на его базе сформировать тот задуманный, представляемый только умозрительно будущий театр драмы.

Чтобы рационально решить этот вопрос, обращались даже за советом к руководителю московского театра ВЦСПС, гастролировавшего в то время в Иркутске, известному актёру и режиссёру Алексею Дикому. А газета «Восточно-Сибирская правда» даже известила об этом своих читателей в одном из сентябрьских номеров: «Режиссер театра ВЦСПС А. Дикий принимает горячее участие в создании краевого драматического театра. Надо выразить признательность т. Дикому» (*Восточно-Сибирская правда. 1934. 3 сент. (№ 203)*).

Наконец, краевой отдел народного образования, в подчинении которого находились все театры, и управление зрелищными предприятиями решили, что основным ядром нового театра должны стать лучшие силы драматического коллектива, работавшего в Красноярске. Однако областная газета высказала сомнение в правильности этого решения: «Не вдаваясь в оценку артистической квалификации красноярской труппы, мы ставим перед УЗП и Крайоно вопрос: разумно ли лишать красноярских рабочих драматического театра. Не похожа ли такая система комплектования краевого театра на политику «тришкина кафтана»?.. И даже если в этом окажет помощь московский театр ВЦСПС, о чем заверял краевых руководителей т. Дикий, то эта помощь все равно даст положительные результаты лишь в том случае, если актерские силы краевого театра будут достаточно квалифицированы и подготовлены. Этой простой истины, очевидно, не понимают люди, которым поручено формирование краевой драмы» (*Восточно-Сибирская правда. 1934. 3 сент. (№ 203)*).

А ведь устами «Восточно-Сибирской правды» говорил Крайком партии. И всё-таки руководители краевого отдела народного образования и управление зрелищными предприятиями настояли на своем. «...Красноярский драматический коллектив перестал быть красноярским, превратившись пока что в некий «скелет» для вновь создаваемого театра. Вот обстоятельства, о которых мы можем сообщить читателям в начале сентября, когда добрые люди уже открывают сезон», — писала «Восточно-Сибирская правда».

И вот, наконец, после месячной серьёзной встряски, хлопот и потрясений краевых руководителей культуры всех рангов, к концу октября 1934 года в Иркутске родился новый, постоянный театральный коллектив — Краевой драматический театр. Художественным руководителем и главным режиссёром его был назначен Николай Николаевич Буторин. Из труппы СЭТ он привёз с собой основной состав опытных, проверенных не одним годом работы актёров, а затем значительно его пополнил новыми силами высокой актёрской квалификации, имевшими за плечами большой опыт работы в других театрах. В результате этого пополнения труппа разрослась до 52 человек. И, конечно, в её состав был включен актёр Осип Волин. Были приглашены три очередных режиссёра и два режиссёра-лаборанта, пять художников-оформителей, балетмейстер, заведующий музыкальной частью. Технические же цеха и их руководители, проработавшие в Иркутском драматическом театре не один десяток лет, плавно перешли в состав прибывшего коллектива, обеспечив новому театру надёжную и профессионально обученную техническую команду. Директором театра был назначен А.Д. Верман, а его заместителем — играющий актёр Осип Александрович Волин.

Новый Краевой драматический театр открылся в Иркутске 23 октября 1934 года. В этот вечер играли спектакль «Егор Булычов и другие» по пьесе А.М. Горького, но уже в новом актёрском составе.

Теперь в небольшом отступлении от нашего повествования попробуем уточнить некоторые исторические факты и даты, касающиеся, в какой-то степени, нашего героя.

До сегодняшних дней с чьей-то «лёгкой руки» устно и даже, к сожалению, в книге известного сибирского драматурга П.Г. Малаяревского «Очерк из истории театральной культуры Сибири» утверждается, что Сибирский экспериментальный театр, работавший под руководством талантливого режиссёра Н.Н. Буторина, будто бы «стабилизировался», то есть стал постоянно работать в Иркутске с 1931 года. Но всё, что изложено выше, в начале нашего повествования,

опровергает это утверждение. Ещё раз уточняем, что СЭТ организовался летом 1930 года в Красноярске под руководством главного режиссёра Н.Н. Буторина. Театр располагался в так называемом Малом театре Красноярска, где и была его база. Здесь Буторин ставил и репетировал спектакли, здесь же они показывали их красноярскому зрителю. А летом театр обычно разделялся на две группы, которые ездили с гастрольными спектаклями и агитационными концертами по всему Восточно-Сибирскому краю, а также доезжали до Читы и её окрестностей.

В Иркутске же СЭТ был только один раз, в июле 1933-го, но сыграл на сцене драматического театра всего два классических спектакля. Другой репертуар, собранный из пьес советских авторов и поставленный в стиле Мейерхольда, в Иркутске не прошёл.

Ну, а герой нашего повествования Осип Александрович Волин, прежде чем согласиться на такую важную в театре и одновременно сложную и хлопотливую должность, не оставлявшую, практически, свободного времени, долго размышлял, как же он будет теперь совмещать актёрские репетиции с деловыми заседаниями у директора и хозяйственной деятельностью. Посоветовавшись со знающими людьми и с руководством, он решил оставить пока себе одну-две роли, а остальное проверить на практике. Новая работа началась с хозяйственного обхода всех производственных цехов, осмотра машинерии сцены и состояния зрительного зала, кресел и лож, рекламных тумб у парадного входа в театр. Да мало ли какие ещё участки работы нужно знать заместителю директора по хозяйственной части, чтобы хорошо организовать эту работу.

В старые советские времена у директора по штату были только один заместитель и один администратор по работе со зрителем. В экстренных случаях они могли подменить друг друга, соблюдая, конечно, должностную субординацию. А ближе к лету ему придётся ещё «заделывать» гастролы, к примеру, в Чите или других близлежащих городах, расселять артистов в гостиницах и по частным квартирам, нанимать транспорт (надо помнить, в какие годы это было) и выполнять много другой, не учтённой должностной деятельности. Как же тут выделить время для работы над ролью, на репетиции и вечерние и дневные спектакли? Вот такой объём работы свалился вдруг на молодого, энергичного человека, вкусившего уже административной деятельности на бескрайних просторах Сибирского края вместе со своим любимым СЭТом. И наверняка эта деятельность продолжится и с новым краевым драматическим театром. Ну а ещё обязательно придётся подменять директора на разных городских и районных совещаниях. А ещё распространять лотерейные билеты ОСОАВИАХИМа и вовлекать молодёжь в ДОСААФ, разбираться с месткомом за переработку часов и за несоблюдение трудового законодательства. Не зря же сделали для творческих людей выходным днём понедельник. А у заместителя директора, как правило, выходных не бывает. Когда же он будет успевать выходить на сцену? Вечером ещё можно, а если дневной спектакль — в будний день?

Но Осип Александрович пока вроде бы все успевает делать, да ещё и неплохо продолжает играть свои острохарактерные роли. Вот недавно хвалили за исполнение Аркадия Счастливецца в «Лесе», хотя режиссёру за спектакль сильно досталось. Конечно, становится приятно на душе, когда развернёшь «Восточку», а там вот такая оценка его с коллегой Прокофьевым работы в спектакле «Испанский священник» по пьесе Дж. Флетчера: «В роли испанского священника Лопеса Прокофьев показал наиболее отличительные черты своего мастерства — большое чувство юмора, абсолютную простоту и естественность речи. Пьеса написана стихами, но в голосе артиста нет и намека на декламацию. Теми же обладает и О. Волин — исключительно своеобразный исполнитель комедийных ролей. Его пономарь Дьего — неподражаем. И Лопес и Дьего — самые красноречивые типы комедии. Жажда земных наслаждений, обуревавшая людей эпохи Возрождения после мрачных времен аскетизма, не прошла мимо и духовных «пастырей» народа. На мыслях и делах плутоватого священника с пономарем автор остроумно развенчал клерикальное духовенство того времени. Оба артиста верно и метко подметили и еще более обострили пародийную сущность своих героев, сделав их главными пружинками возникающих интриг, носителями вопреки их сану, через край бьющей жизнерадостности» (*Восточно-Сибирская правда*. 1939. 28 ноября (№ 271).

Осип Александрович в 1930-х годах и сам стал много писать в газету. И не только о своём театре, но и спектаклях ТЮЗа, кукольных постановках. При этом почему-то подписывался псевдонимом Б. Волин. А уж о родном театре обязательно выдавал две-три обзорные статьи.

В них он анализировал не только проделанную на спектаклях работу, но и определял задачи на будущее, на перспективу развития театрального дела. Вот только некоторые заголовки его статей за время 1937–1940 годов.: «Иркутский театр в предстоящем сезоне», «Областной театр к XX годовщине РККА», «Итоги театрального сезона», «Новые постановки областного драматического театра», «Перед началом театрального сезона», «Новые спектакли» и т. д. Бывало, что и раздавалась критика в его адрес. Так, в декабре 1938-го вышел весьма острый материал «За кулисами Иркутского театра», подписанный неким Лонге. В нём шла речь о постановочных неурядицах при выпуске спектаклей «Последние» М. Горького и «Мачеха» О. Бальзака, где пробовали себя в режиссуре опытные актёры Кашевский и Прокофьев. Виной этих неурядиц являлся новый художественный руководитель театра Захарий Вин, который вроде разрешил старым актёрам попробовать себя в режиссуре, а при постановочных трудностях тактично ушёл в сторону от возникших проблем. А Осип Александрович при обсуждении спектаклей сначала похвалил их режиссёрскую работу, а затем вслед за главным режиссёром какие-то отдельные недоработки осудил.

Дело дошло до разборок в областной печати. Летом 1939 года вышло постановление Всесоюзного комитета искусств «По стабилизации состава трупп периферийных театров», и вскоре З. Вин оставил свой пост, а должность художественного руководителя и главного режиссёра Иркутского драматического театра занял Н.А. Медведев. К этому можно добавить, что в 1938-м сменили и директора театра. Вместо Е.А. Елшина назначили В.И. Бессараба. А Осипу Александровичу Волину за четыре прошедших года пришлось поработать в новом театре с тремя директорами. Но эти должностные перемещения, как показало время, дали весьма эффективный результат. Театр при новом художественном руководителе Николае Александровиче Медведеве добился весьма значительных успехов в выпуске целой обоймы превосходных спектаклей. И по этому поводу впервые в истории Иркутского драматического театра 13 февраля 1940 года было принято специальное Постановление Бюро Иркутского обкома ВКП(б) и Исполкома Иркутского областного совета депутатов трудящихся под заголовком «Об итогах работы Облдрамтеатра над спектаклем «Ленин в 1918 году» В нём отмечалось, что за вторую половину 1939 года и начало 1940 года Иркутский областной драматический театр выпустил спектакли «Петр I» А.Толстого, «Испанский священник» Дж. Флетчера, «Маскарад» М.Ю.Лермонтова и «Ленин в 1918 году» Каплера и Златогоровой, стоящие на большом идейном и художественном уровне, и что указанные спектакли высоко подняли авторитет театра среди советских трудящихся и привлекли в театр новые кадры советского зрителя.

Оценивая работу коллектива театра, Бюро Иркутского обкома ВКП(б) и Исполкома Иркутского областного совета депутатов трудящихся постановило объявить благодарность творческому и производственному составу Облдрамтеатра, принимавшему участие в создании ленинского спектакля и премировало их грамотами обкома ВКП(б) и Исполкома областного совета депутатов трудящихся. А художественному руководителю театра, постановщику спектакля «Ленин в 1918 году» Н.А. Медведеву и исполнителю роли В.И. Ленина актёру Б.А. Ситко выдало денежную премию в размере 1500 рублей каждому. Кроме того Иркутский драматический театр был премирован легковой машиной «М-1». Естественно и вполне нормально в списке премированных оказался и заместитель директора театра О.А. Волин, вложивший немалую долю своего труда в успех целого ряда прекрасных спектаклей областного драматического театра.

И это ещё один шаг вверх по лестнице успешной карьеры, на которой его будут ожидать и трудности, и радость, и сверхнапряжённый труд всего коллектива и его как руководителя театра.

Время испытаний пришло. Началась война. Всё громоздкое театральное хозяйство нужно было перестраивать на военный лад. Директора театра Владимира Ивановича Бессараба в начале лета 1941-го призвали на военную службу, а 35-летнего Осипа Александровича Волина, члена ВКП(б) с июля 1940 года, назначили на его место. Теперь он отвечал не только за себя и производство, но и за людей, их семьи, их здоровье, за предстоящий тяжкий труд по 12–18 часов в сутки. В обстановке военного времени надо было подчинять свою жизнь и работу задачам государства по обороне страны. Прежде всего это касалось репертуара. Нужно было играть такой репертуар, который мог бы воодушевить людей на борьбу. И Волин и Медведев понимали, что делать нужно все быстро, сжимая время. В короткий срок были поставлены яркий патриотический спектакль «Парень из нашего города» К. Симонова, затем его же «Русские

люди» и «Нашествие» Л. Леонова. Общественность и газеты отмечали, что артисты в этих постановках создавали правдивые, выразительные образы и из зала получали мгновения сопереживания и сочувствия происходившему на сцене.

Следующей заботой и директора, и худрука стало создание в театре концертных бригад, с репертуаром, отвечавшим духу военного времени. Были созданы так называемые «Боевые теасборники» — то есть мобильные концертные бригады, которые выезжали на предприятия, в госпитали, воинские части. Но на плечи Осипа Александровича свалилась ещё одна забота: в город прибывал поезд с артистами Московского театра сатиры. Нужно было устраивать их быт, размещать в гостиницах, которых и так не хватало, хотя руководство города и области принимало в этом самое активное участие. Нужно было предоставить москвичам сцену, и тогда иркутские артисты выехали в Черемхово — играть там свои спектакли, проводить концерты, готовить новый репертуар, соответствующий событиям и времени.

После возвращения 4 февраля 1942 года из Черемхово было выпущено шесть премьерных спектаклей, восстановлены некоторые старые постановки: «Любовь Яровая», «Живой труп», «Бешеные деньги». А на это нужно время, силы, материальные затраты. Не успели чуть-чуть отдохнуть, как театру поставили новую задачу — организовать концертные бригады для обслуживания отдельных районов области в период уборки урожая. Хлеб был нужен в первую очередь бойцам на фронте, госпиталям, рабочим оборонных заводов. Хлеб нужен был всем. А в городе опять событие. В Иркутск приезжает Киевский оперный театр. Опять Волин мобилизовал людей, чтобы гостям с Украины легко было работать на сибирской сцене.

В апреле 1945 года Иркутский театр едет на восток обслуживать части Забайкальского фронта, а затем вновь выезжает на гастроли в Хабаровск и в воинские части Дальневосточного фронта. За годы войны Иркутский драматический театр, как и весь народ, не только честно выполнял свои прямые обязанности, но он ещё и активно участвовал в подписке на займы, отдавая свои сбережения в Фонд обороны. За это театр персонально получил телеграмму с благодарностью Верховного Главнокомандующего. Все актёры, работники технических цехов трудились не считаясь со временем и здоровьем. Не щадили себя и руководители театра, его директор О.А. Волин и художественный руководитель Н.А. Медведев. Было всякое: и болезни, и ссоры, и крутое слово. Но люди прощали друг друга. Многие после таких полугодовых напряженных лет заболели, многие вернулись в свои родные края. Труппа поредела. Настала пора приглашать новых людей, снова обустраивать их быт, что-то им обещать, чтобы люди жили надеждой.

Осип Александрович стал формировать новую творческую команду. Нужен был художественный руководитель, нужны были новые актёры.

Еще раньше, в первый год войны, О.А. Волина избрали председателем правления Иркутского отделения Всероссийского театрального общества (ВТО), и там тоже нужно было организовать нормальную работу, и он это делал достойно.

ВТО помогло Осипу Александровичу познакомиться с другими руководителями, поделиться с ними не только своими успехами, но и проблемами. А первоочередной из них была острая нехватка кадров. Нужно было срочно их искать, приглашать способных, талантливых актёров и режиссёров. Он часто созванивался с министерством, советовался со своими кураторами, просил давать иркутский адрес театра способным актёрам, затем переписывался с ними, используя все возможности, вплоть до шутиливой хитрости, «заманивая» к себе талантливых артистов. Это у него неплохо получалось.

До сих пор среди актёров ходят рассказы, шутки и анекдоты, как Волин набирал к себе в театр способных и талантливых людей. Приведем здесь только один рассказ-воспоминание одного из старейших актёров-мастеров Иркутского театра, лауреата Государственной премии, ныне, к сожалению, покойного Василия Лещева. «...Я сидел в коридоре Министерства культуры, ждал у кабинета, где я должен был получить направление на работу в театр, в один из крупных городов России. По коридорам Министерства из кабинета в кабинет бегал энергичный маленький человек в очках, приглядываясь к людям, заполнившим коридор. Мы с другом сидели в креслах, я ждал вызова.

Борисыч, кивнув на человека в очках, пояснил мне:

— Волин, директор Иркутского театра. Мой будущий шеф. Получил назначение туда. Далековато... Страшновато... Ладно, я пойду домой...

Я остался один. Вскоре меня вызвали и вручили направление в театр, в один из крупных городов. Красивый и чёткий документ был заверен жирной печатью и подписью «Каплин».



О.А. Волин. 1960 г.

Выйдя из кабинета, я наткнулся на маленького человека в очках, который, словно ожидая меня у дверей, сразу заговорил:

— Вы Лещев Василий Васильевич?

— Да.

— Нам с вами надо побеседовать. Вы не могли бы зайти ко мне сегодня, в семь вечера, в гостиницу «Европа», номер 43?

— Конечно, смогу, но...

Не давая мне договорить, он поднял руку:

— Это вас ни к чему не обязывает! Просто познакомимся поближе, побеседуем. Расскажите о прошедших гастролях, волковцы ведь в Сочах гастролеровали? Меня это очень интересует. Договорились?

— Хорошо, буду.

В семь часов я был в «Европе». Меня ждали. В непринуждённой беседе прошёл час. Этот человек располагал к себе большим знанием театральных дел, страстно говорил о репертуаре, о нехватке нужных актёров, похвалил за мои прошлые работы (оказывается, он видел меня в некоторых

ролях) и... предложил работу в Иркутском театре. В голове завертелись «за» и «против»... Уверенный, хорошо знающий психологию актёров директор смотрел на меня и не торопил с ответом.

— Да, но у меня уже есть направление, там ждать будут...

— А где оно?

— Вот.

Я достал из кармана вчетверо сложенный документ и протянул ему. Не торопясь, он развернул его, медленно прочёл вслух, затем вонзился в меня пристальным взглядом, словно испытывая меня, и решительно разорвал бумагу на мелкие куски. Я был ошарашен. Не дав мне опомниться, Волин раскрыл кожаную папку и протянул мне точно такое же направление, но адресованное уже в Иркутский театр, с той же жирной печатью и подписью «Каплин». Из чемодана была вынута бутылка коньяка, и дело тут же скрепилось звоном гостиничных стаканов» (В. Лещев. «Я счастлив памятью». Иркутск, 2000. С. 15–16).

Всё в жизни меняется. Катятся годы. Уходит время, человек устаёт. Ссорится с родными, с подчинёнными. Делает ошибки. Не всё гладко было и у Осипа Александровича Волина. В далёком теперь уже 1950 году в областной газете «Восточно-Сибирская правда» вдруг появилась статья с простым, но настораживающим заголовком: «На важном участке идеологического фронта». В ней говорилось о низком уровне партийной и партийно-политической работы в первичной парторганизации Иркутского драматического театра. Утверждалось, что директор руководит театром методом голого администрирования, не прислушивается к критике, оторвался от коллектива, запустил творческую работу, незаслуженно снял с работы хорошую актрису и прочее, и прочее. Дальше — больше. Нелицеприятный разговор в райкоме. Эмоциональное объяснение. Результат — партийный выговор. Возмущался, потом приостыл. Пошёл советоваться в горком, объяснял, доказывал. Признал ошибки. Выговор сняли. Но долго-долго отходило сердце.

А время всё бежит и бежит. И вроде бы всё лечит... Вот уже торжественно город отметил его пятидесятилетний юбилей. Хвалили, дарили подарки. И опять работа, спектакли, гастроли, новые актёры и режиссёры. Жаркие споры на худсоветах и профсоюзных собраниях. Объявлял благодарности, выговоры. А как без этого?

И вдруг — опять вызов в высокий партийный кабинет. Казалось, незачем... Оказывается, накопилась целая папка проблемных вопросов. Объяснялся по каждому. Соглашался. Категорически отрицал. Что-то обещал исправить. Вроде бы обо всём договорились.

И вдруг — как снег на голову: «Зайдите в Управление культуры...»

Прошли годы. В архиве листаю нетолстый том подшитых протоколов заседаний высокого партийного бюро.

Протокол № 9 от 13 мая 1966 года.

«Бюро постановляет: освободить от должности директора Иркутского областного драматического театра тов. Волина О.А.».



РИММА МИХЕЕВА

«Сиянию России» в Иркутске — 20 лет

За прошедшие двадцать лет праздник стал всероссийским явлением пробуждения национального духа, утверждения подлинных культурных ценностей, познакомив иркутян с палитрой слов, звуков, красок, которыми богата русская культура.

В наше достаточно прагматичное время принято говорить об эффективности не только сферы материального производства, но и оценивать культурные мероприятия с позиций статистики, одним словом, поверять, говоря словами пушкинского героя, «алгеброй гармонию».

Итак, о чём свидетельствуют нам цифры? Двадцать лет вместили в общей сложности 200 дней праздника, впервые состоявшегося в нашем городе в октябре 1994 года, а с 1998 года перешагнувшего границы Иркутска и ставшего областным. Дни стали плановым мероприятием, но вместе с тем остались событием знаковым, наполненным глубоким содержанием. Организаторами (писателями В.Г. Распутиным и М.Д. Сергеевым, владыкой Вадимом и тогдашним мэром Иркутска Б.А. Говориным) праздник задумывался как приглашение в Иркутск выдающихся деятелей литературы и искусства России, работающих в ключе традиционной отечественной культуры и отстаивающих её ценности в своём творчестве. За двадцать лет в Иркутске побывало более 120 видных представителей отечественной литературы, специалистов в областях политологии, истории и педагогики, художников и архитекторов, мастеров кино и театра, талантливых исполнителей русской народной и духовной музыки.

Обширна и география мест, откуда приезжали гости фестиваля: не только Москва и Санкт-Петербург, но и Армавир, города Тосно и Всеволожск Ленинградской области, Владикавказ и Вологда, Елец и Сыктывкар, Волгоград и Краснодар, Красноярск и Новосибирск, Новокуйбышевск и Омск, Тобольск, Тюмень и Томск, Пермь и Чита, Улан-Удэ и Уфа, Белгород и Хабаровск, и даже дальнее и ближнее зарубежье (Эстония, Казахстан и Сербия). В первые годы праздника иркутяне получали информацию о литературном и культурном процессах, проходящих в регионах, поскольку в то время сведения об этом были крайне скудны, вездесущий Интернет только осваивался, книги и журналы выходили мизерными тиражами и до Иркутска

МИХЕЕВА Римма Григорьевна родилась в Кировской области. В 1965 г. окончила историко-филологический факультет ИГУ по специальности «история». Несколько лет работала учителем истории в п. Ербогачён и г. Красноярске. С 1977 г. по настоящее время работает в ЦГБ им. А.В. Потаниной г. Иркутска. Как библиограф-краевед занимается изучением истории г. Иркутска и творчества писателей-иркутян. Автор работ по истории Октябрьского (2001, 2011) и Свердловского (2004) округов г. Иркутска, сборника «Нас объединяет книга» (2005) по истории муниципальных библиотек города. С 2008 г. ведёт на городском радиоканале циклы передач «Имена и даты» (2008–2011), «Год российской истории» (2012), «Книжная полка» (2013). Дипломант городского конкурса «Золотая запятая» (2011). Заслуженный работник культуры РФ.

практически не доходили, да и средств на их приобретение как граждане, так и библиотеки не имели. В разные годы гостями праздника были литераторы, ныне ушедшие из жизни, Василий Белов и Юрий Кузнецов, Леонид Бородин и Александр Панарин, Михаил Ворфоломеев, Эдуард Володин и Сергей Лыкошин. Встречались с иркутянами в библиотеках, вузах Виктор Лихонос, Владимир Крупин, Пётр Краснов, Владимир Личутин, Виктор Потанин, Семён Шуртаков, Юрий Поляков, Николай Коняев, Юрий Лошиц, Александр Щербаков, Сергей Есин, Борис Екимов, Валерий Хайрюзов, Андрей Воронцов, Александр Сегень, Евгений Шишкин, Михаил Чванов, Вячеслав Сукачёв и др. — писатели, следующие традициям русской классической литературы. А также философы, критики и публицисты: Игорь Шафаревич, Михаил Назаров, Александр Панарин, Владимир Бондаренко, Александр Казинцев, Сергей Небольсин, Ксения Мяло, Владимир Попов, Юрий Павлов. Неизменным успехом в любой читательской аудитории пользовались поэты Владимир Костров, Мария Аввакумова, Николай Зиновьев, Юрий Перминов, Надежда Мирошниченко, Анатолий Гребнев, Диана Кан, Евгений Семичев, Нина Карташова, Валерий Михайлов, Владимир Шемшученко, Игорь Тюленев, Николай Рачков, Александр Бобров, Владимир Молчанов, стихи которых пронизаны светлым чувством любви к Родине и болью за её нынешнее положение, когда такие понятия, как «любовь к отеческим гробам», совесть, традиции, многим кажутся устаревшими, романтическими и им нет места в сегодняшнем расчётливом мире.

Подавляющее большинство встреч, поэтических и литературных вечеров, «круглых столов» проходило в студенческих аудиториях, Доме литераторов им. П.П. Петрова и библиотеках города. Трудно определить их количество за 20 лет, хотя в целом в Иркутске ежегодно в Дни «Сияния» проходило от 80 до 100 мероприятий. Уже в первые годы гостями «Сияния» наряду с прозаиками и поэтами были кинематографисты: режиссёры, кинооператоры и актёры: Георгий Жжёнов, Василий Лановой, Владимир Заманский, Юрий Назаров, Людмила Мальцева, Николай Бурляев, Инга Шатова, Александр Михайлов, Николай Олялин, Владимир Конкин, Наталья Бондарчук, Борис Галкин, Никита Михалков, Станислав Говорухин, Николай Ряполов, Анатолий Заболоцкий, Сергей Зайцев и др. Встречи с ними, демонстрация фильмов собирали в кинотеатрах города большие аудитории заинтересованных зрителей.

Об истории России, её нынешнем и будущем говорили публицисты: О. Платонов, доктор экономических наук; С. Кара-Мурза, профессор, доктор химических наук; А. Корольков, доктор философских наук; А. Панарин, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политологии МГУ; Вл. Ильяшевич, председатель Объединения русских литераторов Эстонии, и др.

С преподавателями школ города встречались: И.Ф. Гончаров, доктор педагогических наук, руководитель Всероссийского движения «Русская современная школа»; главный редактор журнала «Литература в школе» Н. Крупина; доктор филологических наук, профессор Института мировой литературы Вс. Троицкий; известный публицист Ирина Стрелкова; специалисты по проблемам детства, социально-психологического состояния и здоровья семьи и ребёнка Ирина Медведева и Татьяна Шишова.

В 2005 году несколько встреч с педагогами и учащимися провела Н. Петрова, педагог-историк из Москвы, член Союза писателей России. И в библиотечных залах, и в школьных классах гости задолго до нынешних реформ школьного образования говорили о проблемах преподавания литературы и истории, о сбережении русского языка — главного богатства России. Очень убедительно и взволнованно сказал об этом Вс. Троицкий: *«Национальный язык — хранитель и зиждитель народного духа. Степень владения им в целом определяет уровень мышления. Совершенство речи во многом определяет совершенство культуры человека. Состояние речи — это состояние мысли, состояние мысли — это состояние сознания, состояние сознания — это предпосылки поступков, поступки — это сущность поведения людей, сущность поведения людей — это судьба народа»* (Сибирь. 2005. № 5. С. 107).

Невозможно перечислить всех гостей, участников праздника, как невозможно было присутствовать на всех встречах с их участием. И всё же за прошедшие двадцать лет запомнилось многое. В первую очередь, это концерты замечательной певицы, обладательницы хрустальной чистоты голоса Евгении Смольяниновой и истинно народной певицы Татьяны Петровой, хор Московского Сретенского монастыря, Государственный академический русский народный хор им. М.Е. Пятницкого, театр танца «Гжель», хоров Свято-Данилова монастыря и камерного мужского хора «Пересвет» (Москва), а также встреча с народным артистом России, балалаеч-

ником М. Рожковым и демонстрация фильма «Жизнь прекрасна» о нём в КДЦ «Художественный», а также концерты Государственного академического Кубанского казачьего хора под руководством народного артиста РФ и Украины В. Захарченко, концерты Л. Харитоновой, нашего земляка, солиста Московской филармонии, заслуженного артиста РФ.

Как для библиотекаря, для меня, естественно, были интересны встречи и общение с критиками и литературоведами В. Курбатовым, К. Кокшенёвой, Л. Барановой-Гонченко и К. Мяло, имеющими свой взгляд на современный литературный процесс. И, конечно же, встречи с писателями. Из них в особенности помнятся встречи с Л. Бородиным, нашим земляком, недавно ушедшим из жизни.

Леонид Иванович был участником семи Дней «Сияния России» (1994, 1995, 1998, 2000, 2002, 2005, 2006 годы). В разные годы «Сияния» в библиотеках города проходили интересные, как для него, так и для читателей, обсуждения его книг «Без выбора» и «Год чуда и печали». В 1998 году редакция журнала «Москва», главным редактором которого был Л.И. Бородин, посвятила восьмой номер журнала Иркутску, предоставив свои страницы иркутским литераторам и художникам, тем самым познакомив с их творчеством всю читающую Россию.

Неоднократно гостями «Сияния» были и московские писатели В. Крупин, Ст. Куняев и В. Ганичев. Они высоко оценивают значение Дней «Сияния России», проводимых в Иркутске, подвижничество и организаторскую роль В.Г. Распутина. «Полюбил Иркутск навсегда», — признаётся В. Крупин (Сибирь. 2003. № 4. С. 151). Ст. Куняев, гл. редактор журнала «Наш современник», в публикации «Звезда Байкала» (Наш современник. 2000. № 2. С. 45 — 53) рассказывает о празднике как всероссийском явлении. В. Ганичев, гл. редактор журнала «Роман-журнал XXI век. Путеводитель русской литературы», полагает, что Дни русской духовности и культуры в Иркутске замечательны, потому что «...не только за Уральским хребтом, а и во всей России они приобрели знаковый характер. Есть иркутские, байкальские Дни русской духовности и культуры, значит, такая духовность и культура не погибла...» (Роман-журнал XXI век. 2003. № 8. С. 5). А в 2011 году четвёртый номер этого журнала вышел как поздравление городу к его 350-летию. Открывает номер «Дневник главного редактора», названный «Иркутск — центр Сибири». В. Ганичев написал: «Сияние» воспринимал как некий отсвет, исходящий от всей страны и проявляющийся тут в полной насыщенности... Валентин Распутин — гордость и достояние Иркутска, гордость и достояние России. А за ним, вместе с ним и такая могучая «иркутская стенка» писателей-иркутян, достойный «засечный отряд» писателей России...» (Роман-журнал XXI век. 2011. № 4. С. 2, 4).

800 номеров этого журнала, представляющего творчество «засечного отряда», более 20 иркутских литераторов, были представлены на презентации в КДЦ «Художественный» и переданы в библиотеки города и области. Помощь в выпуске журнала оказали Благотворительный фонд «Духовное возрождение» и управляющая компания «Востсибстрой».

Наряду с литераторами — гостями Дней, значительное место в их программе занимают встречи с писателями и деятелями культуры Иркутска. Практически все члены Иркутского отделения СП России — участники праздника. В рамках Дней проходят презентации книг иркутских писателей и краеведов. Назову лишь несколько книг, которым, безусловно, суждена долгая жизнь. В Дни «Сияния» состоялась презентация повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» (2004), книги «Первосвятитель Иркутский Иннокентий I (Кульчицкий)» (2006), в 2007 году прошла презентация 3-го выпуска альманаха «Созвездие дружбы» о народах, населяющих Восточную Сибирь, в 2008 году — презентация книги одного из старожилов города Б.А. Демьяновича «Записки иркутянина» о жизни Иркутска в 20–40-е годы XX века, каталога «Мемориальные доски, памятники, памятные знаки и образцы техники г. Иркутска» Н.С. Пономарёвой, книги «Иркутск уходящий» Э. Павлюченковой. 2011 год — презентация очередного выпуска альманаха «Иркутский Кремль» и нескольких томов уникального «Словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири», подготовленных Г.В. Афанасьевой-Медведевой.

Иркутская составляющая Дней от года к году расширялась. Иркутяне стали приурочивать к этим дням юбилеи предприятий, учреждений культуры, фольклорные праздники, всевозможные выставки. От выставки, посвящённой Дню Иркутской области, в Сибэкспоцентре до выставок мастеров различных видов прикладного народного творчества. Организовывались фотовыставки и выставки художников, лекции, викторины, спортивные соревнования, состоялся фестиваль фейерверков и т. п.

В последние годы в программу праздника включаются певческие народные коллективы, в 2010 году в рамках Дней прошёл областной фестиваль «Поющее Приангарье». Заметно уча-

стие музеев, как областных, так и Музея истории города им. А.М. Сибирякова, открытие которого произошло в Дни «Сияния» в 1996 году, а в 1997 году открылся Гуманитарный центр-библиотека им. Семьи Полевых. Таким образом, в городе сложилась определённая традиция: в эти дни открывать новые или обновлённые после ремонта учреждения культуры. «Сияние России» стало своеобразным «родителем» спортивного клуба «Илья Муромец», фестиваля одарённых детей «Иннокентьевские звёздочки» в Иркутске-II, научно-практической конференции «Щаповские чтения», журнала «Первоцвет» при областной юношеской библиотеке им. И. Уткина и других значимых мероприятий и акций. Благодаря фестивалю «Сияние России» всероссийскую известность получил муниципальный Театр народной драмы под руководством заслуженного деятеля искусств РФ М. Корнева. Вклад театра в проведение этих дней очень существенен и ярок. Спектакли театра «Яков Похабов», «Сербская девойка», «Лидия Русланова» и др., демонстрация фильмов, снятых актёрами театра, находили самый тёплый приём у зрителей.

Вспоминается и акция «Книге — вторую жизнь!» (2001), в ней приняло участие более 400 иркутян, подаривших муниципальным библиотекам 11 тысяч книг.

В этом же году на площади у Торгового комплекса прошёл праздник «Литературные автографы Иркутска» с участием писателей, а вечером иркутяне в органном зале филармонии слушали выступления писателей на творческом вечере «Иркутские писатели на рубеже нового века».

Ещё одна особенность праздника последних лет — внимание к детству и юношеству. В программу праздника включается проведение в школах единых уроков, тема которых — иркутская история. Эти уроки ведут почётные граждане города, известные иркутяне и иркутские писатели. Непременный участник разнообразных творческих конкурсов и викторин, различных праздников для детей — журнал «Сибирячок», известный далеко за пределами Иркутска.

Значительно число публикаций о «Сиянии» в местных СМИ. Газеты, радио, телевидение, а в последние годы и Интернет освещают его события. В основном эти публикации носят информационный характер, очень редко появляются материалы, в которых даётся анализ мероприятий. В целом эти материалы носят доброжелательный характер и положительно оценивают проведение Дней русской духовности и культуры. Удалось выявить около 210 публикаций в местной и центральной прессе.

На праздник «Сияние России» приглашаются известные писатели не только из столицы, но и других городов России, многие из которых являются авторами русских патриотических журналов «Москва», «Наш современник», «Родная Ладога», «Дальний Восток» и сами главные редакторы этих журналов.

В журнале «Москва» (1998. № 7), была опубликована статья бывшего иркутянина, гостя праздника «Сияние России» Л. Бородин «Город на Ангаре», в которой Леонид Иванович признаётся в любви городу: *«Новосибирчане, томичи или омичи — они, наверное, тоже претендуют на «центральность», но мы-то, иркутяне, особенно беглые, мучимые ностальгией и неприжитостью в местах несибирских, мы-то доподлинно знаем, что главный город Сибири — Иркутск, что стоит на самой красивой реке в мире посередине между Москвой и Тихим океаном. Ему, центральному городу всей России, и посвящается этот номер журнала «Москва».* Кстати, нынешний редактор журнала «Москва» Владислав Артёмов продолжает традиции, заложенные Бородиным, декабрьский номер за этот год будет тоже посвящён Иркутску, иркутским писателям, чьи произведения выйдут на страницах «Москвы». Этой традиции следует и журнал «Наш современник», его редактор Станислав Куняев периодически отдаёт страницы и целые номера журнала иркутянам.

В свою очередь журнал «Сибирь», кстати, издание которого возобновилось в 1998 году после нескольких лет молчания, отдавал и поныне отдаёт свои страницы авторам «Москвы» и «Нашего современника», впрочем, не только им, а большинству гостей «Сияния» из разных регионов России. Всего выявлено 66 публикаций. Публикации эти обусловлены объективной реальностью и состоянием книжных фондов библиотек, в особенности, в районах области, где с нетерпением ожидают свежие номера «Сибири».

К тому же в библиотеках, без преувеличения могу сказать, «Сияние России» идёт круглогодично, разговор о русской классической и современной литературе, творчестве писателей иркутян — главная составляющая в просветительской и информационной работе библиотек.

В 2010–2012 годах число публикаций в СМИ о празднике значительно сократилось. Этому есть объективные причины: иркутяне отмечали 350-летие города, 75-летие Иркутской области, проходили в конце августа — начале сентября фестиваль «Звёзды на Байкале», организуемый

Д. Мацуевым, Международный Вампиловский фестиваль современной драматургии. Внимание журналистов и критиков было приковано к этим знаковым событиям, «Сияние России» отодвинулось на обочину их внимания.

В газете «Иркутск» (2012. 10 октября) была опубликована статья Оксаны Гордеевой «Литературная провинция. Что происходит с фестивалем «Сияние России?» Автор полагает, что *«...фестиваль начинает сдавать одну из самых сильных своих позиций... Есть книги, которые стали событием в духовной жизни в текущем году. Например, книга Т. Шевкунова «Несвятые святые»...* Этого автора О. Гордеевой хотелось бы видеть в числе гостей. Но он был гостем «Сияния России» в 2009 году, и тем, кто посетил публичную лекцию архимандрита, наместника Сретенского монастыря в Москве, и увидел снятый по его сценарию фильм «Гибель империи. Византийский урок», наверняка помнится и фильм, и лекция, и ответы отца Тихона на многочисленные вопросы присутствующих в аудитории. Отец Тихон взвешенно оценивает как прошлое России, так и настоящее и рекомендует настоятельно соборностью усилий духовных и светских людей найти выход к лучшему.

В 2010 и 2012 годах гостем «Сияния России» был А.Г. Елфимов, председатель общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», книгоиздатель уникальнейшей серии книг «Тобольск и вся Сибирь», которая печатается в типографиях Италии. На сегодняшний день это, пожалуй, один из лучших книгоиздателей России, общение с которым заставляет обратиться к истории Сибири и её городов. В 2010 году гостем «Сияния России» был И. Шумейко, кибернетик по образованию, писатель, журналист, автор таких неординарно воспринимаемых читателями книг, как «10 мифов об Украине», «10 мифов о русской водке», «Апокалипсис в мировой истории. Календарь мая и судьба России», «Вторая мировая. Перегрузка», «Ближний Дальний Восток» и др. Шумейко — постоянный автор «Независимой», «Литературной», «Новой газет», многих журналов. Так что позвольте не согласиться с О. Гордеевой, которая замечает в статье: *«Жаль только, что Иркутск теперь стоит где-то на обочине живого литературного процесса. Не приезжают к нам писатели, которые сейчас творят настоящую, крепкую прозу, хорошие стихи».*

Писателей, творящих настоящую, крепкую прозу и хорошие стихи, увидеть и пообщаться с ними в Иркутске несложно — помимо «Сияния России» в городе проходят ежегодно литературные встречи «Этим летом в Иркутске» и «Фестиваль поэзии на Байкале», на которых, помимо авторов, работающих в традициях русской классической литературы, бывают авторы, работающие в стиле авангарда и также представляющие как российские регионы, так и ближе и дальше зарубежье. Выбирать есть из чего, было бы желание читать.

Хочется сказать слова благодарности члену Союза писателей России, В.А. Семёновой, многие годы возглавлявшей отдел культуры и критики журнала «Сибирь». Валентина Андреевна продолжила иркутские летописные традиции, составив Хронику Дней русской духовности и культуры «Сияние России» за двадцать лет. Интересующиеся этой страницей культурной жизни города могут обратиться к номерам журнала за 2005–2013 годы.

Можно согласиться с В.А. Семёновой и с её замечаниями относительно программы Дней: *«Суть Дней русской духовности и культуры не только в том, чтобы к нам приехали и нам рассказали, а мы бы послушали. Это, конечно, первое. Но есть и немаловажное второе: гости совсем не против познакомиться с тем ценным, что имеется у нас, на земле Иркутской. Так идёт культурное взаимообогащение...»* (Сибирь. 2008. № 6. С. 200).

Не подлежит сомнению, что Дни русской духовности и культуры «Сияние России» стали заметной и значимой частью культурной жизни Иркутска и области, традицией, которая должна продолжаться далее.

К 20-летию Дней русской духовности и культуры «Сияние России»

ЖУРНАЛ «СИБИРЬ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГОСТЕЙ ПРАЗДНИКА

Читателей Приангарья ждут встречи с известными российскими поэтами и писателями — Эдуардом Анашкиным, Владиславом Артёмовым, Анатолием Заболоцким, Владимиром Крупиным, Станиславом Куняевым, Николаем Лугиновым, Александром Прохановым, Андреем Ребровым.

Эдуард Константинович Анашкин. Родился 23 сентября 1946 г. в г. Хилок Читинской области в семье железнодорожника. Окончил Усольский сельскохозяйственный техникум (1988). Работал секретарём ВЛКСМ в Хилке (1968–1969 гг.), чабаном в совхозе «Майский» Самарской области (с 1969 г.). С 1986 г. печатается в газете «Волжская коммуна». Автор книги прозы «Вовкин поцелуй» (Самара, 1997 г.). Публиковался в журнале «Россия молодая» (1998 г., № 8; 1999 г., № 5–6). Член СП России (с 1998 г.). Живёт в совхозе «Майский» Самарской области.

Владислав Владимирович Артёмов. Родился в 1954 г. в Белоруссии. Окончил Литературный институт им. Горького в 1981 г. Член Союза писателей России с 1991 г.

С 1982 по 1987 г. работал редактором отдела поэзии в журнале «Литературная учеба». С 1989 по 2001 г. — редактор отдела литературы в журнале «Москва». С 2002 по 2008 г. — редактор в Военно-художественной студии писателей. Автор двух поэтических книг: «Светлый всадник» (Современник, 1989) и «Странник» (Глобус, 1997). В 2002 г. в журнале «Наш современник» вышла повесть «Художник Верещагин». В 2001 г. в издательстве АСТ-Пресс опубликован роман «Капитан Родионов». В 2003 г. в издательстве «Андреевский флаг» выпущен роман «Обнаженная натура», в 2007 г. — роман «Поколение негодяев». Лауреат Всероссийской литературной премии имени Генералиссимуса А.В. Суворова. Капитан запаса. Указом Президента Российской Федерации от 22 июля 2004 г. награждён Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Анатолий Дмитриевич Заболоцкий. Родился в 1935 г. в крестьянской семье в деревне Сыда Краснотуранского района Красноярского края. Среднюю школу окончил в Абакане (Республика Хакасия) в 1953 г. В сентябре 1954 г. стал учиться на операторском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии.

После окончания ВГИКа (1959 г.) работал кинооператором на «Беларусьфильме», где, по собственному признанию, «с головой ушёл в работу на студии, до 1969 года даже не используя положенных отпусков». Впоследствии работал на киностудиях «Таллинфильм», имени М. Горького, «Мосфильм». Участвовал в создании 15 художественных и 8 документальных фильмов. Среди них — «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Целуются зори», «Обрыв» и другие. Выступил также как актёр в фильмах «Слово для защиты», «Печки-лавочки» (нет в субтитрах), как сценарист и режиссёр документального фильма «Слово матери» (1979 г.). С 1977 г. занимается художественной фотографией. После 1983 г. отошёл от кинематографической деятельности, участвуя лишь эпизодически. По его словам, «ушёл не из кино вообще, а из того кино, которое сегодня культивируется...».

Пишет в мемуарно-публицистическом жанре. Публиковался в журналах «Москва», «Наш современник», «Роман-газета», «Роман-журнал XXI век» и других. Широкую известность получили воспоминания о соратнике и друге В.М. Шукшине «Шукшин в кадре и за кадром. Записки кинооператора» (1998 г.). Живёт в Москве. Член Московской городской организации Союза писателей России, член редколлегии народного журнала «Роман-газета».

Владимир Николаевич Крупин. Родился 7 сентября 1941 г. в селе Кильмезь Кировской области в крестьянской семье. После окончания школы работал в районной газете, потом трудился в качестве грузчика, слесаря, а после армии поступил в педагогический институт (МОПИ им. Н.К. Крупской) на факультет русского языка и литературы. Педагогической деятельности Владимир Крупин предпочёл работу на Центральном телевидении и в различных художественных издательствах. Первой пробой пера писателя были стихи, но известен он стал благодаря рассказам, как представитель деревенской прозы.

Уже первый сборник рассказов «Зерна» (1974 г.) принёс ему известность. В нем представлены рассказы, где простым языком рассказывается о непростой судьбе жителей села. «Ямницкая повесть» рассказывает о вятской деревне времен Гражданской войны. Мировую известность получила повесть «Живая вода» (1980 г.), переведённая на многие языки. Здесь в ироничной манере переосмысливает писатель легенду о живой воде. Открытый в одной из деревень источник помогает людям избавиться от пагубных привычек. В произведении автор выражает надежду на возрождение русских богатырей при помощи этого чудодейственного средства. Ещё одно крупное произведение жанра деревенской прозы — «Вятская тетрадь», сборник рассказов о «малой» родине писателя. Обращается Владимир Крупин и к другим темам. Повесть «На днях или раньше» (1977 г.) посвящена проблемам семьи, «От рубля и выше» (1981 г.) — проблемам художественного творчества, «Прости, прощай» (1986 г.) — воспоминание о студенческих годах.

В последние годы в творчестве писателя доминирует тема православия и надежда на то, что именно православная вера спасёт страну. Эта идея присутствует в повестях «Великоречская купель» (1990 г.), «Крестный ход», «Последние времена» (обе – 1994 г.), «Слава Богу за все. Путевые раздумья» (1995 г.). С 1994 г. писатель преподает в Московской Духовной академии.

Станислав Юрьевич Куняев. Родился в 1932 г. в Калуге. Поэт, публицист, литературный критик, главный редактор журнала «Наш современник» (с 1989 г.). Автор десяти биографий в серии «Жизнь замечательных людей», вместе с сыном Сергеем опубликовал в этой серии книгу о жизни и творчестве Сергея Есенина. Автор около 20 книг стихов, прозы, публицистики, наиболее известные — «Вечная спутница», «Свиток», «Рукопись», «Глубокий день», «Избранное».

Автор множества переводов из украинской, грузинской, абхазской (в том числе Мушни Ласурия, Дмитрия Гулия), киргизской (в том числе Токтогула), бурятской, литовской (в том числе Эдуардаса Межелайтиса) поэзии. Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького, лауреат литературной премии «России верные сыны» (2000 г.) как публицист за трёхтомную книгу воспоминаний «Поэзия. Судьба. Россия». Некоторые его произведения переведены на болгарский, чешский и словацкий языки.

Николай Алексеевич Лугинов. Народный писатель Республики Саха (Якутия). Родился в 1948 г. в Кобяйском улусе. В 1972 г. окончил физико-математический факультет ЯГУ. Работал учителем в средних школах Хангаласского улуса и в Хатассах, инструктором Якутского ОК ВЛКСМ, директором типографии в Намском улусе. Окончил в г. Москве Высшие Литературные курсы. В настоящее время работает директором Литературного музея имени П.А. Ойунского, вице-президентом Академии Духовности РС (Я), членом Президентского совета РС (Я), сопредседателем правления Союза писателей России.

Печатается с 1974 г. Его первая книга «Рассказы» вышла в 1976 г. Автор многих книг повестей и романов. Является автором нескольких успешно поставленных в театрах пьес. Его книги переводились на русский и некоторые европейские языки. Лауреат международной премии «Алжир на перекрестках культур», литературной премии Казахстана «Алаш». Заслуженный деятель искусств РС (Я). Большим успехом его прозы являются книга повестей «Таас Тумус» и роман в трёх книгах «По велению Чингисхана», по которому снят художественный фильм «Тайна Чингисхана». Его произведения имеют философскую направленность и отличаются национальным колоритом. Как председатель приёмной коллегии Союза писателей Якутии, вырастил литературную смену. В последние годы занимается перспективными проблемами перевода на русский язык классиков якутской литературы. С 1979 г. член Союза писателей СССР.

Александр Андреевич Проханов. Родился в 1938 г. в г. Тбилиси (Грузия). Окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе в 1960 г. Владеет английским языком. Главный редактор газеты «Завтра». Член секретариата правления Союза писателей России.

Работал инженером, затем лесником в Карелии и Подмоскowie. 1960–1970 гг. — сотрудник газет «Правда», «Литературная газета». В 1971 г. издал свои первые художественно-публицистические книги: «Иду в путь мой» и «Письма о деревне». В 1972 г. был принят в Союз писателей СССР. С 1986 г. активно выступал с публицистическими очерками в патриотической печати: журналах «Молодая гвардия», «Наш современник», газете «Литературная Россия». 1989–1991 гг. — главный редактор журнала «Советская литература». С декабря 1990 г. — главный редактор газеты «День». В августе 1991 г. поддержал действия ГКЧП.

В сентябре 1993 г., после указа президента о роспуске Верховного Совета, призывал в газете «День» «сбросить антинародный режим Ельцина» и поддержать Верховный Совет России. 4 октября 1993 г. Министерством юстиции России была приостановлена редакционно-издательская деятельность газеты «День». С ноября 1993 г. — главный редактор газеты «Завтра».

Александр Проханов — лидер патриотической оппозиции, прозаик — десятилетия своей жизни посвятил описанию локальных войн мира, в том числе и тех, что велись и ведутся на руинах СССР.

Андрей Борисович Ребров. Родился в 1961 г. в Ленинграде. Детство прошло в самом центре старого города — в Александровском саду у Львиного мостика близ Николо-Богоявленского собора. В 1991 г. вышла его первая книга стихотворений «Крылица».

В разные годы совершал паломничества по святым местам, жил на Валааме, в Дивееве, Задонске, Оптиной пустыне, Псково-Печерском монастыре, где получил благословение на творчество. В настоящее время Андрей Ребров — секретарь правления Союза писателей России, член правления Санкт-Петербургского отделения СП России, член Императорского Православного Палестинского общества, член Высшего творческого совета СП Союзного государства (России и Беларуси), действительный член Академии Российской словесности. Награждён Почетным знаком Св. Татьяны, медалями в честь «300-летия Санкт-Петербурга» и «За доблестный труд во славу Отечества», золотым орденом Международной академии культуры и искусства «Служение искусству», медалью «65-летие Победы», медалью РПЦ, посвященной юбилею 1812 года. Главный редактор журнала «Родная Ладога», директор Издательского дома «Родная Ладога». Лауреат Всероссийского конкурса поэзии им. С. Есенина (2011 г.). Живёт в Санкт-Петербурге.

Редакция журнала «Сибирь»

ЛЮБОВЬ СУХАРЕВСКАЯ



Многоголосая «Молчановка»

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ОТМЕТИЛА 110-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СИБИРСКОГО ПИСАТЕЛЯ

30 апреля в Иркутской областной библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского состоялся вечер, посвященный 110-летию писателя, чье имя она носит более полувека — с 1961 года. При входе в новое, великолепное, современное здание библиотеки читатель видит и его живописный портрет с букетиком цветов под ним, и гипсовый бюст писателя работы Ариадны Манжелес, а сами работники библиотеки, по их признанию, и вовсе ощущают его незримое присутствие, сверяя с ним, человеком безупречной репутации, свои действия и поступки, планы и намерения.

На вечер были приглашены друзья библиотеки, активные читатели, иркутские писатели и, конечно же, члены семьи Молчанова-Сибирского — дочь Евгения Ивановна со своим мужем, поэтом Владимиром Скифом, их детьми и внуками.

Ольга Стасюлевич, директор библиотеки, приветствует и информирует гостей:

— Сегодня у нас — не официальное, а тёплое, «домашнее мероприятие». Так удачно совпало, что новое здание библиотеки построили практически к юбилею писателя, чье имя мы носим. Более того, в этом здании мы намерены открыть мемориальную комнату, посвящённую Ивану Ивановичу. Эту комнату мы не хотим открывать наспех — оформить её нам помогут музейщики, так чтобы всё было достойно этого имени. И, скорее всего, событие это произойдёт в августе — так мы планируем. К тому же семья Ивана Ивановича передала нам ценные личные вещи, которые хорошо сохранились. Нам передают такие экспонаты, какими может похвастать далёко не каждый музей.

СУХАРЕВСКАЯ Любовь Иосифовна, поэтесса (1950–2013 гг.). Родилась в г. Анжеро-Судженске Кемеровской обл.). Автор книг: *Тёмный отзвук* (Иркутск, 1973); *Послушай сердце* (Иркутск, 1979); *Прямая речь* (Иркутск, 2006); публикаций в периодике. Член Союза российских писателей.

Среди вещей, которые обретут своё новое место в мемориальной комнате, — два портрета Молчанова-Сибирского: один — кисти известного художника Алексея Петровича Жибинова, другой — графический портрет — работы московского графика Петра Баранова, и ещё один портрет работы Жибинова, на котором изображены дочери Молчановых — Виктории Станиславовны и Ивана Ивановича — Нина и Светлана, письменный стол, шкафы и десятки книг с автографами многих известных писателей, которые дружили с Иваном Ивановичем. Пианино и французские часы с боем. Подаренные когда-то писателю фигурка лося и шкатулка каслинского литья. Старинное зеркало в раме с резьбой и декоративная полочка. Об этом рассказал читателям нашей газеты поэт Владимир Скиф.

Поэта Ивана Молчанова-Сибирского, много лет прожившего в Иркутске (с двухлетнего возраста), много лет руководившего Иркутской писательской организацией, в общих чертах знают многие.

Говорит дочь писателя, Евгения Ивановна:

— Открытие такой библиотеки — это очень большое и радостное событие. Здесь светло, просторно и очень удобно для читателей — ведь после того как разрушилось старое здание библиотеки, её отделы были разбросаны по разным зданиям в Иркутске. А уж как приятно нам, детям, внукам, правнукам Ивана Ивановича! У нас очень большая семья. К сожалению, папа не увидел при жизни ни одного внука. А когда мы узнали про мемориальную комнату, мы решили, что не будем жадничать и отдали письменный стол, за которым папа работал и за которым потом работал мой муж, мы отдали книжные шкафы. У нас очень много архивных материалов — и за их сохранность большое спасибо моей маме. Она бережно сохранила письма и записки, книги с автографами — пока мы передаём сто книг, но это ещё не всё.

Папа часто уезжал в Москву по писательским делам и как руководитель Иркутского отделения Комитета защиты мира, и всякий раз писал оттуда письма не только маме, но и нам, детям. Например, мы находили в почтовом ящике письмо, адресованное «Молчановой Евгении Ивановне», а Евгении Ивановне было тогда пять лет, хотя я уже умела читать.

Действительно, Виктория Станиславовна сохранила все такие письма, и Евгения Ивановна зачитала несколько писем — трогательных, нежных, в которых любящий отец не читал нотаций детям, а воспитывал их, особенно сыновей, ненавязчиво, с юмором «разговаривая» с ними в своих письмах.

Эти письма датированы ещё 50-ми годами!

Сохранилась записка Ивана Ивановича о том, что нужно купить в Москве. В первую очередь это пластинки с записями Чайковского, Листа, Бетховена; потом — книги, детские и непременно поэзия; и уже потом — ботинки, игрушки ребятишкам, перчатки, платья... И, наконец, сухая колбаса, конфеты и печенье.

Евгения Ивановна рассказывает, что в их доме частыми гостями бывали семьи писателей Петра Петрова, Константина Седых, поэтов Иннокентия Луговского, Юрия Левитанского, поэта и журналиста Александра Гайдая, профессора Всеволода Дулова, а по вечерам в дачном посёлке, расположенном в роще курорта «Ангара», у дома Молчановых разводили костёр, пели песни, засиживались допоздна...

Эти подробности лучше любых официальных биографий раскрывают нам душу и характер этого человека. Писателя, сохранившего в себе детскость и непосредственность. Для него это было естественно — он всегда охотно общался с детьми, чему подтверждение — всем известная книжка, написанная пионерами, учениками одной из иркутских школ, под руководством Ивана Ивановича. Это «База курносых», которая вышла ещё в 1934 году и получила высокую оценку Горького, пригласившего группу авторов-детей вместе с руководителем в Москву. Алексей Максимович принял юных иркутян у себя на даче в Горках, а до этой неофициальной встречи авторы «Базы курносых» вместе со своим руководителем «дядей Ваней» стали участниками I съезда советских писателей, где перед взрослыми с приветственным словом выступила самая маленькая из авторов, Алла Каншина.

Все «курносые», уже подросшие, тоже бывали у нас в гостях, рассказывает Евгения Ивановна. Кстати, все они, повзрослев, стали достойными людьми и на всю жизнь сохранили любовь к литературе.

У самого Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского тоже вышло много взрослых и несколько детских книг, одна из самых заметных, пожалуй, «Дяди Ванин туесок».

«Читая «Туесок», я ещё и ещё раз убедилась, каким добрым и мудрым был наш любимый наставник и взрослый друг Иван Иванович Молчанов. Его светлый образ я свято храню

в памяти и сейчас, на склоне своих лет». — Это строчки из письма уже очень пожилой Аллы Каншиной, с которой Евгения Ивановна виделась в Москве.

На встрече в библиотеке была показана телепередача, снятая поэтом Владимиром Скифом и режиссёром Марией Аристовой. Её главный герой — собиратель иркутских литераторов, поэт, публицист, редактор, автор более сорока книг, участник трёх войн Иван Иванович Молчанов-Сибирский.

Владимир Скиф уточняет:

— Он — участник военных действий с японцами у озера Хасан (1938 год), военных действий с японцами у реки Халхин-Гол (1939 год), наконец, участник Великой Отечественной, а военный очерк молодого Ивана Молчанова опубликован в книге «Бои у Халхин-Гола» наряду с воспоминаниями об этих боях Георгия Жукова, Константина Симонова и других известных военачальников и писателей.

...На долю того поколения выпало немало испытаний. Когда начались репрессии — время тотальной слежки друг за другом и тотальной посадки, — одним из первых в Иркутске безвинно пострадал писатель Петр Поликарпович Петров (его имя носит сегодня Дом литераторов на улице Степана Разина). Его семья оказалась практически на улице, а Виктория Станиславовна Молчанова протянула жене Петрова Александре Антоновне и её дочери Светлане руку помощи, всячески поддерживая их, а «в 1957 году твои родители пришли к нам и сообщили радостную весть о реабилитации моего отца, — пишет Евгении Ивановне дочь писателя Петрова. — Много хорошего и доброго от вашей семьи, много тепла и внимания, — все помню».

А когда началась Великая Отечественная война, иркутские писатели написали коллективное заявление о том, чтобы их всем составом отправили на фронт. И уже 20 июля 41-го года они ехали в поезде на Восточный фронт. Среди них были Константин Седых, Иннокентий Луговской, Георгий Марков, а руководил ими, теперь уже как командир, Иван Молчанов-Сибирский.

Сохранились фронтовые тетради Молчанова со стихами о войне — они ещё до сих пор не изданы. А жаль! Из тех стихов, что изданы, может быть, кто-нибудь из «читателей» нынешнего поколения, не отягощенных образованием и искренне считающих, что в войне победили американцы, — может быть, они хоть что-то поняли бы, прочитав строки из стихотворения своего земляка Молчанова-Сибирского «Танк на Хингане»:

*Танк на Хингане. Вестник нашей славы.
Он вознесён на гребне в облака
Как монумент могущества державы,
Прославленной отныне на века.*

*Травую зарастут войны дороги,
Но этот танк, от родины вдали,
На башне сохранит простые строки:
«Здесь в сорок пятом русские прошли».*

Четверть века — 25 лет! — Молчанов руководил Иркутской писательской организацией. Скольких он заметил, скольким помог как коллега, как редактор; сколько благодарных собраний по перу одарили его своими книгами с памятными автографами, многие из которых процитировал на встрече Владимир Скиф.

— Все к нему тянулись. Большой писатель, прозаик и поэт Александр Яшин, кстати, как и Молчанов, отец большого семейства; известный писатель Сергей Сартаков, которого Молчанов заметил и которому одним из первых внушил веру в себя как в потенциального писателя; поэт, автор стихов «Золотая моя Москва» Марк Лисянский; известные прозаики Павел Нилин, Лидия Сейфуллина, Виктор Ажаев — все они испытывали к нему тёплые чувства, которые выражались в том числе и в строках на титулах книг, которые они дарили Молчанову. Вот, скажем, автограф от Павла Нилина: «Моему дорогому земляку Ивану Ивановичу Молчанову-Сибирскому с благодарностью за тёплый прием в нашем великом городе Иркутске...» И ещё масса автографов, совершенно удивительных!

Напомним: сотня таких книг с ценными автографами известных советских писателей будет передана в мемориальную комнату «Молчановки».

В этой встрече принимали участие многие известные творческие личности иркутской культуры. Бард Евгений Куменко исполнил свои песни на стихи Ивана Молчанова-Сибирского и Владимира Скифа; выходили с казацкими песнями артисты Иркутского Театра народной драмы, пел о Байкале заслуженный артист России Николай Прошин, а ещё один заслуженный артист — Виктор Лесовой — внёс в программу неаполитанские нотки... В исполнении чтецов школы-студии «Русское слово» под руководством Константина Романенко на встрече звучали стихи Молчанова-Сибирского...

Атмосфера, возникшая в этот день в библиотечном зале, была тёплой и непринуждённой; вот уже и сценарий исчерпан, и все, кто хотел выступить, сказали свое слово, а расходиться не хочется, и гости охотно общаются, обмениваются впечатлениями, фотографируются, рассматривают переданные библиотеке книги и портреты.

Скоро, уже в августе, сюда можно будет прийти в мемориальную комнату Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского и ещё раз перелистать эти книги, перечитать эти строки...

«Душа-Сибирь»

Вышла в свет ещё одна книга Анатолия Преловского

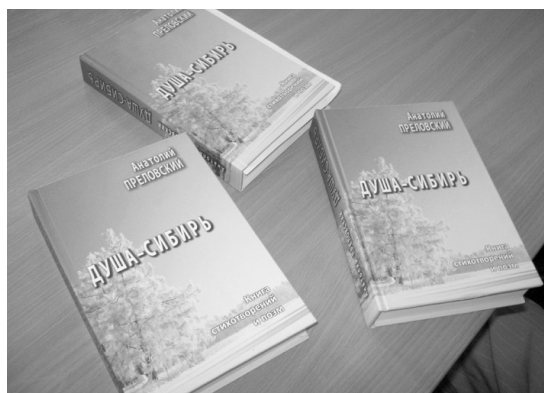


В Иркутском Доме литераторов прошла презентация книги «Душа-Сибирь» Анатолия Преловского, составленной и подготовленной к изданию вдовой поэта Викторией Преловской. Иркутянам старшего поколения, тем более литераторам, нет необходимости обращаться к Интернету или в библиотеку, чтобы узнать, кто такой Анатолий Преловский. Это имя — имя поэта, переводчика, сценариста — знакомо читающей публике с середины прошлого века. Знают его и сейчас, несмотря на то, что в начале семидесятых Анатолий Преловский переехал в Москву, он остался сибирским поэтом, сохранив верность теме — упорному продвижению России на восток, освоению Сибири, самоощущению человека в этом огромном пространстве. У него и книги названы по-сибирски: «Просека», «Берега», «Вековая дорога», — сейчас вы убедитесь в этом.

Анатолий Васильевич Преловский родился 19 апреля 1934 года в Иркутске, и уже в начале 50-х начал публиковаться со стихами — сначала на страницах областной газеты «Советская молодежь», затем в местных журналах. Поступил на историко-филологический факультет Иркутского университета. С 1955 года стихи Преловского публиковались в альманахе «Новая Сибирь» и в коллективном сборнике молодых авторов «Молодая Ангара», альманахах и журналах, в том числе «Молодая гвардия», «Москва», «Знамя», «Октябрь», «Юность», «Смена», «Новый мир». В 1957 году он заканчивает ИГУ, но ещё до получения диплома выходит в свет первая книжка стихов «Багульник».

Обо всем этом вспомнилось в день презентации, когда по этому поводу в Доме литераторов собрались иркутские писатели и те, кто знал и поныне помнит виновника события, Анатолия Преловского. Руководитель писательской организации Василий Забелло представил книгу, говоря об авторе: он наш, коренной сибиряк, и с Сибирью связано всё его творчество. Представил он и редактора-составителя книги Викторию Григорьевну Преловскую — это её стараниями, усилиями, заботами издание состоялось, появилось на свет тысячным тиражом, и сейчас эта книга, весомая, объёмная, красиво и со вкусом изданная, — в руках каждого участника: её с интересом листают, рассматривают фотографии...

Анатолий Преловский, лауреат Государственной премии, немало в своей жизни поездил, немало повидал, и стихи его пропитаны рабочим потом, памятью о Сибири, верностью предкам и земле предков, подчёркивает Василий Забелло.



«Душа-Сибирь» не первое посмертное издание Преловского, но на то, чтобы эта книга вышла именно здесь, в Иркутске, — была воля ушедшего в ноябре 2008 года поэта. Об этом говорит его вдова Виктория Григорьевна Преловская:

— Я тоже счастлива, что эта книга вышла в Иркутске. Сибирью он всегда гордился, всегда его сюда вело. Отбор стихов — мой, может быть, сам бы он сделал это несколько иначе, как знать? Спасибо вам, что вы пришли сюда. Последние лет десять жизни в Москве он занимался переводами сказаний, мифов,

фольклора народов Сибири, и был счастлив этим. У него много вышло таких книг, в том числе и двухтомник фольклора саянских тюрков, который я вам хочу показать. Так что Сибирь — в оригинальном творчестве или в переводческой работе — всегда присутствовала в его сердце.

Среди пришедших — те, кто лично был знаком с поэтом: геолог, одноклассник Преловского Игорь Александрович Юрченко; фотохудожник Виталий Белоколов, поэты Олег Кузьминский, Владимир Скиф — тогда он был начинающим и носил фамилию Владимир Смирнов.

— Я с юных лет, с 1964 года, был знаком с Анатолием Васильевичем, с тех времен, когда здесь проходила одна из первых конференций «Молодость. Творчество. Современность», — говорит в своём выступлении Владимир Скиф. — И я, совсем юный куйтунский мальчик, был направлен на эту конференцию. В качестве руководителя был приглашён на поэтические семинары и Анатолий Васильевич Преловский, который тогда много и хорошо издавался, был очень известен у нас и начинал заявлять о себе в Москве. А уровень был — ну, представьте, Александр Межиров был приглашён на эту конференцию, Владимир Корнилов — блистательные поэты. И кстати, я помню прекрасную статью в «Правде» Межирова, который рассказал там о Преловском — о поэте, который живёт в глубинке, но поэт такого высокого уровня, которого пора издавать в столице. И после этого уже легче пошла его книжка в Москве.

У меня в домашней библиотеке, рассказывает далее Владимир Скиф, много книг Преловского, чуть ли не полное собрание. Но далее он вспоминает не только свою литературную молодость, но и первые серьёзные шаги в литературе Анатолия Преловского. В связи с этим Скиф рассказывает о том, что внимательным и чутким наставником для многих поэтов той поры, в том числе и молодого Преловского, был Иван Молчанов-Сибирский, на дочери которого, Евгении Молчановой, женат Скиф.

Сам Преловский в своих автобиографических заметках пишет о том, что литературных наставников, кроме жизни самой, у него было не так много, тем более благодарен он литератору «горьковского призыва» Ивану Ивановичу Молчанову-Сибирскому. «Он был неизменно доброжелательным критиком... моих рукописей», — вспоминает Преловский, которого цитирует Владимир Скиф. Анатолий Васильевич считал Ивана Ивановича наставником и другом, он был вхож в дом Молчановых.

С книгой «Багульник» по настоянию Молчанова Преловский был делегирован на первый и единственный в его жизни семинар молодых литераторов Сибири. Эта книга и стала для него первой ступенькой на лестнице в большую литературу.

Тема наставничества... Если вспомнить другие источники, то этот ряд имён можно продолжить, назвав, к примеру, литературоведа, профессора-филолога, руководителя университетского литобъединения Василия Трушкина. А как не сказать о Елене Викторовне Жилкиной, которая опекала, помогала, матерински наставляла своих младших собратьев по перу. Ей читали первые стихи, выслушивая её замечания, ей плакались в жилетку... Тогда были молодые Сергей Иоффе, Евгений Раппопорт, Анатолий Шастин, Пётр Реутский, Геннадий Машкин, Юрий Самсонов, Дмитрий Сергеев и Марк Сергеев, Виктор Киселев, да и сама атмосфера общения в писательском доме была дружелюбной, по-настоящему творческой.

Эта атмосфера была хорошо знакома и Анатолию Преловскому, и, покинув Иркутск, он тем не менее довольно часто приезжал сюда — мчался в Братск, рвался на стройки БАМа и жил там неделями, встречаясь со строителями, монтёрами пути, мостовиками, механизатора-

ми (не удивляйтесь, механизаторы бывают не только в сельском хозяйстве — в транспортном строительстве они отсыпают земляное полотно дорог). И в результате, спустя время, он создаёт даже не поэму — свод поэм под названием «Вековая дорога». Именно эта работа в начале 80-х получила столь высокую оценку — Анатолий Васильевич становится лауреатом Государственной премии (1981).

Но вернёмся к выступлению Владимира Скифа. Он перечисляет книги: «Просека», «Берега», «Рукопожатье», «Лестница» (между прочим, внимательные читатели уже первых его книг замечали и ценили его зрелость и ответственность — по-мужски много он брал на себя, вступая в диалог и с тайгой, и с предками, и с родиной, и с женщиной). Далее, уже и в Москве, хотя и в сибирских издательствах тоже, выходили: «Чёрная работа», «Земной поклон», «Дальний свет», «Смешанный лес», «Вековая дорога»... Книга пьес, книга сонетов...

Владимир Скиф говорит о том, что стихи Анатолия Преловского включены в недавно вышедшие в Сибири антологии — «Слово о матери» и «Бег времени. Иркутск».

Были и книги более поздних лет, были и книги переводов, о которых говорила Виктория Григорьевна, — и их как минимум десяток! Но пора сказать и о книге новорожденной.

«Душа-Сибирь», имеющая жанровое определение как книга стихотворений и поэм, даёт читателю представление о творчестве поэта, предлагая итоги литературных трудов «тех и этих лет», как выражался сам автор.

Как мы уже говорили, Анатолий Преловский, который смолodu не чурался никакой работы (одна из книг у него так и названа — «Чёрная работа»), перегонял скот из Монголии, ходил в геологические партии, добывал уран, не из книжек знает тайгу и её жесткие законы, исколесил бамовские посёлки и дороги, — сумел переплавить в стихи многие свои личные впечатления, раздумья и ассоциации. И в книгу «Душа-Сибирь» вошли многие стихи разных тематических и смысловых слоев — об этом можно судить уже по названиям разделов: «Шла Русь в Сибирь», «Иркутский остров», «Ах, жизнь моя», «Работа», «Сибирская отдача», «Баргузин пошевеливал вал». Всё это, как подчеркнул и выступивший на презентации иркутский журналист и прозаик Арнольд Харитонов, поэтическое высказывание настоящего мужчины, многое познавшего и за многое ответственного.

То же самое можно сказать и о разделе «Любовь», где собрана тихая, нежная лирика этого поэта, его Гимн Любимой Женщине:

*Люби меня, любимая моя,
ты женщина, ты за меня в ответе,
а я — за всех живых на этом свете,
но ты люби меня, любимая моя.
Уходят дни, и мы уходим с ними,
слабеет плоть и холодеет кровь,
но после нас останется любовь:
её у нас и гибель не отнимет...*

Хочется добавить совершенно очевидное: после ухода поэта остаются ещё и книги. И одна из них — «Душа-Сибирь», только что предъявленная читающей публике, — итог творчества поэта Анатолия Преловского и его любви к жизни и итог стараний его верной подруги и жены Виктории Преловской. Каждому из них — наше читательское спасибо, наш земной поклон.

**Когда верстался номер, пришла трагическая весть:
Любовь Иосифовна Сухаревская скончалась после тяжёлой продолжительной болезни. Редакция журнала выражает искренние соболезнования родным и близким Любови Иосифовны. Мы скорбим вместе с вами.**

СВЕТЛАНА ЗУБАКОВА



«Первоцвету» — 15 лет!

Вот уже 15 лет Иркутская областная юношеская библиотека им. И. Уткина издаёт литературно-художественный альманах для юношества «Первоцвет», публикуя в нём первые литературные опыты школьников, студентов и других молодых людей, увлечённых писательским и художественным творчеством. Альманах открыт для всех, кто пробует свои силы в поэзии, прозе, драматургии, публицистике, увлечён рисованием, ведь главная цель его создания — это поддержка начинающих писателей и художников, попытка разглядеть в них искорку таланта.

Правда, прежде чем попасть на страницы «Первоцвета», редколлегия производит строгий отбор присланных произведений. И пусть это пока не шедевры, главный критерий выбора — искренний, непосредственный и неравнодушный взгляд молодых на этот мир и его проблемы.

В редколлегию альманаха в разное время входили профессиональные писатели, поэты, художники. Это такие имена в иркутской литературе, как Евгений Суворов, Александр Лаптев, Александр Донских, Виталий Наumenко, авторитетный редактор Лина Викторовна Иоффе, художники — Сергей Казанцев, Регина Присяжникова, Надежда Ярыгина, а также директора ОЮБ им. И. Уткина — Л.М. Серёдкина, которой и принадлежит идея создания «Первоцвета», а с 2008 г. — И.Н. Тябутова, нынешний руководитель библиотеки. Главным редактором с 1998 по 2010 г. являлась Анна Стародубцева, а с 2010 г. по сегодняшний день — Светлана Зубакова. Сейчас редколлегия работает в составе: Александр Лаптев, Александр Донских, Л.В. Иоффе, И.Н. Тябутова, Надежда Ярыгина.

Неоценимую помощь в оформлении журнала оказал известный художник Сергей Элоян.

На страницах альманаха действуют традиционные для литературного журнала рубрики: «Проза», «Поэзия», «Точка зрения», где размещается публицистика, «Галерея» — знакомит с творчеством молодых художников, «Золотой фонд» публикует лучшие произведения корифеев, классиков сибирской литературы. Также существуют рубрики «Имя», «Подмостки» и др.

В начале августа 2013 г. увидел свет новый (3-й по счёту) выпуск журнала.

ЗУБАКОВА Светлана Владимировна. Родилась в 1962 г. в Иркутске. Закончила Иркутский областной колледж культуры, а затем Академию культуры и искусств (г. Улан-Удэ) по специальности библиотекарь-библиограф. С 1997 г. работала в Областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина. С 2000 г. — член редколлегии литературно-художественного альманаха «Первоцвет». С 2010 г. — главный редактор этого журнала. Сейчас является главным специалистом по издательской политике в Иркутском Доме литераторов. Живёт в Иркутске.

В этом номере в рубрике «Поэзия» читатели смогут познакомиться со стихами школьницы из г. Усолье-Сибирское Екатерины Ендрихинской, иркутского поэта Алины Боровской, студенток Яны Шарапковой, Марьи Дементьевой, постоянных авторов журнала Ильи Махова, Юрия Харлашкина и др. «Проза» представлена рассказом Кристины Трофимовой «Фейерверки» о жизни современных молодых людей, об их нравственных исканиях, дружбе, любви. А также — небольшими прозаическими миниатюрами Инны Коноплевой «Пуговка», Юлии Рабинович «О чём они молчат». В этом же номере публикуются отрывки из повести Алексея Шманова «Классная тапочка» и его же рассказ «Не только мяч и солнце».

В рубрику «Галерея» вошли яркие, самобытные живописные и графические рисунки молодой иркутянки Елены Толмачёвой, они представлены на красочных разворотах журнала.

В «Золотом фонде» читатели найдут полные любви и боли лирические стихи признанного мастера слова иркутского поэта Анатолия Змиевского.

«Первоцвет» никогда не оставался равнодушен к сибирской природе, поэтому на его страницах всегда публиковались материалы, посвященные проблемам озера Байкал, экологии нашего края, произведения, воспевающие красоту Сибири. Вот и в № 33 в рубрике «Лесные соседи» можно познакомиться с очерками Юрия Маленко «Озеро танцующего хариуса», «Яшка» и рассказом Максима Живетьева «Лесные соседи» об удивительных встречах с жителями прибайкальской тайги.

Таков этот номер «Первоцвета». Но уже кипит работа над следующим выпуском альманаха. Надеемся, что он получится не менее интересным и полезным.

Мы рады, что журнал, отмечая свое пятидесятилетие, живёт, растёт, открывает новые таланты и продолжает заполнять свою скромную, но, хочется верить, такую необходимую нишу в иркутской, сибирской литературе.

Молодые, начинающие авторы, ждём вас! Работы принимаются по адресам: г. Иркутск, ул. Чехова, 10, Областная юношеская библиотека им. И. Уткина и ул. Степана Разина, 40, Иркутский Дом литераторов.

АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ

член редколлегии «Первоцвета»

Оберечь первоцветы

Уже пятнадцать лет журнал-альманах «Первоцвет» собирает, редактирует и издаёт молодых авторов Сибири. Члены редколлегии считают, что юное дарование, как первоцвет садов и клумб, необходимо всячески оберегать, защищать, лелеять, наконец. Дохнёт на первоцвет стынью, сорвётся шальный вихрь, обрушатся с хлябей небесных ливень или град, а то и снег — и не быть расцвету, пышноцветию, плодам, а потом — семенам.

Теперешние условия жизни, похоже, не для талантливых, даровитых людей, скорее, для способных притвориться таковыми, вообще для тех, кто ловок, ухватист приспособиться, пригнуться, когда надо, и — жить-поживать в своё удовольствие.

А талант, он потому, собственно, и талант, что не умеет подстраиваться: талант — это всегда искренность, одержимость, ранимость. Талант и в добрую-то пору беззащитен и неприютен, а ныне угнетён и придавлен, и прежде всего — мещанскими требованиями среды, агрессивной, охочей, жадной до утех и услад разного рода, неумной в накопительстве и стяжательстве. Обывателю не до возвышенных раздумий и «всякой там лирической чепухи» — вокруг столько соблазнов, красивых, «клёвых» вещей и забав, только и успевай красиво жить.

Но и обыватель несчастен по-своему: и его век закончится, а кому потом понадобятся его пожитки, его, как говорится, добро? Запылится оно на чердаках и в чуланах, истлеет, неблагодарные потомки приобретут другое имущество, а весь хлам предков своих — в огонь, на свалку, в металлолом. Новые вещи и забавы возобладают в моде.

Всех, конечно, жалко. И самодовольных этих обывателей, и разных простаков бедовых, и талантливого человека, и не очень, и удачливых, и злосчастных — всех, всех. А как иначе? У всех один неминуемый конец.

Но будем тем не менее строже и последовательнее, повторимся, уточняя, — талантливому, творческому человеку живётся в нынешней России неуютно. Он то и дело выкарабкивается, выдирается, чтобы не утянуло совсем и окончательно, страдает от этого окаянного безденежья, попросту, от нищеты, от своей какой-то, начинаешь думать, фатальной не востребованности. Дарованию же юному, молодому, ещё неоформившемуся, тысячекратно тяжко, неприятно среди нас: он-то ещё не понимает, что не сможет жить так, как все. Мечется, бедолага, злится, отчаивается. И — гибнет порой молодым, несостоявшимся. А не гибнет, так спивается, опускается, пропадает где-то. Немногим дано выцарапаться к свету, к известности, к возможности работать в искусстве, получая за это достойное, справедливое вознаграждение.

Страшный век, жестокие сердца.

Да, уже слышали когда-то и где-то нечто такое, но — о другом веке, о сердцах других людей. Однако ж как сказать иначе, если так оно ведётся и посейчас?

Но сдаваться, отступать, затяжно хандрить нельзя, непозволительно никак. Отчаяние, уныние — грех большой по стародавней традиции. Необходимо, просто-таки жизненно необходимо надеяться, верить, любить, чтобы не сгинуть, а наперекор всему и вся состояться и утвердиться, дотянувшись хоть ползком, хоть как до сердец людских своим творчеством, своими мыслями, идеями, идеалами, выраженными художественно словом, красками, нотами, — чем угодно, только чтобы искренно, накрепко было сделано.

Видим-видим, что и в современном обществе мало-помалу, исподволь пробуждается нравственное чутьё, потому что на подделках, на липах разнообразного пошиба не поднимешь страну, не воспитаешь новые поколения, не развиваться и не цвести человеческому в человеке. И одна из задач общества — разглядеть в молодой творческой личности эти первоцветы даровитости и помочь им расцвести, устоять, выжить.

Таланту так нужна подмога, поддержка, соучастие! Не смотрите, что он ершист и неподатлив, он — жутко одинок!

Таланту, а с ним и правде, которую он непременно несёт в себе, необходимо воссиять, а не тлеть, тлеть и — погаснуть, истаяв, иссякнув. В Нобелевской лекции, адресовавшись к русской народной мудрости, Александр Солженицын воскликнул: «Одно слово правды весь мир перетянет». Так-то!

В советское время — если кто подзабыл — государство миллиарды рублей вкладывало в таланты, оно было великим, щедрым спонсором и меценатом (хотя, следует отметить, за советским государством, точнее, партийно-государственным аппаратом, числится и не мало грехов, один из них и, на наш взгляд, неискупимый — преследование инакомыслящих). Нынешняя обновлённая российская государственность пока неохотно, скорее, нехотя, с притворством, что-де есть вопросы и поважнее, откликается на застенчивые зовы творческого люда. И богатые наши сограждане не разбегутся, по всему видно, чтобы помогать всерьёз, торопато, по-настоящему, а не вороватыми, осмотровыми подачками, кусками, точнее, кусочками, крошками со своего барского стола.

Впрочем, Бог с ними. Не осуждай, да не судим будешь. Хотя... не знаем, не знаем.

А что же может наш маленький региональный «Первоцвет»? Конечно, немного. Совсем немного. Но если бережёт, продвинет хотя бы одного даровитого прозаика или поэта — это же такое будет делище для всех нас!

Мы не станем называть, кому уже помогли: они ещё молоды, они ещё могут выбрать и другую стезю, но важно, что, напечатавшись в «Первоцвете», впервые, так сказать, обнародовавшись, они посмотрели на себя как бы со стороны, как бы чужими глазами. Ненапечатанное произведение — это одно, это только для себя, это разговор с самим собой, а напечатанное, представленное широкой публике — о, уже другой коленкор! Это — сияние или же, напротив, погибель прилюдная. Это возможность развиваться дальше в литературе либо, кое-что всё-таки поняв, оставить литературное творчество, попытать себя в чём-нибудь другом. Чем раньше разберёшься, кто и что ты, тем интереснее дальше жить, мы так полагаем.

И ещё одна надежда и подмога: в нынешнем году к нам снова, уже в двадцатый — юбилейный — раз, придёт праздник «Сияние России», праздник, подаренный нам выдающимся нашим земляком писателем Валентином Распутиным. И этот праздник, думается, прежде всего нужен молодёжи: ведь молодость — сияющее, светлое, если хотите, светоносное явление мира сего. Но этот свет надо ежесекундно подпитывать, поддерживать, оберегать всячески, чтобы он не превратился в чад, в тлеющие головёшки, а то и вовсе чтобы не погас.

Как хочется этого вдохновляющего, живящего сияния и нови первоцветов и молодости для всей России надолго-надолго, а лучше — на все времена!

Я пришёл в этот мир...

Обращение к молодым читателям

Дорогие ребята, молодые читатели журнала «Первоцвет», вы когда-нибудь задумывались над вопросом: зачем человек живёт, зачем он пришёл в этот мир? Да, нелёгкие темы! Как подступиться к ним?

Но, может быть, не надо утруждать себя неудобными вопросами, а жить так, как бабочка, к примеру, сутки-двое порхает, радуется свету белому и — нет её, будто и не было никогда. Но человек думающий, с живой, отзывчивой душой, в какой-то крайне важный для него день может сказать себе или близкому человеку: «Я пришёл в этот мир, чтобы...»

Было бы странно и грустно, если бы все люди как-нибудь однозначно, одинаково продолжили эту мысль. Жизнь каждого человека уникальна и неповторима. Всякий торит свою тропу, утверждаясь на ней как личность, творец. Порой забредаем в непроходимые дебри, и кто-то отступает, возвращается на знакомую, более лёгкую стёжку, а другой отчего-то решает, что бездорожье — его дорога, его судьба. В Библии просто сказано: «Каждому — своё». Но как найти, распознать среди соблазнов и перепутий это «своё» — единственное, верное? Как важно уже в юные годы не заблудиться, не сбиться, не угодить в колесо, да, да, в то самое колесо, в котором бегают, в сущности, никуда не прибегая, одуроченная, сбита с толку белка. Разумеется, кого-

то она смешит, развлекает. Но попробуйте-ка вы, как она, изо дня в день по одному и тому же кругу бежать, однако при этом оставаться на месте!

Как важно в юности задать себе правильный вектор движения, развития, становления.

Но если молодой, только-только вступивший в большую жизнь человек не будет задумываться над смыслом и значением происходящего вокруг, если он безропотно, послушно пойдёт туда, куда ему укажут, куда подтолкнут, а ещё ужаснее — запихают в это пресловутое беличье колесо, что тогда? Важно самому ответить на этот вопрос. Мы можем единственно капельку подсказать из своего не всегда, к сожалению, радостного жизненного, житейского опыта: жизнь — это не круг, жизнь — это спираль, спираль развития, спираль подъёма.

«Я пришёл в этот мир, чтобы... заработать много-много денег... купить «накрученный» компьютер... съездить на джипе весь земной шар...» — конечно, конечно, никто столь примитивно и простодушно не скажет. Однако мы видим сплошь и рядом, что человек беспощадно ограничивает круг своих интересов и стремлений. Одна из западных поп-групп 60-х годов с ироничной, издевательской страстностью исполняла песню «Я, мне, моё». Напомним: она о том, что человек хочет жить ради вещей, денег, наживы, каких-то эгоистичных, чаще мелочных интересов быта. Разумна ли такая жизнь? И на этот вопрос важно ответить самому и, наверное, не спешить с выводами. Крепко-крепко задуматься бы!

Мысль, выраженная художественно, образно, сцеплением метафор, канвой сюжета, может ли она в современной жизни помочь человеку, юноше определить свой выбор, свой путь? Мы, взрослые, пожившие, тёртые и гнутые жизнью, говорим вам твёрдо: может! Жизнь человеческая всегда была нелёгкой и сложной, но даже в роковые минуты испытаний люди обращались к высокому художественному слову, проверенному временем, очищенному от всего наносного, случайного, и сами писали художественно, чтобы глубже и шире увидеть окоём жизни, чтобы поддержать слабого, чтобы укрепить свою веру, надежду, любовь. Доброе, честное, правдивое художественное слово — сила, способная изменить мир к лучшему. Мы не будем вас, дорогой наш читатель, с банальной занудностью призывать больше читать; мы вас ещё раз просто спрашиваем: зачем вы пришли в этот мир?

Убедительного, как бы взвешенного ответа, уверены, вам никто не даст, кроме вас самих. На одной чаше весов будет лежать ваш ответ, а на другой — ваша совесть, ум и честь. Знайте: от этого сокровенного ответа зависит ваше счастье, ваш путь земной.

ЕКАТЕРИНА ФАЛАЛЕЕВА

научный сотрудник Культурного центра Александра Вампилова



Время подняться на «антресоли»

Спустя 41 год после гибели Александра Вампилова, в Иркутске, городе, с которым связана вся его взрослая жизнь, открылась музейная экспозиция, посвящённая последнему русскому драматургу XX века. Вещи, принадлежавшие Александру Валентиновичу, театральные афиши, про-

граммки спектаклей по его пьесам, фотографии, книги... Всё это в течение долгих 17 лет по крупицам собиралось Фондом А. Вампилова и мучительно путешествовало в коробках с места на место, пока не обрело свой Дом.

Будущие экспонаты передавали родные, друзья драматурга, трудоёмкий процесс поиска, сбора, хранения поддерживали все, кому не безразлично его творчество. Создать экспозицию помог Алмазный благотворительный фонд во главе с президентом Мариной Бабориной. Уникальный дизайн подготовил Владимир Дейкун, а команда Александра Бутырина золотыми руками воплотила задумку в реальность.

Драгоценности с уютом разместились «На антресолях». Название экспозиции толкуется двояко: с одной стороны, в пространстве «музей» буквально расположен на антресолях Литературно-театрального салона Культурного центра. С другой стороны, мы понимаем значение в переносном смысле, ведь антресоли — это хранилище удивительных полузабытых жизненных историй, к которым хочется и нужно возвращаться, чтобы не потерять память.

Основная часть вещей — подлинники. Почти ко всем прикасалась рука Вампилова. Есть коллекция пластинок с классической музыкой, что они с однокурсниками собирали, отслеживая и покупая на сэкономленные со стипендии деньги. Бах, Чайковский, Глинка, Бетховен. Керамическая кружка, из которой он любил пить чай в гостях у своего друга Владимира Жемчужникова. Гитары. Коробочка для рыболовных принадлежностей (он ведь слыл заядлым рыбаком). Есть жилет, который драматург надевал на предпремьерную репетицию «Старшего сына» в ноябре 1969 года. А белая кепка, что висит рядом с жилеткой, по словам жены Ольги Михайловны, была на нём в день трагической гибели. Одну из частей экспозиции занимает «кабинет» Александра Вампилова: стол, за которым писалась «Утиная охота», печатная машинка и набранная пьеса на жёлтом, уже ветхом от времени листке, настольная лампа, фотография жены и дочери Лены, прикреплённая над рабочим местом...

Открылась экспозиция 19 августа 2013 года, в день рождения нашего героя. Тогда же прошла Традиционная встреча друзей Александра Вампилова, на которой вот уже в третий раз вручались премии Фонда А. Вампилова «За верность традициям шестидесятников». Напомним, что лауреатами прошлых лет были Юлия Соломеина, Лина Иоффе, Владимир Дейкун, Олег Табаков, Вера Семёнова, Сергей Смирнов. Под торжественную музыку Галина Солуянова, директор Центра А. Вампилова, объявила лауреатов года этого. Ими стали Марина Баборина и директор ТЮЗа им.А. Вампилова Виктор Токарев.

Когда белую ленту, ведущую «На антресоли», перерезали, всем гостям было предложено подняться и осмотреть экспозицию. Музейное пространство в Доме Вампилова через предметы отражает не только все этапы жизни драматурга, но и передаёт особенную атмосферу прошлого, эпохи шестидесятников. Наконец-то в Иркутске появилась вампиловская зона притяжения, родилось ещё одно хранилище бесценной памяти!

Встреча с «Сибирскими огнями»

10 июля в Иркутском областном Доме литераторов состоялась творческая встреча с главным редактором журнала из Новосибирска «Сибирские огни» Владимиром Берязевым и несколькими авторами этого издания.

В своём вступительном слове Владимир Берязев рассказал о журнале, подробно осветив историю его создания и развития. «Сибирские огни» — в настоящее время старейший в России литературно-художественный журнал, основан в 1922 году, первым редактором был Владимир Зазубрин, автор первого советского романа «Два мира» и повести «Щепка». В журнале публиковали свои произведения многие выдающиеся писатели: Кондратий Урманов, Исаак Гольдберг, Афанасий Коптелов, Вячеслав Шишков, Антон Сорокин, Георгий Вяткин, Леонид Мартынов, Лидия Сейфуллина, Павел Васильев, Сергей Марков, Вивиан Итин, Иван Ерошин, Ефим Пермитин; они составляли цвет советской литературы довоенного периода. Во второй половине XX века среди авторов были Василий Шукшин, Валентин Распутин, Виктор Астафьев. Далее Владимир Берязев представил редакционную коллегию, в которую входят такие известные всей Сибири писатели, как Анатолий Байбородин (Иркутск), Булат Аюшеев (Улан-Удэ), Наталья Ахпашева (Абакан), Татьяна Четверикова (Омск), Наталья Корниенко (член-корреспондент РАН), Борис Климычев (Томск).

Главной задачей для «Сибирских огней» Владимир Берязев определил — «Найти молодых авторов!», чтобы они продолжали лучшие традиции русской литературы. А для успешного осуществления этой задачи главный редактор ищет поддержки у местных и федеральных властей.

Представил свою новую поэтическую книгу «Знамя Чингиса», вышедшую в издательстве «Водолей». Перед чтением стихов исполнил на хомусе «древнюю», «первобытную» мелодию. Читал вдохновенно, разительно преображаясь.

*...Стреляем по звуку!
Я клятвы своей не нарушу!
Туда, куда скажет
пустая свистулька моя.
А кто опоздает,
пусть Богу несёт свою душу —
Он жизни лишится.
И праведна кара сия...
И прыснули стрелы!
И духи над бубном запели!
Раздался состав воздушных.
И в мертвящей тени
Заржал жеребец.
И возжаждали плоти и цели
Трехпёрые жала,
налитые свистом слепни...*

«Наш мир и усопший мир может соединить музыка...» — подытожил своё выступление Владимир Берязев.

Представил авторов «Сибирских огней», присутствовавших в Доме литераторов, — Амирсана Узылтуева, Марию Маркову, Булата Аюшеева, Василия Костромина, Дмитрия Мурзина, Лету Югай. Они рассказали о своём творчестве, читали стихи.

В конце встречи кто-то из собравшихся попросил у Владимира Берязева визитку. Он ответил:

— Визитку? У меня нет визиток. Я — Берязев.

В зале раздался одобрительный смех.

Александр Донских

ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВА

О режиссёрских замыслах и умыслах

ЗАМЕТКИ О ДВУХ СПЕКТАКЛЯХ МХТ им. А.П. ЧЕХОВА В ИРКУТСКЕ

Из четырёх спектаклей, привезённых в Иркутск этой осенью одним из самых известных столичных театров, два поставлены по произведениям классиков русской литературы XX века, сибиряков, — прозаика Виктора Астафьева «Залётный гусь» и драматурга Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске».

К воплощению творчества земляков на сцене, естественно, интерес особый.

Некоторые опасения (пусть уж простят меня лауреаты Государственной премии) вызывала постановка по Астафьеву. Во-первых, проза, а это всегда риск для театра в поиске средств перевода писательского слова на язык действия; во-вторых, в одном из двух инсценированных рассказов, «Залётном гусе», принадлежащем перу позднего Астафьева (2000 г.), заметно сказались настроения 90-х, отчего некоторые характеры в рассказе о послевоенном, 1949 году стали прямыми носителями авторской идеи времён перестройки. Так вполне классовым на новый лад конфликтом веет от отношений матери, хозяйки квартиры, принявшей бедствующую семью фронтовика, и её сыном, армейским политотдельцем, сытым барчуком. Материнскосыновние чувства оказались не задеты.

Однако же работа театра не разочаровала. Несмотря на сбои в актёрской дикции, из-за которых зал вслушивался с заметным напряжением. Но вслушивался, потому что хотел услышать, и стояла тишина. Чтение в лицах — так можно определить путь, выбранный режиссёром Мариной Брусникиной, — отличалось суровой, или лучше сказать, аскетической тональностью, тяготеющей к притче, энергичным ритмом, что пришлось впору к содержанию рассказа. Со-

хранено самое главное — язык писателя. И даже показался приглушённым «классовый конфликт» в рассказе — перед глазами вставала одна из трагических картин о войне, потери в которой оказались невосполнимыми.

Краски второй половины спектакля — «Бабушкин праздник» — совсем иные. Яркие, сочные, весёлые, они оживают в астафьевском слове, в маленьких сценках по ходу рассказа с песней и переплясом, шутками, усмире-



Сцена из спектакля по рассказу В. Астафьева «Пролётный гусь» (фото с сайта МХТ им. А.П. Чехова)

нием буяна, как всё и бывает в деревенском застолье, и раскрывают широту и удаль характера русского сибиряка.

СЕМЁНОВА Валентина Андреевна, критик, публицист (род. в 1949 г. в с. Харик Куйтунского р-на Иркутской области). Автор книг: *Благодаря — а не вопреки*: сб. полемических статей и очерков (Иркутск, 2002); *Вместе с бурями века*: Краткий обзор книг и имён иркутских писателей (Иркутск, 2007); автор-составитель справочника *Писатели Приангарья* (Иркутск, 1996), публикаций в периодической печати. Член Союза писателей России.

Таким образом, приобщение к прозе Астафьева, её горестным и жизнерадостным страницам, состоялось.

Встреча со спектаклем «Прошлым летом в Чулимске» никаких осложнений не предвещала. Достаточно ясная для постановки (в сравнении, например, с «Утиной охотой»), эта пьеса за четыре десятилетия прошла, в том числе и успешно, и на столичных сценах, и на провинциальных, и в театрах многих зарубежных стран, а фильм Г. Панфилова «Валентина» стал киноклассикой. Ставился «Чулимск» и в Иркутске, городе, где жил и творил Вампилов, где по улицам бродили его герои, или уезжали отсюда в таёжную глубинку, также дорогую сердцу драматурга.

Иркутские зрители пересмотрели немало версий пьесы. Это и гастрольные спектакли, и почти двадцатилетняя работа Вампиловского фестиваля. Конечно, иные постановщики сбивались на фарсовое прочтение Вампилова, на что сетовал ещё много лет назад Виктор Розов, и вслед за Розовым мы всегда ждём, что «явится какой-нибудь молодой режиссёр, прочтёт пьесы Вампилова незамутнёнными «свежими очами», поймёт их и откроет всем нам».

Увы, постановка Сергея Пускепалиса — не тот случай.

Принято считать, что режиссёр вступает в диалог с драматургом, находя точки соприкосновения своих представлений о мире с его представлениями. В пьесе, написанной много лет назад, отыскивает созвучия с днём сегодняшним, но коль это диалог, то режиссёру приходится мысленно советоваться с автором, чтобы не утратить общего с ним пространства, принять его ценности и не уронить их при собственной расстановке акцентов. У С. Пускепалиса другой «формат» общения с А. Вампиловым. Если поискать сравнение, то можно сказать, что это общение выстраивается не в духе излучающей свет героини пьесы Валентины, а в духе грубияна Пашки, когда находится место силовым приёмам. Решив, что Вампилов в этой пьесе непременно должен заставить зрителя веселиться, режиссёр попросту меняет жанр: драму превращает в комедию (по-видимому, имеющиеся у Вампилова комедии его не устроили). Но прежде чем показать, как это выглядит, коротко напомним, о чём драма «Прошлым летом в Чулимске» Александра Вампилова.

Собственно вся пьеса — переплетение нескольких человеческих драм. Буфетчица Анна Хороших проживает свою жизнь в вечном метании между сыном, плодом измены, и мужем, не простившим измены и не выносившим пасынка. Драма Пашки заложена, подобно мине, в звании «крапивник», которым его наделяет сначала отчим Дергачёв, а потом и мать. Судьба самого Дергачёва исковеркана войной, пленом, лагерем, сердечной раной да ещё пристрастием к зелёному змию.

Следователь Шаманов перенёс поражение на службе в далёком от Чулимска большом городе, не сумев добиться, чтобы виновник гибели человека был осуждён. Уехав в Чулимск, живёт, работает, проводит время с женщиной машинально, без участия души.

Случайная подруга Шаманова аптекарша Зинаида Кашкина никак не может устроить свою женскую судьбу. Следователь — её последний шанс, и она старается привязать Шаманова к себе любой ценой.

В свою меру одиноки эвенк-охотник Илья, друг Дергачёва, пришедший из тайги хлопотать пенсию, любитель газет и резонёр Мечеткин, справный хозяин Фёдор Помигалов — отец Валентины...

Драма Валентины, главной героини, разворачивается у всех на глазах. Отличие в том, что среди слабых, стиснутых обстоятельствами или просто безвольных людей, внешне хрупкая и самая молодая, она и самая сильная. Она влюблена в Шаманова, её не замечающего, отстаивает своё право любить, пусть её выбор кому-то кажется неподходящим, она бесконечно чинит палисадник возле чайной, надеясь, что можно отучить людей ходить напрямик и ломать ограду. Своей любовью и верой в то, что можно изменить мир к лучшему, она оживляет угасший дух Шаманова, и следователь возвращается на оставленное поле борьбы за справедливость. А когда с ней случается несчастье — насилие, учинённое Пашкой, решившим таким образом завоевать её, — у неё достаёт сил выпрямиться и остаться собой.

Таковы нити судеб, связанные в единый узел драматургом Вампиловым, с убедительными характерами и логичным развитием событий, что и заставляет при каждой новой встрече с пьесой удивляться точности изображения художником жизни и сочувствовать его героям.

Что же мы видим в комедии от С. Пускепалиса? Много, много смешного.

Так сцена разговора Мечеткина (Ст. Дружников) с Кашкиной (Ю. Чебакова) — Мечеткин пришёл по линии месткома усовестить аптекаршу за незаконную связь с Шамановым, а взамен

предложить законный брак с собой — начинается с того, что Мечеткин проламывает ступеньку лестницы, ведущей в мансарду Кашкиной, осёдлывает нижнюю, ударяется, сами понимаете чем, взывает от боли, зажимая ударенное место. (Смех в зале.) Вдоволь насмеявшись над неуклюжестью Мечеткина и его предложением, Кашкина весьма темпераментно объясняет ему, почему он должен свататься не к ней, а к юной Валентине. В ход идёт жестикуляция, столь же виртуозная, сколь и развязная, особенно на тему девичьей невинности. (Зал отдаёт дань виртуозности, смеётся и хлопает.)

Смешит Кашкина и дальше: то мелькнёт на лестнице, жеманно застеснявшись, с наполовину оголённым задом, то, шатаясь, забредёт в чайную, на ходу отхлёбывая вино (из горла) и размахивая бутылкой. Опять смешно!

Только у Вампилова ничего такого и близко нет. Ни скабрёзного падения Мечеткина, ни цинизма Кашкиной, ни её оголённости, ни алкоголических наклонностей. Есть попытка духовно опустошённой женщины побороться за своё счастье обманом. И она раскается в обмане.

Далее — в том же духе. Кульминация пьесы — объяснение Валентины с Шамановым, признание в любви к нему, его открытие чистой красоты девушки, потрясение этим открытием и внезапной переменой в себе, пробуждение — все эти проявления лучших движений человеческой души выражаются у Вампилова трепетно и в соответствующих моменту словах и жестах. В постановке Пускапалиса всё гораздо проще и всё наоборот. Никакого волнения, следовательно вполне благодушно проговаривает свой текст. Едва наконец разглядев Валентину, он тут же почти пристаёт к ней, щекочет по спинке, с видимым усилием останавливая свои боязливо-плутватые поползновения. (Смех в зале.) Он вовсе не спал эти месяцы, как говорит о себе, а напитывался пошлостью, которую и предъявляет. А Валентина, «луч света из-за туч», по выражению Шаманова? В трактовке режиссёра и актрисы (Я. Гладких) никакой она не луч и не свет, а вконец растерявшееся, поглупевшее существо, которое беспомощно сутулится и суетится, нелепо размахивает руками, не говорит, а лепечет невнятное, одним словом, жалка до крайности. И потому смешна, комична — бесспорно! Такая Валентина вряд ли может кого-то на что-то вдохновить. А уж после похода с Пашкой на танцы — надо ли говорить — совершенно раздавлена и уничтожена. Её выход в финале к палисаднику воспринимается не как верность себе, а как унылая безнадега.

Одним словом, все знаки, расставленные драматургом, переменены на противоположные.

Режиссёрский умысел вместо замысла (чего опасался Вампилов) очевиден и в оформлении спектакля. Ничего похожего на образ старинного дома с резьбой, где расположена чайная, — перед зрителем грубо сколоченные строения. Часть палисадника с калиткой, играющая важную роль в пьесе, спрятана вбок за кулисы и никому не дано видеть, как Валентина терпеливо чинит оградку. Под ногами почему-то вода: то ли лужа, то ли болото, то ли зона затопления? Водой брызгают друг на друга Пашка и Шаманов, ссорясь из-за Валентины, а женщины бегают с резиновыми сапогами под мышкой. Что за аллегория?

О чём, простите, вообще речь? Что хотел сказать московский театр иркутскому зрителю? Раскрыть ему глаза на то, что провинция (или весь мир?) проваливается, тонет, что конфликты и переживания, любовь и остуда, верность и вероломство не имеют больше никакого значения? Что не надо заморачиваться, а лучше искать в этой жизни единственно развлечений?

Непонятно только, зачем для этой цели избран Вампилов.

ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВСКАЯ



Движеньё вечное...

О СТИХАХ ИРКУТСКОГО ПОЭТА ВАСИЛИЯ ЗАБЕЛЛО

Творчество каждого художника объединено своей особенной внутренней темой, как будто заданной свыше только ему одному. Вдохновленный своим трудом, художник чаще всего не осознает её, не формулирует заранее в обычной знаковой системе. Но в результате глубинного акта творчества, в котором задействована созидаящая душа, проходя через сердце, внутреннее становится явным, и заданная тема прорастает в произведениях, должных по законам творчества обновить жизнь. Тому свидетельство стихотворение, которое вынесено на обложку книги избранных стихов Василия Константиновича Забелло, коренного сибиряка, живущего всю жизнь на берегу Байкала. Эти строки можно назвать эпитафией ко всему творчеству мастера. В них звучат близкие поэту темы, связанные с осознанием не только законов мироздания, законов земного бытия, но и духовно-нравственных взаимодействий. В системе этих взаимосвязанных законов он рассматривает и собственную жизнь, и жизнь родины и своего великого родного края.

Движеньё вечное снегов...

Движеньё вечное ветров...

Движеньё вечное воды...

Движеньё вечное звезды...

Душа, покоя не ищи,

В часы невзгоды не ропщи!

Вбирай падение снегов,

Порывы хлесткие ветров,

Потоки шумные воды,

Мерцанье синее звезды,

Но будь же, всё вбирая, ты

Движеньем вечной доброты!

Если, преодолев зримую увлекательность метафорического ряда, рассмотреть это стихотворение на глубинном, смысловом его уровне, то можно сказать, что в нём выведена формула вечного движения. Поэт, не будучи богословом, правильно понимает и отражает движение, как существенную сторону творения, созданного Творцом. Притом, что движение от сотворения мира присуще всему в этом мире, невечный человек не удовлетворяется его свойствами, но мечтает о движении вечном, так как видит его прообразы в реальных стихиях и в космических явлениях. Действительно, силы природы действуют повсюду, кажется, везде человека окружает Василий Забелло, очевидно, тоже находится под очарованием природных стихий, но свои попытки создания подобной

ЕФИМОВСКАЯ Валентина Валентиновна. Поэт, литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Родная Ладога». Член Союза писателей России. Живёт в Санкт-Петербурге.

системы, не отвергая движение на пути познания окружающего мира, выносит в нематериальную область человеческого бытия, в область духовную, где, действительно, только и может быть достигнуто «движение вечной доброты». И сегодня это понимание, это отраженное в поэтических произведениях удивление красотой мира очень ценно, ведь современный человек потерял способность по-настоящему удивляться и, как следствие, потерял способность что-либо дивное изобретать. Поэтому, наверное, и перевелись, как в науке ученые-чудаки, так в литературе поэты-романтики. Хотя, в достаточном приближении, Василия Забелло можно назвать современным поэтом-романтиком. Правда, его романтизм, на первый взгляд, не подходит под определение, данное этому литературному течению Виктором Гюго, который рассматривал романтизм, прежде всего, с его «воинствующей стороны». И, действительно, воинственный, бунтарский дух присущ русской классике периода романтизма, но присущ он и творчеству современного поэта Василия Забелло, увлечённого этим духом и романтической верой в победу доброты. Художник остро чувствует нарушение нравственных законов и пытается противостоять нравственному искажению и современной действительности, и современного человека, создавая своей поэзией теорию возможного этому противостояния.

Его теория опирается на незыблемые, созданные Богом законы бытия, где только и возможно «движение вечной доброты», что тоже — красоты. Мир (как категория трансцендентноимманентная) в поэзии Василия Забелло обладает духовными, нравственными законами, но он существует в зримом пространстве и протяжен во времени, он физически реален и от сотворения прекрасен.

<i>На берегу глухом Байкала</i>	<i>Волна окатывает камни —</i>
<i>Я у костра сижу один.</i>	<i>Тысячелетия гремят.</i>
<i>И жемчуга крутого вала</i>	<i>Охвачен гибельным пространством,</i>
<i>К ногам швыряет баргузин.</i>	<i>В огне смятенных чувств и дум</i>
<i>То там, то здесь лежат колоды</i>	<i>Пред сим божественным убранством</i>
<i>В оплывах гальки и песка.</i>	<i>Не так ли плакал Аввакум?</i>
<i>Как раздражение природы</i>	<i>Мы в городах поодичали</i>
<i>В груди звериная тоска.</i>	<i>Среди бетона и машин.</i>
<i>Не так ли пращур курыканин</i>	<i>В миру не высказать печали,</i>
<i>От ветра суживал свой взгляд?</i>	<i>И потому я здесь один.</i>

В этом стихотворении присутствуют все основные темы романтического произведения: преклонение пред богоданной красотой мира, тема смерти и беспощадного, все умертвляющего времени, хозяйничающего в гибельном пространстве, тема смятения чувств и дум, тема трудно осуществляемого в шумном современном мире одиночества, необходимого для изъяснения печали. Печаль — свойство верующей души, осознающей свое несовершенство, невозможность постижения бытия во всей его целостности и Божиего замысла о мире. Но поэт пытается познать этот замысел о мире и о человеке. Как разъясняет философ, «познать что-то — значит сделать это что-то «своим», то есть имманентным своему сознанию» (В.Д. Захаров. Чудо как религиозно-философская проблема // Христианство и наука. М., 2003. С.183). Именно такой механизм познания мира отражен в творчестве Василия Забелло. Поэт, ощущая и называя своими и леса, и небеса, сливается с лирическим героем, так что не имеет смысла их разделять.

Нелёгко путь такого познания, предполагающего бежать от мира, от общества, что свойственно художнику-романтику. Однако Василий Забелло не убегает от мира, но борется с искажающим его злом и только на время передышки остается один, чтобы попечаловаться любимому Байкалу, родительским могилам. И это две важные темы его творчества. Художник не только восхищается красотой великого русского озера, представляющего собой огромный, непознанный мир. Ему оно кажется древним ковчегом, в котором до поры до времени сокрыты таинственные, пока ещё непонятные человеку, но, бесспорно, живительные силы. Байкалу и природе его окружающей, без которой не может быть и самого водного чуда природы, поэт посвящает лучшие строки. Можно много цитировать, но запомнятся более всего стихи, в которых Василий Забелло выражает свою неусыпную тревогу о будущем Байкала, используемого уже не одно десятилетие безжалостными предпринимателями в корыстных интересах, чем поставлена под угрозу жизнь и красота уникального озера. Романтическая душа поэта, верящая в победу добрых сил, не источает в ярости грома и молнии, но плачет, вместе с прибрежными чайками, журавлями и другими птицами, которых очень много и в реальном, и в поэтическом мире художника.

*Поредели таёжные чащи
И сурово, и грозно молчат.
Только в огненном небе знобяще
Серебристые птицы кричат.*

Действительно, от проникновенности этих строк знобит, так убедительно, посредством образов природы, поэт выражает свою боль. Он призывает себе в помощь могучую природную силу грозных деревьев-великанов, и серебристых птиц, и таёжных лосей, и даже местных собак. Все они, кажется, тоньше, чем человек, чувствуют гармонию природы и защищают от зла своё бытие в ней. Мир животных всегда в местных сказаниях занимал особое место. Во многих древних сибирских сказках сказывалось, что человек силен только в союзе с природой, с животным миром. Отзвуки фольклорных сюжетов и образов являются теми вкраплениями в фундамент поэтической крепости Василия Забелло, которые делают ее более устойчивой и к невзгодам, и к осадам.

Да поэт и сам умело стоит за жизнь Байкала. Измученный в нравственной битве, он не собирается покидать родимый край, хоть в юности и манили, но теперь не привлекают его города — духовные пустыни; в соответствии с традициями романтизма художник осуждает развращающее влияние цивилизации.

*Корявый лес... Зубцы замишлых скал...
Ползут дымы спрессованно, горбато.
Во мгле маячит призрак комбината...
День опустил свой колокол в Байкал.
Померкла жизнь без песни голубой.
И каждый дом пропах вином и хлоркой,*

*И возжаки трясут насущной коркой
И благодсти сулят наперебой.
Я стал чужим на отчем берегу.
Но не уплыть мне чайкою на льдине,
Я не смогу быть жителем пустыни,
Слепой Байкал я видеть не могу.*

Духовно-нравственная борьба — вот та категория, которой определяется и жизнь, и поступки, и мысли поэта, подводящие его к глубоким раздумьям о своём поколении, о поколении отцов, о крестьянской доле, а, в целом, о судьбе России. Но это не нравоучительные, отстраненные размышления, в результате которых легко найти виновников всех бед. Поэт таковых не ищет, но жизнь отечества исследует в нравственных критериях в пределах микрокосма своей жизни, в которой как в капле воды отражаются и бездны, и выси, существуют сильнейшие взаимодействия. Одно из них — кровные, родственные силы. Слова *отец* и *мать* часто встречаются в поэтических текстах Василия Забелло. Иногда как бы вскользь по ходу повествования вспоминает он о родителях. Иногда целиком посвящает стихотворение памяти отца или матери, которые были простыми тружениками, на долю их выпали и разрухи, и войны.

*Припомню вдруг, откуда родом,
Что до отца подать рукой.
Кривой домишко с огородом
Стоит, как прежде, над рекой.*

Здесь поэт чутко избегает ошибки многих собратьев по литературному цеху — рассказывая о родных, он не сосредоточивается на частном, как будто помнит слова Герцена о том, что «частная жизнь, не знающая ничего за порогом своего дома, как бы она ни устроилась, бедна» (Герцен А.И. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 2. М., 1954. С.52). Жизнь родителей поэта богата, даже в ветхом домике, ведь поэт такой её видит и изображает неотделимой от жизни страны, от потока истории. Во многих стихах образы родителей становятся символами, помогающими поэту в оценке праведности собственной жизни. Наиболее откровенно и проникновенно звучат стихи, где автор, уподобляя себя «блудному сыну», с библейской покаянностью выносит свою исповедь к духовно-зорким очам отца.

*— Что, сынок? Видать, душа поспела,
Встань лицом к спасительному лику.
Промотался, дел дурных надела,
По стране несправдливой и великой...*

В этой картине мы не только видим момент покаяния сына пред отцом, но слышим покаянные слова, присутствуем при душевном осмыслении жизни героем стихотворения. Он не получает традиционного для романтического персонажа прощения, потому что не прощает себя сам, что возвышает исследование поэта, выводящие его творчество в обстоятельства бытия к духовному реализму. И от этого непощения нет разочарования, но есть высокая вера в правду жизни, которую невозможно осмыслить без исторических и кровных, родственных взаимосвязей. Поэтому, рассказывая о своих предках, о себе, поэт не забывает и о своих сыновьях, предостерегает их от собственных ошибок, главной из которых считает то, что слишком поздно встал «лицом к спасительному лику».

Для того чтобы показать процесс обращения «к спасительному лику», а этот процесс не может быть одномоментным, но имеет длительность во времени, поэт находит очень выразительный образ «поспевающей души», то есть духовного роста, становления в вере. К необходимости веры поэт

приходит незаметно, даже как будто легко. Его душа «попеваает» от соприкосновения с красотой мира, в котором он живёт, с красотой народного языка, древними оборотами которого поэт богато украшает свой поэтический лексикон. Наполнение души происходит через чувство любви к женщине. Но нелегко, с потерями и прозрениями даётся художнику весь этот опыт. Так, для того чтобы понять смысл красоты, нужно было увидеть ее хрупкость, распад в смерти, а именно, пережить трагедию жестокой охоты на медведя.

*Так вот она, сокрытая натура,
дремавшая в глуби его очей.
Пред ним лежали сало, желчь и шкура,
а попросту сказать: семьсот рублей.*

*Слишком поздно нынче созреваем.
Слишком рано устаем для дела...
Знать бы мне, что выведет кривая
Сквозь мытарства к отчему пределу.*

Через эту жертву герою открывается красота как объективная ипостась. Стремление к её восстановлению приводит к осознанию на собственном трагическом опыте коренной, достаточно полно разработанной в русской литературе идеи спасения мира через красоту, через любовь и милосердие, через восстановление образа Божия в себе.

Стихи поэта о любви чувственны, многие сюжетны, но содержащие высокое чувство, отражающие искренний восторг поэта пред внешней и душевной женской красотой, они тоже выходят на символический уровень.

*...А жизнь как в снежной замяти,
Летишь снежинкой в ней.
Ну что придёт из памяти
По веренице дней?*

*Одно лишь: как за пряслами
Встречались мы с тобой...
А дальше всё неясное
И всё не про любовь.*

И нет сомнения в том, что все ясно там — где любовь, а где и ясно, и любовь, там — Бог.

А там, где Бог — там искание правды, там пример жертвенного служения, там творческий смысл евангельской любви, там путь спасения. И это понимает художник, повторяя материнские слова.

*...Но жизнь текла... И главным самым
В ней был лишь тот из детства свет...
— Сынок, — благословляла мама, —
Нам без Христа спасенья нет.*

В стихах Василия Забелло, проникнутых православной верой, сходятся и художественно разрешаются многие трудные вопросы русской жизни и русской веры, которые невозможно, как правильно понимает художник, понять, не взглянув в прошлое, не обратившись к истории отечества.

*Давно душа мятущаяся просит
Божественной глубокой тишины,
Как на крылах, меня она уносит
К святым осколкам русской старины.*

*Я огляделся вдруг: кружились горы,
необозримо высились хребты.
Ведь я пришёл сюда жестоким вором,
губителем древнейшей красоты.*

И эта тяга оправдана, ведь, как говорил в «Выбранных местах» Николай Васильевич Гоголь, «сам Бог строил в России незримо руками государей». А значит, история промыслительна. Вследствие собирания «осколков русской старины», к которым поэт относит и драгоценные элементы Божественного чина Литургии, и традиционные церковные праздники, появляются стихи, требующие для своего постижения не рационального способа познания мира, а веры. Религиозные стихи Василия Забелло раскрывают особенности духовного развития нашего века и свидетельствуют о высоком историческом уровне в смысле преемственности и закономерности литературного процесса.

*Распахнулись врата в скитский храм небольшой,
Богомольцы пошли, отпуская поклоны...
Вместе с ними и я с покаянной душой,
Всё мирское отринув, молюсь на иконы.*

*В суете безоглядной я тратил года,
Благо, вышел на свет к алтарю и приходу...
А вокруг всё росли и росли города,
Но тянулась душа к промоленному своду.*

Сколько векторов движения в этом маленьком поэтическом отрывке! Здесь всё в движении: и растущие города, и распахивающиеся врата, и идущие богомольцы, и душа, тянущаяся к промоленному своду. Но главным в этом сгустке движений является — поэт, идущий к алтарю, к Богу. А ещё он идёт к своему сыну, трагически погибшему послушнику Свято-Духовского скита в Почаевской лавре, — Сергию.

*...Утренняя чистая пороша
Побелила пустынь, монастырь.
Рано ты, сыночек мой хороший,
Приумножил древние кресты.*

*Про тебя ни слухом и ни духом...
Хоть бы голубь с вестью залетел...
Та земля да будет тебе пухом
И высок молитвенный удел.*

Но не слышим мы трагического отчаяния из уст поэта, глубоко в душе оплакивающего безвременную кончину старшего сына. Не слышим потому, что есть вера:

*Божья Матерь приголубит,
Верил всякий час...
Ты теперь в небесной глуби
Помолись о нас.*

Взирая на «высокий молитвенный удел», взглядываясь в «небесную глубину», поэт в своём творческом стремлении, в выстраивании своей жизни, идёт по направлению к этим высотам. И это единственный путь, не имеющий завершения — путь возрастания к Богу. Только на этом пути может быть осуществлено невечным человеком так чаемое вечное движение. Ведь, как говорил преп. Максим Исповедник, «единственное твердое определение... тварной природы — течь, а не стоять». В своей совокупности стихи Василия Забелло подтверждают воззрение преп. Максима Исповедника, сформулированное в современных терминах прот. Геронимусом, о том, что само по себе движение может быть только — к Богу, так как на уровне воплощения творение не пребывает в Боге от вечности, но имеет начало и конец и движется во времени и пребывает в пространстве (Христианство и наука. М., 2003. С. 42, 43, 220). Для поэта любовь, красота, доброта являются необходимыми условиями этого движения пребывания в пространстве. Своей верующей душой он чувствует, что только любовь даёт возможность человеку преодолеть свойства тварного естества путём восхождения во славу Божию. Художник, не богословствуя, не мудрствуя, легко называет этот трудный путь «движеньем вечной доброты», отмечая его вехи. А вехи те известные, древние, те же, что были у предков, у родителей, у всего православного русского люда.

Это исповедь.

*Зажгу свечу исповедальную,
Под образами засвечу.
Грехи и ближние, и дальние
Прости мне, Боже, прошенчу.*

*Я накопил такого груза,
Что гнёт до матушки земли,
Но как бы ни был путь мой узок,
Лучи свечи к Тебе вели...*

Это причастие.

*Мне бы к храму да к причастию
Свят-дорожку проложить,
Чтобы в Боге тихо, счастливо
На земле ещё пожить.*

Это молитва.

*Не покидай меня, молитва,
К нетленной радости зови.
Идёт невидимая битва
Во имя Света и Любви.
Не все исполнены обеты
По укрощению страстей.*

*Не все акафисты пропеты
В тиши молитвенных ночей.
Да будет в радость это время —
Христу молитвою служить...
О, дай, Господь, ещё нам время
Для очищения души.*

Мольба о молитве, переходящая с единственного числа «мне» на множественное «нам», свидетельствует о том, что поэт не видит свой путь в одиночестве, без своего народа, без Родины, без Церкви. И поэтому, как о своём, личном, искренне молится художник о России, запрокинув голову к небу:

*Косяк летящих журавлей
Над горизонтом уходящим,
И в звоне солнечных лучей
Ручей, прохладой звенящий.*

*Припасть к нему, скорей припасть!
Питать растраченные силы...
Привет, Божественная власть,
Не оставляй моей России!*

Россия для поэта — то пространство, которое изначально пребывает в Боге. Потому здесь так трудно. Потому здесь каждый человек соавтор Книги бытия. И поэтическое творчество Василия Забелло можно рассматривать как одну из её светлых страниц.